

ГОЛОСА  
Век XX

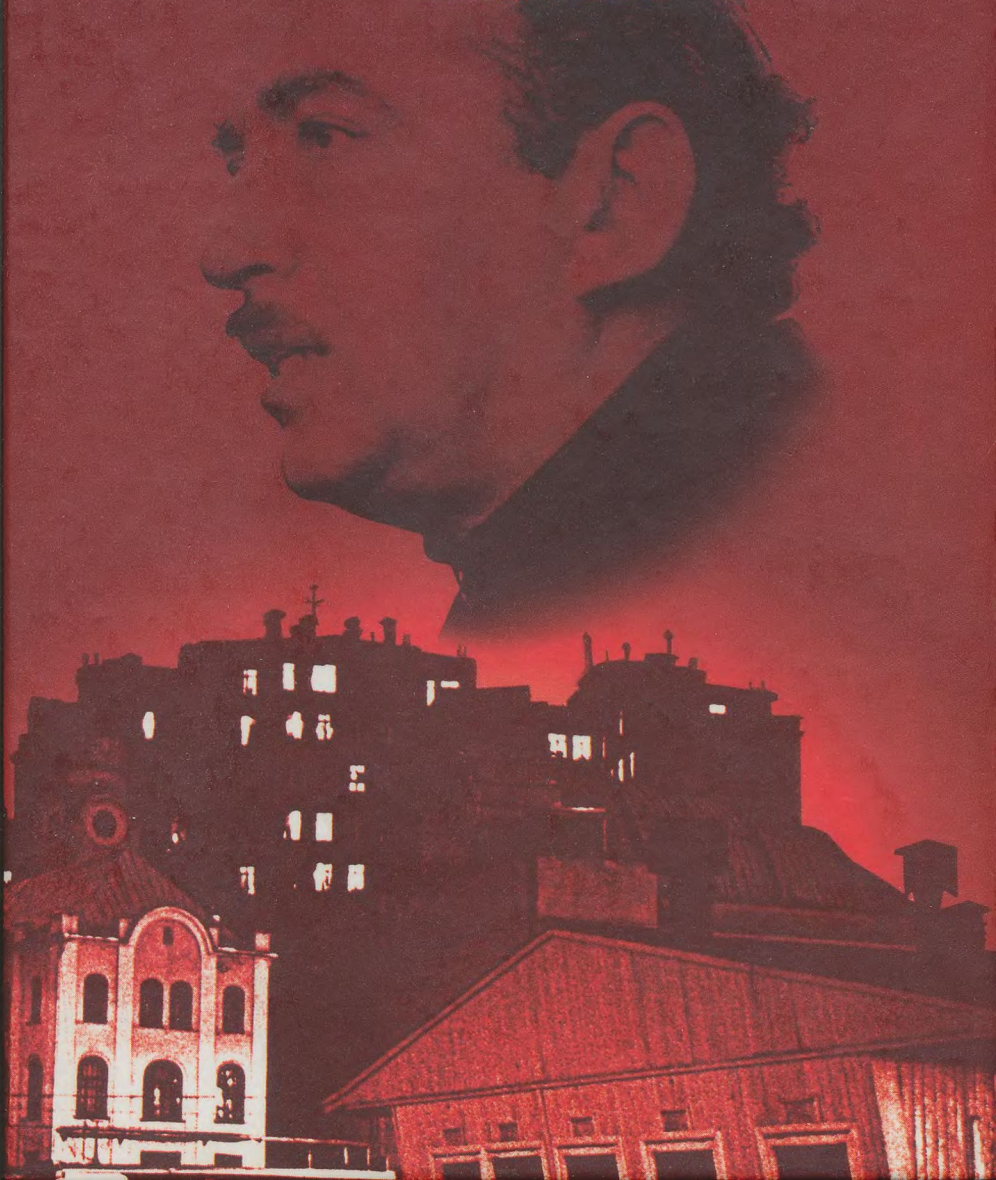
Александр Галич



ТОМ  
2

# Александр СОЧИНЕНИЯ Галич

ГОЛОСА  
Век XX



ПОПСА  
Век XX

Александр  
Галич

# Александр Галич

## СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 1

Стихотворения  
и поэмы

ТОМ 2

Киносценарии  
Пьесы  
Проза

# Александр Галич

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛОКИД»  
МОСКВА  
1999

ББК 84 (2 Рос-Рус) 6  
Г159

*Серия основана в 1999 году*

Автор проекта  
*Давид С. Хубларов*

Разработка серийного оформления  
*В. Крючков*

Составление,  
послесловие, комментарии  
*А. Архангельская-Галич*

**Галич А. А.**  
Г159 Сочинения. В 2-х т. Т. 2: Киносценарии, пьесы, проза /Сост. А. Архангельская-Галич, худож. В. Крючков — М.: Локид, 1999. — 511 с.; ил. («Голоса. Век XX»).

ISBN 5-320-00334-X (Т. 2)

Во второй том Сочинений вошли киносценарии Ал. Галича «Федор Шаляпин» и «Разные чудеса», публикуемые впервые, а также пьесы, повесть «Генеральная репетиция» и два неоконченных романа, написанных в эмиграции — «Блошиный рынок» и «Еще раз о черте».

**ББК 84 (2 Рос-Рус) 6**

ISBN 5-320-00332-3  
ISBN 5-320-00334-X (Т. 2)

© А. Архангельская (Галич), 1999  
© А. Архангельская-Галич.  
Составление, послесловие,  
комментарии, 1999  
© ЗАО Издательство «Локид»,  
серия, издание, оформление,  
1999

Киносценарии  
Пьесы  
Проза



# ФЁДОР ШАЛЯПИН

*Киносценарий*

Первая часть

## ДУША БЕЗ МАСКИ

...Фёдор Иванов Шаляпин всегда будет тем, что он есть. Ослепительно ярким и радостным криком на весь мир: вот она — Русь, вот каков её народ — дорогу ему, свободу ему!

*М.Горький*

Скорбно и трагически звучит оркестр.

В полумраке зрительного зала, среди сотен почти неразличимых лиц аппарат останавливается на лице Горького, внимательном, счастливом, взволнованном.

На сцене величественный старик — Сусанин—Шаляпин поёт свою заключительную арию.

И вместе с последними затихающими аккордами оркестра медленно падает занавес.

А затем, после недолгой и напряжённой тишины, в зале начинается нечто невообразимое — всхлипывание, аплодисменты, крики, возгласы:

— Bravo!.. Bravo!..

— Шаляпин... Шаляпин... Bravo!..

Шаляпин на авансцене, кланяется зрительному залу.

Лицо Шаляпина.

Лицо Горького.

И всё нарастающий грохот аплодисментов и возгласы:

— Bravo, Шаляпин, bravo!..

Сутулясь, заложив руки за пояс, Горький быстро и уверенно идёт по бесконечным закулисным переходам Народного театра.

Навстречу и мимо него пробегают рабочие сцены, монахи, бояре, и все они с интересом оглядываются на Горького, а некоторые даже здороваются:

— Здравствуйте, Алексей Максимович!..

— Здравствуйте, здравствуйте!.. — весело отвечает Горький.

Он останавливает какого-то молодого хориста в мона-



шеском одеянии, с лицом одновременно лукавым и грустным:

— Вы не скажете, где уборная Шаляпина?

— Идёмте, я провожу вас! — охотно предлагает хорист.

Они идут по длинному коридору со множеством дверей, и хорист, искоса поглядывая на Горького, не выдерживает наконец, спрашивает:

— Извините, вы действительно Максим Горький?

Горький усмехается:

— А вы сомневались в этом?

— Вы понимаете, тут же сейчас все загримированные... Вот, например, я — монах-чернокнижник... А на самом деле я мещанин без постоянного права жительства, Дворищин Исай...

И тут же он сам себя перебивает:

— Прошу, господин Горький, — вам сюда!..

Они останавливаются у полуоткрытой двери артистической уборной, откуда раздаются взрывы веселого смеха и удивительный, ни с чем не сравнимый голос Шаляпина:

— А хористов в эту французскую оперетку набрали всех вроде меня — молодых, худющих, оборванных... И по-французски никто ни бум-бум... Ну, может, два слова: «бонжур» да «мерси»... А надо петь, изображать французов, а то выгонят... Мы и придумали...

В уборной Шаляпина полно народа — артисты, поклонники из публики, молодёжь.

Шаляпин сидит перед зеркалом, разгримировывается.

Осторожно отклеивая усы, он продолжает рассказ:

— Представьте себе такие слова: «Жан репу жрёт, Мари лён треплет, папа редьку трёт...» На французский вроде бы не похоже, верно? Но вот как мы их пели...

Шаляпин томно закатывает глаза, прищёлкивает пальцами, поёт этакий залихватский опереточный мотивчик с удивительным французско-хохлацким прононсом:

Жан рэпу жрэ,  
Мари лён трепле,  
Папа ред ку трэ,  
Бонжур, мерси, бонжур!..  
Амур, амур, тужур!..

В уборную входит Горький. Следом за ним бочком протискивается артист-монах. И сразу же наступает молчание.

Горький и Шаляпин, мгновенно позабыв обо всех окружающих, смотрят друг на друга, осторожно и радостно, словно спрашивая: «Так вот ты каков?»

Шаляпин встаёт.

Делает несколько шагов навстречу Горькому. А тот говорит, внимательно и ласково глядя на него:

— Здравствуйте... Вот пришёл познакомиться. Максим Горький.

Шаляпин, взяв двумя руками протянутую руку Горького, смущённо отвечает:

— Фёдор Шаляпин.

Они обнялись.

Издалека возникает волжская песня.

Волга. Пароходы. Баржи. Гудит многоголосая река.

Медленно молча идут Шаляпин и Горький.

Работают грузчики. Тянут, стоя в ряд, длинную верёвку с грузом. Останавливаются. Несётся голос запевалы:

Ой, робята, не робейте,  
Своей силы не жалеете...

И сразу, натягивая в ритм песне верёвку, грузчики поют:

Ой, дубинушка, ухнем...  
Эх, зелёная, сама пойдёт...

Горький и Шаляпин проходят мимо работающих. Снизу, с реки, доносится протяжный пароходный гудок.

Горький, приложив козырьком ладонь к глазам, смотрит вниз, и лицо его неожиданно приобретает какое-то удивлённо-грустное выражение. Он усмехается:

— А в жизни они, между прочим, так и не встретились!..

Шаляпин в недоумении смотрит на Горького и, проследив за направлением его взгляда, тоже улыбается.

Внизу, на реке, по воде, освещённой закатным солнцем, медленно проплывают друг мимо друга и расходятся в разные стороны два белых двухпалубных парохода «Александр Пушкин» и «Михаил Лермонтов».

Горький, улыбаясь, говорит Шаляпину:

— Смотрю я на вас и думаю: похожи наши судьбы с вами. Помните, как на Волге бродяжническую братию называют?

Шаляпин:

— Исакиями!

— Вот-вот! Мы оба с вами из Исакиев! По одним улицам бегали, одни баржи грузили, голодали, оперетки дурацкие пели... Да, хорошо нам с вами жизнь шкуры поцарапала.

Вдруг раздаётся голос:

— Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми.

Горький и Шаляпин оглядываются.

Перед ними стоит юродивый Игоша.

— А-а... Здравствуй, Игоша, — говорит Горький и спрашивает Шаляпина: — Знаете его?

— С детства знаю. Это Игоша — «смерть в кармане». Здравствуй, Игоша, всё правду ищешь?

Игоша:

— По всей Волге ищу... Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живёт долго в нечести своей.

Издали вдруг раздаются крики, разухабистая ругань. Дерутся люди. Горький и Шаляпин оглядываются.

На берегу идёт драка, в которой принимает участие немало народу. Игоша поднимает руку, торжественно произносит:

— Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем!

Драка продолжается, озорная, удалая.

Шаляпин и Горький смотрят на дерущихся. Происходит всё далеко внизу. Шаляпин задумчиво:

— Хорошо дерутся, весело... В Суконной слободке, где жил я, всех били, и я не особенно обижался, когда меня били, и находил это в порядке жизни.

Шаляпин продолжает, глядя перед собой:

— Я знал, что всех бьют — и больших и маленьких. Побой — нечто узаконенное, неизбежное. И мать моя была бита отцом много и жестоко. Жалел я её. Это был для меня единственный человек, которому я во всём верил и мог рассказать всё, чем в эту пору жила душа моя.

Аппарат медленно отъезжает от лица шаляпинской матери, открывая жалкую хибарку. Заунывная песня матери навеивает тоску. Она сидит за веретеном. Неподалёку от моргающей лучины сидит мальчик Федя. Дремлет. Мать перестала петь. Испуганно прислушивается.

— Ой, идёт Иван... Двое суток не было... Неужто всё пропил!..

Открывается дверь, и на пороге появляется пьяный отец.

Мать, всплеснув руками, заплакала.

— Ой, всё пропил!? И как теперь быть, чем станем кормиться?

Федя испуганно смотрит на отца.

Отец кричит:

— Отстань, убирайся к чёрту, дай мне жить! Надоели вы мне, я только и знаю, что работаю! Надо же и мне когда-нибудь погулять!

Отец резко оттолкнул мать, она упала. Федя завизжал и бросился на помощь. Отец резко бьёт его. Он летит кувырком, снова бросается на помощь и снова летит на пол.

Отец идет к двери, кричит:

— Надоели вы мне...

Фальшиво поёт:

И пить будем,  
И гулять будем,  
А смерть придёт —  
Помирать будем!

Резко хлопнув дверью, отец уходит.

На сундуке в изодранном платье лежит мать. Федя около матери тихо плачет.

Мать открывает глаза, оглядывается, потом, погладив Федю по голове, грустно утешает:

— Ну, не плачь, ничего! Мало ли чего с пьяными дураками бывает, ты не гляди на это, не гляди, родной!

Издали доносится колокольный звон, торжественный, пасхальный.

Мать тихо и радостно:

— Вот и праздник наступает. Пасха святая. Ты иди погуляй, сынок, погуляй!

Шум, крики. Музыка, карусели, качели. С ребятами проходит Федя. Балаган. Ребят сопровождает юродивый Игоша. Торжественно произносит:

— И сказано в притче Соломоновой: розга и обличение дают мудрость. Наказывай сына своего, и он даст тебе покой.

Федя зло глядит на Игошу. А тот останавливается и кричит вслед:

— Если накажет его розгою, он не умрёт!

С ребятами идет Федя. Балаган. Паяц Яшка показывает своё искусство. Крепкие шутки, насмешки.

Публика хохочет.

Федя, разиня рот, восхищённо смотрит на Яшку.

Яшка кричит хриплым голосом:

— Эй, золушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам!

Хохот толпы.

Федя в восторге...

А Яшка, расталкивая на возвышении балагана артистов, держит в руках растрёпанную куклу, орёт:

— Прочь, наземь, губернатора везём!..

Федя среди хохочущей толпы.

Он восхищённо качает головой, мечтательно закрывает глаза.

И, как в тумане, перед ним сказочно красивые города, храмы.

Горы.

Над всей этой сказочной красотой балагур и паяц Яшка проходит расплывчатой тенью. И музыка другая, сказочная, тихая-тихая. И проходит уже наяву Федя. Из церкви доносится пение.

Федя входит в церковь, протискивается ближе к поющим на клиросе.

Дирижирует волосатый регент в синих очках.

Федя весь внимание. Но вдруг получает тумака по затылку. Оглядывается. Сзади него стоит отец. Что-то зло шепчет.

И сразу цокают весело и ритмично молотки по наковальне.

Федя раздувает меха.

И молодой красавец кузнец, ловко орудуя молотком, поёт.

У раскрытого окна вяжет мать Феди, подпевая кузнецу.

Федя старается подпевать, но делает это неумело.

Молодой кузнец подбадривает:

— Валяй, Федя, валяй, пой — на душе веселей будет! Песня, как птица, — выпусти её, она и летит!

Под пение и звон молотков о наковальни, который похож на аккомпанемент песни, высоко над широкой, покрытой дымкой величавой Волгой летает сказочная птица.

На фоне летящей птицы слышен голос Горького:

— Ты обо всём этом, Фёдор, непременно должен написать.

Голос Шаляпина:

— Не моё это дело.

— А ты рассказывай, я помогу. Ты когда петь-то начал?

Федя стоит перед регентом и смущенно говорит:

— Господин регент... Я... петь хочу... Не возьмёте меня в певчие?

Регент молча снимает со стены скрипку, приказывает Феде:

— Тяни за смычком!

Регент ведёт смычком по струнам.

Федя повторяет верно.

Регент опускает скрипку:

— Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты — выучи!  
Покажу тебе, что такое диез, бемоль... Ключи...

Свою грустную песню поёт мать Феди, продолжая вязать.

А за столом сидит Федя, изучает написанные на нотном листе закорючки.

Отец равнодушно произносит:

— Будешь, скважина, хорошо петь, может, хоть рублёвку в месяц приработаешь...

Аппарат отъезжает от лица поющего Феди.

Поёт хор — концерт Бортнянского.

Поёт Федя Шаляпин в церкви всенощную.

А днём по замерзшей Волге озорно катается на одном деревянном коньке.

Чинно поёт обедню в хоре.

И дерётся с мальчишками на ледовом огромном побоище.

Поёт на венчании.

Гости шумят и дерутся.

На рождении ребёнка чинно поет Федя в хоре. Шумят подвыпившие гости.

Ледовое побоище взрослых идёт вовсю. Хор поёт «Христос Воскрес».

На похоронах поёт Федя с хором. На поминках поёт. И здесь шумят подвыпившие гости.

Ходит с хором славить Христа Федя Шаляпин. «Слава высших Богу» поют. Поёт хор «Мрачные ночи».

Пустое поле, где происходило ледовое побоище.

Голос Шаляпина:

— Но в жизни народа, которую я видел такой мрачной, радостью были для меня хороводы. Они устраивались дважды в год: в Семик и на Спаса.

Девушки в алых лентах, в ярких сарафанах, нарумяненные и набеленные, ведут хоровод вместе с приодетыми парнями.

Праздничные молодые лица.

Звучит чудесная песня.

Стоит неподалёку от ведущих хоровод Федя.

Слышен голос:

— И виделась мне какая-то иная жизнь, красивая, без драк, без пьянства.

Ведут хоровод молодые девушки и парни.  
Несравненный голос Шаляпина поёт:

О, если б навеки так было!  
О, если бы навеки так было!

Аппарат отъезжает от пластинки, которая медленно вращается на диске граммофона с большим рупором-трубой. Квартира Горького. За столом Екатерина Павловна, Алексей Максимович и Шаляпин.

Хитро покосившись на Горького, Шаляпин хвастливым шёпотом произносит:

— Пианиссимо, а?! Ты когда-нибудь слышал, Максимыч, такое пианиссимо?

Посмеиваясь в усы, Горький отвечает:

— Ох, и хвастун же ты, Фёдор! Король певцов и король хвастунов!

Протянув руку к графинчику с водкой, Шаляпин, улыбаясь, замечает:

— Но всё-таки король певцов!

Горький ладонью накрывает рюмку Шаляпина.

— Может, хватит, король? Нам работать надо!

Но Шаляпин, смеясь, объясняет:

— Это тенорам нельзя пить, а у басов от водки голос только гуще делается.

Улыбаясь, смотрит на них Екатерина Павловна, слышен голос Шаляпина:

— А знаешь, как дьяконов к Пасхе готовят? Держат в холодном погребе и по четверти водки в день дают.

Шаляпин продолжает:

— Зато уж как выйдет ко всеобщей да как рявкнет...

Он встаёт во весь рост, набирает в грудь воздух и действительно рявкает на самых низах:

— Вон... Мем...

Задребезжали стёкла в окнах. Екатерина Павловна, охнув, зажмуривается. Горький закрывает ладонями уши.

— Тихо, ты, чёртушка!

В это время вновь начинают дребезжать стёкла и с улицы доносится мерное цоканье лошадиных копыт. Горький поспешно встаёт, подходит к окну, отодвигает шторы. По улице в тусклом свете одинокого фонаря проезжает отряд конных жандармов.

Шаляпин подходит к Горькому и тоже молча смотрит на раскачивающихся в сёдлах конников.

— Куда это они, Максимыч?

Горький сквозь зубы:

— Усмирять... Железнодорожные рабочие бастуют...

— И это серьёзно?

— Это серьёзно. Но пока это всё цветочки! Ягодки впереди...

Горький, посмотрев на задумавшегося Шаляпина, возвращается к письменному столу, садится.

— Ну, давай продолжим...

Шаляпин, глядя в окно, вдруг улыбается.

Горький недоумённо спрашивает:

— Ты чего?

Глядя в окно, Шаляпин задумчиво говорит:

— Моя артистическая карьера началась с роли жандарма... Мне было пятнадцать лет.

Комната артистов. Фёдор старательно надевает мундир жандарма зелёного цвета из колена с ярко-красными отворотами и обшлагами, натягивает байковые штаны, на сапоги надевает голенища из клеёнки, подходит к зеркалу, мажет физиономию разными красками, старательно приклеивает огромные усы.

Сцена. Идёт спектакль. Аппарат отъезжает, открывая зрительный зал...

У кулис стоит жандарм Фёдор, около — ожидающие выхода артисты и режиссёр. Фёдор дико озирается вокруг.

Слышен шёпот:

— Приготовься... Тебе сейчас выходить...

Фёдор стоит как вкопанный, дико выпучив глаза. Открывается дверь на сцену, и Фёдора выталкивают вперёд.

И сразу же оглушительный смех зрительного зала.

На сцене Фёдор стоит неподвижно — руки прилипли к бокам, ноги вросли в пол. Молчит...

Из-за кулис кричат режиссёр, артисты:

— Да говори же, чёртов сын... Говори что-нибудь!..

— Окаянная рожа, говори!

Но Фёдор стоит неподвижно, колени дрожат. Доносится только злое шипение из-за кулис:

— Дайте ему по шее!

— Ткните его чем-нибудь...

Фёдор неподвижен. Аппарат наезжает на его лицо, на испуганные глаза.

Завертелся зал с публикой, сцена завертелась, слышен дикий хохот зрителей. Наезд на огромную хохочущую пасть, и с молниеносной быстротой опускается занавес.



На сцену вбегает разъярённый режиссёр, начинает неистово бить Фёдора, срывая с него костюм жандарма. Падают на пол клеёнчатые ботфорты. Фёдор остаётся в одном белье. Режиссёр яростно хватает Фёдора за шиворот и тянет со сцены.

В сад, в одном белье, выскакивает вышвырнутый Фёдор. Вслед за ним летит его одежда... Подобрал её, Фёдор бежит в угол сада, начинает перелезать через забор, но в это время по улице проезжает верхом величественный жандарм. Увидев раздетого человека, он останавливается. Фёдор испуганно слезает с забора, удирает.

У окна квартиры Горького стоит Шаляпин и, внимательно глядя в окно на проезжающих жандармов, продолжает рассказ:

— Я убежал, очутился в каком-то сарае, просидел двое суток не евши, боялся выйти на улицу, мне казалось, что весь город, все знают, как я оскандалился и как меня били...

Горький перестал писать, оглянулся на Фёдора.

Шаляпин с грустью говорит:

— Много меня били... И дома, и в людях... А тебя, Максимыч, били?

Горький с грустной усмешкой:

— Били, Феденька, били, на Руси бьют много и крепко, меня с детства били, строгий дед бивал часто...

Аппарат отъезжает от связки прутьев, которые стоят под иконами, открывая комнату. В комнате бабушка и несколько ребят, среди которых Алексей. Входит дед и деловито проходит к длинной скамье, развязывает прутья. Пробует гибкость прута. Посмотрев на ребят, произносит грозно:

— Ну!

Хныча, один из внуков опускает штаны, ложится. Подмастерье Цыганок, присев на корточки, держит ноги.

Дед взмахивает кнутом.

Бабушка сидит в углу, закрыв лицо руками, слышны только крики.

Смотрит Алексей. Крики замолкают.

Избитый встаёт и, плача, натягивает штаны.

Дед приказывает:

— Ну, теперь Алексей!

Но бабушка вдруг вскакивает, кричит:

— Лексея не дам, не дам, изверг!

Она обнимает внука, закрывает его своим телом.

Дед бросается на них и лупит хлыстом бабушку и внука, который кусает руку деда. Тот в ярости швыряет Алексея на скамью и лупит хлыстом.

Избитый отцом, прижался в угол Федя Шалапин. А отец кричит:

— В дворники надо идти, скважина, в дворники, а не в театр.

В другом углу прижалась мать.

Голос отца:

— Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба, скотина!

В углу Федя.

Голос отца:

— А что в театре хорошего? Работать надо, а не песни распевать!

Федя в сердцах выбегает из дому.

Голос Шалапина:

— Целыми днями, полуголодный, я шлялся по городу, искал работу, а её не было.

Фёдор проходит по берегу Волги.

Ключники поют:

Ой ли, матушка ты Волга.

Ой, широка и долга,

Укачала, уваляла,

У нас силушки не стало.

Голос Шалапина:

— В хоре я уже не мог петь — ломался голос.

Вокруг идёт торговля.

Татары торгуют сафьяновыми ичигами, тканями.

Русские продают булки, колбасы и всякое съестное.

Вокруг празднично, шумливо.

Федя останавливается, оглядывается. Лицо становится злым.

Голос Шалапина:

— И созрело твёрдое решение — уехать... Подальше куда-нибудь... Несчастлив этот город для меня... Я и уехал, бродяжничал, мыкался...

Ещё на фоне голоса Шалапина вступает другой голос — надсадный и звонкий:

Ой, ребята, не робейте,

Своей силы не жалейте...

Обрывистый крутой берег Волги. По самому краю обрыва бурлаки, и среди них длинный и худой Фёдор Шалапин, тянут бечеву.

Впереди, в распахнутой на груди рваной рубашке, запевала. Он поёт:

Ой, робята, шире глотку,  
Даст хозяин нам на водку...

Бурлаки дружно подхватывают:

Давай, давай,  
Пошла, пошла,  
Идёт, идёт...  
Ещё разок...

Тяжело переступают ноги по мокрому глинистому обрыву. Сгорблены спины. Напряжены скулы. Снова взмывает голос запевалы:

Ой, робята, веселее...

И вдруг — короткий сдавленный крик.

Запевала, оступившись, взмахнув руками, падает вниз на острые, выступающие из воды камни.

Замешательство.

Бурлаки, бросив бечеву, сгрудились у обрыва и растерянно смотрят вниз.

— Что тут?!

Это спрашивает мгновенно появившийся на месте происшествия смуглолицый приказчик.

— Человек упал!..

Приказчик поджимает губы.

— Ну и что?! Упал, так подберут кому надо!.. Давайте, ребяташки, давайте, а то хозяин сердчает! Давайте!..

И снова тянут бечеву бурлаки. Но теперь никто не поёт, и ноги шагают вразнобой, работа не клеится.

И тогда Шаляпин очень тихо, словно боясь, что его голос ему откажет, начинает:

Ой, давайте, кто как может,  
Нам хозяин не поможет...

Пожилой бурлак, шагающий рядом с Шаляпиным, одобрительно подмигивает.

— Ну-ка, Федя, погромче, погромче!

Шаляпин поёт громче:

Ой, болят мои мозоли,  
Горше нет бурлацкой доли...

Повеселевшие бурлаки подхватывают:

Идёт, идёт,  
Пошла, пошла,  
Ещё разок,  
Давай, давай...

И Шаляпин, распрямившись, поёт уже во весь голос:

Ой, ты, Волга, мать родная,  
Нам за что судьба такая?!  
Укачала, умотала,  
У нас силушки не стало!..

Пожилой бурлак, покачав головой, уважительно говорит:

— Ну и голосина у тебя, Фёдор, чисто — гудок!..  
В ответ звучит громкий бас Шаляпина.

Номер гостиницы. За столом сидит Самарский. Аппарат отъезжает. Рядом с Самарским какой-то кавказского вида человек. На диване полулежит дама. У двери смущённый Шаляпин заканчивает петь.

Самарский ласково спрашивает:

— Так что же вы ещё знаете?

Заикаясь, Шаляпин врёт:

— Знаю... «Травиату»... «Кармен»...

— Но у меня оперетка.

— «Корневильные колокола»... «Нищий студент»... «Летучая мышь»... «Продавец птиц»... «Герцогиня Герольштейнская»... «Весёлая вдова»... — продолжает врать Шаляпин.

Улыбаясь, Самарский спрашивает:

— Сколько вам лет?

Шаляпин, подтянувшись, врёт:

— Семь... семь... девятнадцать...

Самарский усмехнулся:

— Я не смогу платить вам столько, сколько первым басам...

Шаляпин решительно:

— Мне не надо. Я без жалованья...

Дама даже откинулась на спинку дивана.

Кавказский человек произносит:

— А-о!..

Шаляпин объясняет:

— Конечно, денег у меня никаких нет, но, может, вы мне вообще дадите что-нибудь.

Самарский вскинул глаза.

Шаляпин торопливо продолжает:

— Мне нужно столько, чтобы как-нибудь прожить, не очень голодать. Если я сумею прожить на десять, дайте десять. А если мне будет нужно шестнадцать или семнадцать...

Кавказский человек, хохоча, советует Самарскому:

— Да ты дай ему двадцать рублей! Что такое?!

Самарский протягивает бумагу.

— Подписывайте контракт.

Шаляпин нагибается над столом. Рука дрожит. Перо не попадает в чернильницу.

Голос Шаляпина:

— Ты понимаешь, Максимыч, это был мой первый в жизни театральный контракт.

Дрожащая рука Шаляпина подписывает. Подпись похожа на закорючку.

Самарский встаёт.

— Через два дня я выдам вам билет до Уфы и аванс.

Шаляпин кланяется.

Самарский уходит в соседнюю комнату.

Шаляпин недоуменно смотрит на кавказского человека.

— А что такое аванс?

Тот, смеясь, весело объясняет:

— Аванс, ха-ха... А-ванс... На аванс купить можно... По-ку-ша-ать!.. А-а-в-а-с-с...

Возвращается Самарский. Протягивает Шаляпину кепку и пушистый шарф.

— Возьмите, голубчик, а то на пароходе холодно.

Гудок. По реке идёт пароход.

В каюте второго класса сидит Шаляпин. Жадно ест. На голом теле расстёгнутый пиджак. Холодно, очень холодно.

Шаляпин встаёт, продолжая есть, снимает со стены шарф, набрасывает его на плечи, поправляет висящий на стене галстук в крапинках.

Гудок. Пароход стоит у маленькой пристани.

Шаляпин на песчаном берегу. Согреваясь, ходит колесом, бегаёт, прыгает.

Неподалёку мужики около возов смеются, кричат:

— Ох, ох, ох! Глянь... Глянько-с... Барин-то жмёт! Чего выделывает, жердь! Хо-хо!..

Смотрят с палубы пассажиры первого класса. Смеются.

Гудок.

Шаляпин рванулся к пароходу.

Ночь. Пароход на ходу. Кутаясь в шарф, ходит по палубе Шаляпин. Останавливается у борта. Смотрит вниз.

Пассажиры нижней палубы жмутся друг к другу, сидят посреди канатов, сундучков и баулов.

Укачивая плачущего ребёнка, что-то устало напевает женщина.

Шаляпин внимательно вглядывается в лицо женщины.

С этой песней укачивала его мать.

Он закрывает глаза.

Под песню женщины медленно движется пароход. Накрапывает дождь. Протяжный гудок парохода.

Слякоть. Моросит дождь по улицам города.

Афиша. На ней выведено большими буквами:

«Певец из Палермо».

И внизу очень мелко:

«...вторые басы Афанасьев и Шаляпин».

...Идёт представление. Среди хористов Шаляпин. На нём испанский костюм, короткие штаны, плащ, шапка из картона. Сам он с усиками, губы накрашены, лицо белое-белое, только щёки нарумянены вовсю. На ногах трико, которое ещё больше подчёркивает худобу. Выставив важно длинную ногу вперёд, он поёт с хористами:

Раз, два, три,  
Посмотри  
Там на карте поскорей...

Публика бурно аплодирует.

Все кланяются. Занавес опускается.

...Шаляпин стоит перед сидящим в своей уборной Самарским.

— Я устроился здесь на четырнадцать рублей... Шесть мне лишние!

Самарский улыбается.

— Вы чужак!

Шаляпин важно объясняет:

— Я пошёл к вам не ради денег, а ради удовольствия служить в театре...

Самарский, помолчав, неожиданно спрашивает:

— Кстати, Шаляпин, могли бы вы спеть в «Гальке» партию стольника? У нас заболел артист...

Испуганный Шаляпин молчит, затем отвечает дрожащим голосом:

— М-могу!

И вот перед выходом, в кулисах, стоит напуганный старик Шаляпин, на лице длинные усы, мохнатые брови, намазанное лицо.

На животе торчит толщинка, словно водянка, но руки и ноги — как спички.

К Шаляпину подходит Самарский, хлопает дружески по плечу и говорит:

— Бояться не надо, Шаляпин! Веселей! Все сойдёт отлично! Когда будете петь — обязательно смотрите на дирижёра.

...Шаляпин усаживается в кресло у стола. По сцене ходят хористы, изображая поляков. Вздвигается занавес. Хор начинает петь. Когда артист, играющий роль Дзембы, кончает петь свои слова, Шаляпин вступает:

Я за дружбу и участие,  
Братья, чару поднимаю.

Хор отвечает:

На счастье...

Шаляпин встаёт, шатаясь, идёт к суфлерской будке. Как советовал Самарский, он следит за палочкой дирижёра, не обращая внимания на хор — гостей. Один из хористов старательно кривит рот.

Шаляпин обращается к дирижёрской палочке:

Ах, друзья, какое счастье...  
Я теряюсь, я не смею.

Дирижёр машет палочкой.

Шаляпин, быком уставившись на дирижёра, продолжает петь, отбивая ногой такт:

Выразить вам не сумею  
Благодарность за участие!

Он размахивает руками, прижимает их к животу, играет «вовсю».

Он кончает петь. Раздаются аплодисменты. Шаляпин стоит, как истукан.

Дирижёр шепчет:

— Кланяйся, чёрт, кланяйся!

Шаляпин начинает усердно кланяться, пятясь задом к креслу. Он хочет сесть, но в это время криворотый хорист отодвигает кресло в сторону, и Шаляпин грохается на пол, взметнув ноги вверх.

В публике громовой хохот и аплодисменты.

Шаляпин встает, ставит кресло на старое место, тяжело садится и под грохот смеха и аплодисментов, плача от обиды, продолжает петь.

За кулисами переполох. Со сцены выходят хористы.

Красивая хористка подбегает к криворотому и резко говорит:

— Ты, гадюка криворотая...

Резко бьёт его по щекам, приговаривая:

— В суд подай и напиши, била меня хористка Мария Шульц. За подлость била.

Артистическая уборная. Сидя на стуле, горько плачет Шаляпин. Слезы смывают грим. Рядом с ним Мария.

Входит Самарский. Ласково треплет Шаляпина по плечу.

— Успокойтесь! Вы, Шаляпин, были очень полезным членом нашей труппы...

Шаляпин, совсем расстроенный, продолжая всхлипывать, поднимает на Самарского испуганные глаза.

— Был?!

Самарский грустно улыбается.

— К сожалению... Труппа наша разъезжается. Перед отъездом устроим прощальный концерт. Вы знаете какие-нибудь романсы?

— Знаю арию из Руслана «О поле, поле», «Чуют правду», «Когда б я знал».

Самарский, улыбаясь:

— Вот и превосходно. — Усмехнувшись, продолжает: — Маруся тоже участвует...

Самарский, оглядывая Шаляпина, продолжает:

— Только, Феденька, в концерте нельзя выступать таким машинистом в кожаной куртке. Возьмите мой фрак... И завейте себе волосы.

И вот стоит Шаляпин во фраке, который не по плечу ему. Похож он на журавля в жилете.

В публике слышны глумливые смешки.

Но вот Шаляпин запел.

За кулисами слушают: Мария, Самарский и криворотый хорист.

Шаляпин кончает петь.

Публика аплодирует.

Шаляпин кланяется.

И в это время фрак на спине расплзается.

Шаляпин поворачивается, уходит. Но публика неистово хлопает, смеётся.

Шаляпин снова кланяется. Разрыв шире.

Криворотый хорист злобно смеётся. Но, увидев Марию, поднимает руку, как бы ожидая удара, и пятится назад.

Фёдор стоит за кулисами. Около него несколько человек. Толстый военный с огромными усами говорит удивлённо:

— А я думал, вы дискантом поёте.

— Сколько же мне лет, по-вашему?

— Лет пятнадцать, — подшучивая, говорит военный.

Шаляпин обидчиво:

— Двадцать... Скоро...

— Скажи на милость! Здоров! Нам бы такого!



— Куда вам?

— В полицию. Я — исправник.

Добродушный пожилой человек перебивает:

— Нет, нет, голос-то у него хороший, красивый... Вам бы, молодой человек, учиться... В Петербурге или в Москве...

— Вам бы в консерваторию...

Шаляпин молча грустно разводит руками.

Афишная тумба. Ветер треплет обрывки анонса последнего концерта труппы Самарского.

Одинок бродит Шаляпин. Останавливается перед афишной тумбой. Появляется расклейщик афиш и поверх старого анонса клеит новый: «Летний сад. Гастроли украинской труппы господина Дергача».

И вот сидит толстый человек — антрепренёр Дергач, и перед ним Шаляпин.

Шаляпин кончает петь. Ждёт. Дергач, делая вид, что голос ему не понравился, флегматично говорит:

— В первые басы не возьму, своих девать некуда... Будешь вторых петь.

Шаляпин некоторое время стоит неподвижно, затем резко подходит к столу. Дергач подвигает бумагу. Шаляпин подписывает.

Дергач говорит:

— Контракт на год... Аванс пять рублей... Едем в Самару.

Шаляпин радостно удивлен:

— Там родители мои живут.

— Оттуда в Азию поедем. А теперь в Самару.

Гудит гудок. К самарской пристани приближается пароход. В маленькой каюте торопливо прихорашивается Шаляпин. На голое тело он надевает тёмную шевиотовую тужурку, закрывая шею и грудь гуттаперчевой манишкой и воротничком. Затягивает галстук с крапинками.

Пароход у пристани. Торопливо спускаются пассажиры. С очень важным видом сходит на берег «артист» Шаляпин.

Люди с любопытством смотрят на него.

Франтоватый «артист» шагает по улицам Самары.

Прохожие оглядываются на длинного франта.

А он спешит, прибавляет шаг.

На углу, неподалёку от рынка, стоит старая женщина с протянутой рукой.

— Подайте, люди добрые, Христа ради... Подайте, люди добрые...

Шаляпин быстро проходит мимо женщины. Вдруг останавливается. Голос кажется знакомым. Смотрит на нищенку.

Она стоит, сгорбившись, не поднимая глаз, с протянутой рукой.

Шаляпин вглядывается. Вдруг быстро подходит и, положив руку на грудь, шепчет:

— Мама... Мама...

Нищенка поднимает глаза.

— Феденька, сыночек мой...

Шаляпин обнимает мать, она прижимается к нему, плачет, шепчет:

— Сыночек, сыночек, мой родненький!

Шаляпин берет мать под руку.

— Уйдём отсюда, мама...

Они идут по шумящей улице.

Люди оглядываются на эту странную пару.

А они, прижавшись друг к другу, идут среди шума и криков торговцев, предлагающих пирожки, воду, сласти.

Так, обнявшись, входят они в нищенскую, унылую комнатуху. В углу стоит похудевший, бледный отец. Увидев сына и жену, он, равнодушно оглядев их, говорит:

— Приехал! А мы плохо живем! Службы нет.

И, отвернув голову, совсем тихо:

— Да... А... мать-то по миру ходит.

Мать стыдливо прячет котомку в угол.

Шаляпин молча вынимает пятерку и кладет её на стол.

Отец жадно хватает её.

— Ты долго побудешь?

Шаляпин, тяжело вздыхая, подходит к матери. Обнимает её.

— Два дня с тобой, мама... Я с артистами уезжаю... С театром...

Отец зло:

— Опять с артистами... Петь. А об отце с матерью подумал? Всё по театрам шляешься... Песни поёшь... Тебе, дьяволу, кроме театров, ничего не надо — я знаю! Будь прокляты они... Езди... Езди...

В знойный летний вечер растянулись по степной дороге телеги. Едут артисты украинской труппы. Невыносимо жарко.

А по сторонам дороги бахчи арбузов и дынь. Прохлада блестят их зелёные и жёлтые бока.

Несколько групп мужчин, выставив дозоры, таскают арбузы и дыни, никем не охраняемые.

В одной группе Фёдор. Он действует быстро и ловко. На телегах измученные жарой люди. Здесь мужчины, женщины, дети. Они среди наваленного жалкого реквизита и бутафории.

Свесив ноги, дремлет Шаляпин. Внезапно его будит протяжный женский стон.

Шаляпин открывает глаза.

— Чего там?

Чей-то равнодушный голос отвечает:

— Рожает!

Фёдор спрыгивает с телеги, воровато оглядываясь, срывает с бахчи арбуз, подбегает к кибитке, в которой едут женщины, протягивает арбуз.

— Берите... Дайте ей...

В это время раздаются крики беременной. Мужчины бросаются к кибитке, но женщины отгоняют их.

...Восходит солнце. Слышен крик ребёнка.

Ошеломлённый Фёдор прислушивается к нему.

Едут по степи телеги. Крик ребёнка сопровождает их.

От тусклого нарисованного солнца отъезжает аппарат, открывая сцену, зрительный зал. Идёт спектакль.

Хор весело поёт:

Ой, жишла зоря, та вечерова...

Поёт и танцует Фёдор.

И снова вечернее солнце, настоящее.

Фёдор шагает по незнакомым улицам. Проходит мимо рынка, где жарят, варят... Продавцы громко предлагают свой товар. Шагает Фёдор, жадно косясь на еду.

Панорама с дымящейся снеди переходит на шагающего голодного Фёдора, который облизывает губы.

И снова по пыльным дорогам тянутся телеги с артистами...

Кормит грудью новорожденного мать. Рядом шагает Фёдор.

И, как прежде, отъезжая от знакомого, тускло нарисованного солнца, аппарат открывает сцену и зал. Поёт Фёдор:

Закукала та сиза зозуля...

И слушают украинскую песню люди в халатах, с тюбетейками на головах — узбеки.

На сцене весело поют, танцуют гопак. Среди них Фёдор. Публика аплодирует, переговариваясь на незнакомом, гортанном языке.

Падает занавес с грубо намалёванными жирными нимфами.

Шаляпин идёт в актёрскую уборную, где раздеваются и разгримировываются его товарищи.

На гримировальном столике лежит телеграмма. Фёдор раскрывает её. Читает: «Мать умерла. Пришли денег. Отец».

Фёдор растерянно замирает.

Слышен голос Дергача:

— Живей надо, веселей надо, а то как дохлые мухи на сцене...

Обращаясь к Фёдору, он продолжает:

— А ты чего столбом стоишь?

Фёдор поднимает голову, показывает телеграмму Дергачу. Тот читает.

Шаляпин тихо просит:

— Прошу дать мне жалованье вперёд... Я отработаю.

Дергач лезет в карман, достает два серебряных рубля и даёт Фёдору, который стоит с протянутой рукой.

— Я прошу за месяц... Мать умерла... Отец...

Дергач равнодушно перебивает:

— Мало ли кто у кого умирает!

Дергач уходит.

Разъярённый Федя швыряет вслед ему два серебряных рубля и грохается в изнеможении на стул.

И снова сверкает солнце. Мчится поезд. В вагоне третьего класса сидит Фёдор, жадно ест. Ест и плачет молча.

Проходит по коридору Дергач. Морщит нос. Замечает Фёдора, приказывает:

— Выбрось в окно чёртову колбасу, дышать нельзя.

Фёдор, продолжая есть:

— Я сейчас доем.

Дергач, свирепея, орет:

— А я тебе сказал — выбрось!

Фёдор, прищутив глаза, продолжает есть.

— Вам-то что... Вы человек первого класса, и нет дела вам до того, что едят в третьем...

Дергач бросается на Фёдора.

Медленно ползёт поезд. Из вагона пулей вылетает Фёдор, которого выталкивает разъярённый Дергач.

Фёдор, машинально продолжая жевать колбасу, пытается бежать за поездом, но тот набирает скорость и Фёдор остаётся один.

Проходят мимо люди в халатах и мохнатых бараньих шапках, подозрительно глядя на оборванного Фёдора.

Ярко светит южное солнце.

По шпалам, обливаясь потом, шагает Фёдор, испуганно глядя по сторонам.

Далеко в степи огромные песчаные барханы.

Шагает, шагает Фёдор Шаляпин. Слышен его голос:

— Я добрался до Баку без паспорта, паспорт остался у Дергача, и поступил в хор французской оперетки, где французов было человека три-четыре, а остальные евреи и земляки. Мы превесело напевали разные слова...

На бедно обставленной сцене поёт хор, среди которого весело улыбающийся Фёдор со шпагой, в белом парике, задорно запекает «по-французски»:

Колорадо... Ниагаро... Шарпаньте... Иодели...

В зрительном зале напряжённое внимание. В национальных костюмах слушают зрители. Хор на сцене подхватывает:

Жан ре — пу жрэ... Мари льон трепле...

Фёдор весело поёт соло:

Папа редь — ку трэ...

И снова хор подхватывает:

Бон-жур... Мерси... Тужур...

Амур... Амур... Котюр...

А затем на сцене начинается весёлый танец под музыку, звуки которой постепенно уходят далеко, и слышен только голос Шаляпина:

— Однако оперетка скоро лопнула. И я буквально остался на улице. Пальто пришлось продать. Питаться нужно было осторожно: только чаем и хлебом...

На сцене темп танца всё возрастает.

Занавес падает.

Голос Шаляпина:

— Но я узнал, что Самарский собирает оперную труппу в Батум. Но был Великий пост и по-русски петь запрещалось. И поэтому труппа приняла название «итальянской», хотя итальянцев в ней было только двое — флейтист в оркестре и мой друг хорист. Он помогал мне учить мою партию по-итальянски, которую я переписывал русскими буквами.

Взвивается занавес. Небольшая сцена, от которой отъезжает аппарат, открывая зрительный зал.

На сцене Шаляпин, который поёт партию Оровезо в опере «Норма», поёт по-итальянски с сочным нижегородским акцентом.

Зрители в национальных костюмах с большим вниманием слушают «итальянцев».

Общий вид города Кутаиси. Несётся голос Шаляпина, который со знакомым нам нижегородским акцентом поёт арию кардинала из «Жидовки».

Общий план города Сухуми, утопающего в зелени. Над приморским бульваром мы слышим голос Шаляпина, который поёт на своём итало-нижегородском языке партию Валентина из оперы «Фауст».

Широкий план прекрасного города Тифлиса, снятый с верхней точки. Аппарат опускается вниз, фиксируя мрачно шагающего Фёдора Шаляпина. Слышен его голос:

— Но и опера скоро разлезлась. Я вернулся снова в Тифлис.

Улицы Тифлиса. По ним шагает Шаляпин. Слышен его голос:

— Искал работу. Но безуспешно. Костюм у меня был оборван, белья вовсе не было, но всё-таки я ходил в шляпе...

По улицам Тифлиса шагает оборванный Шаляпин, а вокруг жарят, варят горластые продавцы, предлагая наивкуснейшие, свежие, только что изготовленные шашлыки и прочую снедь...

Взирает на всё это мрачный Фёдор. Слышен его голос:

— Голодать по два дня я уже привык...

Среди этого буйства еды, облизывая губы, глотая голодную слюну, идёт Шаляпин в оборванной одежде, в мятой шляпе на голове.

— Ах, если бы знали, господа, какое это унижительное чувство — голод! Иначе смотрели бы на голодых людей, иначе бы относились к ним!

Жаркий дым вкусной пищи заслонил лицо Фёдора.

Голос продолжает:

— Я приходил в отчаяние, в иступление, готов был просить милостыню, но не решался... Однажды...

Шаляпин остановился около оружейного магазина, на витрине которого выставлено разного вида оружие.

Он долго вглядывается в витрину, подходит совсем близко.

Аппарат наезжает на пистолет.

Шаляпин мрачно смотрит на него. Что-то, видимо, решает. Закрывает глаза.

...В магазин входит Шаляпин. Подходит к прилавку. Начинает рассматривать лежащее под стеклом оружие.

Аппарат панорамирует, останавливаясь на пистолете, который он раньше видел в витрине.

Шаляпин показывает продавцу на пистолет. Продавец вынимает пистолет, передает его Шаляпину, тот некоторое время разглядывает его, и, когда продавец отворачивается, Шаляпин подносит пистолет к виску, раздаётся громкий выстрел.

Стоящий на улице у витрины Шаляпин, вздрогнув, открывает глаза, диковато озирается.

Где-то далеко над морем грохнул гром, сверкнула молния.

Крым, веранда. Горький встаёт из-за угла, на котором лежит рукопись. Усмехнувшись, говорит:

— Господи, как мне всё это знакомо.

В открытом окне появляется лицо Екатерины Павловны.

Горький оборачивается.

— Ты чего, Катя?

— Гремит, а я Максимку укачиваю.

Она закрывает окно.

Горький закашлялся. Вынул платок, вытер рот. И, перехватив испуганный взгляд Шаляпина, говорит:

— Ничего, Федя.

Горький показывает шрам на груди.

— Я ведь тоже стрелялся... По глупости, самозарядным пистолетом стрелялся...

Шаляпин мрачно:

— Это почему?

Горький с горечью:

— Не находил смысла продолжать жить. Столько было лжи и тяжести кругом...

Слышен голос Екатерины Павловны, которая укачивает Максимку, напевает колыбельную песню.

Горький улыбается:

— А вот потом, когда пришли ко мне в больницу друзья, один из них сказал с укоризной: «А ведь писателем хочешь быть...»

Шаляпин слушает. Голос Горького:

— ...Стреляться задумал, посоветовался бы.

Горький продолжает:

— И веришь, Фёдор, жить захотелось так, как и теперь не хочется.

Горький, желая переменить разговор, шутливо говорит, снова садясь за стол:

— Ну, извини, Фёдор, перебил я тебя, продолжай, рассказывай.

Раскатистый удар грома.

Шаляпин снова у витрины оружейного магазина. Вздрагивает.

И вдруг — две маленькие женские ладони сзади закрывают ему глаза, звонкий и весёлый голос радостно восклицает:

— Феденька, узнаёшь?!

Шаляпин резко оборачивается. Перед ним стоит Маша Шульц.

— Маша?! — тихо и недоверчиво произносит Шаляпин. — Господи, откуда ты?

— Ой, я давно здесь! — тараторит Маша. — Полгода уже, наверное... После Самарского плохо было, а сейчас ничего... Я тут в «Аркадии» работаю... Ну, такое заведение увеселительное... Я там в хоре пою.

— В хоре? — переспрашивает Шаляпин. — Слушай, Маша, а мужчины им не нужны?

Маша, отступив назад и оглядев с ног до головы Шаляпина, как-то странно говорит:

— Нет, Феденька, нет, миленький, — мужчины им не нужны!

Она громко смеётся, но смех этот совсем не весёлый, близкий к слезам.

— Ты что? — пугается Шаляпин.

Она машет рукой.

— Ничего... Пустяки... Ты где живешь?

Шаляпин неопределенно пожимает плечами.

— Так... Где придется...

— Живи у меня! — небрежно предлагает Маша. — Хочешь?

Шаляпин мнётся.

— Ну, это как-то... не... неудобно!

— Чепуха! — говорит Маша и решительно берёт Шаляпина под руку. — Какое там ещё неудобство! Ты будешь раздеваться — я отвернусь, я буду раздеваться — ты отвернешься!..

Маленькая подвальная комната с узким, забранным решёткой оконцем.

Маша, собираясь на работу, прихорашивается перед разбитым зеркалом, а Шаляпин в деревянной кадке стирает рубашку и громовым голосом распевает какие-то вокализы.

...Во дворе многочисленные обитатели дома прислушиваются к этим руладам, неодобрительно покачивают головами, а свирепого вида бородатый человек грозит большим волосатым кулаком в зарешеченное оконце.



...Маша, закончив туалет, достаёт из-под подушки сумочку, бросает на стол мелочь.

— Сбегай, Феденька, хлеба купи... Попью с тобой чайку, да и на работу!

— Слушаюсь, ваше сиятельство! — весело гаркает Шаляпин.

Шаляпин, помахав плетеной корзинкой, выбегает во двор.

Головы всех жильцов поворачиваются к нему, а бородатый, держа на цепи косматую собаку, командует:

— Гектор, возьми его, дьявола! Пиль, Гектор! Куси его, шарлатана!..

Собака громко лает.

Шаляпин умоляющими глазами смотрит на собаку и вдруг, решившись, бешеным аллюром выбегает за ворота.

Бородатый злобно смеётся.

...Вечер. В неярком свете керосиновой лампы Шаляпин развешивает в подвальной комнатке на верёвке, протянутой от стены к оконцу, выстиранное бельё.

Сначала он делает это молча, а потом, забывшись, снова начинает петь. Он поёт все громче и громче и даже не слышит осторожного стука в дверь.

Стук повторяется.

Шаляпин испуганно умолкает, негромко говорит:

— Пожалуйста...

В комнату входит невысокого роста пожилой человек в чёрном пальто и чёрной шляпе, произносит с певучим нежным акцентом:

— Здравствуйте! Это кто здесь поёт?

— Извините, — виновато бормочет Шаляпин. — Я... я больше не буду!

— Почему не будете? — удивляется незнакомец. — Я бы сказал, что надо как раз наоборот... Вы где-нибудь учились петь? Я имею в виду по-настоящему, по-серьёзному?

— Нет! — всё больше удивляясь, отвечает Шаляпин.

— Тогда так... Мне Самарский о вас говорил.

Незнакомец, присев к столу, вытаскивает из кармана пальто листок бумаги и карандаш, пишет несколько слов и протягивает записку Шаляпину.

— Вы пойдёте по этому адресу... Спросите господина Усатова и скажете ему, что вы хотите учиться петь... Ну, и на всякий случай — передайте ему же записку!.. Как вас зовут?

— Фёдор... Шаляпин...

Незнакомец встаёт, кивает.

— Ну, что ж, в конце концов, не такая уж плохая фамилия! От вас будет зависеть, чтоб она стала совсем хорошей! До свидания, я думаю, мы ещё встретимся!..

Незнакомец уходит.

Шляпин растерянно ходит из угла в угол. Затем буйно запел. Это и гаммы и концовки арий. Затем слышно:

Пойду к Уса-а-тову, Усатову, Усатову!  
Во-ло-са-то-му... Но-са-то-му... Усатому...

Во дворе стало тихо. Соседи насторожились. Вдруг бородатый, подтянув собаку к себе, освобождает её от цепи.

Шляпин идёт по двору. Бородатый наклоняется к собаке.

— Гектор, возьми его, дьявола, пиль, Гектор! Куси его, шарлатана!

Собака, не торопясь, направляется к Шляпину, грозно рыча. Шляпин прижимается к стене, умоляюще глядя на собаку, а бородатый зычно кричит:

— В дьяконá бы тебя, чёртов сын, а ты тут жить мешаешь всем, сволочь настоящая!

Шляпин испуганно перемахнул через забор.

Все смеются. Собака грозно рычит.

Звонок. Шляпин стоит перед дверью квартиры Усатова. В дверях табличка: «Профессор пения Усатов, бывший артист императорских театров». Дверь открывается. Он входит, испуганно отступает. Навстречу бросается стая мопсов, окружают его. Он, тревожно оглядываясь, вертится около псов.

Входит Усатов. Он низкого роста, закрученные усы, строгий взгляд.

— Вам что угодно?

Шляпин нерешительно:

— Я... мне... говорили... вот... Я... хочу учиться... Петь учиться...

Усатов так же строго:

— Ну что ж, давайте покричим!

Он поворачивается, жестом руки приглашая Шляпина следовать за ним.

Они входят в зал. Усатов садится за рояль. Проиграл арпеджио. Шляпин повторяет несколько арпедий.

Усатов, не поворачиваясь:

— Так. А не поёте ли вы что-нибудь оперное?

— Арию Валентина.

— Давайте.

Усатов аккомпанирует.

Шаляпин запел.

Взяв высокую ноту, он держит фермату. Усатов перестаёт играть, разворачивается, сильно тыкая певца в бок. Тот только икнул согнувшись. Он испуганно смотрит на Усатова, затем спрашивает:

— Что же... Можно... мне учиться петь?

Усатов внимательно смотрит на здоровенного Шаляпина.

— Должно!

Шаляпин смущённо:

— Да... Да... но денег у меня... за учение... Я...

Усатов выслушал, затем, улыбаясь, строго сказал:

— Денег за учение я не возьму у вас!

Шаляпин, поражённый, смотрит на Усатова, голос которого доносится, как благовест.

— Я напишу письмо с просьбою принять вас на работу. Доброму меценату...

Аптека.

Пожилой аптекарь — это тот самый незнакомец, который посылал Шаляпина к Усатову, — улыбаясь, говорит:

— Вот видите, господин Шаляпин... Я же вам сказал, что мы ещё встретимся... Сначала я вас послал к Усатову, теперь Усатов прислал вас ко мне...

— Он сказал... Он сказал, что, может, у вас какая-нибудь работа... — запинаясь, произносит Шаляпин.

— Работа? — усмехается аптекарь. — Вы языки знаете?

— Малороссийский.

— Не годится. А латынь?

— Нет... Но если надо — я могу изучить...

Аптекарь машет рукой.

— Глупости, одним словом, господин Шаляпин, вы будете получать жалованье — десять рублей в месяц...

Он протягивает Шаляпину две ассигнации.

— Вот вам за два вперёд...

— А что нужно делать? — удивляется Шаляпин.

— Ничего! — снова усмехается аптекарь. — Нужно учиться петь и получать от меня за это по десять рублей в месяц... Но петь нужно учиться хорошо!

Во весь голос поёт упражнения Шаляпин.

Усатов аккомпанирует.

Ещё несколько учеников сидят в стороне, дожидаясь своей очереди.

Шаляпин поёт с увлечением, но Усатов почему-то морщится, крутит носом, а потом, перестав аккомпанировать, жестом подзывает к себе Шаляпина.

— Да? — спрашивает Шаляпин.

Усатов, помолчав, говорит:

— Хорошо...

Затем, оглядев обшарпанного певца:

— Послушайте, Шаляпин, от вас, голубчик, очень дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать!

Шаляпин вот-вот заплачет:

— Я... Я в баню хожу часто... И рубаху стираю часто... Она у меня одна... И на лампе сушу, чтобы стребить... э-э...

Усатов успокаивает:

— Жена моя даст вам белья и носков — приведите себя в порядок!

Шаляпин, еле сдерживая слёзы, бормочет:

— Я... Я... благодарю... Да... да...

По улицам Тифлиса шагает приодетый Шаляпин.

Он проходит мимо какого-то духана, откуда доносятся музыка, смех, возгласы, звон посуды.

Шаляпин хочет уже пройти мимо, как вдруг его останавливает чей-то знакомый женский голос, выкрикивающий:

— Асса, асса, асса!

Шаляпин, помедлив, входит в духан.

Сдвинув вместе несколько столов, гуляет развесёлая компания — и Маша, пьяненькая, жалкая, под крики и гогот пляшет на столах лезгинку.

— Маша! — негромко окликает её Шаляпин.

Маша смотрит на Шаляпина, злобно смеётся.

— А-а, миленький мой пришёл, нахлебничек! Зачем пожаловал?!

— Маша, — просит Шаляпин. — Пойдём домой!

Толстый грузин с глазами навывкате грозно приподнимается навстречу Шаляпину, спрашивает:

— Почему танцевать мешаешь?! Кто такой?!

— Пойдём домой, Маша! — повторяет Шаляпин, пытаясь схватить Машу за руку.

Маша вырывается, кричит:

— Убирайся ко всем чертям, голоштанник! Нищий! Нахлебник! Живёшь с бабой, так платить надо! За три месяца хоть бы душков купил... Пошёл вон, голоштанник!

Маша, покачнувшись, швыряет в лицо Шаляпину пригоршню мелких монет.

Катятся по полу монеты, подпрыгивают и звенят.

Ночь.

Шаляпин одиноко сидит на скамейке над шумной, бурной Курой. На коленях у Шаляпина узелок со всем его нехитрым имуществом.

Шумит Кура.

Голос Горького:

— Забавно, что и я в ту пору по ночам слушал, как шумит Кура. Меня тогда тифлиские власти упрятали в тюрьму — в Метехский замок за антиправительственную пропаганду... Удивительно, Фёдор, что по одним кругам ада вела нас жизнь...

Голос Шаляпина:

— Да, очень мне горько было в ту ночь, Максимыч... А наутро надо было, как всегда, идти на урок...

...Шаляпин поёт вокализы.

Усатов, крикнув, выскакивает из-за рояля, хватая дирижёрскую палочку, тычет ею Шаляпина в грудь.

— Опирайте, дьявол вас заешь! Опирайте... Звук на дыхание опирайте! Всё сначала!

Шаляпин скашивает глаза на ноты, стоящие на пюпитре рояля.

Но Усатов, заметив это, закрывает ноты рукой.

Шаляпин растерянно молчит.

Тогда Усатов снова подбегает к нему, бьёт дирижёрской палочкой по плечам, по голове, кричит:

— Лодырь, лодырь, урока не знаешь... Лодырь, лентяй!..

Шаляпин удирает от Усатова за рояль. Усатов пробует его настигнуть, но не может — не позволяет живот. Он швыряет в Шаляпина нотами.

— Вылезай, чёрт проклятый! Вылезай, я тебя понял!

Шаляпин вылезает. Усатов с наслаждением колотит его дирижёрской палочкой, приговаривая:

— Учиться надо, учиться надо, трудиться надо, трудиться надо...

Шаляпин улыбается. Усатов удивлён.

— Ты чего смеёшься, лодырь?

— Вспомнил, как учителя в школе били.

— Мало, значит, били...

Шаляпин смеётся.

— Ну, нет... Много били... И не так, как вы... А знаете, как?..

Усатов смущённо смотрит на ученика, а тот ехидно спрашивает:

— А знаете вы, как «рябчика щипать»?

— Какого рябчика?

Он показывает смущённому Усатову.

— Берут большим и указательным пальцами клок волос на затылке и, крепко сжав...

Вытянутая рука учителя. Аппарат отъезжает, открывая класс.

Учитель медленно подходит к Феде. Большим и указательным пальцами берёт клок волос на его затылке и с силой дёргает снизу вверх. Федя от боли взвыл, Федя убегает.

Дома его встречает отец. Он пьян.

Мрачно спрашивает:

— Чего прибёг, скважина?

Федя испуганно:

— Не пойду я больше в училище... Там бьют.

Отец схватил Федю за шиворот:

— Животина сварливая, скважина!..

Мать прижалась от страха в угол. Отец кричит:

— Ни черта не выйдет из тебя, скважина проклятая. К сапожнику пойдёшь... Научишься шить сапоги — человеком будешь... Деньги заработаешь...

Федя лежит в углу, вытирая с лица кровь.

Голос отца:

— ...И нам от тебя помощь!.. Поведёшь его, мать... к крёстному.

Мать, вздыхая, говорит:

— Смотри, сынок, работай, не ленись... Люди-то добрые... А ты добро не забывай...

И сразу сильная рука бьёт Федю по затылку.

— Экий болван!..

Крики:

— Федька!

Федя сучит дратву. Мастер лупит его по затылку.

— Олух небесный...

Бежит Федя, несёт колодки, отдаёт другому мастеру. Тот стукнул колодкой по рукам.

— Федька, свиное рыло...

Федя бежит. Передаёт мастеру шкалик водки. Роняет бутылку. Его бьют. Крики:

— Федька, болван стоеросовый...

Федька сидит за столиком, набивает набойки на стоптанный каблук. Смотрит хозяин, стучает подошвой по шее.

— Работай, лентяй...

Крики:

— Федька!

Федя моет полы.

— Федька! Федька!..

Федька чистит самовар. Стукают по затылку.

— Федька! Федька!..

Общая миска. Вокруг на полу сидят мастеровые. Хлюпают пустые щи. Все торопятся. Выхлебали жижу. Куски мяса на дне. Мастер ударяет по краю миски, давая знак, что можно таскать мясо.

Федя быстро вытаскивает кусок, быстро жуёт. Торопится захватить другой. Мастер постарше бьёт его ложкой по лбу.

— Не торопись, стерва...

Голос Шаляпина:

— Вот как били!

На столе миска с бульоном, в котором плавает крутое яйцо. Рука с ложкой старается раздавить яйцо. Яйцо выскакивает на скатерть. Аппарат отъезжает, открывая обеденный стол, за которым сидят Усатов, жена его и Шаляпин. Шаляпин смущённо хватается руками яйцо и кладёт в тарелку.

Усатов, мило улыбаясь, рекомендует:

— Не торопитесь... И не надо шмыгать носом во время обеда.

Шаляпин накладывает ножом кусок мяса.

Усатов ласково:

— Если вы будете есть с ножа, вы разрежете себе рот до ушей. А вам ведь петь надлежит.

Шаляпин очень смущён. Усатов успокаивающе:

— Я договорился... Вы будете выступать в концертах любительского кружка... А потом мы с вами разучим несколько оперных арий и вам будет дан бенефис!

Бенефис Шаляпина.

Маленький зал любительского кружка набит битком.

На сцене под рояль Шаляпин исполняет отрывок из «Фауста». Он в «классическом» провинциальном костюме Мефистофеля — в шляпе с пером, в коротком плаще и чёрном трико. На веки наклеена фольга, которая должна изображать горящий «адским пламенем» взгляд.

Когда Шаляпин кончает петь, в зале раздаются бурные аплодисменты.

Особенно усердствуют Усатов с женой и пожилой аптекарь.

Шаляпин кланяется.

Служитель выносит на сцену корзину цветов и венка. На ленте венка написано «Шаляпину» — поверх плохо вытравленного слова «Усатову»...

Помаргивают далеко внизу огни Тифлиса.

У парапета горы Мтацминды стоят Шаляпин и Усатов.

— Теперь вам, Феденька, надо дальше! — говорит Усатов. — Всё, что вы могли взять у меня, вы взяли. Теперь вам надо в Москву, в Петербург. Искать новое — новых людей, новые знания. Я напишу вам письмо... Может быть, они — там — ещё помнят меня...

Голос Шаляпина:

— И я уехал в Москву, в Петербург... Попал на сцену Мариинского театра. Но что-то не встречалось мне то новое, о котором говорил Усатов... Чего ищешь, говорили мне. Перестань чудить... Послушанием до большего дослужишься... И я с радостью принял предложение в отпуск поехать на летний сезон в Нижний Новгород, где была тогда всероссийская выставка, и поработать в частной опере Саввы Ивановича Мамонтова.

Шаляпин стоит на откосе, сложив на груди руки, широко расставив длинные ноги. Внезапно поднявшийся ветер вздувает надо лбом золотистую прядку волос. А внизу — беспредельная волжская даль с теньями проплывающих облаков, с голосами пароходов, с мигающими огоньками бакенов.

Откуда-то издалека доносятся ровный непрекращающийся гул, обрывки весёлой музыки — это всё ещё, несмотря на вечерний час, никак не может уgomониться нижегородская всероссийская выставка.

Константин Коровин — коренастый, с короткоподстриженной бородкой — зябко ёжится в своём лёгком пальтишке, искоса снизу вверх поглядывая на Шаляпина.

— Хорошо! — шумно выдохнув воздух, произносит наконец Шаляпин. — За все эти нелепые, суматошные, трудные годы я просто забыл, до чего же это хорошо — Волга!

— Вам в театр ещё не пора? — осторожно напоминает Коровин.

Шаляпин беспечно отмахивается.

— Успеется!

— Да, кстати... сегодня мне передали, что Мамонтов Савва Иванович очень просил господина Шаляпина Фёдора, — Коровин отвешивает Шаляпину шутливый цере-



монный поклон, — и господина Константина Коровина прибыть завтра утром к девяти часам на вокзал!..

— А зачем?

Коровин усмехается.

— Кажется, кого-то встречать. Фёдор, вы опоздаете в театр!

— Погодите! — сердито обрывает Шалапин. И вдруг, переходя с Коровиным на «ты», говорит: — Чёрт тебя подери, Константин, ты же художник, ты взглядишь только, ты почувствуй — силища-то какая!.. Ах, люблю я Волгу! И народ здесь особый, не сквалыжники... Широкий народ, щедрый...

С реки почти так же протяжно отвечает Шалапину хриплый пароходный гудок.

Утро.

У входа в вокзал вытянулись цепочкой вдоль тротуара сверкающие лаком извозчицы пролётки.

На перроне стоит оживленная и нарядная группа встречающих.

Здесь и Шалапин, и Коровин, а в центре — плотный, уже не очень молодой человек с монгольским разрезом глаз — Савва Иванович Мамонтов. Огорчённо посмеиваясь, продолжает рассказывать:

— ...Ну, я и плюнул! Им же ничего не докажешь, этим господам — устроителям выставки... Для них Россия — это пенька и дёготь, а Врубель и уж тем более Левитан — это для них не Россия... И я решил: просто свой павильон, на манер парижского салона отверженных... Слава Богу, есть уже опыт Мане, Дега, Писсаро, Гогена...

Шалапин, заскучав от обилия незнакомых ему имён, легонько, стараясь остаться незамеченным, отодвигается в сторону.

Но Мамонтов замечает. Подходит к Шалапину, берёт его под руку, говорит:

— Слушал вас вчера в «Жизни за царя», Фёдор Иванович... Превосходно, знаете ли, просто превосходно!.. Одно лишь, если позволите, маленькое замечание...

— Да? — насторожился Шалапин.

— Сусанин — мужик, хлебороб, труженик. И руки у него должны быть трудовые, мужицкие... Вы подумайте об этом, голубчик...

Гудок приближающегося поезда.

На перроне появляются усатые городовые, несколько степенных носильщиков, дамы и господа с цветами.

Шаляпин, у которого от этой атмосферы общего ожидания начинают блестеть глаза и раздуваться ноздри, возбуждённо спрашивает:

— Савва Иванович, извините... А кого всё-таки мы встречаем?

— Итальянцев! — коротко отвечает Мамонтов. — Балет! Поезд подходит.

Встречающие, и Шаляпин вместе со всеми, бегут вдоль состава, заглядывают в окна вагонов.

Вот наконец и вагон с итальянцами.

Как из ящика фокусника, вываливаются они на перрон — горластые, смуглые, отчаянно жестикулирующие, с чадами и домочадцами. Начинаются такой галдёж и такая толчея, что даже невозмутимый городской на всякий случай подносит к губам свисток.

— Чего это они? — почти с испугом спрашивает Шаляпин у Коровина. — На что они сердятся?

Коровин смеётся.

— А они не сердятся.

— А что?

— Они — итальянцы!..

Мамонтов, пытаясь хоть немножко утихомирить страсти, произносит по-французски несколько приветственных слов.

Но его никто не слушает. Все продолжают кричать, шуметь, хохотать, размахивать руками; залиvisto и отчаянно режут малыши.

И тогда Шаляпин, рванувшись вперёд, тоже начинает хохотать, размахивать руками, врывается в толпу итальянцев и кричит во всю мощь своего необыкновенного голоса:

— Э-ге-ге-ге!.. Тихо!

Итальянцы, поражённые, невольно умолкают.

Какая-то матрона, прижимая к груди разом притихшего малыша, произносит тоном почтительного восхищения:

— Иль бассо!

— Иль бассо! Иль бассо! — присоединяются к ней и другие.

— Бассо, точно! — подтверждает Шаляпин и, вытянув руку по направлению к выходу, снова кричит: — Сюда, братцы... Аванти!

— Аванти!.. Аванти!..

Мамонтов, воспользовавшись замешательством, которое вызвал Шаляпин, кивает, посмеиваясь, носильщикам.

Носильщики мгновенно подхватывают с перрона вещи итальянцев, идут к выходу.

Мамонтов, Коровин и ещё несколько человек из труппы помогают им.

Итальянцы тянутся следом.

Шаляпин озирается. Чуть в стороне, с видом окончательно потерянным, стоят две девушки — высокая, светловолосая и маленькая, худенькая, с черной головкой, смуглым личиком и печальными большими глазами.

Шаляпин решительными шагами подходит к девушкам, спрашивает:

— Парла итальяно?

— Си, си! — оживляются девушки.

Но на этом вопросе познания Шаляпина в итальянском языке кончаются.

Он тычет себя пятернёй в грудь.

— Иль бассо — Федя!

Девушки отвечают:

— Иола!

— Антоньета!

Шаляпин смеётся и, к полному ужасу девушек, растёгивает пиджак, снимает с себя брючный ремень и необыкновенно умело и ловко, сделав из ремня грузчицкую петлю, стягивает вещи девушек в один узел, взваливает этот узел себе на спину и, крикнув для порядка, весело подмигивает девушкам.

— Аванти!.. Добро пожаловать, синьорины, в Нижний Новгород! Аллегро модерато!..

Сразу возникает музыка.

На сцене итальянский балет репетирует краковяк.

В зале сидят русские артисты и с интересом наблюдают за итальянцами.

Шаляпин — весь внимание. Коровин иронически поглядывает на него.

На авансцене появляются Иола и Антоньета. Они танцуют весело, темпераментно.

Шаляпин ничего не видит, кроме Иолы. Внезапно танцующие расходятся с музыкой. Дирижёр сердито стучит палочкой по пюпитру.

Оркестр перестаёт играть.

Танцующие останавливаются.

Коровин зловеще шепчет на ухо Шаляпину:

— Скан-дал!..

Шаляпин некоторое время смотрит на Коровина. На весь зал вдруг раздаётся его мощный хохот.

На сцене все оглядываются на хохочущего Шаляпина. Неловкая пауза. И вдруг на первый план резко выходит Антоньета и, глядя на Шаляпина, сквозь зубы шипит:

— Кретино!..

Шаляпин перестаёт смеяться, смущённо спрашивает:

— Кто кретин?

Антоньета зло показывает пальцем на Шаляпина и кричит:

— Вуа... Иль бассо!.. Кретино!!!

Растерянный Шаляпин недоумённо смотрит на Коровина, который еле сдерживает смех. В это время начинает играть оркестр. Репетиция продолжается.

К Шаляпину подходит Исай Дворищин, тихо говорит:

— Пора на грим...

Шаляпин поднимается. Он проходит за кулисами, смущённо шепча про себя:

— Кретино...

Входит в уборную, садится за гримировальный стол и, глядя в зеркало, напевает:

— Бонджорно, синьоро, кретино... Кре... ти... но!

Торжественное, наполненное трагической силой и величием музыкальное вступление.

Глухой зимний лес.

Иван Сусанин — в большом и широком коричневом армяке поверх толстого чёрного тулупа, в тёмных валенках, с высоким самодельным посохом в одной руке и с меховой шапкой в другой — поёт:

Ох, горький час, ох, страшный час!  
Господь, меня ты подкрепи!..

Необычайная напряженная тишина в переполненном зрительном зале.

Иола и Антоньета, сидящие на приставных стульях, широко раскрытыми, полными слёз глазами смотрят на сцену. Сусанин устало опускается на занесённый снегом пенёк, дрожит сжимающая посох стариковская рука.

Горестно звучат слова:

Ах ты, бурная ночь, ты меня истомила!..  
Ох ты, дикая глушь, ты меня поглотила...  
Ах ты, лютая смерть, ты впилась  
В мое сердце!..

...Опера кончается. Медленно падает занавес.

Дирижёр, седовласый Труффи, с лёгким стуком опускает на пюпитр дирижёрскую палочку. Занавес, дрогнув, идёт вверх.

Но ещё продолжается тишина. А потом разом зрительный зал обрушивается шквалом неистовых аплодисментов, возгласов:

— Bravo!.. Бис, bravo!..

...И такая же приподнятая, правдивая атмосфера царит за кулисами. Шум, смех, оживлённые разговоры.

Труффи, в расстёгнутой манишке и болтающемся галстуке, прижав куда-то в угол Коровина, кричит ему в самое ухо:

— Этот чёрт Иванович — таланта огромная... Она всегда меняет, и всегда хорошо — другая дирижёр палочка бросит и уйдет... А я люблю, я понимаю, какая это артист... Но я так устаю... Я дирижирую — и сама плачу, сама восхищаюсь... Он чувствует музыка, знает, что хотел композитор... Но я очень устаю... Такая великая артист — надо внимание и внимание...

Взволнованные, с ещё заплаканными глазами, подбегают к Труффи Иола и Антоньета. Кланяются. Спрашивают о чём-то по-итальянски.

Труффи, отчаянно жестикулируя, отвечает им, а когда девушки, поблагодарив, убегают, он оборачивается к Коровину, весело фыркает.

— Они спросили — где уборная эта старика Сусанин... Я им сказал... Я им только не сказал, что этот старика — двадцать два года!..

Уборная Шаляпина.

Шаляпин — он всё ещё в костюме и гриме Сусанина, сидит в кресле. Он тяжело дышит, длинные ноги вытянуты, голова чуть откинута назад.

Мамонтов, заложив руки за спину, мелкими частыми шажками ходит из угла в угол, взволнованно говорит:

— Не знаю, как вы это сделали, Феденька, но вы сделали... Теперь я верю всему — да, это старик, хлебороб, труженик... Это Сусанин!..

Мамонтов останавливается перед Шаляпиным.

— Вот что... Не люблю я всяких дипломатических тонкостей... Я попросту... Переходи, Феденька, ко мне — в Москву, в частную оперу! А?!

— К вам?!

Глаза Шаляпина, радостно вспыхнув, тут же гаснут.

— Но ведь я же на императорской сцене, Савва Иванович, если я уйду, они с меня неустойку сдерут...

— А много ли неустойки?

Шаляпин не успевает ответить.

В уборную влетают Иола и Антоньета. Даже не заметив Мамонтова, они бросаются к Шаляпину, что-то говоря ему — быстро, громко и восторженно.

Говорят они, естественно, по-итальянски, и в этом потоке восклицаний и охов разобраться почти невысказано. Можно только понять, что девушки благодарят «падра Сусанина» и называют его гением.

— Жени... Жени... — несколько раз повторяют они.

— Спасибо, деточки! Спасибо, родимые! — уже совсем шамкающим, старческим голосом произносит Шаляпин, обнимает девушек, целует каждую долго и смачно. Потом он встаёт, выпрямляет сгорбленную спину, вытягивается во весь свой могучий рост и двумя короткими резкими движениями снимает с головы парик и срывает бороду. — Грация, синьорины! — смеётся он.

Девушки в полном недоумении пятятся от Шаляпина.

— Иль бассо?!

Окончательно переконфуженные, как-то по-птичьему вскрикнув, Иола и Антоньета убегают.

— Эй, синьорины, стоп!.. Модерато, синьорины, ларго! — взывает им вдогонку Шаляпин и, взглядом попросив извинения у Мамонтова, размахивая на ходу бородою и париком, устремляется следом за девушками.

Всероссийская выставка.

Салон живописи. Это официальный салон. Народу здесь сравнительно немного, и Мамонтов с Шаляпиным вполне беспрепятственно переходят от одной академически прилизанной картины к другой.

Впрочем, Мамонтов смотрит не столько на картины, сколько на Шаляпина — смотрит с откровенным интересом.

А Шаляпину тут всё нравится.

Разглядывая картины, он шумно и откровенно выражает свой восторг:

— Ловко, чёрт побери!.. Ишь — пущено!.. Ну, прямо как в жизни!..

Особенное восхищение вызывает в нём картина, на которой изображены сидящие на скамейке девушка в белом кисейном платье и франтоватый молодой человек.

Шаляпин даже открывает рот от изумления и зависти.

— Вот это красота!

— Нравится? — иронически спрашивает Мамонтов.

— Очень!

— А что же, Фёдор Иванович, вам нравится в этой картине?

Шаляпин, подумав, серьёзно отвечает:

— Штаны... Превосходные на этом молодце штаны... Я себе, Савва Иванович, непременно такие же закажу!..

Мамонтов, издав горлом какой-то булькающий звук, начинает трястись от беззвучного хохота.

Потом по своей всегдашней привычке он берёт Шаляпина под руку, решительно говорит:

— Идёмте сюда... Идёмте в мой павильон — в «Салон отверженных»!

...Они стоят в тесном бараке, на стенах которого как бы наклеены две огромные картины, одна против другой.

Это работы Врубеля «Микула Селянинович» и «Принцесса Грёза».

И опять со внимательным, изучающим любопытством Мамонтов наблюдает за Шаляпиным, а Шаляпин хмурится, недоумённо помаргивает белёсыми ресницами.

Он смотрит то на «Микулу», то на «Принцессу Грёзу», оборачивается к Мамонтову и со смущённой улыбкой признаётся:

— Не пойму я чего-то... Вы говорите, что это хорошо?

— Очень хорошо!

И теперь уже Шаляпин, как несколько минут тому назад Мамонтов, решительно спрашивает:

— А почему это хорошо? Чем?

Но Мамонтов вместо ответа усмехается, треплет Шаляпина по плечу.

— Ах, Феденька, Феденька! Какой вы ещё мальчик, как много вам предстоит узнать и понять... И какое это, между прочим, счастье — узнавать и понимать... Это ведь только обыватель думает, что он отродясь умеет всё — смотреть картины, слушать музыку, читать стихи...

...Они выходят из барака «Салона отверженных» на белый свет — и на них сразу же обрушиваются многозвучный, многоголосый, многоязычный гомон и шум выставки.

Шаляпин и Мамонтов с трудом протискиваются в густой толпе, теряют друг друга, находят на мгновение и снова теряют.

Взлетают в голубое небо гигантские качели; кружится под музыку карусель.

— Здесь я, Фёдор Иванович, здесь! — зовёт Мамонтов.

Но Шаляпин смотрит совсем в другую сторону.

В толпе он замечает две головы — светлую и тёмную. Это Иола и Антоньета. Позабыв обо всём на свете, ожес-

точённо работая локтями, Шаляпин начинает продираться сквозь толпу к девушкам. Его толкают со всех сторон, на него шипят:

— Эй, малый, верста коломенская, ты полегче! А то...

Но Шаляпин, не обращая ни на кого внимания, всё продолжает проталкиваться к девушкам, кричит ещё издали:

— Синьорины, здравствуйте... Бон джуорно!..

Иола и Антоньета оборачиваются. Пошарив глазами в толпе, замечают Шаляпина.

Иола испуганно:

— Иль бассо!.. О-о, бон джуорно, иль бассо!..

...И вот они втроём на гигантских качелях — с одной стороны Шаляпин, а с другой Иола и Антоньета.

Всё выше и выше, вцепившись в верёвки, только попискивают от страха, а Шаляпин жмурится и озорно кричит, заглушая свист ветра:

— Престо, престо... Аллегро виваче, синьорины!.. Эх, раз — взяли, ещё раз — взяли... Престо, престо!..

...А потом, ещё разгорячённые, они идут по выставке, по торговым рядам, мимо лотков, на которые горою вывалены всевозможные товары и снедь, посасывают леденцы — петушков на палочке, что-то оживлённо говорят — Шаляпин по-русски, девушки по-итальянски — и не понимают друг друга, и смеются.

— Стоп! — неожиданно командует Шаляпин.

Они останавливаются возле ларька, торгующего писчебумажными товарами.

Шаляпин покупает две изящные записные книжечки в сафьяновых переплётках, с золотыми карандашиками, протягивает Иоле и Антоньете.

— Презент... Сувенир — прошу!

— О, о, грация, грация! — благодарят девушки.

Шаляпин, подумав, пишет в каждой книжечке на первой странице крупными латинскими буквами:

«Добрый день, Феденька!»

Он возвращает книжечки девушкам, наставительно говорит:

— Заучить!.. Репете. Ясно?!

Иола и Антоньета, шевеля губами, безуспешно пытаются прочесть написанное.

Вечером перед началом спектакля он сталкивается в дверях театра с Коровиным.

— Пропадающая душа! — тычет Шаляпину кулаком в бок Коровин. — Не приходишь, не появляешься... Ты зачем в театр? Сегодня же балет... Или у тебя репетиция?



— Нет... я, — смущённо мнётся Шаляпин, — я на балет... Посмотреть!

Коровин насмешливо улыбается.

— А-а! Всё ясно... Я ведь читал афишку... Партию голубой феи исполняет синьорина Иола Торнаги!..

— Да, синьорина Иола Торнаги! А что? — уже с вызовом смотрит Шаляпин на Коровина. — Может быть, она вам не нравится?!

Коровин, как-то странно хмыкнув, говорит негромко, серьёзно:

— Нравится... Она прелестна... Не нравится мне только одно, что она слишком нравится тебе!.. Но у итальянцев контракт на год. Через год они уедут... А ты? Что ты будешь делать? Поедешь за нею? Да ведь ты там сопьёшься, спятишь с тоски, ты без России не можешь...

Шаляпин стоит, опустив голову.

Загораются газовые фонари у входа в театр — и в их голубоватом, зыбком свете видно, как у Шаляпина дрожат губы.

— Извини меня, — тихо говорит Коровин.

Шаляпин молчит.

— Иль бассо!..

Из остановившейся пролётки спрыгивает на тротуар Антоньета, машет Шаляпину рукой.

— А где Иола? — встревоженно спрашивает Шаляпин.

— О, о, Иола!..

Антоньета закатывает глаза, прикладывает ладонь ко лбу и тут же, словно обжёгшись, отдёргивает ее, сокрушённо всплескивает руками. Шаляпин, диковато взглянув на Антоньету и Коровина, быстро и решительно, ни слова не говоря, прыгает на подножку пролётки, в которой приехала Антоньета, бросает сквозь зубы извозчику:

— «Мавританию» знаешь?.. Давай, во весь дух!..

Помаргивает, потрескивает свеча под стеклянным колпаком.

На маленьком столике у кровати стоят какие-то бутылочки и склянки с лекарствами.

Иола, закрыв глаза, лежит — разметались волосы по высоко взбитой подушке, полукроткрыты запёкшиеся губы, на лбу компресс. Тишина. Монотонно тикают на стене часы-ходики.

Шаляпин, сменив компресс, возвращается к прерванному занятию — умело и привычно орудуя шилом и дратвой, он зашивает порванные балетные туфельки Иолы.

Возникают в памяти давно, казалось бы, забытые голоса:

— Федька, дьявол, дратву сучи!

— Федька, стерва, шило куда задевал!

— Эй ты, олух царя небесного!

Иола внезапно открывает глаза, долго смотрит на Шаляпина, погружённого в свои мысли, тоненьким, слабым голосом окликает его:

— Иль бассо!..

Шаляпин вскакивает, роняя на пол шило и дратву, улыбается Иоле, подносит к её губам чашку с бульоном, нежно говорит:

— Пей, Ёлочка... Пей, милая моя... Всё будет хорошо, я знаю... Я попрошу Мамонтова, и он продлит твой контракт... Он должен понять... А теперь — спи! Спи, моя дорогая! Спи, маленькая!

Очень осторожно, мизинцем, Шаляпин трогает лоб Иолы и, видимо, убедившись, что жар спадает, удовлетворённо хмыкает:

— Спи, всё будет хорошо!

И опять тишина, тикают ходики, ровно и спокойно дышит Иола.

Бесшумно отворяется дверь, и входит усталая после спектакля Антоньета.

Шаляпин поднимается ей навстречу, кивает, объясняет на пальцах, что Иоле лучше и что, когда она проснётся, ей надо дать бульон.

Потом, с сожалением покосившись на часы и снова покивав Антоньете, он на цыпочках выходит из номера.

...И вот уже утро.

Первые лучи солнца пробиваются сквозь неплотно прикрытые шторы.

Иола просыпается.

Она обводит глазами комнату, видит лежащие на табурете аккуратно зачиненные балетные туфельки, спящую на диване Антоньету.

Иола вздыхает, ей хочется пить, но стакан пуст.

Тогда, откинув одеяло, Иола встаёт с постели, набрасывает на плечи халатик, снимает со стола чайник, идёт к дверям, берётся за ручку, дверь почему-то поддается с трудом, что-то снаружи мешает. Иола протискивается в коридор и замирает. Привалившись спиной к двери их номера, вытянув во всю ширину коридора длинные ноги, спит Шаляпин.

Иола смотрит на него, наклоняется, и, может быть, впервые в её печальных глазах появляется подобие улыбки.

И, точно почувствовав её взгляд, Шаляпин встряхивает головой, бормочет нечто невразумительное, поднимает на Иолу еще невидящие, заспанные глаза.

А Иола протягивает ему тонкую руку и со смешным акцентом тихо говорит:

— Добрым утром, Феденька!..

Театр. Идёт репетиция «Евгения Онегина».

В полутёмном зале небольшими группами сидят свои — актёры, не занятые в спектакле, музыканты, Мамонтов, Коровин.

В группе итальянцев — Антоньета и чуть похудевшая, но ставшая ещё красивее Иола.

Репетируется сцена бала.

Гремин—Шаляпин подводит Онегина к самой рампе, громко, глядя в зал, поёт:

Онегин, я клянусь на шпаге,  
Безумно я люблю Торнаги...

Раздаётся смех, шуточные аплодисменты, и головы всех сидящих в зале, как по команде, оборачиваются к Иоле.

Иола растерянно улыбается, что-то спрашивает у Антоньеты, но Антоньета, которая тоже ничего не поняла, только пожимает плечами.

Мамонтов, из соседнего ряда, обернувшись к Иоле, весело говорит ей:

— Поздравляю вас, Иолочка! Шаляпин сейчас публично объяснился вам в любви!..

И, глядя на вспыхнувшее лицо Иолы, он как бы мимоходом добавляет:

— Кстати, пожалуйста, зайдите ко мне завтра — я хотел бы с вами поговорить о продлении контракта!..

Шаляпин и Мамонтов идут по берегу Волги. Мамонтов говорит:

— Итак, Фёдор Иванович, жду вашего согласия. Переходите в мой театр.

Шаляпин разводит руками.

— Неустойка проклятая за два сезона.

Мамонтов, посмотрев на Шаляпина:

— Я дам вам семь тысяч двести рублей в год, а неустойку мы с вами делим пополам.

Шаляпин задумался.

— Решайте, Феденька! И помните, Феденька, можете делать в моём театре всё, что вы захотите!

И сразу же откуда-то издалека доносятся звуки оркестра, настраивающего инструменты.

Уборная Шаляпина. На стульях в беспорядке набросана всевозможная театральная одежда.

Шаляпин сидит за гримировальным столиком, смотрит на себя в зеркало, пробует грим. Он наклеивает себе на веки кусочки фольги, щурится, недовольно оттопыривает губы.

В дверь стучат, и слышен голос Мамонтова:

— Можно, Фёдор Иванович?

Входит Мамонтов, дружески улыбается Шаляпину, удивлённо спрашивает:

— Пробуете грим? Но ведь сегодня же только первая репетиция!..

Шаляпин пожимает плечами.

— Хочу найти что-то новое, да вот...

Мамонтов хмыкает:

— Вот что, Фёдор Иванович! В старинных сказках к новорожденному являлись с подарками добрые феи... В нашем театре — сегодня — вы тоже в некотором смысле новорожденный... И мы решили не отступать от сказочных правил...

Мамонтов приоткрывает дверь в коридор, зовёт:

— Валюня, пожалуйста!..

Входит Серов.

— Валюня Серов, — представляет Мамонтов. — Тоже, как уверяют некоторые, умеет малевать картинки!..

— В добрый час, Фёдор Иванович, — весело говорит Серов. — Мне рассказывал Костя Коровин, что вы и рисуете неплохо, и лепите. Приходите ко мне в мастерскую — поработаем вместе, костюмы поищем, грим...

С комком в горле и с подозрительно блестящими глазами только молча кивает Шаляпин.

Мамонтов открывает дверь.

— Михаил Александрович, прошу вас!..

Входит невысокий худощавый человек, в руках большая картонная папка.

Мамонтов весело представляет вошедшего:

— Знакомьтесь, Феденька! Это Михаил Александрович Врубель — великолепнейший художник и большой друг нашего театра.

— Здравствуйте, очень рад, — глуховато и сбивчиво говорит Врубель и крепко жмёт Шаляпину руку. — Я, ви-

дите ли... Я пытался тоже... Ну, я работал над Демоном... Вот тут...

Он кладёт на стол картонную папку.

— Здесь кое-какие эскизы... наброски... Если они вам пригодятся, я буду очень, очень рад...

Шалапин, глубоко взволнованный, молча кивает, а потом, отвернувшись, быстро отклеивает злополучную фольгу.

А Мамонтов продолжает, как фокусник, щелкнув пальцами:

— Эй, цвей, дрей! Сергей Васильевич, ваш выход!..

Он торжественно объявляет:

— Сергей Васильевич Рахманинов!..

Входит Рахманинов, сдержанный, подтянутый.

— Ну, и наконец...

Рахманинов улыбается...

— Мы уже знакомы, знакомы... — Чуть помедлив, он продолжает просто и дружелюбно: — Я вот о чём подумал, Фёдор Иванович... Репетиции репетициями, но если вы хотите, то по утрам мы можем с вами вдвоём позаниматься под рояль... Проверим и темпы, и тесситуру...

И тут же, словно спохватившись, что это предложение может показаться Шалапину обидным, он поспешно добавляет:

— Если вы захотите... Мне это, разумеется, нужнее, чем вам...

— Спасибо! — очень тихо говорит Шалапин и кусает губы. — Я... Мне... За всё это... За то, как вы сейчас... Если бы нужно повторить всё страшное, что было в моей жизни, я бы, не задумываясь...

Кажется, что он вот-вот заплачет, но тут на помощь приходит Мамонтов. Певучим речитативом он произносит:

— Ита-ак, мы начинаем!

Рахманинов за дирижёрским пультом. Поёт Шалапин. Затаив дыхание, слушает переполненный зрительный зал знаменитую арию:

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил...

Он поёт вдохновенно, словно обращаясь к друзьям, которые недавно были с ним.

Сидят среди зрителей Коровин, Врубель, Серов.

Горький и Мамонтов.

Шалапин кончает петь.

Молчание, а затем возникает овация.

Крики:

— Ша-ля-пин... Шаля-пин!..

Шаляпин склоняет голову.

Грохот аплодисментов и крики:

— Бра-во... Bravo!..

Аппарат наезжает на крупный план Шаляпина. Он смотрит на неистово аплодирующих.

Аппарат наезжает на лицо старой женщины.

Шаляпин прикрывает глаза.

И вот идёт он по улицам Самары, прижимая старую нищенку — мать. Она ему что-то говорит. Он ласково отвечает. Она плачет. Он успокаивает. Так идут они, сопровождаемые грохотом аплодисментов.

Аппарат наезжает на крупный план Шаляпина в театре. Он вскидывает голову, открыв глаза. Овация не прекращается.

Он смотрит в зал.

Аплодируют друзья.

Аплодирует Горький, как в начале фильма. И при наезде на крупный план слышен его голос в шквале аплодисментов:

— Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжёлая лапа жизни хорошо поцарапала ему шкуру — он не испортится.

## Вторая часть

### СЛАВА

Это — человечище, воплотивший в себе всё хорошее и талантливое нашего народа, а также многое дурное его. Человек, своими силами прошедший сквозь тернии и теснины жизни, чтобы гордо встать в ряд с лучшими людьми мира.

*М. Горький*

После вступительных титров, на фоне которых кончается музыкальное вступление, на сцене поёт Шаляпин. Он выступает в роли Грозного. Конец арии.

Публика неистово рукоплещет.

Шаляпин поклоном отвечает на возгласы публики. Занавес. Снова выход. Изнемождённый Шаляпин входит в артистическую уборную. Обессиленный, грохается в кресло.

Через кулисы пробирается небольшая группа, среди которой возбуждённый, гигантского сложения человек. Он кричит:

— Да покажите же, покажите его нам, ради Бога! Где он? Шаляпин встаёт.

В дверях стоит могучий человек с седой бородой, кричит:

— Ну, братец, удивили вы меня!

Шаляпин смущён.

Могучий человек продолжает возбуждённо:

— Здравствуйте. Я забыл вам даже «здравствуйте» сказать. Здравствуйте же. Давайте познакомимся! Я, видите ли, живу в Петербурге. Но и в Москве бываю, и за границей и, знаете ли, Петрова слышал, Мельникова и вообще, а таких чудес не видел. Вот спасибо вам! Спасибо!

Сзади стоит, смущённо улыбаясь, пришедший с могучим стариком мужчина. Старик продолжает, показывая на него:

— Вот мы, знаете ли, пришли, вдвоем пришли, вдвоем лучше, по-моему. Один и не могу выразить, а вдвоем...

он тоже Грозного работал. Это — Антокольский, слышал?! А я — Стасов Владимир.

Шаляпин восторженно смотрит на пришедших. Молчит.

Стасов возбуждённо:

— Да вы ещё совсем молоденький! Сколько вам лет, откуда вы? Рассказывайте!

Шаляпин, смущённо:

— Я исакиевской братии, бродяжнической...

Стасов растроганно целует Шаляпина. На глазах слёзы... Он всё время повторяет:

— Спасибо! Чудо! Чудо!..

Антокольский жмёт Шаляпину руку.

— Именно таким я видел Грозного, прекрасно!

Оглянувшись на улыбающегося Мамонтова, Стасов иронически спрашивает:

— Слыхал я, что директор Большого театра, полковник Теляковский, себе уже в Большой театр получить вас желает.

— Да.

— И много предлагает?

— Девять тысяч первый год, десять — второй, одиннадцать — третий.

— Да-а... Казённые театры — это Ваганьково кладбище. А что такое деньги? Сначала не бывает денег, а потом явятся. Деньги — дрянь! А Савва Мамонтов — молодец!

Мамонтов укоризненно качает головой.

Стасов, потрясая бородой, кричит, размахивая руками:

— Ах, как я рад! Русское искусство — это, батенька, рычаг, это, знаете, ого-го! На Ваганьковском, конечно, ничего не понимают! Там министерство и прочее. Но это ничего! Все люди — люди, и будут лучше. Это их назначение — быть лучше!

Мамонтов вынимает из жилетного кармана часы, незаметно показывает Стасову.

Стасов согласно качает головой.

— Ладно, ладно! Наговоримся ещё, будет время... А сейчас — дадим отдохнуть человеку!.. А завтра я за вами заеду — к Римскому-Корсакову привезу... У него — вечер... Прекраснейший человек — Николай-то Алексеевич... Я слыхал, вы на итальянке женаты?..

— Да.

— И прекрасно. И её возьмем. Скучать не будете, обещаю! У Римского хоть компания и почтенная, но... ста-



рость и молодость — не арифметические понятия, так определили мудрые!..

Снова взглянув на Шаляпина, он вдруг притягивает его за плечи к себе, тихо говорит:

— Спасибо! Радость вы мне подарили, голубчик! Великую радость, безмерную!..

Взрыв весёлого хохота.

Скромная квартира Римского-Корсакова.

Во главе стола рядом с хозяином и его женой сидит Стасов, а дальше, по кругу — Кюи, Блюменфельд, Рахманинов, Иола, Врубель, Антокольский и многие другие.

Шаляпин, переждав смех, продолжает рассказ, изображая комический персонаж и подражая голосу Дальского:

— Ну, я, естественно, принимаю величественную позу и начинаю — «Чуют правду». А Дальский меня тут же перебивает и спрашивает: — Ты чего орёшь? Ты с каланчи о пожаре сообщаем?! Или ты о правде поёшь?! О правде, вдумайся!.. И опера ваша — тьфу! Опера — это не театр... Театр — это когда Шекспира могут играть...

И, опять переждав смех, Шаляпин садится рядом с Иолой и, как бы смущённый всеобщим вниманием, просто говорит:

— Дальскому я очень многим обязан... Хотя... Ну, вот — насчёт Шекспира — это я с ним всё-таки не согласен!..

— И правильно, что не согласны! — мягко замечает Римский-Корсаков. — И Мусоргский это доказал... Ах, если бы он жил, сколько бы он ещё мог сделать!..

И словно тень проходит по лицам собравшихся — и тогда Стасов, чтобы разрядить обстановку, встаёт и начинает распоряжаться:

— Ну-с, только... А теперь надлежит опять квартет «Серенада четырёх кавалеров». Шаляпин — первый бас, Римский-Корсаков — второй, Блюменфельд — первый тенор, Цезарь Кюи — второй... У рояля — Сергей Васильевич Рахманинов!..

Все названные исполнители послушно поднимаются, становятся в ряд. Стасов даёт знак вступления.

Рахманинов играет.

Угрюмо поёт Римский-Корсаков:

— Ах, как я люблю вас!

Сладенько выводит Кюи:

— Ах, как я люблю вас!..

Гремит квартет:

— Ах, как мы любим вас.

Восторженно аплодируют гости, особенно буйно Стасов.

Заканчивает петь Шаляпин. Аппарат отъезжает.

У берега Волги горит костёр. На траве лежат Горький и Шаляпин, который возбуждённо говорит смеющемуся Горькому:

— Знаешь, Максимыч, мне казалось, что это вовсе не почтенная компания людей, известных всей культурной России, а студенческий вечер.

Горький задумчиво:

— Это прекрасно. Эти люди — гордость России, чистоты душевной. Они детское всю жизнь сохраняют.

Шаляпин возбуждённо:

— Мне казалось, что все эти прекрасные люди так же молоды, как я, и я чувствовал себя среди них удивительно легко и просто!

Горький, глядя на Шаляпина:

— Вот запомни, Фёдор, «легко и просто», ибо существуют ловкие, которые внутреннюю пустоту и безобразие искусно прикрывают внешним благообразием, важностью, следуя совету черносотенца Суворина: «Будь с виду честен и подл внутри».

Костёр вспыхнул ярким пламенем.

Задумчиво смотрят на весенний волжский закат два друга.

Горький посмотрел на Шаляпина:

— Чем, однако, кончилась история с Теляковским?

Шаляпин грустно:

— Мой контракт в частной опере кончился, мне было приятно, что я снова начну служить в императорских театрах, которые дают несравненно более возможностей для широкой работы.

Горький, иронически улыбаясь, слушает голос Шаляпина:

— И я подписал контракт на три года с окладом девять тысяч первый год, десять — второй, одиннадцать — третий.

Подбрасывая хворост в огонь, Горький хмуро говорит:

— Знаешь, Фёдор, чем дальше ты рассказываешь, тем всё чаще появляется в твоём рассказе слово — деньги... Десять тысяч, двенадцать тысяч... Из-за этих проклятых тысяч ты бросил мамонтовское товарищество... Людей, которые так много сделали для тебя... Деньги, деньги! Очень уж ты их любишь, Фёдор!..

Шаляпин обиженно сопит:

— А ты не любишь?

Горький усмехается:

— Я не люблю, но мне они иногда бывают нужны!..

— А мне нужнее!

— Это почему же?

— А потому, что ты — Максим Горький, до ста лет доживёшь — до ста будешь писать. Рука отсохнет — диктовать станешь. Диктовать не сможешь, ещё как-нибудь приспособишься... А я?! Вот — потеряю я завтра голос — и что? Ну, представь...

Шаляпин поднимается, встаёт в позу.

— Выхожу я на сцену, начинаю петь — «Жил-был король когда-то»...

Шаляпин, пропев первую строчку, даёт «петуха» и испуганно умолкает.

— Ты чего? — спрашивает Горький.

Шаляпин в ответ что-то мычит.

— В чём дело?

Шаляпин, трогая ладонью горло, трагическим шёпотом сообщает:

— Я... Я хотел показать, а тут... Максимыч, у меня и вправду голос пропал!

— Куда же это он пропал? — насмешливо интересуется Горький. — Полчаса назад был?

— Ну... был, — соглашается Шаляпин.

— И десять минут назад был?

Шаляпин свирепеет:

— У человека трагедия, а ты...

Горький тоже встаёт, подходит к Шаляпину, сочувственно качает головой.

— Трагедия? Ай-яй-яй-яй! Сколько раз я уже наблюдал эту твою трагедию — перед каждой премьерой, перед каждым концертом...

Вездесущий Игоша показывается за огнём костра.

Серьёзно произносит, указуя пальцем:

— Доброе имя — лучше большого богатства, и добрая слава — лучше серебра и золота.

Он исчезает за костром. Горький, улыбаясь, смотрит на Шаляпина. Они лежат рядом на спине, тяжело дышат, улыбаются, запрокинув головы смотрят в звёздное небо...

Шаляпин тихо поёт:

— В небесах торжественно и чудно...

Горький, помолчав, спрашивает:

— Ну и как же, Фёдор, после Мамонтова жилось тебе в императорском театре? Сладко?..

Шаляпин, перевернувшись на бок и подперев голову ладонью, отвечает:

— Если бы не Теляковский-директор, даже и не знаю, что бы я стал на этом Ваганьковском кладбище делать?!

Музыкальное вступление. Зрительный зал пуст.

Недалеко от подмостков сидят за столиком несколько важных чиновников. Слушают.

На сцене идёт репетиция.

Чиновники начинают вдруг что-то возбуждённо говорить. Слов за музыкой не слышно. Один из чиновников встаёт, поднимается на сцену, жестом руки останавливает оркестр. Оркестр смолкает.

Чиновник брезгливо обращается к артистам:

— Послушайте, господа, вы же на светском балу, а ведёте себя, как мужичьё в трактире.

Шаляпин, нахмурившись, сердито смотрит на чиновника, который командует артистами, как солдатами:

— Вы станете в углу, а вы пройдёте сюда... Вы склонитесь перед вашей дамой...

Шаляпин медленно подходит к шумливому чиновнику и тихо, но жёстко говорит:

— Уйдите!

Растерявшись, спрашивает чиновник:

— Куда?

— Куда вам угодно. Уйдите со сцены и не мешайте артистам.

Чиновник удивлённо смотрит на Шаляпина.

Зашумели чиновники в зале. В ложу незаметно входит Теляковский. Чиновник на сцене, оглядываясь на Шаляпина, медленно пятится и спускается в зал.

Шаляпин тихо обращается к оробевшим артистам:

— Все мы, конечно, должны уважать чиновников, но на сцене — им не место.

Слушают удивлённые артисты.

Голос Шаляпина:

— На сцене — мы хозяева!

Теляковский выходит из ложи.

У выхода в фойе его ждут чиновники.

Артисты обступили Шаляпина.

Слышны реплики:

— Конечно, он прав!

— Да, да! Но, с другой стороны, нельзя же так резко и сразу.

— Это достойно!

— Но всё же нетактично!

По фойе проходит Теляковский, сопровождаемый взволнованными чиновниками. Теляковский останавливается перед дверью конторы, обращается к сопровождающим:

— Господа, надлежит все же согласиться, как это ни печально, что не артисты для нас, а мы для артистов.

Он открывает дверь конторы. На пороге останавливается.

— И представлять русское искусство в Италии, куда он приглашён, будет он, Шаляпин, а не мы с вами!

Милан. Оживлённая уличная толпа. Яркое южное солнце. И повсюду на фонарных столбах, на стенах домов, на афишах у входа в знаменитый Ла Скала — крупными буквами напечатан анонс: «Арриго Бойто “Мефистофель” Шаляпин».

Шаляпин стоит перед большой аудиторией журналистов, которые слушают, быстро записывают.

Шаляпин первую фразу произносит по-итальянски. Затем переходит на русский язык:

— Я лучше по-русски сумею досказать вам о цветах моей родины. Русская земля так богата загубленными, погибшими талантами, как она плодородна. Сколько прекрасных всходов могла бы дать её почва.

Слушают, записывают корреспонденты.

Голос Шаляпина:

— Может быть, мой тон покажется вам чересчур страстным и приподнятым, но, патриот, я люблю свою родину, не Россию кваса и самовара, а ту страну великого народа, в которой, как в плохо обработанном саду, стольким цветам так и не суждено было распуститься.

Слушатели обмениваются репликами, быстро записывают, переговариваясь с переводчиками.

Шаляпин взволнованно продолжает:

— А в музыке сколько их выходит, этих русских цветов: Глазунов, за ним Рахманинов, Скрябин, Лядов, Василенко и ещё много других. И у каждого есть что-то своё. В качестве доброго русского каждый из этих людей поглотил музыку всего света, напитал ею свой мозг, и всё же в миг творчества родил самостоятельное произведение. В этой загадке — вся русская душа.

Слушатели аплодируют.

Шаляпин, дождавшись тишины, продолжает:

— И бывший скромный волжский грузчик делится с вами своим пылом и всей своей верой в будущность прекрасных русских цветов.

Аплодисменты слушателей.

Шаляпин поклонился.

— Я благодарю вас. Завтра с огромной радостью буду петь перед вашим прекрасным народом, которому отдам своё сердце.

В узенькой маленькой улочке, где расположились театральные агентства, кипят страсти.

— Это неслыханно!.. Это позор!..

— Пятнадцать тысяч франков за каких-нибудь десять дней! По тысяче пятьсот франков за спектакль!..

Какой-то толстяк с выпученными глазами, хватаясь за голову, стонет:

— О лио-мио! Мио-лио!..

— Он будет освистан, этот наглец — Шаляпин! Уверю вас, он будет освистан!..

Чей-то язвительный тенор замечает:

— Но ничего! Синьор Тосканини — дирижёр — покажет этому наглецу!..

И снова со всех сторон раздаётся, как припев:

— Он будет освистан!..

— Он будет освистан!.. Может быть, там — в России — он знаменитость, но здесь — в Милане он будет освистан!..

«Ла Скала». В пустом зале на полутёмной сцене идёт репетиция. Маэстро, господин Тосканини, первый дирижёр Италии, с хмурым лицом и неодобрительно поджатыми губами почти небрежно даёт Шаляпину знак вступления.

Шаляпин начинает петь. Он поёт негромко, вполголоса, так, как всегда привык петь на репетициях.

Тосканини, постукав палочкой по пюпитру, останавливает оркестр и, прищутив глаза, сердито спрашивает как-то нарочито скрипуче:

— И это всё — синьор Шаляпин?

— Что «всё», синьор Тосканини? — удивляется Шаляпин.

— Всё, что вы имеете? Весь ваш голос?

— Нет, синьор Тосканини, но полным голосом я буду петь на спектакле!

Тосканини усмехается, переглядывается с первой скрипкой, бросает Шаляпину:

— Извините, синьор, но я не был ни в Москве, ни в Петербурге и не имел удовольствия вас слышать!.. Так что уж вы потрудитесь показать нам ваш голос...

Он снова стучит палочкой по пюпитру.

— Ещё раз, с восемнадцатой цифры!..

Вступает оркестр.

Шаляпин чуть выходит вперёд, и в полумраке пустого зрительного зала могуче, дерзко и красиво разносится великолепный голос, первая фраза Мефистофеля: «Аве, сеньор!»

Неожиданная пауза.

Шаляпин встречается глазами с Тосканини, хмурится, спрашивает:

— Что-нибудь не так, синьор Тосканини?

И Тосканини, как-то растерянно улыбнувшись, тихо отвечает:

— Не сердитесь на меня, синьор Шаляпин... Пойте полголоса... Пойте, как вам будет удобно... Я буду следовать за вами!..

Номер в отеле. Утро. На диване, обнявшись, сидят Иола и Антоньета. Они смеются и плачут и говорят без умолку, причем каждая фраза начинается по-русски:

— А помнишь...

И затем следует поток стремительных итальянских слов, среди которых можно разобрать имена и названия — Нижний, Москва, Мамонтов, Коровин...

Шаляпин, в халате и войлочных туфлях, ходит по номеру, поглядывая на женщин, посмеивается негромко, про себя пробует голос.

Стук в дверь.

— А вот и завтрак! — весело замечает Шаляпин и кричит: — Антре!..

Дверь открывается, но вместо официанта на пороге номера появляются три чрезвычайно странных господина — все трое, несмотря на жару, в почти одинаковых чёрных костюмах и даже как бы на одно лицо. Один из них чопорно кланяется и кладёт на маленький столик у двери букетик цветов.

— Для мадам, — поясняет он.

— Благодарю! — хмуро говорит Шаляпин и спрашивает: — Чем обязан?

— Моя фамилия Мартинетти.

Антоньета, вздрогнув, начинает что-то быстро шептать Иоле на ухо.

— Видите ли, синьор Шаляпин, — с вежливой улыбкой продолжает Мартинетти. — Насколько нам известно, за десять спектаклей вы получите гонорар в пятнадцать тысяч франков. Три тысячи франков вы заплатите нам, и тогда вам гарантирован полнейший успех. В противном случае — все итальянские артисты могут вам это подтвердить, — вы будете освистаны... Жестоко освистаны!

Спутники Мартинетти согласно кивают головами.

Шаляпин, прищурившись, смотрит на Мартинетти и неожиданно почти добродушно спрашивает:

— Скажите, почтеннейший, а вас никогда не били?!

— Синьор Шаляпин! — возмущённо восклицает Мартинетти.

Подойдя ближе, Шаляпин смотрит на Мартинетти и, иронически улыбнувшись, совсем тихо и внушительно говорит:

— Ох, а у нас на Волге до чего же лихо бьют!..

Мартинетти испуганно смотрит на Шаляпина. Аппарат наезжает на его лицо.

И сразу возникает замерзшая Волга. Посередине реки сходятся две большие группы парней, широкоплечих, сильных.

А на переднем плане главари-богатыри схватываются в поединке, увлекая остальных. И вот уже всё смешалось...

Аппарат наезжает на молодого Шаляпина, который в расстёгнутой рубаше столкнулся с противником и резким ударом сшиб его на лёд. Парень вскакивает, бежит на аппарат...

Аппарат отъезжает от испуганного лица Мартинетти.

Шаляпин, продолжая улыбаться, спокойно говорит, обращаясь к Мартинетти:

— Идите вы к чёрту! Понравлюсь я вашей итальянской публике или не понравлюсь — это уже моё дело! А вот аплодисментов я себе никогда не покупал и покупать не буду!..

Шаляпин подходит к двери, ведущей в коридор, и широко распахивает её.

— Прошу!..

— Вы пожалеете об этом, синьор! — с достоинством произносит Мартинетти, берёт со столика букетик цветов и выходит.

Следом за ним уходят и его молчаливые спутники.

Шаляпин фыркает:



— А цветочки-то не забыл!..

Антоньета всплёскивает руками.

— Федя, что ты наделал! Так нельзя!.. Этот Мартинетти... Ему все платят, все... И все боятся его... Даже Мазини... Они устроят на спектакле такой свист и кошачий концерт... Если бы ещё какая-нибудь другая опера, а ведь ты поёшь «Мефистофеля» Бойто... Один раз — лет двадцать назад — эта опера провалилась, и с тех пор её никто не пел... Федя, пожалуйста, верни их, договорись с ними!..

Шляпин медленно и решительно качает головой.

— Нет, Тонечка!.. Нет!..

«Ла Скала». Вечер премьеры. Самый большой оперный театр мира набит сверху донизу. Толпы стоят в проходах.

В одной из лож — нарядные и взволнованные Иола и Антоньета.

А прямо перед ними, внизу, в партере, с загадочным видом расположилась компания Мартинетти.

— Боже мой, Боже мой! — восклицает Антоньета. — Федя — безумец! Он не знает этих людей... Они способны на всё! Почему ты не пыталась его уговорить!

Иола чуть печально улыбается.

— Разве его можно уговорить?!

Два чрезвычайно почтенного вида меломана, оглядывая публику, заполнившую зал, обмениваются негромкими репликами:

— Бойто не пришёл?

— Разумеется — нет. В тот вечер, когда провалилась его опера, он поклялся никогда не ходить больше в театр!

Другая группа зрителей:

— Говорят, что этот Шляпин поёт недурно!..

— И всё-таки он не должен был ссориться с Мартинетти...

Медленно гаснет свет.

За дирижёрским пультом появляется очень подтянутый и собранный Тосканини, коротко кланяется на раздавшиеся аплодисменты, быстрым движением раскрывает партитуру, приподнимает дирижёрскую палочку.

...Монотонно тикают часы. В комнате полумрак.

Арриго Бойто лежит на диване, укутанный пледом, смуглое худое лицо кажется в полумраке ещё худей и смуглей.

Рядом на низкой скамеечке сидит слуга — такой же смуглый и горбоносый, как и сам маэстро.

Тишина. И вдруг начинают бить часы — восемь звонких и мелодичных ударов. Бойто, полузакрыв глаза, тихо говорит:

— Начинается увертюра!..

Театр. Из-за опущенного занавеса доносится тихое пение труб, благоговейное, как звуки органа в католическом соборе.

На ясном тёмно-голубом небе появляется зловещая и трагическая фигура Мефистофеля. На весь театр гремит издевательское:

— Аве, сеньор!..

Соратники Мартинетти смотрят на своего шефа, ожидая сигнала. Словно позабыв обо всём на свете и подавшись вперёд, не отрываясь, глядит на сцену Мартинетти.

Шаляпин поёт.

Арриго Бойто, всё так же не двигаясь и не открывая глаз, говорит:

— Пролог кончился!

А в зрительном зале творится в это мгновение нечто невообразимое. Зрители повскакали с мест — они кричат, вопят, машут платками.

— Bravo! Bravo, Шаляпин!..

Всхлипывают в ложе Иола и Антоньета.

Толстяк с выпученными глазами, свесившись через барьер ложи, кричит в партер Мартинетти:

— Ну, синьор Мартинетти, а что вы теперь скажете?!

Мартинетти пожимает плечами.

И снова тишина. Тикают часы. Потрескивает свеча.

Бойто, беспокойно пожевав губами, говорит:

— Третий акт должен уже кончиться!

В это мгновение с улицы доносится громкий и весёлый возглас:

— Maestro!

Бойто вскакивает с дивана, подбегает к окну.

Маленькая площадь внизу заполнена людьми.

Увидев в окно Бойто, они начинают кричать, весело перебивая друг друга:

— Maestro!.. Огромный успех!.. Это неслыханно, маэстро! Поздравляем!.. Триумф... Шаляпин гениален... Триумф, маэстро!

На глазах Бойто слёзы. Он сердито смахивает их, говорит громко и чётко:

— Этот русский... Он не только великий артист... Он вернул Италии мою музыку... А мне он вернул жизнь!..

После спектакля толпа стоит у актёрского подъезда, дожидаясь выхода Шаляпина. А когда он наконец выходит под руку с Иолой и Антоньетой, снова, как в зале, раздаются аплодисменты, восторженные возгласы.

Шаляпин раскланивается, улыбается, посылает воздушные поцелуи, раздаёт автографы.

Внезапно он замечает стоящую в стороне компанию Мартинетти и, тряхнув головой, прямо направляется к ним.

— Федя! — испуганно вскрикивает Антоньета.

— Добрый вечер, синьор Мартинетти! — насмешливо говорит Шаляпин. — Что же вы не свистели? Небось и не знаете, как это делается? Вот у нас, на Волге, вот там свистят!..

Шаляпин закладывает два пальца в рот, и над тихим ночным Миланом, над разом присмирившей и ошеломлённой толпой раздаётся дикий и залиvistый разбойничий свист.

Мартинетти снимает шляпу.

— Теперь я убедился окончательно, что вы великий артист... А перед великим артистом Мартинетти всегда снимает шляпу... Так свистеть!..

Шаляпин берёт под руку Иолу и Антоньету, которые ещё не могут прийти в себя, и, смеясь, говорит:

— Жаль, что Максими́ча нет, услышал бы свист такой, вспомнил бы братьев Исакиев, бродяжничью братию нашу...

И, словно в ответ, раздаётся полицейский свисток.

Аппарат отъезжает от вывески с надписью: «Нижний Новгород», открывая здание вокзала, въезжает на перрон, где собралась большая толпа, провожая Горького.

Полицейские свистки прекращаются.

Горький выглядывает из окна вагона, около него жена и сын Максимка.

На перроне большая толпа провожающих. Кричат и машут руками.

В стороне, молча наблюдая за всем, стоит жандармский офицер.

Раздаются звонки.

И вдруг в толпе провожающих кто-то начинает петь, все подхватили:

Вперед без страха и сомнений  
На подвиг доблестный, друзья!

Под пение «Марсельезы» поезд медленно отходит.

Среди поющих пробирается Игоша, кричит:

— Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего...

В кабинет начальника жандармского управления входит взволнованный офицер, который был на перроне. Докладывает сидящему за столом начальнику:

— После отхода поезда толпа провожающих пошла по городу, всю дорогу пели, на Думской площади остановились, речи говорили...

Полковник перебивает:

— В Москве ему так же хотят устроить встречу. Немедленно сообщите в Москву...

— Слушаюсь!

Купе поезда.

В запотевшее окно видны обшарпанный, запорошенный снежком перрон и невысокое здание вокзала с вывеской над входом: «Подольск».

В купе — Горький, Екатерина Павловна и Максимка.

Екатерина Павловна, взглянув на часы, говорит с плохо скрываемым беспокойством:

— Не понимаю, Алёша... Проводник сказал, что мы в Подольске четыре минуты стоим. А уже прошло десять... Тебе не кажется, что...

В коридоре, заглушая её слова, раздаётся тяжёлое громоыхание сапог.

Без стука отворяется дверь в купе, небрежно козырнув, входит жандармский ротмистр.

За его спиною, в проёме двери, маячат бесстрастные лица усатого жандармского унтера и железнодорожного проводника.

— Если не ошибаюсь — мещанин Пешков Алексей Максимович, по прозвищу Максим Горький?

Ротмистр задаёт этот вопрос хриловатым тенорком, по-волжски раскатывая «о», и точно так же окая, но только басом отвечает ему Горький.

— Во-первых, полагается стучать, когда вы входите в чужое купе. А во-вторых, прозвища бывают у жуликов да у шпиков, а у меня есть имя, отчество и фамилия...

Ротмистр ошеломлённо смотрит на Горького.

Он совершенно явно подозревает, что Горький передразнивает его, но так как придраться ему не к чему, а служба есть служба, то он, сузив глаза, задаёт следующий вопрос:

— Куда изволите следовать?

— В Ялту. Я имею разрешение.

— Ах, в Ялту? — обретая уверенность, усмехается ротмистр. — Так вы бы и следовали в Ялту, коли имеете на то разрешение.

— Но мы хотели через Москву... — начинает было Екатерина Павловна, но ротмистр перебивает её:

— В Москву вам, господин Пешков, въезд запрещён! Потрудитесь сойти! Подождите здесь, в Подольске, через восемнадцать часов будет курский поезд, которым вы и сможете проследовать в Ялту!..

— Хорошо!

Горький встаёт.

— А моя жена с сыном могут заехать в Москву?

Ротмистр пожимает плечами.

— На этот счёт никаких указаний не имею! И поторопитесь, господин Пешков, мы и так задержали состав...

— Сейчас, сейчас... Между прочим, господин ротмистр, разрешите вопрос?

— Да?

— Вы волжанин?

— Я из Казани, — отвечает ротмистр, выходит и закрывает за собой дверь.

Горький хмыкает в усы.

— Да-да, разные бывают люди из Казани!..

Он надевает пальто, шляпу, берёт с полки саквояж.

— Ну, хорошо, Катя, поезжай с Максимкой в Москву, а я вас буду ждать здесь, в Подольске!..

Маленький зальчик, примыкающий к общему залу ожидания и предназначенный, видимо, для служебного пользования, странно пуст — только посередине стоит большой, изрезанный ножами дубовый стол да такие же дубовые лавки тянутся вдоль стены.

Сумерки. Горький одиноко стоит у окна.

Время от времени в приотворённую дверь боязливо заглядывает усатый жандармский унтер и, убедившись, что Горький никуда не сбежал, поспешно скрывается.

Надтреснуто гудит станционный колокол. К перрону в облаке пара подходит поезд и через минуту отправляется дальше.

Удаляется, замирает стук колёс.

Становится почти совсем темно.

Горький сердито кашляет, вытирает усы платком, решительно идёт к двери, но дверь неожиданно распахивается и на пороге вырастает чья-то исполинская фигура.

— Господин Пешков, по прозвищу Максим Горький?!

— Кто это? — вглядывается, не узнавая, Горький.

Вошедший поднимает руку и негромко, но необыкновенно выразительно, поёт:

Я тот, которого никто не любит  
И всё живущее клянет!..

— Фёдор?!

Они целуются, смеются, бестолково и суматошно тискают друг друга в объятиях.

— Ну удружил... Ну, это просто чудо какое-то, — задыхается Горький. — Откуда ты, Фёдор?..

— погоди, — посмеиваясь, говорит Шаляпин. — Я не один. Со мной тут три мальчонки... Один, правда, затерялся где-то на станции, ну, да ничего — найдётся...

Он приоткрывает дверь в общий зал, рывкает:

— Эй, молодцы, входите, кланяйтесь Максимычу в пояс, просите его, батюшку, чтобы он вас, дураков, умразуму поучил.

Входят Коровин и Телешов.

Они бережно опускают на пол большую плетёную корзину, в пояс кланяются Горькому.

— Здравствуйте, батюшка Алексей Максимович!

— Прошу любить и жаловать! — продолжает игру Шаляпин. — Коська Коровин, подмастерье малярный, и Николашка Телешов, писец!..

Шаляпин командует:

— А ну-ка, молодцы, раскиньте нам скатерть-самобранку!

Коровин и Телешов принимают распахивать корзину, и именно в это мгновение, на свою беду, снова заглядывает в зал усатый жандарм, хмурится, в недоумении спрашивает:

— Это что такое, а? Что происходит?!

Шаляпин, смерив взглядом жандарма, величественно выпячивает грудь, распахивает пальто так, чтобы видны были ордена, надменно цедит:

— А происходит, почтеннейший, вот что — я, Фёдор Шаляпин, артист императорских театров и солист его императорского величества, принимаю здесь своих гостей, ясно?!

— Так точно! — оторопев, отвечает жандарм, который из всего сказанного Шаляпиным понял только слова: «императорский» и «его величество».

— И чтоб без спроса никто сюда не входил, — уже милостивым тоном продолжает Шаляпин. — И скажи, голубчик, начальнику станции, что я велел фонарей принести, а то темно, как в заднице!..

— Слушаюсь!..

...Железнодорожные фонари, развешанные по четырём углам зала, освещают застланный скатертью, уставленный всевозможными бутылками и снедью стол, весёлые лица Шаляпина, Горького, Коровина, Телешова.

И только по тому, как время от времени осторожно переглядываются Шаляпин, Коровин и Телешов, можно догадаться, что весь этот спектакль они разыгрывают специально для Горького, чтобы подбодрить его и отвлечь от печальных мыслей.

Шаляпин стучит ножом по краю тарелки, встаёт.

— Хочу сказать тост... Серьёзный тост, так что вы, дурачье, переставайте хихикать... Говорят, в Париже есть золотой метр... Эталон... По этому эталону измеряют все другие меры на всём белом свете... Вот я и хочу выпить за человека, чья совесть для всех нас — вроде этого золотого метра... Я пью за тебя, дорогой ты мой Алексей Максимович!..

Он тянется через стол к Горькому, трижды целует его, пьёт.

Отворяется дверь, и входит окончательно замордованный Шаляпиным жандарм.

— Ваше благородие!

— Чего тебе?

— Просюся к вам...

— Кто?

— Господин, с виду приличный... Говорит, что он из ваших... Бунин — ему фамилия... Пущать?

Шаляпин смеющимися глазами обводит сидящих за столом.

— Как скажете, братия... Пускать или не пускать?

— Это он только с виду приличный, — замечает Телешов, — а в душе разбойник!

Коровин усмехается:

— Выкуп пускай платит!..

Шаляпин машет рукой жандарму.

— Пускай!..

Жандарм отступает на шаг, пропуская в зал Бунина, прижимающего к груди какой-то огромный пакет из размокшей обёрточной бумаги.

— Здравствуйте, — вежливо говорит Бунин.

— Где изволили пропадать, милостивый государь? — гремит Шаляпин.

— Вы тёмные люди! — высокомерно улыбается Бунин. — Тёмные и невежественные, где вам знать, что в России два города — Нежин и Подольск — славятся своими солёными огурцами?!

Он вываливает из пакета прямо на стол груды солёных огурцов.

— Огурцы — это, конечно, хорошо! — говорит Горький.

— Но для выкупа мало, — добавляет Шаляпин.

— Вы стихи прочтите.

— Пожалуйста!

Бунин наливает себе рюмку водки, чокается с Горьким, пьёт, заедает огурцом, а потом, скрестив на груди руки, начинает:

— Стихотворение Ивана Бунина «Бессмертным»:

Ангел Мести, грозный судия!  
На твоём стальном клинке иссечен  
Грозный клич: «Бессмертен только я.  
Трепещите! Ангел Мести вечен».

...Уже начинает светать.

Приходят и уходят поезда. Все сидят, разговаривают и всё поглядывают исподтишка на Горького — не заскучал ли, не притомился.

Шаляпин грохает кулаком по столу, восклицает:

— Братцы, петь до смерти хочется!..

— Петь? — удивляется Коровин. — А ты разве умеешь?

— Максимыч, ты слышишь — Коська у нас с ума спятил, спрашивает — умею ли я петь?! Да кто же ещё умеет, если не я?!

— А вот и умеет! — упрямо говорит Коровин и подмигивает Горькому. — Цыганка одна... Варя Панина... Она тебе за пятёрку — чего хочешь споёт...

— Максимыч, ты слышишь — Коську в больницу пора везти...

Шаляпин встаёт, подходит к дверям.

— Эй, служба!

Появляется перепуганный жандарм.

— Слушаю-с!



— Гитару достань... Ну, чего глядишь? У телеграфиста спроси... Не может того случиться, чтобы у телеграфиста гитары не было!..

...В руках у Шаляпина гитара.

Он берёт несколько аккордов, любовно улыбается Горькому и начинает гортанно и протяжно:

Ах, да не вечерняя заря спотухала,  
Заря спотухала...

...Гудит станционный колокол. Слышен шум приближающегося поезда.

Бунин, взглянув на часы, торопливо встаёт.

— Это ваш, Алексей Максимович, учтите, что останавливается он здесь всего на две минуты!..

...Они стоят на перроне.

Горький обнимает и целует по очереди всех друзей — и чуть дольше, чуть нежнее, чем остальных, Шаляпина.

— Прошу вас, дорогие, — говорит он, — если писать мне будете — аккуратней пишите! Больно любопытных много... Так что уж вы начальство мерзавцами не обзывайте, не льстите начальству... С государем тоже поосторожней... Что он болван — это все знают... В письмах об этом зачем писать?!

Окутанный морозным паром, подходит к станции поезд.

Мелькает в одном из окон встревоженное лицо Екатерины Павловны.

— Я здесь! — кричит Горький.

Поезд останавливается.

Горький поднимается на подножку вагона, оборачивается к друзьям, хочет что-то ещё им сказать — и не находит слов, только хмурится и растерянно улыбается.

Свисток... Колокол.

Трогается поезд.

Молча смотрят ему вслед Шаляпин, Телешов, Бунин, Коровин.

Протяжный гудок. Поезд скрывается в облаках пара.

Телешов сжимает кулаки.

— Максиму Горькому запретить въезд в Москву!..

— Ничего, — хмуро и устало произносит Шаляпин, — он сам не раз говорил — хорошим людям у нас трудно... Но ведь в том-то и штука, что только хорошие люди, именно хорошие люди никогда лёгкой жизни не ищут!..

Панорама.

Крупные лица провожающих.

Вдаль уходит поезд. Стелется дым.

Издалека слышна песня:

Много песен слышал я в родной стороне,  
Не про радость, про горе в них пели!

Издалека, как бы в ответ, возникает нестройный хор:

Бо-о-же-е... Ца-а-ря-я храни...

Аппарат отъезжает от памятника Пушкину. Гудит, смеётся, свистит, кричит толпа, запрудившая Тверской бульвар, Страстную площадь и улицу перед домом генерал-губернатора.

Вынырнув из какой-то боковой улицы, появляется шествие, впереди которого шагают бородачи, одетые в однообразные поддёвки. Угрюмо и нестройно они поют:

Сильный, державный...

От Страстного монастыря возникают конные городовые.

Внезапно вспыхивает песня:

Вставай, проклятем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов...

Огромная толпа рабочих, студентов движется навстречу поющим гимн.

Раздаётся несколько одиночных выстрелов.

И сразу же сотни и тысячи голосов сливаются в один оглушительный яростный рёв:

— Долой самодержавие!

— До-лой, тащи лошадей!..

Ржут лошади. Мелькают нагайки, палки, дубинки, кулаки.

Какой-то благообразный господин с бородой-лопатой кричит тонким голосом:

— Господа... Друзья... Это же непорядочно... Вам дали конституцию, а вы...

Молодой рабочий парень беззлобно ударом ладони сплюсчивает на голове благообразного котелок.

— Конституция, мать твою так!..

На краю крыши высокого здания прыгают маленькие людские фигурки, бросают вниз — на головы полиции и казаков доски, кирпичи, поломанные стулья и ящики.

Из толпы кричат им:

— Ур-ра, филипповцы, ур-ра!..

Топот, крики, свист.

Большой театр. Шаляпин стоит на авансцене. Он кончает петь.

Аплодисменты. Овация, крики:

— «Дубинушку»... «Дубинушку»...

Шаляпин поднял руку. Наступает тишина.

— «Дубинушка» — песня хоровая... Если мне будут подпевать...

Взрыв аплодисментов, неистовые восторженные крики на галёрке.

Шаляпин делает шаг вперёд и в наступающей тишине начинает петь:

Много песен слышал я в родной стороне,  
Не про радость, про горе в них пели...

В ложах суматоха. Доносятся слова:

Но из песен одна в память врезалась мне,  
Это песня рабочей артели.

Наверху подтянули:

Эй, дубинушка, ухнем...

Фешенебельная публика покидает ложи.

За кулисами толпятся растерянные чиновники.

Один из них кричит:

— Занавес, занавес!..

Но его испуганно останавливает другой чиновник:

— Нет, нет, будет скандал... Разнесут...

Шаляпин заканчивает с хором последние слова припева.

Грохот овации.

Наверху, у самых перил, молодой студент кричит:

— Долой самодержавие!..

Слышны ещё какие-то резкие крики.

Публика поднимается с мест, в испуге бросается к выходам.

Бегут по рядам кресел. Суматоха полная. Испуганные крики, истеричные вопли дам.

Воинственные офицеры обнажают шашки, готовясь к отражению атаки.

С галёрки летят в публику стулья.

Переполох полный. Артисты оркестра, схватив свои инструменты, удирают.

На одной из площадок лестницы стоит здоровенный рыжий купчина с засученными рукавами в развевающейся поддёвке. Он размахивает грозно стулом. Орёт испуганно:

— Эй, вы, бунтовщики, мерзавцы... Кости переломаю!

На него напирают бегущие в испуге зрители.

Офицеры размахивают шашками.

К купчине подбегает полицейский, кричит:

— Публику пропустите, публику... Проход освободите!  
Купчина орёт в ответ:

— Я против бунтовщиков, а вы...

Он заносит над головой стул.

— Убью... ю... ю!..

На купца бросаются несколько капельдинеров и полицейских. Поняв безвыходность своего положения, купчина становится в стойку и, выпучив глаза, запекает гимн:

Боже царя храни...

И все становятся по стойке «смирно». Полицейские берут под козырёк.

...А в Петербурге, в Зимнем дворце, тоже празднуют Конституцию.

Оркестр играет полонез. Мелькают погоны и эполеты, шлейфы и веера.

Большая группа придворных окружает государя-императора, самодержца всея Руси, Николая Второго. Государь изволит гневаться. Он даже слегка заикается от волнения:

— Я п-прикажу его гнать, гнать, гнать... Нет, вы с-сами посудите, господа, если уж солисты его... Если уж мои с-солисты со сцены Большого театра начинают петь подобную гадость...

— Ники, умоляю тебя, не волнуйся! — говорит императрица Александра Фёдоровна.

Кто-то из придворных со смешком замечает:

— Ох уж этот Шалапин! Недаром, ваше величество, говорят, что из хама не сделаешь пана!..

— Вот именно! — восклицает государь. — Нет, я совершенно определенно прикажу его гнать, гнать...

— Ники, не волнуйся!..

Царь резко приказывает:

— Немедленно узнать точный текст этой песни!

Управляющий конторой императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский возбуждённо бегаёт по своему служебному кабинету, ерошит волосы.

Его окружают растерянные чиновники-сослуживцы. Размахивая газетой, Теляковский восклицает:

— Нет, вы послушайте, послушайте, что они пишут: вот Шалапин, Рахманинов, Танеев, Глазунов, вот послушайте, — он останавливается, читает: — Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати...

Слушает, насупив брови, солидный чиновник с орденами. Слышен голос Теляковского:

— Когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды, чахнет и художественное творчество...

Солидный чиновник громко, с присвистом, чихнул.

Теляковский раздражённо посмотрел на него, затем стал читать дальше:

— Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника...

Чиновник хочет снова чихнуть, но, увидев строгий взгляд Теляковского, с трудом удерживается.

Теляковский продолжает читать:

— Мы не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных условий, как и остальные русские граждане.

Солидный чиновник всё-таки не сдержался и очень протяжно чихнул. Теляковский раздражённо посмотрел на него, затем снова забегал по кабинету.

— Он безумец!.. Он талант, он гений, может быть, но он безумец... Он погубит себя, и меня, и всех... Он просто не понимает, что он творит... Пишите! — приказывает Теляковский безгласному чиновнику и, подумав секунду, принимается диктовать: — Говорил с министром двора бароном Фредериком. Грозит расторжением контракта. Умоляю одуматься, прошу немедленно выслать полный текст песни «Дубинушка»...

...Словно отвечая на просьбу Теляковского, издалека возникает голос Шаляпина, который звучит громко и торжественно:

Много песен слышал я в родной стороне,  
Не про радость, про горе в них пели.

Шаляпин стоит на высоких подмостках. Аппарат, отъезжая, открывает помещение цирка, до отказа заполненного рабочими. Шаляпин продолжает петь. В углу цирка высокий полицейский чин тревожно сообщает окружившим его несколькими подчинённым:

— Это заводские рабочие воротилы его притащили. Он им поёт. Если все начнут подтягивать — выключить свет.

Все быстро расходятся. В зале Шаляпин продолжает петь:

Англичанин мудрец,  
Чтоб работе помочь...

Когда кончается куплет, он взмахивает рукой и все подтягивают:

Эй, дубинушка, ухнем...

И немедленно гаснет свет.

Пение продолжается в темноте, а затем со всех сторон в руках у людей появляются свечи, тысячи свечей горят в поднятых руках.

Но настанет пора  
И проснётся народ,  
Разогнёт он могучую спину,  
И обрушит народ —  
На царя, на господ  
Он обрушит родную дубину!..

В роскошном зале дворца продолжают танцевать полонез под далёкий припев:

Эй, дубинушка, ухнем!  
Эй, зелёная, сама пойдёт!

Последние слова песни звучат мощно, перекрывая звучание оркестра, играющего изящный полонез, который не менее изящно танцуют придворные:

Подёрнем, подёрнем —  
Да ух-нем!..

Музыкальное вступление оркестра.

Театр. Идёт репетиция.

Шляпин стоит в кулисах. Рядом Исай Дворищин.

На сцене молодая певица проходит под оркестр свою арию из «Русалки». Шляпин, прислушиваясь, нетерпеливо и раздражённо отбивает ногой такт. Дворищин пытается его успокоить, но Шляпин, отшвырнув его руку, резко выходит из кулисы на сцену и говорит, обращаясь к дирижёру:

— А почему, собственно, такой темп?

Дирижёр, чувствуя приближение грозы, отвечает сдержанно и холодно:

— Так удобнее артистке.

— Но так неудобно мне!

Дирижёр пожимает плечами, язвительно говорит:

— Если я не ошибаюсь, вы поёте арию Мельника, а не Русалки... Вечно вы придираетесь... Я веду оркестр, как установлено... Я, между прочим, задолго до вас...

— Прекрасно сказано! — окончательно взрывается Шляпин. — «Установлено»... Как в цирке... Лошадям побыстрее. Галопчик, канатоходцам — помедленней... А это

опера, чёрт вас побери! Это драма! Это любовь, ненависть, страдания... Господи, да неужели вам это нужно тысячу раз объяснять?!

Дирижёр, с бешенством поглядев на Шаляпина, бросает на пульт дирижёрскую палочку.

— Можете дирижировать сами! Мне, в конце концов, надоели ваши вечные придирки, господин Шаляпин!

— Это не придирки! Это...

Дирижёр уходит.

Стоящий в кулисах криворотый хорист с отечным лицом говорит громко, так чтоб было слышно всем окружающим:

— Этот хам ведёт себя на сцене императорского театра так, как будто он в балагане!

Сидящий в зале в окружении чиновников инспектор императорских театров фон Восль, поднимаясь, произносит с сильным немецким акцентом:

— Босьяк, господа, он и есть босьяк, какое жалованье ему ни плати!

Чиновники демонстративно выходят из зала.

Некоторое время царит зловещая тишина. Затем Шаляпин решительно спускается в оркестр, садится за дирижёрский пульт, обращается к растерявшимся оркестрантам:

— Извините, господа! Прошу внимания. Я попробую показать, что я имею в виду... Прошу с цифры третьей.

Он поднимает дирижёрскую палочку. Вступает оркестр.

Дождавшись начала арии, Шаляпин поёт партию певицы. Потом, жестом руки остановив оркестр, обращается к актрисе на сцене:

— Понимаете?.. Так правдивее...

Растерянная певица отвечает:

— Да, да... А... Конечно...

Шаляпин снова взрывается:

— Так какого же чёрта вы молчали... Артистка вы или кляча, которая позволяет ездить на себе!..

Вздвогнув от оскорбления, артистка начинает плакать.

Шаляпин орёт:

— Не смейте плакать! Дома будете плакать!.. Там вас утешат, нос утрут. Здесь мы работаем, трудимся, искусство создаём... Искусство! Не плачьте, говорю, не плачьте...

Артистка, закрыв лицо руками, плачет молча.

В столовой в окружении перепуганных детей и Иолы стоит Исай Дворишин. Иола тихо спрашивает:

— Что было в театре?

Исай хватается за голову, без слов показывает, какой скандал разыгрался на репетиции.

А Шаляпин сидит у себя в кабинете, уткнув голову в спинку дивана. Плечи вздрагивают, он плачет.

Исайка, покосившись на дверь кабинета и подмигнув Иоле, начинает нарочито громко напевать:

Что ж вы, дети, не шалите,  
Или папа не велел?!

И, переходя на речитатив, обращается к маленькому сыну Шаляпина — Игорю:

— А ну-ка, Игорёк, покажи, как папочка поёт!

Игорёк, став в позу певца, показывает, как поёт папа. Это очень смешно и очень похоже.

Исайка всё время оглядывается на дверь кабинета.

Игорёк кончает представление, дети смеются.

Исайка, тяжело вздохнув, тихо стучит в дверь кабинета. Молчание. Исайка оглядывается, разводит руками.

Иола качает головой: ещё раз, мол, стучи.

Исайка стучит громче. Молчание. Тогда Исайка обращается к Игорьку:

— Ты прекрасно показываешь, как поёт папа. Очень, очень похоже, молодец. Ты будешь таким же знаменитым, как папа... Он тоже всегда вот так отставляет ногу...

Неожиданно распахивается дверь кабинета. Фигура Шаляпина закрывает весь проём. Исайка в испуге отпрянул.

Шаляпин угрюмо спрашивает:

— Это кто всегда отставляет ногу? Что надо?!

Исайка, стараясь улыбаться:

— А мы репетируем. Просто не верится, что этому таланту ещё нет четырёх лет. А теперь, Игорёк, покажи, как папа поёт Мельника.

Игорёк с увлечением изображает Шаляпина в роли Мельника.

Шаляпин смотрит на сына, невольно улыбается, затем говорит, подражая интонации дирижёра:

— Что вы тут какую-то игру разводите? Пойте, как установлено! Были и талантливее вас, а ничего не выдумывали, всё равно лучше не будет!..

И, подхватив Игорёчка на руки, он подбрасывает его высоко вверх. Игорёк весело охает.



Опустив сына на пол, Шаляпин широким жестом показывает детям на дверь.

— Марш спать!

Дети разбегаются.

Шаляпин протягивает руку Исайке.

— Спасибо, Исай!

Исайка, хитро улыбаясь, пожимает плечами, говорит голосом дирижёра Труффи:

— Эта Чёрт Иванович таланта огромная, только она всегда кричит... Спокойной ночи!

Неяркий свет ночника освещает детскую комнату. На низкой скамеечке сидит Шаляпин. Он уже в домашнем халате. Рассказывает сказку.

Внимательно, кутаясь в одеяла, слушают дети.

— И вот поймали охотники в капкан мишку... Отрубили ему лапу.

Игорёк испуганно вскрикивает. Шаляпин грозит ему пальцем.

— Тихо, а то мама придёт и всем нам достанется... А мишка, ковыляя на трёх ногах, удрал.

Слушают дети.

— Лапу охотники подарили на деревне старой бабушке. Она стала варить ногу и прясть шерсть... Ночью слышит она, как мишка идёт по деревне и, поскрипывая деревянной ногой, приговаривает...

Шаляпин продолжает нараспев:

На липовой ноге,  
На берёзовой клюке  
Я по сёлам шёл,  
По деревням шёл.

Дети внимательно слушают.

Уж все-то в сёлах спят,  
И в деревнях спят,  
Одна бабушка не спит,  
На моей ноге сидит.

Шаляпин печально заканчивает:

Мою шерстку прядёт,  
Мою косточку грызёт.  
Скрл-ла... Сскрр-ла...

Игорёк всхлипывает. Шаляпин спрашивает:

— Ты чего?

Игорёк грустно:

— Мишку жалко.

Шаляпин берёт сына на руки, обнимает.

— И мне тоже жалко.

В комнату входит Иола.

— Что у вас тут происходит, Фёдор? Что это, ведь детям пора спать.

Шаляпин, укладывая Игорёчка, запекает тихо по-итальянски из «Севильского цирюльника»:

Доброй ночи вам желаю, доброй ночи...

Утро. Шумит город.

Шаляпин в пальто и шляпе, постукивая тростью, идёт по улице. На ходу он что-то негромко бормочет, сдвигает брови, хмурится.

Внезапно он останавливается, озирается — кто-то в толпе произнёс его имя.

Это мальчишка-газетчик.

Стоя на углу, он бойко торгует утренним выпуском «Газеты-копейки», звонко кричит:

— Новый скандал с певцом-босяком Шаляпиным... Шаляпин переломал все инструменты в оркестре... Новый скандал с известным певцом-босяком...

Газеты раскупаются охотно, и тут же на улице, вслух, читаются наиболее выразительные пассажи.

Шаляпин гневно подходит к мальчишке-газетчику.

— Почём?

— Копейка-с, помилуйте!..

— Вся пачка?

— Рубель двадцать.

Шаляпин швыряет мальчишке деньги, съёт всю пачку газет себе за пазуху, рассовывает по карманам, уходит.

В толпе узнают его:

— Шаляпин... Шаляпин!..

Мастерская Серова.

Это большая и длинная комната в два света, заставленная холстами, мольбертами, глиняными слепками.

В углу кабинета рояль, за которым, перебирая клавиши, сидит Рахманинов. На пюпитре вместо нот злополучная пачка «Газеты-копейки». Серов и Коровин работают, Врубель, заложив руки за спину, быстрыми мелкими шажками ходит по мастерской, а Шаляпин, стоя и хмуро посапывая, трудится над скульптурным автопортретом.

Врубель останавливается за спиной Серова, прищурившись, смотрит на холст.

— Что-то не выходит, — негромко, не отвлекаясь от работы, говорит Серов, — мне хотелось, чтоб воробьи — фр-р-р! — Выразительным жестом руки и пальцев он показывает, что именно хотелось ему изобразить на картине.

Врубель понимающе кивает. Коровин, разминая за-  
тёкшую спину, встаёт, становится рядом с Врубелем, смо-  
трит на работу Серова. Втроём они обмениваются быст-  
рыми тихими репликами:

— Мутно!

— Очень серое здесь кричит...

— Тут бликовать будет...

Шаляпин, мотнув головой, подозрительно спрашивает:

— Вы чего там шепчетесь? Обо мне?

— Что? — не понимает Серов.

Коровин усмехается.

— Фёдору кажется, что всё человечество ни о чём дру-  
гом, кроме как о его персоне, говорить не может!..

Шаляпин хочет взорваться, но сдерживает себя. Он  
вытирает руки тряпкой, швыряет тряпку куда-то в угол,  
надевает висевший на стуле пиджак.

— Уходите? — спрашивает, переставая играть, Рахма-  
нинов.

— Ухожу...

И вдруг, свирепея, Шаляпин кричит:

— Какого чёрта, в конце концов! Если уж вы, вы бу-  
дете верить всяким там «Газетам-копейкам»... Я пришёл к  
вам, к друзьям... Я думал, что вы-то хоть поймёте, в ка-  
ком я сейчас состоянии, а вы...

— А в каком состоянии сейчас люди, которых вы ос-  
корбили? — строго и сухо интересуется Рахманинов. —  
Об этом вы подумали?

— Но, Сергей...

— Видите ли, Фёдор, — вмешивается в разговор Се-  
ров, — вы сказали, что пришли к друзьям... Что ж, мы  
гордимся тем, что мы ваши друзья, но извольте тогда уж  
выслушать нас! Конечно, то, что написано в этой газетён-  
ке, — гадость! Но разве вы не дали повода...

Врубель, как всегда заикаясь, мучительно подыскивая  
слова, тихо замечает:

— У меня болит сердце... И кружится голова... Зачем  
вы так, Фёдор Иванович!..

Он подходит к Шаляпину, кончиками пальцев, как  
слепой, касается глины скульптурного портрета.

— И портрет... Как будто вы тут сейчас сорвётесь...

И Шаляпин действительно срывается, крича:

— Я же был прав!..

Серов хочет остановить Шаляпина:

— Но, Фёдор...

Шаляпин резко перебивает:

— Кто учил меня понимать искусство? Не вы ли? Не Серов ли, не братья Васнецовы, не Коровин, не Поленов ли, Нестеров, Врубель... Рахманинов, не Станиславский, не Левитан ли учил меня, что протокольная правда никому не нужна, что копировать предметы, усердно раскрашивать их, чтобы они казались более эффектными, — это не искусство! А сколько развелось этих раскрашивателей... Один красиво палочкой машет, другой не знает, кого он поёт... В образе не живёт... Поёт, выйдя наперёд... Ноты поёт... — И Шаляпин иронически запел, копируя бесталанного певца.

Коровин останавливает Шаляпина:

— Но правду оскорблениями не докажешь.

Шаляпин кричит:

— Оскорблять я никого не хочу и очень жалею, если мной кто-нибудь оскорблён. А вот быть вежливым за счёт Моцарта, Римского-Корсакова, Мусоргского, которого невежественный дирижёр извращает, оскорбляет, я едва ли когда-нибудь себя уговорю.

Наступает тишина. Шаляпин смотрит на затихших друзей. Растерянно, заикаясь, обращается к ним:

— Хорошо, хорошо, я охотно принимаю упрёк в несдержанности. Он мною заслужен... У меня вспыльчивый характер... Буду стараться... Сдерживать себя... Такта отбивать не буду, когда у пульта дирижёр. Не буду... Приходите на спектакль... Убедитесь!

И сразу взмах палочки дирижёра, играет оркестр. Аппарат отъезжает, открывая сцену. Поёт Шаляпин. Аппарат фиксирует ноги, которые отбивают ожесточённый такт.

В ложе сидят друзья Шаляпина. Они, посмеиваясь, переглядываются. А Шаляпин, задыхаясь, всё яростней отбивает такт.

Конец арии. Дирижёр резко бросает палочку. Уходит.

Грохот аплодисментов.

Шаляпин кланяется.

За кулисами дирижёр что-то с возмущением говорит режиссёру. Идёт Шаляпин в гриме Мельника, подходит к актрисе, которую ругал на репетиции. Вежливо склоняется, целует руку. Увидел дирижёра, который что-то взволнованно говорит.

Проходит Шаляпин. Дирижёр резко уходит. Шаляпин обращается к режиссёру:

— Правда, ведь я был прав? Это не темп... Я не могу так петь!..

Режиссёр посмотрел в сторону отошедшего дирижёра и, улыбнувшись, отходит, махнув рукой.

Шаляпин свирепеет и кричит вслед уходящему:

— Да вы, господа, не режиссёры, а турецкие лошади!

И сразу крики газетчиков:

— Новый скандал Шаляпина. Избиты шесть хористов. Дирижёр в больнице...

Утренняя Москва. У окна спальни стоит Шаляпин. В руках у него газета. Он смотрит на улицу. Мимо окон пробегают мальчишки-газетчики, что-то кричат.

В спальню входит Иола. Шаляпин не поворачивает головы.

Иола подходит к Шаляпину, что-то шепчет на ухо. И вдруг он срывается, бегом вылетает из спальни.

Вбегает в кабинет и, ошеломлённый, останавливается.

Притулясь в угол дивана, сидит Горький и разглядывает газеты.

Шаляпин молча бросается к Горькому.

Тот встаёт.

Обнимаются. Шаляпин радостно:

— Какими судьбами?

— Да вот прощаться пришёл. Начальство разрешило в Италию на лечение отправиться, авось помру там, им и хлопот меньше.

Горький закашлялся. Увидел встревоженное лицо Шаляпина, успокаивает:

— Только этого удовольствия я начальству не доставлю... Ты сообразил бы, Фёдор, насчёт закуски.

Шаляпин весело:

— Сей момент. Рыжики у нас... — и Шаляпин целует кончики пальцев.

Выбегает. Слышен его голос:

— Иола, Иолочка!..

Горький садится, вновь начинает рассматривать газеты.

Входит Шаляпин, уютно устраивается рядом с Горьким.

— Изучаешь?

Горький, качая головой:

— Бойко пишут, каналы...

Шаляпин грустно:

— Да это что? Разрослась легенда о моём пьянстве, говорят, что дома я бью людей самоваром, сундуками и разной тяжёлой мебелью.

Горький, улыбаясь:

— Что ни говори, характер у тебя, скажем прямо, не ангельский...

Шаляпин с горечью:

— Всё-таки я думаю, что обо мне судили бы лучше, будь я более политичен, тактичен, дипломатичен или, проще говоря, более лжив. Но я плохо воспитан и не люблю двоедушия, не терплю лжи. И потому часто оказываюсь гусем, который сам является на кухню к поварам: «Жарьте меня, милостивые государи». Они, конечно, очень рады и, не зарезав, начинают у живого у меня выщипывать перья. Перо за пером.

Горький посмотрел внимательно на Шаляпина.

— У тебя слишком чуткое самолюбие. А это болезнь души. Самоуважение — вот что облагораживает человека.

Шаляпин с горечью:

— Эх, Максимыч, разве не понимаю я этого... Хочу, хочу. Но, сталкиваясь с людьми, никогда не думал, что столько зла носят люди в сердцах. Частенько приходится мне реветь и волком выть, но делаю я это один на один, сам с собой. Тяжко мне, Максимыч, тяжко.

Горький подходит к Шаляпину.

— Всем крупным людям трудно на Руси, говорил я это тебе. Это чувствовал Пушкин, это переживали десятки наших лучших людей, в ряду которых и твоё место — законно.

Шаляпин возбуждённо:

— Я предпочёл бы быть мирным сапожником, не интересующим никого на свете, кроме разве городского, и с удовольствием променял бы всю славу на хорошую, здоровую вечеринку с песнями и плясками в убранной в воскресенье сапожной мастерской, как это бывало в годы моего детства.

Горький хлопает Шаляпина по плечу.

— Успокой душу грешную, успокой, Фёдор!

И, желая переменить разговор, раскрывает альбом и показывает на плохонькую любительскую фотографию, на которой только с некоторым напряжением можно различить кладбищенскую ограду, могильный холмик и над ним деревянный покосившийся крест.

— Здесь матушка моя похоронена, — глухо говорит Шаляпин и после паузы добавляет: — А может быть, и не здесь...

Протянув руку, он бережно снимает с круглого столика у дивана большую старинную шкатулку, ставит её на колени.

— Здесь вот — земля с маминой могилы...

И опять с прежней интонацией после паузы добавляет:

— А может быть, и не с маминой... Никто толком не мог объяснить, где лежит мама... Кладбище-то для бедных... А землю я всё равно взял. Взял — и до самой своей смерти буду хранить!..

Горький смотрит на Шаляпина. Раздаётся топот копыт. Оба оборачиваются к окну. Горький, вглядываясь в темноту, тихо говорит:

— Жандармы!

Шаляпин некоторое время смотрит в окно, затем обращается к Горькому:

— Знаешь, Максимыч, я всё думаю: а что, если мне в партию записаться?!

Горький, даже охнув от неожиданности, насмешливо интересуется:

— В партию? В какую же партию, Федя?

— Ну, в этих... В социал-демократы.

— А что ты про них знаешь?

— Знаю... Ну, что они против царя... И вообще... Чего ты смеёшься, идолище?!

— Эх, Федя! Ни в какие партии не вступай! Не годишься ты для этого! Ты артист, ты в русском искусстве — эпоха. Твоё дело — петь. Вот ты, друг мой милый, и пой!

Входит Иола, по-оперному кланяясь, поёт:

— Хозяин просит дорогих гостей пожаловать к столу.

И сразу Большой театр. Аппарат отъезжает от поющего Бориса Годунова—Шаляпина, открывая общий план. Последние аккорды и грохот аплодисментов.

Шаляпин—Годунов кланяется.

Он собирается уходить. Но за его спиной на сцену через единственную дверь терема вваливается толпа хористов и грохается на колени. Шаляпин ничего не понимает, пятится, отступает в глубину сцены. Хористы начинают петь гимн. Все встают. Встают и в царской ложе.

Шаляпин растерянно опускается на колени.

И сразу в газете карикатура коленопреклонённого Шаляпина.

Виши. На берегу озерка, у самого края воды, в низком шезлонге сидит Шаляпин. Он сидит неподвижно, откинув голову и полужакрыв глаза.

Тишина. Солнце.

Внезапно раздаются лёгкие, торопливые шаги.

— Месье Шаляпин?

Шаляпин открывает глаза.

Мальчуган в ливрейной форме почтительно протягивает Шаляпину пачку газет.

— Вот, прошу вас, месье, это всё русские газеты, которые мне удалось достать! Ещё вам письмо, месье!..

— Спасибо! — негромко говорит Шаляпин, берёт письмо и пачку газет, порывшись в кармане, суёт мальчугану в протянутую руку какую-то мелочь.

— Благодарю вас, месье!

Мальчуган убегает.

Шаляпин, задумчиво оттопырив губы, откладывает в сторону на траву пачку газет, вертит в пальцах письмо, разглядывает.

На продолговатом конверте чётким, почти квадратным почерком написано: «Г-ну Шаляпину. Отель “Кларидж”, Виши». А внизу под чертой значится обратный адрес: «М.Горький, Капри, Италия».

Шаляпин, вздохнув, вскрывает конверт. Пробегает глазами первые строки, болезненно морщится.

И вдруг в тишине летнего утра начинает звучать так хорошо знакомый глуховатый, «окающий» голос:

— «Мне казалось, что в силу тех отношений, которые существовали между нами, ты давно бы должен написать мне, как сам ты относишься к тем диким глупостям, которые содеяны тобой, к великому стыду твоему и великой печали всех честных людей в России... Нам лучше не видеться, и ты не приезжай ко мне...»

Тряхнув головой, Шаляпин сминает в руке письмо, и голос Горького сразу становится невнятным и слова неразборчивыми.

Шаляпин поднимает с травы газеты, проглядывает их одну за другой, стискивает зубы.

Во всех, решительно во всех газетах помещены бранные статьи, заметки и карикатуры на него, на Шаляпина.

Вот он стоит на коленях перед чёрным, начищенным до зеркального блеска ботфортом, разевая огромный рот, из которого вылетают слова: «Боже, царя храни!»

А вот он, тоже на коленях, униженно выклянчивает у какого-то сновника орден.

А вот он сидит на мешке, на котором написано «1 000 000 рублей» и просит милостыню.



Раздаются звон разбитого стекла, хохот, свист, улюлюканье.

Под аккомпанемент фортепиано дребезжащий тенорок поёт:

Если б был я, как Шаляпин Федя,  
Я ревел бы на манер медведя,  
Возглашал «осанну» громким басом  
И лупил хористок по мордасам...

Сильные голоса орут:

— Долой Шаляпина! Лакей! Холуй!..

И еще карикатура: Шаляпин стоит, подняв над головой дубинку, а от него в испуге разбегаются во все стороны артисты и артистки. И опять — Шаляпин на коленях, Шаляпин бьёт земные поклоны, Шаляпин целует носок всё того же начищенного до блеска лакового ботфорта.

Не унимается тенорок:

Загробал бы я большие тыщи!  
И твердил бы всюду, что я нищий,  
Был бы я с артистами злодеем,  
Был бы я с министрами лакеем!..

Шаляпин в исступлении рвёт газеты в мелкие клочья, лёгкий ветерок разносит по траве обрывки бумаги.

Подумав, Шаляпин осторожно ладонью расправляет на колене письмо Горького, и в ту же секунду вновь возникает глуховатый голос:

«...Нам бы лучше не видеться, и ты не приезжай ко мне...»

Дом Горького на Капри. Сумерки.

На веранде, освещённой керосиновыми лампами, собрались, как всегда, многочисленные друзья и знакомые.

На огромном столе — остатки недавнего чаепития.

Молодой человек с бородкой кричит, потрясая пачкой газет:

— Но ведь все газеты, буквально все газеты, и правые, и левые, и умеренные, — осудили Шаляпина и...

— Ну и что же?! — резко перебивает Горький.

Он большими шагами меряет веранду, потирает ладонью грудь.

— Подумаешь, газеты осудили! — Он сердито фыркает в усы. — Ну, давайте, господа, разберёмся, что случилось!! Фёдор Иванов Шаляпин, оказавший русскому искусству незабываемые услуги...

Пожилая дама возмущённо встряхивает седыми буклями.

— Незабываемые!

Горький останавливается.

— Да-с, забываемые... Потому что он заставил Европу... да не одну Европу, он весь мир заставил понять, что русский народ, русский мужик — не такой уж вовсе дикарь, как рассказывали миру холопы царского правительства...

Молодой человек с острой бородкой вскакивает.

— Но ведь на колени-то грохнулся... Грохнулся?.. Пел гимн... Коленопреклонённый...

— А мы знаем, как это было? — оборачивается к нему Горький. — Мы же ничего толком не знаем, а уже спешим осудить — оно всегда выгодней!..

Молодой человек пожимает плечами.

Молчание.

Горький нервно теревит усы.

— Обыватель во все века старался истолковать глупый поступок крупного человека как поступок подлый... Приятно крупного-то человека сопричислить к себе, ввалить в хлам, сказать: ага, и он таков же, как мы...

Снова вмешивается пожилая дама:

— Я не понимаю, Алексей Максимович, о ком вы говорите?! Большинство статей в газетах, осуждающих Шалапина, написаны людьми уважаемыми, моралистами...

Горький неожиданно усмехается, машет рукой.

— Ох уж эти мне российские моралисты! Сколько раз сами преклонили они колени перед всякими мерзостями, продавали и предавали... В мире темнота, нужда, преступления, а всё так называемое мыслящее общество занимается, извините за выражение, жеребятиной... Почему же мы их-то не осуждаем!..

Молодой человек с бородкой осторожно спрашивает:

— Если они не осуждены, значит ли это, что и Шалапин не должен быть осужден? Это ведь уже чем-то библейским попахивает... «Кто без греха — пусть первым бросит в него камень...» Ну, а вот вы, Алексей Максимович... представьте себе, что сюда сейчас входит Шалапин... Вы подали бы ему руку?..

Горький, боком, из-под насупленных бровей поглядев на молодого человека с бородкой, растерянно и хмуро молчит.

...Ранний вечер.

Маленький парходик приближается к пристани Капри.

Среди пассажиров, сгрудившихся на борту, стоит Шалапин.

Как и все, он смотрит на берег, на толпу встречающих на пристани. Пароходик причаливает. Спускают на берег трап, и сразу же начинаются немыслимый шум и галдёж.

И среди всего этого шума, с саквояжем в руке, всё ещё безуспешно обшаривая глазами толпу, медленно спускается по трапу Шаляпин.

— Здравствуй, Фёдор! — раздаётся вдруг знакомый глуховатый голос, и Шаляпин, вздрогнув, роняет саквояж, оборачивается и видит Горького. — Здравствуй... С приездом! — повторяет Горький и, помедлив какую-то секунду, протягивает Шаляпину руку.

Шаляпин коротко всхлипывает.

...Они входят в маленькую живописную рыбацью тратторию, садятся за столик, и услужливая хозяйка по знаку Горького ставит перед ними оплетённую соломой бутылку вина и две чашечки кофе.

Народу в траттории немного. Жмутся по углам несколько влюблённых парочек. Компания пожилых рыбаков играет в кости.

С появлением Горького и Шаляпина шумная поначалу игра становится всё тише и тише, а потом и вовсе затихает.

Загорелый седой рыбак что-то негромко говорит своим товарищам, встаёт, идёт от стола к столу, за которым сидят влюблённые, тоже что-то говорит им, улыбается, подмигивает.

И вот один за другим неторопливо поднимаются рыбаки, встают влюблённые, бросают на стол деньги и направляются к выходу.

И все они проходят мимо Горького, почтительно и дружески кланяются ему.

— Буона сера, синьор Горки!..

— Буона сера!..

Горький и Шаляпин остаются вдвоём.

— Я не хотел, Фёдор, сразу идти домой. Нам надо поговорить, а там у меня, как всегда, столпотворение вавилонское...

Шаляпин, опустив голову, барабанит пальцами по столу, тихо роняет:

— Очень мне тяжело, Максимыч... Прямо — беда!

— А кто виноват, что тяжело?! — сурово спрашивает Горький. — Сам и виноват! А мне, думаешь, легко сознавать, что на родине моей лучшие её люди лишены простого, даже скотам доступного чувства брезгливости! Мне,

думаешь, легко представить тебя, гения, на коленях перед мерзавцем, гнуснейшим из всех мерзавцев Европы?

— Подожди, Максимыч...

— Нет уж, Фёдор, это ты подожди... Уж коли приехал, так слушай... Сколько раз — и себе, и другим — я говорил: Шаляпин — лицо символическое... И вот лицо символическое — тоже, кстати, весьма символически — ползает в пыли на карачках... Действительно, как ты говоришь, беда!..

Шаляпин поднимает голову, на глазах у него слёзы.

— Ну, позволь, Максимыч... Ну, позволь, я расскажу, как всё было!..

— Расскажешь!.. — снова перебивает его Горький. — Я ведь просил тебя не приезжать, а ты приехал... И должен признаться, что я рад...

Он неожиданно улыбается.

— Ох, Фёдор, Фёдор, до чего же ты нелепый человек... Великий и нелепый... Ну, ладно, рассказывай, слушаю!..

И Шаляпин, отхлебнув вина, начинает говорить — торопливо и сбивчиво:

— Ты знаешь, я много лет добивался, чтобы на императорской сцене поставили заново «Царя Бориса»... И добился... И вот спектакль, народу — тьма... Государь с приближёнными. А хористы решили этим воспользоваться и подать ему какое-то прошение... Ну, кажется, насчёт прибавки к пенсии... Отыграл я второе действие — выхожу на поклон...

...Грохот аплодисментов. Зрительный зал Большого театра.

Перед закрытым занавесом Шаляпин в гриме Бориса Годунова кланяется аплодирующей публике.

Он уже собирается уходить, когда за его спиной внезапно взвывается занавес и на сцену через единственную дверь в декорации, изображающей терем царя Бориса, вваливается толпа хористов.

Впереди — криворотый хорист. В вытянутой руке он держит какой-то свиток, перевязанный шёлковой лентой. Проходя мимо Шаляпина, он бросает ему через плечо свистящим шёпотом:

— Фёдор Иванович, умоляю вас, не уходите... Умоляю!..

Шаляпин пятится, отступает в глубину сцены, но единственный выход забит людьми, и все они тоже шепчут Шаляпину:

— Фёдор Иванович, не уходите... На вас вся надежда...  
Не уходите!..

Криворотый хорист у самой рампы, опустившись на колени и глядя на царскую ложу, начинает петь гимн.

Следом за этим падают на колени запрудившие всю сцену артисты хора, подпевают.

Сначала пение звучит довольно нестройно, но вот вступает оркестр, и исполнение гимна приобретает мощность и силу.

Поднимается в царской ложе государь. Встают все в зале.

На сцене среди коленопреклонённых хористов одиноко торчит нелепая фигура Шаляпина.

Хористы умоляюще смотрят на него, кто-то дёргает Шаляпина за край мантии, и тогда, как-то странно втянув голову в плечи, Шаляпин — в глубине сцены — опускается на одно колено, опираясь рукой о кресло.

Он растерянно морщится, тяжело дышит, а вокруг него — и на сцене, и в зале — звучат слова гимна:

Царствуй на славу нам,  
Царствуй на страх врагам,  
Царь православный!..

...Траттория.

Шаляпин смотрит на Горького.

— Вот как всё это было, Максимыч... И виноват я только в том, что растерялся... Ну, и ещё в том, что служу в таком заведении, где подобные мерзости возможны...

Горький большой ладонью закрывает руку Шаляпина, взволнованно говорит:

— А я знал, верил, что к холопству ты неспособен!..  
Верил...

У входа в тратторию кружком стоят рыбаки, игравшие в кости.

Два подгулявших морячка направляются к двери траттории, но загорелый седой рыбак преграждает им дорогу, делает рукой знак, означавший, что сейчас в тратторию входить нельзя.

И в это мгновение появляются, обняв друг друга за плечи, Шаляпин и Горький.

И снова с почтительным достоинством кланяются им рыбаки:

— Буона сера!

— Буона сера!

Горький и Шаляпин по мелкой гальке спускаются к берегу.

— Удивительные люди! — говорит Горький, оглядываясь на рыбаков. — Они ведь нарочно ушли из траптории... Поняли, что нам с тобой надо поговорить по душам!

Тихое вечернее море.

Чуть покачиваются на воде баркасы и лодки с приспущенными разноцветными парусами.

Большая группа рыбаков, подбадривая себя возгласами, тащит из моря сеть.

— Поможем, Максимыч, а? — с весёлым озорством спрашивает Шаляпин.

Горький кивает.

— Охотно!.. Тряхнём, как говорится, стариной матушкой!

Горький и Шаляпин подходят к рыбакам, берутся за край сети.

Горький подмигивает Шаляпину.

Раз-два, взяли?..

Ещё раз, взяли!

И, крепко ухватившись за край просмолённой сети, благодарно и счастливо улыбаясь Горькому, Шаляпин во весь голос затягивает:

Мы по бережку идём,  
Песню солнышку поём,  
Ай-да, да, ай-да,  
Песню солнышку поём!..

Медленно издалека возникают звуки симфонического оркестра.

Звучание громче. Аппарат отъезжает от палочки дирижёра, открывая зал театра.

Поёт Шаляпин Дона Базилио.

Стоя у рампы и словно обращаясь к зрительному залу, он поёт знаменитую арию «Клевета».

Клевета вначале сладко  
Вечерочком чуть порхает  
И как будто бы украдкой  
Слух людей едва ласкает...

Яростно повышает голос:

Вот гремит уж общим гласом,  
Стала общей клевета...  
Вот, как буря, разразилась,  
Загремела, покатилась  
Неудержною волной...  
И, как бомбу, разрыва-а-а-а-ет!..  
Клевета всё потрясает  
И колеблет шар земной...

Сегодня он поёт как-то особенно значительно — каждое слово арии окрашено такой болью, насмешкой, горечью, что даже чопорная и обычно слегка рассеянная петербургская публика сидит, вжавшись в кресла и не смея пошелухнуться.

А потом долгие овации.

Шаляпин склоняет голову. Аппарат наезжает на крупный план. Внимательно и печально смотрит Шаляпин на аплодирующую публику. Вместе с аплодисментами начинает звучать его голос:

— Я вовсе не хочу сказать о себе, что я — безукоризненный человек. Весьма вероятно, что, как все, я делаю дурного гораздо больше, чем хорошего. Но иногда так хочется почувствовать всех людей друзьями, так бы обнял всех и обласкал от всей души, а вокруг тебя все ошетинились ежами, смотрят подозрительно, враждебно.

Медленно опускается занавес.

Уборная Шаляпина.

Верхний свет погашен. Горит только маленькая лампа на гримировальном столике, а сам Шаляпин, бессильно и тяжело уронив руки, сидит, полуоткинувшись, в глубоком кожаном кресле.

Прямо перед ним на полу стоят стакан и пустая коньячная бутылка.

Приоткрывается дверь, и в уборную бочком, как всегда, входит Дворищин.

— Фёдор Иванович!

Шаляпин не отвечает.

Дворищин видит пустую бутылку, укоризненно говорит:

— Всю бутылку! Это ещё по какому поводу?

Шаляпин показывает Дворищину письмо, невнятно произносит:

— Читай... От Серова.

Дворищин читает:

— «Что это за горе, что даже ты кончаешь карачками. Постыдился бы».

Шаляпин, схватившись руками за голову, стонет:

— Всё что-то не так... Знаешь, кто мне сейчас нужен? Мне Максимыч нужен... Друг любезный... А его нет... Почему его нет?!

Дворищин снимает с вешалки пальто и шляпу Шаляпина, напяливает всё это на него.

— Пойдём, пойдём, Фёдор Иванович!

— Я не пойду.

— Пойдём, отвезу тебя в гостиницу, чаем напою... Поздно уже. Утром поговорим... Пойдём, Фёдор Иванович!..

Тяжело приподнимаясь, Шаляпин хватается за плечи Дворищина.

— А почему так тихо?

— Никого нет в театре. Все разошлись. Ночь!

Осенняя петербургская ночь — с дождём и резким ветром. Дворищин выводит Шаляпина из актерского подъезда, беспомощно и озабоченно оглядывается по сторонам. Вокруг — ни души.

Над головой Шаляпина и Дворищина на скрипучей проволоке кружится и покачивается на ветру фонарь. Шаляпин и Дворищин то показываются в полосе света, то через мгновение проваливаются в темноту.

— Чёрт! — в сердцах восклицает Дворищин. — Все лихачи, как на грех, подевались куда-то!

Секунду подумав, он продолжает:

— Ты здесь, Фёдор Иванович, стой... Обожди меня... А я на площадь сбегаяю. Только ты никуда не уходи, стой здесь... Слышишь?!

— Слы... — одним слогом отвечает Шаляпин.

Дворищин убегает.

Сильный порыв ветра срывает с головы Шаляпина шляпу, но он даже не замечает этого.

Тяжело ворочая языком, он говорит в пустоту воображаемому собеседнику:

— Мне плохо... Я один, а мне плохо...

И тогда из темноты появляется чёрт с лихо закрученными чёрными усиками, с рогами и пронзительным голосом.

— Чёрт? — спрашивает Шаляпин.

Но чёрт принимается бормотать что-то совершенно холуйское:

— Ваше сиятельство, не извольте беспокоиться... Ваше сиятельство...

— Брысь! — как кошке, мотнув головой, говорит Шаляпин, и чёрт послушно и мгновенно исчезает, а из темноты внезапно появляется взволнованное женское лицо.

— Фёдор Иванович! Боже мой, что с тобой?

— Я пьян.

— Почему же ты один? И без шляпы... Ты же простудишься, идём, идём скорей... Здесь мой экипаж — я тебя довезу...



— А вы кто? — спрашивает Шаляпин.

— Я Маша... Господи, идём скорей...

— А вы кто?

— Маша, Маша, Маша... Я вчера встречала тебя на вокзале... Ну, обопрись на мое плечо... Не бойся, я крепкая!

Маша и Шаляпин выходят из круга света, и через какую-то долю секунды слышен шум отъезжающего экипажа.

Тишина.

Бегом появляется Дворищин и, к полному своему ужасу, убедившись, что Шаляпин пропал, кричит вновь в темноту:

— Фёдор Иванович! Фёдор Иванович, где ты?!. Фёдор Иванович...

Солнце. Утро.

Незнакомая гостиная, обставленная дорого и со вкусом.

Маша сидит у телефона, негромко говорит, прикрывая ладонью трубку:

— Это господин Дворищин?.. Здравствуйте... Мария Валентиновна Петцольд... Вы не беспокойтесь о Фёдоре Ивановиче, он у меня... Он ещё спит... Он просил, чтоб вы забрали в гостинице его вещи и привезли ко мне... Да, я знаю, что вечером концерт... Пусть господин Кенеман к трём часам тоже приедет сюда... Сюда — это, значит, ко мне...

Маша опускает телефонную трубку на рычаг.

Входит кокетливая, в крахмальной наколке горничная. Вносит на серебряном подносе утренние газеты и почту.

— Аннушка! — говорит Маша, небрежно проглядывая корреспонденцию. — Скажите Михайловне, чтоб она побыстрее накормила детей и увела их гулять!..

Горничная, сделав книксен, уходит.

Маша встаёт, заглядывает в приотворённую дверь спальни, входит.

На широкой двуспальной кровати под шёлковым стеганым одеялом спит Шаляпин.

Маша садится на низенький пуф у кровати, смотрит на спящего Шаляпина. Она шёпотом говорит:

— Шесть лет я ходила на все твои концерты и спектакли. Я бывала в тех же домах, в которых бывал и ты. Иногда ты приходил ко мне... Ненадолго... Но я знала, что однажды ты придёшь в мой дом и уже больше не уйдёшь...

Шаляпин вдруг открывает глаза, смотрит, по лицу его пробегают едва уловимая тень беспокойства и недоумения, он сдвигает брови.

— С добрым утром! — просто говорит Маша.

— С добрым утром.

Молчание.

— Мне надо вставать? — с какой-то полувопросительной интонацией произносит Шаляпин.

— Нет, не надо. Лежи, отдыхай. Твой кофе я тебе сейчас принесу! — говорит Маша.

— Но ведь сегодня у меня концерт... Мне надо позаниматься с аккомпаниатором... И потом — в гостинице мой фрак и...

— Твои вещи привезёт господин Дворищин, а Кенеман будет к трём часам. Вы успеете прорепетировать. Я вызвала настройщика — он проверит рояль...

Шаляпин, прищурившись, смотрит на Машу.

— Ты обо всём подумала?!

— Да, — всё так же просто отвечает Маша. — Я обо всём подумала!..

Она встаёт.

— Сейчас тебе принесут кофе.

Выходит.

Шаляпин неподвижен. Взгляд его устремлен в одну точку. Он медленно закрывает глаза. На лице улыбка.

И возникают из тумана широкие просторы реки.

И песнопение.

В церквушке стоят высоченный жених Фёдор Шаляпин и нежная маленькая Иола Торнаги. Немногочисленные друзья. Всё чинно, торжественно. И вдруг в венчальную песню врываются громкие весёлые возгласы.

...На полу на коврах сидят гости — друзья новобрачных. Здесь и Мамонтов, и Рахманинов, и Коровин. Едят, пьют, озорничают. Один из гостей заканчивает тост, и раздаются крики:

— Горько, горько, горько...

Все оборачиваются и застывают. Новобрачных на месте нет.

Компания во главе с Мамонтовым весело смеётся. Мамонтов разводит руками.

— Господа, а новобрачные-то сбежали.

Лица новобрачных. Аппарат отъезжает, открывая сеновал. Молодая в белоснежном платье лежит на соломенном ложе. Глаза закрыты. На одном колене, опершись на

руку, перед ней Фёдор. Он внимательно, чуть улыбаясь, смотрит на молодую жену.

Лицо ее прекрасно, спокойно. Ветер, врываясь в открытое окошко сеновала, раздувает платье, колышет волосы на голове. Соломинки, вздутые ветром, легли на её лицо.

Фёдор осторожно смахивает их рукой.

Стало чуть светлеть. Медленно проплывает в небе огромная луна. Тихое песнопение венчания звучит в ритм проплывающей луны. И вдруг врываются неистовые крики.

Лицо Фёдора. Он как бы вслушивается в эти крики, вспоминает. Закрывает глаза. Крики всё громче, громче.

И стоит подросток Федя Шаляпин. Аппарат резко отъезжает, открывая ревущую толпу, которая следует за медленно двигающейся телегой. Шагает лошадёнка, понуро опустив голову. К передку телеги привязана верёвкой за руки маленькая обнажённая женщина.

Она идёт как-то боком, ноги дрожат, подгибаются. Растрёпанная голова поднята кверху и откинута назад.

На телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в чёрной смушковой шапке. Ярко-рыжие волосы падают на лоб. В одной руке он держит вожжи, в другой кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу женщины.

Федя идёт за орущей толпой.

А мужик хлещет, хлещет, орёт:

— Н-ну... Ведьма! Гей!.. Н-ну... Ага!.. Ра-аз!

Взрывы смеха толпы.

Длинный тонкий кнут обвивается вокруг тела женщины. Мужик на телеге дёргает кнут на себя.

Женщина вскрикивает, опрокидывается назад, падает в пыль.

Лошадь останавливается, шевелит губами, словно хочет сказать: «Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие».

Сеновал. Лицо Шаляпина. Открывает глаза. Аппарат отъезжает, Шаляпин наклоняется над спящей Иолой. Нежно гладит по голове.

Раздаётся странная музыка.

У сеновала среди деревьев стоят друзья Шаляпина. Они играют на самодельных инструментах: на ложках, тарелках, свистульках. С важным видом дирижирует Рахманинов. В окне сеновала показываются Иола и Фёдор.

Друзья запели:

— Привет тебе, о Гименей!..

И на фоне этой песни голова Шаляпина на подушке. Слабо позвякивает ложечка в стакане. Шаляпин открывает глаза. Теперь хор звучит далеко-далеко.

Маша протягивает Шаляпину стакан кофе.

— Пожалуйста, Феденька, пей.

В Народном доме на Петроградской стороне идёт спектакль «Дон Карлос».

Но зрительный зал слушает невнимательно. В рядах говор и смятение.

Идёт диалог Дон Карлоса и Маркизы Позы.

А в зале читают газеты. Передают друг другу воззвания «К гражданам России».

Но вот сцена на площади. На ступенях собора появляется Филипп II — Шаляпин. Он поёт вдохновенно. Могучий голос звучит резко и сильно... Вокруг стоят воины, толпа. Склонив головы, они слушают своего короля.

Филипп поёт:

— Бунтовщики, еретики будут сожжены, а король испанский — помазанник Божий и первый владыка мира...

Ниже кланяются верноподданные.

Но неожиданно с улицы доносятся оружейные залпы. «Верноподданные» на сцене насторожились.

Волнение в рядах зрителей.

После оружейной стрельбы следует несколько оружейных залпов.

«Верноподданные» на сцене бегут за кулисы. Король остаётся один.

Среди публики смятение. Мария Валентиновна из ложи с ужасом смотрит на мужа.

За сценой громко обсуждают события:

— Откуда стреляют?

— А бежать-то куда?

Дворищин старается их успокоить:

— Куда стреляют, неизвестно... Будем продолжать...

Идёмте...

Часть «верноподданных» возвращается на сцену.

Шаляпин подаёт знак.

Дирижёр взмахнул палочкой. Заиграл оркестр, и начал петь Шаляпин арию, которую прервали:

— Бунтовщики, еретики будут сожжены. Я король испанский — помазанник Божий и первый владыка мира...

Публика молчаливо, испуганно слушает.

В паузе Шаляпин тихо спрашивает Дворищина:

— Почему стреляют?

Тот испуганно сообщает:

— А это, видите ли, крейсер «Аврора» обстреливает Зимний дворец, в котором заседает Временное правительство.

Снова выстрелы. Суматоха на сцене. Разбегаются оркестранты. Разбегаются и зрители. Паника на сцене.

Из ложи насмерть перепуганная Мария Валентиновна умоляюще протягивает руки королю — Шаляпину.

А на улицах тёмного Петрограда стрельба. Крики «ура», орудейные залпы.

Под дождём со снегом, под звяканье пуль, перебегая от крыльца к крыльцу, пробираются Фёдор Шаляпин с Марией Валентиновной.

...Солнце восходит величаво и спокойно. Нет тишины только на земле.

Зима.

На заснеженной улице маленькие человеческие фигурки — такими они кажутся сверху, из окна — строят баррикады. Ветер рвёт обрывки полотнищ, развешанных на балконах домов. С серого неба сыплется мелкая снежная крупа.

Шаляпин стоит у окна. Он держит палитру, кистью проводит по холсту, иногда поглядывая в окно. Снова рисует. Это портрет.

В углу сидит Исай Дворищин, сосредоточенно позирует.

Маша, кутаясь в огромный пуховый платок, ходит по комнате, сжимает руками виски.

— Боже мой, Боже мой! Господи, спаси и помилуй! Что же это делается?! Когда ж это кончится!.. Кто позволил?!

— Революция, Маша! — глухо говорит Шаляпин и отходит от окна, отложив палитру. — Революция ни у кого разрешения не спрашивает.

Он присаживается на корточки у железной печки-буржуйки, перебирает стопку книг, уже приготовленных для отправки в огонь, отрывает корешки и переплёт, суёт книги в печку.

— И этот угар! — тонким голосом продолжает Маша. — Этот холод! Ну, хорошо, если уж им так хотелось сделать революцию — почему нельзя было сделать её летом?!

На улице крики, выстрелы. Маша падает в кресло, затыкает уши.

Шалапин встаёт и снова подходит к окну.

Тишина. И вдруг — сильный дробный стук в дверь и залихватистый собачий лай.

Маша вскрикивает.

Шалапин хмурится, нерешительно поджимает губы.

Стук повторяется — настойчивый, властный. Заходится лаем собака.

— Я открою? — с полувопросительной интонацией произносит Шалапин.

— Нет! — кричит Маша. — Нет!.. Федя!.. Я прошу... Федя, нет!..

Но Шалапин уже выходит в переднюю, придерживает за ошейник царапающую дверь когтями собаку.

— Булька, тихо!..

Собака, успокоенно повизгивая, прижимается к хозяину.

— Кто там? — не открывая двери, спрашивает Шалапин.

— Открывайте! — говорит хриплый голос. — Обыск!..

— Позвольте... А этот... Ну, как его... Ну, ордер у вас имеется?!

За дверью раздаётся смех:

— Научились, растудить их... Имеется, имеется! Тут и представитель домового комитета с нами, так что не сомневайтесь...

— Ну, хорошо!..

Продолжая одной рукой придерживать за ошейник собаку, Шалапин другой рукой открывает дверь. И сразу же через порог вваливается в переднюю высокий матрос в бушлате, с забинтованной головой. Следом за ним входят два морячка — один совсем молоденький, а другой пожилой и степенный. Замыкает шествие человек в пальто, надетом прямо на исподнее, — представитель домового комитета.

— Здравствуйте! — говорит Шалапин.

— Здравия желаем, гражданин буржуй! — весело отвечает молоденький морячок.

— Я не буржуй! — возмущается Шалапин. — Я артист... Певец... И я не понимаю, на каком основании...

— Вы не шумите, — устало говорит высокий, — основание у нас простое — поступил сигнал, что у вас хранится оружие.

— Что за чепуха?! — восклицает Шалапин. — Какое ещё оружие!..

— А вот это мы посмотрим! — усмехается матрос.

— Нет у меня никакого оружия!..

Представитель домового комитета что-то негромко говорит высокому. Высокий кивает, спрашивая:

— Где кабинет?

Шаляпин, пожав плечами, молча ведёт незваных гостей в свой кабинет.

...Над диваном на огромном, расстеленном во всю стену бухарском ковре висит оружие — сабли, шпаги, мечи, лук со стрелами, старинные дуэльные пистолеты, ружьё.

Молоденький морячок даже присвистывает от изумления:

— Вот это да!..

Высокий с укоризненной насмешкой, ни слова не говоря, смотрит на Шаляпина.

— Коллекция... — смущённо бормочет Шаляпин. — Это я собирал... Мне дарили... Вот — ружьё, это Горький подарил... Алексей Максимович... Это ж коллекция...

— Сымать? А, товарищ Талызин? — негромко спрашивает у высокого пожилой моряк.

— Сымайте! — говорит высокий и, кивнув на широкую двухстворчатую дверь, интересуется: — А там чего?

— Там столовая.

— Показывайте...

Шаляпин, высокий моряк и представитель домового комитета входят в столовую.

В кресле неподвижно, как каменная, стиснув зубы и полузакрыв глаза, сидит Маша.

— Моя жена... Марья Валентиновна...

Высокий вежливо говорит:

— Очень приятно...

Подходит к треноге, на которой висит портрет Исайки. Подозрительно смотрит.

— А это что?

— Мой друг!..

— Тоже буржуй?..

Исай делает шаг вперёд.

— Я — Исай Дворищин... При царе не очень жалован, ибо происхождения иудейского... Без права жительства во многих городах...

Матрос вглядывается в Исайю, затем серьёзно спрашивает:

— «Интернационал» знаешь?

— Слышал!

— То-то! Ныне у нас все равны... Живи, где хочешь...

Посмотрев на портрет и ещё раз на Исайю, матрос идёт к печке-буржуйке, берёт с пола несколько книжек, перелистывает, строго и укоризненно замечает:

— Вот вы говорите, артист... Артист — культурный человек, а книжки жгёте! Пушкина Александра Сергеевича в огонь! Разве это можно?..

— Так это ж старое издание... Рваньё... У меня есть другие — академические, юбилейные...

Но высокий, отряхнув книжку и отерев её рукавом бушлата, строго и внушительно говорит:

— Пушкина не жечь! За Пушкина — возьмем!..

Входит, держа в руках стопку постельного белья, пожилой моряк.

— Товарищ Талызин, придётся две простыни вместе связать, а то не унести...

— Я извиняюсь, — раздаётся внезапно чей-то незнакомый певучий голос.

Все оборачиваются.

В двери стоит худенькая девушка — в сапогах, в полушубке, в косынке, за ней ещё несколько человек.

— Мы стучали, а вы не слышали... А дверь не заперта...

Она оглядывает присутствующих, смешно морщит нос, улыбается Шаляпину.

— Гражданин... Товарищ Шаляпин — это вы?

— Я.

— А я из Орехова... Мы тут в Питере с делегацией... Были у товарища Луначарского... Он сказал, чтоб мы к вам... Ну, насчёт концерта... Очень просят наши рабочие и все... Пожалуйста, товарищ Шаляпин, не откажите... Вы приедете к нам?..

Она снова оглядывает присутствующих, неожиданно пугается:

— Я не вовремя, да?

Шаляпин, шагнув вперёд, кладёт руки на плечи девушке.

— Милая вы моя! Вы очень вовремя... Очень! Передайте вашим товарищам, что я приеду... Непременно приеду!..

— Спасибо... Большое спасибо! — торопливо говорит девушка, отступая к двери. — Извините... До свидания!..

Неловкое молчание.

Исай хватается за голову.

— Я ничего не понимаю. У меня голова идёт кубарем!

Представитель домового комитета шепчет одними губами Шаляпину:



— Фёдор Иванович, вы не думайте, что это я сообщил... Ей-богу, не я!..

И опять молчание.

Высокий матрос, дёрнув забинтованной головой, сухо говорит:

— Пахомов, положьте простынки назад...

— А как же, товарищ Талызин...

— Положите назад, я вам говорю! В руках оружие унесём... Идите!..

— Слушаюсь!

Пожилой возвращается в кабинет.

Высокий, задумчиво хмыкнув, спрашивает у Шаляпина:

— А вы когда в Орехове выступать будете?..

И вдруг, по-мальчишески застеснявшись, он протягивает Шаляпину руку:

— Будем знакомы! Талызин — моя фамилия... Вы не обижайтесь, за советской властью не пропадёт!..

И сразу голос Луначарского:

— Я начинаю гордиться государственными театрами и их добрыми намерениями обслуживать народ...

Луначарский стоит на сцене театра и говорит, обращаясь к залу, который заполнен курсантами военных школ:

— Я убеждён, что ближайшие месяцы принесут громадные результаты.

Шаляпин в артистической уборной гримируется. Прибегает взволнованный Исай.

— Товарищ Луначарский просит вас на сцену, что-то очень важное.

Шаляпин встаёт.

...Луначарский продолжает:

— Мы можем сказать с уверенностью, что через несколько лет история будет с любопытством следить...

В кулисах слушают Шаляпин и Исай. Голос Луначарского:

— ...как происходит процесс зарождения нового театра в великую эпоху в России.

Аплодируют в зале. Луначарский, увидев Шаляпина, идёт к кулисам, выводит его за руку.

Овация. Все встают. Луначарский, дождавшись тишины, говорит:

— Я считаю поэтому справедливым и необходимым в присутствии представителей молодой армии пролетариата представить им и вместе с ними всей советской стране первого народного артиста республики.

Зрители неистово аплодируют. Взволнованный Шаляпин выходит на авансцену.

— Я много раз в моей артистической жизни получал подарки при разных обстоятельствах, от разных правителей, но этот подарок — звание народного артиста — мне всех подарков дороже, потому что он гораздо ближе моему сердцу... человека из народа.

Грохот аплодисментов прерывает речь. Молодые курсанты сопровождают аплодисменты выкриками, затем начинают скандировать:

— Шаляпин, Ша-ля-пин!..

Шаляпин, предельно взволнованный, заканчивает:

— А так как здесь присутствует молодёжь российского народа...

Аппарат в движении фиксирует крупно лица юношей в военной форме.

Слышен голос Шаляпина:

— ...то я, в свою очередь, желаю им найти в жизни успешные дороги, желаю, чтобы каждый из них испытал когда-нибудь то чувство счастья, которое я испытываю в эту минуту.

Овации в зале. Крики:

— Шаляпин... Шаляпин...

Подняв руку, Шаляпин выходит на авансцену.

В зале наступает тишина.

Шаляпин взволнованно обращается к сидящим в зале:

— Разрешите спеть песню, которую я сам сочинил: я знаю, знаю — она несовершенна, но написана она от всего сердца, от всей души.

Он даёт знак оркестру. После вступления запекает:

К оружию, граждане, к знамёнам!

Единство силу нам даёт.

Во славу русского народа

Вперёд, друзья, вперёд, вперёд!

Аппарат наезжает на поющего Шаляпина.

Улицы Ленинграда. Зима. Идёт густой снег. Маршируют отряды рабочих, отправляющихся на фронт. Звучит песня Шаляпина:

К оружию, граждане, к знамёнам!

Пусть мирно пахарь наш живёт.

Во славу русского народа —

Пусть враг падёт, пусть враг падёт!

Шагают отряды. Их лица суровы. Густой снег закрывает экран.

## Третья часть

### МАСКА И ДУША

...Силён, красив, талантлив русский народ! Вот о чём поёт Шаляпин всегда, для этого он и живёт, за это мы бы и должны поклониться ему благодарно, дружелюбно, а ошибки его в фальшь не ставить и подлостью не считать.

*М. Горький*

Музыкальное вступление на титрах. Это вступление к «Блохе». Аппарат отъезжает от крупного плана Шаляпина, открывая огромный зал, до отказа заполненный солдатами, рабочими. Многие с винтовками на плечах. Шаляпин поёт:

Жил-был король  
Когда-то.  
При нём блоха жила.

Слушают внимательно в огромном зале. Голос Шаляпина:

Ха-ха-ха. Ха!  
Ха-ха.

Шаляпин продолжает петь.

Последний куплет тонет в шквале оваций.

На эстраду выходят несколько человек. Среди них матрос, который руководил обыском у Шаляпина. Они несут шубу, пакеты.

Матрос обращается к Шаляпину:

— Король шил бархатный кафтан ничтожной блохе. А вот народ подносит своему народному артисту реквизированную буржуйскую шубу, чтобы голос не остужался.

Аплодисменты зрителей. Матрос торжественно надевает шубу на плечи Шаляпина.

В сторонке складывают пакеты с едой.

Шаляпин, дождавшись тишины, начинает петь тихо и озорно «Вдоль по Питерской».

По лицам вооружённых людей проходит панорама.

Звучит песня над суровым Ленинградом. Двигаются вооружённые отряды рабочих. Разные плакаты на стенах.

Шагает в шикарной шубе Шаляпин. Мальчишки сопровождают его криками: «Буржуй!»

А Шаляпин шагает по Питеру. Останавливается у плакатов. Смотрит на отряды вооружённых людей, уходящих на фронт. Снова поворачивается к плакату. На нём броским шрифтом написано:

Жри ананасы, рябчиков жуй.  
День твой последний приходит, буржуй.

Шаляпин сворачивает на заваленную снегом улицу. Мальчишки в полном восторге бегают за Шаляпиным, крича:

— Бур-жуй... Бур-жуй...

Шаляпин подходит к дворнику, который расчищает от снега дорожку к воротам. Он обращается к нему:

— Скажи, любезнейший, художник Кустодиев здесь живет?

— Здесь, вон там во флигеле.

Шаляпин, перескочив через сугроб, входит во двор.

Аппарат отъезжает от руки, которая рисует. Открывается общий план большой комнаты, заставленной холстами, подрамниками. У холста в кресле на колёсах, закутанный в поношенный плед, сидит Кустодиев, рисует.

Входит Шаляпин. Кустодиев оглядывается. Шаляпин здоровается.

Кустодиев, отложив кисть, с удивлением отвечает на приветствие:

— Здравствуйте, здравствуйте, Фёдор Иванович... Садитесь. Прошу!..

Он передвигает колёса кресла руками. Подъезжает к Шаляпину.

— Чем обязан вашему визиту?

— Задумал я, видите ли, режиссировать оперу «Вражья сила». И вот решил просить вас создать декорации и костюмы.

Кустодиев, не спуская глаз с шубы Шаляпина, отвечает:

— Я рад, что могу быть вам полезен в такой чудной пьесе...

Подняв глаза на Шаляпина, он весело предлагает:

— А пока что ну-ка позируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая богатая. Приятно ее написать.

Шаляпин так же весело:

— Ловко ли? Шуба-то хороша, да, возможно, краденая.

— Как краденая? Шутите, Фёдор Иванович. Когда же вы её украли?

— Недели три тому назад... Пришли, просили спеть концерт и вместо платы предложили шубу... Мне, пожалуй, брать её не стоило, но, сами видите, уж больно шуба-то хороша. Вот я, мерзавец-буржуй, и взял...

Кустодиев весело:

— Вот мы её, Фёдор Иванович, и закрепим на полотне. Он начинает передвигать кресло на колёсах к полотну на подрамнике, приговаривая:

— Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул.

Шаляпин встаёт, позирует.

Кустодиев показывает рукой:

— Вот так и стойте!

Он начинает рисовать.

Позирует важно Шаляпин.

Слышен голос его:

Жри ананасы, рябчиков жуй.

День твой последний приходит, буржуй.

Наплывом появляется готовый знаменитый портрет Шаляпина на фоне нижегородской ярмарки.

Голос на портрете:

День твой последний приходит, буржуй.

Издали вдруг врывается:

— Долой Шаляпина, долой Шаляпина...

На сцене стоит группа молодых людей. Впереди оратор продолжает неистовую речь.

Аппарат отъезжает, открывая наполненный зрительный зал Политехнического музея, идет диспут. Оратор кричит:

— Долой Шаляпиных, Станиславских, Немировичей... Мы закладываем фундамент пролетарского искусства.

Слушают Шаляпин, Горький, Исай.

— Не для того свершил великую революцию пролетариат, чтобы пользоваться культурой, созданной эксплуататорами.

Оратор распалился:

— Мы отшвыриваем эту культуру, это искусство, как негодную ветошь...

Аплодисменты группы «создателей новой культуры».

Шаляпин растерянно смотрит на Горького, который отвечает насмешливым взглядом. Оратор кричит:

— Мы, полномочные представители культуры пролетариата, отвергаем Станиславских и Немировичей, Шаляпиных и Качаловых с Москвиными...

Снова аплодисменты.

Шаляпин наклоняется к Горькому:

— Не находимся ли мы в филиале сумасшедшего дома?

Оратор продолжает:

Дома-коммуны — вместо хаты!

Массовым действием заменяйте МХАТы!

Он взмахнул рукой, и на сцену выскочили парни и девушки.

Хоровая декламация. Резкие движения и построения.

Горький и Шаляпин с удивлением смотрят на это зрелище.

И после хоровой декламации оратор торжественно заключает:

— Условность, конструкция, сборка, монтаж — мы эти термины берём из процесса труда, из производственных процессов, ими заменяем мы термин «творчество», мы монтируем, собираем аттракционы...

Голос из публики:

— Алексей Максимович, чего же вы молчите?

Шаляпин берет Горького за руку, тот отмахивается, но аплодисменты и выкрики заставляют его встать. Дождавшись тишины, он сердито говорит:

— Революция — не дебош, а благородная сила в руках трудящегося народа. Это торжество труда, стимул, двигающий мир.

После слов Горького в зале растерянное молчание.

И тогда поднимается человек с густой гривой и вежливо, но язвительно говорит:

— Мы очень уважаем писателя Горького, но... как тетретирика... Прошу меня извинить...

Шаляпин осатанело вскакивает, но Горький с силой усаживает его на место.

Оппонент продолжает:

— Я позволю себе продемонстрировать в пластическом выражении то, что я и молодые мои друзья имеем в виду.

Он хлопает в ладоши, и исполнители выстраиваются на сцене буквой «П». Пятеро молодцов выходят вперед и начинают воображаемыми топорами рубить воображаемое дерево. В глубине сцены группа женщин заламывает в отчаянии руки. Остальные делают вид, что страшно хотят.

Гривастый режиссёр обращается к Горькому и Шаляпину:

— Что это? Как по-вашему?

Горький и Шаляпин в недоумении молчат.

Режиссёр торжественно объясняет:

— В этой пантомиме, которая называется «Вишнёвый сад» по Чехову, мы за полминуты успели сказать все то, на что Антону Чехову потребовались целые четыре действия.

Голос режиссёра крепнет:

— А победившему пролетариату некогда... У него слишком много дел. Революция — это буря, циклон, который разрушает, сметает всё наследство старого мира, ломает!!!

Горький резко:

— Не ломайте! Пролетариату нужны и Станиславские, и Шаляпины... Как воздух нужны... Позволю себе напомнить слова: культура пролетариев будет развиваться, беря на вооружение огромный запас знаний, который накопился во все времена...

Режиссёр насмешливо осведомляется:

— И какой же доморощенный теоретик это провозглашает?

Горький отвечает просто:

— Фамилия этого теоретика — Ле-нин!

В рядах представителей «нового искусства» полная растерянность.

Горький и Шаляпин идут по улицам вечернего города. Шаляпин бормочет:

— Сумасшедший дом... Сумасшедший дом!..

Горький, постукивая тростью, сердито хмыкает:

— Владимир Ильич говорит, что все эти новоявленные специалисты по пролетарской культуре и все их выдумки — сплошной вздор... А я боюсь, что он недооценивает опасности... Этим молодцам дай волю, так они такого наломают, что потом десятки лет собирать придется...

Шаляпин продолжает бормотать:

— Ничего не понимаю... Не понимаю.

Горький грустно усмехается.

— Скажу по совести, Феденька, и я многого не понимаю...

Они доходят до угла, останавливаются и, разведя руками, молча прощаются, расходятся в разные стороны.

Аппарат наезжает на огромный плакат с вычурной разноцветной надписью: «Диспут на тему: “Долой Венеру Милосскую”!»

Шаляпин лежит на диване. Ноги укрыты пледом. Мария Валентиновна со стаканом чая в руке успокаивает Шаляпина.

— Пожалуйста, пожалуйста, Феденька... Ты отдохни... Выпей чаю... Это очень хорошо — крепкий горячий чай... Пожалуйста... Путиловцы отличный чай прислали...

— Я ничего не понимаю, — с каким-то тихим отчаянием произносит Шаляпин. — Ничего не понимаю! Кто им позволил, кто дал им право заменять погремушкой — душу!.. Или это какое-то вселенское жульничество, или...

Он приподнимает голову, испуганно смотрит на Марию Валентиновну.

— Знаешь, но ведь не могло же столько людей единым разом спятить с ума?! Может быть, это я спятил?! Может быть, я уже давным-давно сижу в сумасшедшем доме и всё, что вокруг, — всё это мне только кажется, всё это бред?!

Он закрывает глаза.

...И вот он идет по длинному, бесконечно длинному коридору, поднимается по скрипучим ступенькам лестницы на второй этаж и оказывается в странной белой комнате.

Маленькая девочка в белом докторском халате и белой шапочке важно кивает Шаляпину.

— Добро пожаловать! Кто вы такой?

— Я — Шаляпин.

— Здесь все Шаляпины. Какой вы Шаляпин?

Шаляпин в недоумении разводит руками.

— Обыкновенный. Шаляпин, Фёдор, сын Иванов, артист...

Девочка, с сожалением вздохнув, нажимает кнопку звонка.

На пороге комнаты появляется огромный мрачный детина — он тоже в белом халате, белой шапочке и чёрных до локтей резиновых перчатках.

— Проведите в тринадцатую палату! — приказывает девочка.

Они идут по длинному коридору без конца и края. По стенам развешаны картины, эскизы декораций, афиши.



Изумлённый Шаляпин останавливается то у одной, то у другой картины, афиши.

Панорама по стене.

На афишах извещения о спектаклях: «Ревизор» по Гоголю». «Ревизор» большими буквами, «по» — большими, «Гоголю» — маленькими. Огромными буквами написано: «Режиссёр», гигантскими, во всю стену — «Кузькин». Следующая афиша: «Живой труп» по Толстому, режиссер Коздалевский, «Три сестры» по Чехову, режиссер Развальяй-Душегубский. На панораме эскизы декораций, похожие на бред сумасшедших.

Шаляпин стоит перед ними, то закрывая глаза, то открывая. Сопровождающий кладет ему руку на плечо, приглашая идти дальше.

...И опять длинный коридор. Шаляпин в сопровождении служителя подходит к дверям, на которых мелом написана цифра «13». Служитель ключом отпирает дверь и вталкивает Шаляпина в палату.

Каждый обитатель палаты — Шаляпин, но не просто Шаляпин, а Дон Кихот, Мефистофель, Сальери, Дон Базилио, Мельник, Варлаам.

Впрочем, на каждом из них поверх театрального костюма напялена еще и больничная пижама.

— Здравствуйте! — очень вежливо говорит Шаляпин. — Я хотел бы узнать...

— Помолчите, бывший милостивый государь! — обрывает его Мефистофель. — Разве вы не видите, что мы репетируем?! Мы очень заняты... Мы репетируем «Русалку»!..

— Ах, так вы ставите Даргомыжского? — спрашивает Шаляпин.

Этот естественный вопрос вызывает совершенно неожиданную реакцию. Все, сорвавшись с мест, начинают прыгать вокруг Шаляпина, размахивать руками, кричать:

— Нет, не Даргомыжского... По Даргомыжскому, по... По Пушкину... По Даргомыжскому... По, по, по!..

Шаляпин удивленно морщится.

— А что это значит «по»?

— Это значит, бывший милостивый государь, — язвительно усмехается Мефистофель, — что на земле весь род людской жаждет нового, а ваши Пушкин и Даргомыжский безнадежно устарели... Едва ли мы вообще упомянем их имена в афише... Ну, разве что... — Он показывает кончик мизинца. — Вот такими малюсенькими буквами...

Мельник кричит:

— Меньше, меньше... еще меньше!..

— А нас — большими! — замечает Сальери. — Нас вот такими!

— Господи, да не все ли равно, кого какими буквами писать?! — приходя в волнение, восклицает Шаляпин. — Пишите как хотите! Но когда вы говорите, что Пушкин устарел — тут же позвольте вам не поверить! Не могут устареть Толстой, Пушкин!.. Не могут устареть Бах, Моцарт, Чайковский, Бетховен... Не может устареть Рембрандт, не верю!.. Нельзя одним ударом топора срубить прошлое...

— Надо! — резко и наставительно говорит маленький, желчный Сальери. — Это мы раньше, почтеннейший, все ещё сомневались — совместны или несовместны гений и злодейство. А теперь мы твердо знаем — совместны! И ежели хочешь быть гением, так изволь быть и злодеем — жги, руби, коли, дави...

— Кого — жги?! — кричит вне себя Шаляпин. — Кого — руби?! Кого — дави?!

— А всех — авторов... артистов... художников, всех тех, которые слюнявят: «Святое Искусство», «Храм Искусства»... «Священный трепет подмостков»... Ха-ха-ха!..

Шаляпин гневно:

— Но ведь не пустые это слова для артиста, художника, за ними глубокое чувство!

Выскакивает знакомый по диспуту оратор:

— Послушайте, старичок, вам не понять, не понять, что такое новатор!!! А тех, кто не понимает, мы и предлагаем рубить, колоть, давить...

— Позвольте, — уже почти задыхается Шаляпин, — но ведь Мусоргский тоже был новатором и все-таки никого не давил, не рубил, не жёг...

— Видите ли, — приподняв лохматые рыжие брови и вежливо улыбаясь, говорит Дон Базилио, — мой личный друг Аристотель... говорил мне так: друг мой, Дон Базилио, самое важное — это всегда и во что бы то ни стало идти вперёд, даже если сам не знаешь, куда ты идешь и зачем.

Шаляпин, как-то вдруг сникнув, устало машет рукой.

— Вранье! Не мог вам этого говорить Аристотель! И не мог он быть вашим личным другом! Вы — или врёте, или сошли с ума...

Эти слова заставляют всех стремительно отступить от Шаляпина.

— Какая бестактность! — бормочет Мефистофель. —  
Какая удивительная бестактность!

Потом он стучает ребром ладони по спинке кровати.

— Внимание! Мы отвлеклись... Начнем!

Теперь каждый, перебивая друг друга, во всё горло принимается распевать какие-то арии, а под конец все вместе поют:

Люди гибнут за металл-л...

Люди гибнут за металл-л...

Люди гибнут за металл-л...

— Прекрасно! — радуется Мефистофель. — Это, стало быть, у нас пролог?..

— К чему пролог? — снова вмешивается Шалапин.

— К «Русалке».

Щёлкает наружный замок, и в комнату, кутаясь в мохнатую простыню, со всклокоченной мокрой бородой вваливается царь Иван Васильевич Грозный.

При его появлении все замирают.

— Смир-р-но! — зычным голосом командует Грозный. — Становись!

Грозный обходит обитателей палаты, навешивает на них ордена — гардеробные номерки, бляхи, жетоны.

И все, получая «орден», целуют Грозному руку и склоняются перед ним в глубоком поклоне.

— А ты кто таков? — угрюмо спрашивает Грозный, останавливаясь перед Шалапиным.

— Шалапин!

— Какой Шалапин?

— Обыкновенный. Шалапин. Фёдор, сын Иванов, артист.

Злобно шуруется Грозный и тычет Шалапина в грудь длинным костлявым пальцем.

— Уж не тот ли ты обыкновенный Шалапин — рвань подзаборная, что брешет, аки пес, будто и его, и его, и его...

Грозный обводит глазами столпившихся вокруг обитателей палаты, визгливо кричит:

— Будто это всех нас ты создал?!

— Да, государь Иван Васильевич, — тихо и твердо отвечает Шалапин. — Да, это я вас создал...

Грозный в бешенстве топает ногой.

— Бейте его, слуги мои верные, бейте его, подлого...

Обитатели палаты с воем и хохотом подступают к Шалапину, скалят зубы, сжимают кулаки, хватают за пиджак и за волосы.

Шаляпин, еле вырвавшись, бросается к дверям, колотит в них, в кровь обдирая руки, кричит:

— Отпустите меня!.. Отпустите меня!.. Эй, слышите, кто-нибудь, отпустите меня!..

Шаляпин резко поднимает голову с подушки, садится на диван, испуганно оглядывается.

Мария Валентиновна кладет руку ему на лоб.

— Успокойся, Федя, успокойся.

Резкий звонок. Шаляпин и Маша тревожно застывают. Снова звонок. Маша испуганно:

— Опять!.. Опять!..

Шаляпин решительно идет в переднюю. Подходит к дверям. Выжидает. Снова звонок. Шаляпин открывает дверь. Перед ним посыльный — военный. Он спрашивает:

— Гражданин Шаляпин?

— Я.

— Фёдор Иванович?

— Фёдор, сын Ивана.

Шаляпин показывает посыльному удостоверение. Тот читает, берет под козырек, почтительно щелкнув каблуками.

— Товарищ народный артист, вам пакет.

Он передает Шаляпину конверт и, откозырнув, уходит. Шаляпин входит в большую комнату, где в тревоге ждёт его Маша. Вскрыв конверт, разворачивает письмо, читает. На лице недоумение. Маша в испуге прижала руки к груди, и вдруг Шаляпин начинает громко смеяться.

В ужасе смотрит Маша.

Громовой хохот Шаляпина гремит по всей квартире.

По лестнице Дома учёных поднимается озабоченный Шаляпин. Повсюду люди о чем-то тревожно переговариваются. Аппарат следует за Шаляпиным. Доносятся реплики:

— Ночью ввалились! Реквизировали библиотеку, которую собирал тридцать лет...

— Из университета — казармы... Занятия прекращены... Какой я ректор, какой ректор...

Шаляпин, оглядываясь на говорящих, проходит мимо взволнованной группы. До него доносится:

— Нищенский паек и тот урезали... а ртов шесть...

В группе увидели Шаляпина. Замолкли. Когда он прошёл, кто-то тихо сказал:

— Я полагаю, ему беспокоиться не следует, за десятирých получает.

Шаляпин останавливается, оглянувшись на собеседников, улыбается.

— Каждый день к завтраку, обеду и ужину по верблюду получаю... Только жарить негде!..

Повернувшись, быстро идёт дальше. Останавливается перед дверью, ведущей в кабинет Горького. На ней надпись: «Комиссия по улучшению быта учёных».

Алексей Максимович шагает по кабинету, диктует машинистке:

— До настоящего времени в распоряжении комиссии по улучшению быта учёных имеется тысяча восемьсот пайков. Этого явно недостаточно.

Входит Шаляпин, до него доносится голос Горького:

— ...И большое количество высококвалифицированных ученых остаются без пайков...

Горький увидел Шаляпина, обращается к нему:

— А, Фёдор, ну садись... — и продолжает диктовать: — Комиссия убедительно просит Совнарком об увеличении числа пайков до двух тысяч. Председатель комиссии Горький.

Он подходит к Шаляпину, обнимает.

— Чем озабочен, Федор?

— А вот дело есть, товарищ председатель. — Шаляпин нерешительно показывает Горькому бумажку. — Совнарком предлагает мне взять моральное наблюдение за государственным кинематографом.

Чуть улыбается Горький.

Шаляпин выжидает. Горький, прищурив глаза, внимательно смотрит на Шаляпина и затем серьёзно говорит:

— Что ж, синематограф — изобретение великое и служить человеку может, помочь может совершенствованию людей...

Слушает сидящий в углу бородатый человек. Иронически улыбается.

В это время раздаётся звонок телефона. Секретарша берёт трубку, слушает, обращается к Горькому:

— Вас, Алексей Максимович. Полюстровский волостной совет.

Горький берёт трубку.

— Здравствуйте, дорогой товарищ! Спасибо, что позвонили... Вы распорядились выдать мне три пуда квашеной капусты. Это очень любезно, но слишком много... И я прошу вас распоряжение о квашеной капусте немедленно отменить... Да... Да!..

Шаляпин, улыбаясь, слушает. Голос Горького:

— ...А в противном случае — берегитесь! Я начну спекулировать этой капустой... А... А!.. Ну, хорошо...

Горький смотрит на смеющегося Шаляпина, продолжает:

— ...Хорошо... Я, может быть, и не стану спекулировать, но прошу отменить... Сердечно благодарю... Будьте бодры и здоровы... До свидания!

Улыбнувшись, Горький продолжает прерванный разговор:

— Но боюсь, Фёдор, что раньше, чем помочь совершенствованию людей, синематограф может послужить популяризации разврата...

Шаляпин внимательно слушает.

Горький иронически продолжает:

— Дадут, например, картины: «Она раздевается», или «Акулина, выходящая из ванны», или «Она надевает чулки»...

Шаляпин, усмехаясь:

— Вот мне и предлагают следить...

Горький машет рукой.

— За всем миром не уследишь. Синематограф начнёт отвлекать от размышлений над смыслом жизни. Режиссёрам за услуги будут хорошо платить... И рассуждать они станут просто: «На кой чёрт какое-то искусство, если на обнажённых девицах можно заработать хорошие деньги...»

Шаляпин резко:

— И начнут бегать вокруг этих «новаторов» людишки и, дабы их тоже заметили, во всю силу глотки своей кричать будут: гении, новаторы...

Бородач встаёт, чтобы уйти. Горький, спохватившись, останавливает его. Берёт со стола рукопись.

— Извините, что задержал вас. В вашей рукописи разобрался. И скажу по чести — я не понимаю...

Бородач слушает, иронически улыбаясь. Голос Горького:

— ...Какой интерес могут иметь картины садизма, описания убийств?..

Бородач берет рукопись и, вежливо поклонившись, говорит:

— Согласен, что искусство понять не каждому дано.

Горький, сжав губы, тихо говорит;

— Полагаю, что если художник творит только для себя, для избранных, то ему следует подумать, есть ли смысл в такой работе. Есть ли смысл во всей его жизни.

Бородач безучастно слушает. Шаляпин смотрит на него, только скулы ходят. Слышен голос Горького:

— Если художник честен, он обязан чувствовать за всех, грустить со всеми. Искусство не только воспевает героя, оно печально любит и ничтожество...

Горький закашлялся. Всё тело его вздрагивает. Он прикрыл рот платком.

Шаляпин резко подходит к бородатому.

— Слыхали!.. Печально любит и ничтожество... Идите и запомните, что он сказал...

Бородатый, нахмутив брови, уходит. Шаляпин подходит к Горькому, обнимает его, ласково говорит:

— Люблю я тебя, Максимыч, сердце золотое... И горжусь, что могу назвать тебя другом своим... Слушай, поговори с кем надлежит, объясни, что не мое это дело — надзирать за синематографом.

Горький улыбается.

— Да, ты уж лучше пой.

— Буду петь, буду, дорогой мой. Хотя в буржуях хожу, и подарки твои — пистолеты реквизируют, и дров для театра не дают...

И, улыбнувшись, Шаляпин заканчивает:

— И дачку-то мою тоже реквизируют... Ах, дела, дела... Ну, будь здоров, дорогой, добрейший друг!

Шаляпин уходит. Горький резко поворачивается к машинистке.

— Пожалуйста, пишите. Дорогой Владимир Ильич. Хочу обратиться к вам по поводу истории с Шаляпиным...

Москва. На подъездных путях к городу — опрокинутые и разбитые эшелоны, остовы паровозов, запорошенные снегом.

А люди стоят в очередях — у булочных и керосиновых лавок, молчат, и только изредка кто-то, не выдержав, пытается шёпотом сообщить последнюю новость:

— Скажи, а генерал Юденич...

Но почти мгновенно следует грозный окрик:

— Эй, в шляпе, кончай контру разводить!..

Оглушительно названивая, но очень медленно движется битком набитый трамвай, пересекает Театральную площадь, которую тройным кольцом опоясывает людская стена.

Разговоры здесь другие:

— Хоть бы на галерку, хоть бы просто входной до-  
стать!

— Я, батенька, самого Баттистини двадцать два раза слушал, а вы мне будете говорить — Ершов!..

...А в одной из прокуренных до сизости комнат Кремля идет совещание.

Очень худой и очень лохматый человек в толстовке, тыча пальцем в какой-то лежащий перед ним на столе список, говорит ожесточенно:

— Я считаю, товарищи, что это просто чепуха, абсурд, нонсенс, выражаясь научно! В стране разруха и голод, нам угрожают Деникин, Юденич, Колчак... Люди нужны на фронтах, а нам поезда отправлять не на чем — нет топлива! Бани протопить не можем, вошь заедает... А тут, изволили ли видеть, бывшие императорские театры... И никакие, кстати, они не «бывшие»... Только название переменили! А как пели про царей — для дамочек и господ, так и сегодня поют... «Борис Годунов», «Царская невеста», «Жизнь за царя»... И всё в этом роде...

Бесшумно отворяется дверь, и на пороге комнаты, озабоченно и устало щуря глаза, появляется Владимир Ильич Ленин.

Несколько человек за столом одновременно и торопливо делают движение встать, как бы освобождая для Ленина место, но Владимир Ильич чуть поднимает руку, останавливая их — мол, сидите, сидите.

— Я вам, товарищи, больше скажу, — распалась, продолжает лохматый. — Я не удивлюсь, если именно в этих самых бывших императорских театрах находит прибежище всякая контра!.. Да, да, товарищи!..

Лохматый победоносно обводит глазами слушателей, только теперь замечает Владимира Ильича, встряхивает головой, кивает:

— Здравствуйте, товарищ Ленин.

— Здравствуйте, — вежливо и негромко отвечает Владимир Ильич.

— Короче, — помолчав, заканчивает лохматый, — предлагаю — театры из списка вычеркнуть... — Лохматый садится.

Молчание.

— А театры просят дрова? — спрашивает Владимир Ильич.

— Да, товарищ Ленин.

Ленин вздыхает.

— А с дровами у нас плохо! — задумчиво говорит он. — Очень плохо... И все-таки театрам надо бы дать!



Певцы же не могут петь в холоде — голоса потеряют... И балет не может в холоде танцевать... И потом у них там бесценнейшие костюмы, реквизит, декорации... Надо бы дать?!

Ленин, улыбаясь, поворачивается и, уже уходя, через плечо бросает:

— Но, разумеется, дорогие товарищи, это мое сугубо личное мнение — решать вам!.. — И, почему-то засмеявшись, добавляет: — И открыли бы форточку — накурили, не продохнешь...

...Всё еще посмеиваясь каким-то своим мыслям, Владимир Ильич по длинному коридору проходит в приемную.

Пожилая женщина с коротко остриженной седой головой поднимается из-за пишущей машинки, на которой она что-то печатала, шёпотом говорит:

— Добрый день, Владимир Ильич!

Это Фотиева, секретарь Ленина.

— Вы простудились? — удивленно спрашивает Ленин.

Фотиева одними глазами показывает Владимиру Ильичу на спящего в кресле коренастого широкоплечего парня в солдатской шинели и разбитых сапогах.

— Кто такой? — тоже переходя на шёпот, интересуется Ленин.

— Лазарев. Из Владимира. Из Губземкомиссии.

И, точно услышав эти слова, Лазарев открывает заspanные глаза, вздрагивает и, мгновенно вскочив, вытягивается по-военному.

— Товарищ Ленин, прибыл по вашему вызову!

Ленин кивает.

— Вот и отлично! С приездом!

Ленин берет Лазарева под руку, негромко обращается к Фотиевой:

— Лидия Александровна, голубушка, посоветуйте, как быть... Мне очень нужны для работы две книжки... Я знаю, что они есть в Румянцевской библиотеке, но ведь они книг на дом не выдают... Просить их сделать для меня исключение — просто даже как-то неловко... Но я не вижу другого выхода!..

— Напишите записку в библиотеку, я ее передам! — коротко отвечает Фотиева.

Ленин хмыкает:

— Вы думаете?.. Пожалуй, хорошо, я напишу... Идёмте, товарищ Лазарев!..

...Кабинет Ленина.

Лазарев, хмуро и озабоченно сдвинув белёные брови, сидит на краешке стула, а Владимир Ильич стоит у окна, задумчиво смотрит, как пушистый снег большими мягкими хлопьями падает на булыжную мостовую Красной площади.

Наконец, всё еще не оборачиваясь, Ленин спрашивает:

— Я надеюсь, товарищ Лазарев, что вы догадываетесь — по какому вопросу вызваны в Москву?

— Догадываюсь.

Ленин придвигает к себе стул, садится на него верхом, внимательно смотрит на Лазарева, улыбается:

— Судя по выражению вашего лица, вы с решением верховного земельного суда не согласны?

— Не согласен, товарищ Ленин. Мы, понимаете, реквизируем буржуазное имение, передаем землю крестьянам, проводим партийную линию, а верховный суд отменяет наше решение и требует, чтоб мы вернули имение хозяичку...

— Хозяичик — это Фёдор Шаляпин?

— А какая разница, товарищ Ленин, кто?!

— Какая разница?

Владимир Ильич стремительно встаёт, делает несколько шагов по кабинету, останавливается перед Лазаревым.

— Очень большая разница, товарищ Лазарев, очень большая! Борясь за интересы рабочих и крестьян, мы не должны, не имеем права забывать замечательных, талантливых людей России... И как бы нам ни было тяжело, для них мы обязаны создать все условия для жизни и творчества. Шаляпин — наша гордость и сила! Если в том прекрасном мире, который мы мечтаем построить, такие люди, как Шаляпин — артисты, ученые, художники, — будут чувствовать себя неудобно и неуютно... грош нам тогда цена в базарный день!.. Вот так-то, дорогой товарищ Лазарев! Скажите-ка, а вы сами, лично слышали когда-нибудь Шаляпина?

— Нет, товарищ Ленин, не приходилось.

Ленин присаживается к столу, нажимает кнопку звонка. На пороге кабинета появляется Фотиева.

— Лидия Александровна, — говорит Ленин, — извините, что я вас нынче одолеваю просьбами... Послезавтра, если не ошибаюсь, Шаляпин даёт концерт в Благородном собрании...

— В Доме союзов? — строго поправляет Фотиева.

— Ах, да, да — в Доме союзов, совершенно я запутался с этими переименованиями. Так вот, Лидия Александровна,

ровна, нельзя ли достать для товарища Лазарева один билетик на этот концерт?!

Фотиева даже руками всплескивает от негодования.

— Владимир Ильич, помилуйте, да о чём же вы раньше-то думали! Люди месяц в очереди стоят, а вы — билетик! Может быть, удастся в Большой, и то вряд ли...

— Ну, Лидия Александровна, ну, голубушка, ну, постарайтесь! — просительно говорит Ленин. — Позвоните Анатолию Васильевичу Луначарскому... Ну, обманите его, в конце концов, скажите, что это я для себя просил...

— Да не стоит, Владимир Ильич, — смущённо вмешивается Лазарев. — Не надо, коли это так трудно...

— Надо! — говорит Ленин и наставительно поднимает палец. — Обязательно надо! Этот вечер, дорогой мой, вы на всю свою жизнь запомните!

Большой театр представляет собою удивительное зрелище. В этот год из-за холода гардероб не работал, в зал разрешалось входить в верхней одежде — и поэтому и в партере, и в ложах, и на ярусах в самых необыкновенных сочетаниях мирно соседствуют солдатские шинели и дамские накидки, полуморские бушлаты и щегольские пальто с бархатными воротниками, сапоги и высокие, на застежках, боты.

Не получившие мест, но все-таки сумевшие пробиться в театр стоят в проходах — и это тоже никому не мешает. Никто не обращает друг на друга ни малейшего внимания. Все глаза устремлены на сцену.

В низком сводчатом тереме идёт чрезвычайное заседание боярской думы. Лукавый царедворец Василий Шуйский рассказывает обступившим его насмерть перепуганным боярам:

...Какой-то мукою терзаясь,  
Страдалец-государь томился...  
Вдруг посинев, глаза уставив в угол,  
К царевичу погибшему взывая,  
Призрак его бессильно отгоняя,  
«Чур, чур!» — шептав...

Неожиданно отворяется дверь, ведущая во внутренние покои, и с зажженным канделябром в руке, пятясь, спиной к боярам входит в терем Борис Годунов — Фёдор Шалапин, выкрикивая дрожащим, прерывистым голосом:

Чур, чур!..

Какое-то неуловимое движение пробегает по залу и замирает. Тишина становится еще напряжённее, еще плотнее.

Подавшись вперёд, тяжело дыша, с полуоткрытым ртом, не отрываясь, смотрит на сцену представитель Владимирской губземкомиссии Лазарев.

Борис Годунов подозрительно оглядывает бояр.

Кто говорит — «убийца»?.. Убийцы нет!

Мёртвое молчание. И на сцене и в зале. И, готовый принять это молчание за подтверждение своих слов, Борис Годунов почти радостно произносит:

Жив, жив, малютка!

А Шуйского — за живую присягу —

Четверговать!..

Лазарев, судорожно глотнув воздух, еще больше подаётся вперед.

И вдруг из зрительного зала, разрывая напряжение тишины, несется чей-то ломкий, по-петушиному мальчишеский голос:

— Товарищи, граждане...

Замирает действие на сцене.

Смешавшись, умолкает оркестр.

— Товарищи! — забираясь на какие-то немислимые верха, продолжает мальчишеский голос: — Среди нас присутствует вождь мирового пролетариата, наш дорогой и любимый товарищ Ленин!.. Товарищу Ленину — ура!..

— Где?.. Где?..

Люди озираются, вскакивают с мест, заполняют проходы. Сначала неуверенно, а потом всё громче и громче раздаются аплодисменты и возгласы:

— Ура!..

— Да здравствует товарищ Ленин...

Невысокий человек в пальто с поднятым воротником, с кепкой, засунутой в карман, поднимается со своего места в первом ряду партера.

Это Владимир Ильич.

Он сердито машет рукой, что-то говорит, но слова его тонут во всё нарастающем шквале аплодисментов и возгласов.

Шаляпин, распрямившись, с напряженившимися скулами, подошел к самой рампе и смотрит со сцены в зрительный зал.

Унизанные перстами пальцы сжимаются в кулаки.

Владимир Ильич, втянув голову в плечи, беспомощно оглядывается, делает несколько быстрых шагов к выходу, открывает дверь. Растерявшийся седовласый директор задаёт тревожный вопрос:

— Вы куда, товарищ Ленин?

Гневно бормочет Ленин:

— Когда поет Шаляпин — аплодируют Шаляпину.

Он задирает голову, встречается глазами с Шаляпиным.

В какую-то долю секунды происходит стремительный безмолвный диалог.

Шаляпин спрашивает:

— Вы уходите, Владимир Ильич?

Ленин отвечает;

— Нет, Фёдор Иванович, я буду слушать.

Шаляпин благодарно улыбается.

Владимир Ильич бочком усаживается в углу.

Даёт знак дирижёру продолжать.

Дирижёр поднимает палочку.

И снова замирает зрительный зал. И как-то вдруг, в одно мгновение, сгорбившись и постарев, с трудом представляя полупарализованные ноги, Шаляпин — Борис Годунов подходит к своему креслу на возвышении, садится и говорит:

Я вас созвал, бояре, на вашу мудрость полагаюсь...

В годину бед и тяжких испытаний

Вы мне помощники, бояре...

Квартира Шаляпина в Москве.

За окнами серый денёк, дождь, облетающие деревья Новинского бульвара.

В прихожей резко и настойчиво дребезжит колокольчик.

Одетая по-домашнему, в фартуке, в шлёпанцах на босу ногу, в прихожую выбегает Иола.

Она неловко возится с тяжелым дверным запором, приговаривает:

— Сейчас... Сейчас... Одну минутку, сейчас!..

Потом, вспомнив, очевидно, какие-то наставления и придерживая уже открытую дверь, она спрашивает:

— А кто там?

Низкий женский голос отвечает:

— Мне нужна госпожа... Мне нужна госпожа Шаляпина Иола Игнатьевна!..

Иола открывает дверь.

Перед нею на лестничной площадке стоит очень молодая, очень красивая и очень нарядная женщина.

Нетерпеливо покусывая губы, она спрашивает:

— Могу я видеть госпожу Шаляпину?

— Это я! — тихо отвечает Иола.

Мгновенная пауза.

— Здравствуйте, — дрогнувшим голосом произносит женщина, — а я Маша... Мария Валентиновна!..

Иола молча кивает.

Снова наступает томительная пауза.

— Вы не разрешите мне зайти? — с нервным смешком спрашивает Маша.

— Пожалуйста.

Всё так же молча и не делая никаких попыток помочь, Иола смотрит, как Маша снимает пальто, ищет, куда бы его повесить, и, не найдя, кладет на спинку кресла, поправляет перед зеркалом причёску.

— Сюда, пожалуйста, — говорит Иола, открывая дверь в столовую.

Маша входит, оглядывается, обводит глазами стены, на которых висит множество портретов Шаляпина и увеличенная овальная фотография, на которой молодые, жених и невеста, Иола Торнаги и Фёдор Шаляпин счастливо улыбаются в аппарат.

Иола отодвигает от стола кресло.

— Прошу вас...

Маша садится, беспокойно щёлкает замком сумки, говорит:

— Я надеюсь, что вы...

— Извините, — перебивает ее Иола, — я сейчас вернусь... Подождите меня!

Иола уходит.

Монотонно тикают большие, в тёмном деревянном футляре старинные часы. В клетке, стоящей на окне, попрыгивает и попискивает щегол.

Маша встает, делает несколько шагов по комнате, снова садится.

Внезапно за стеной раздаются грохот падения человеческого тела и женский вопль:

— Не уходи! Прошу тебя, скажи мне, что обо мне ты думаешь?

Рассудительный низкий голос отвечает:

— Что вы себя считаете не тем, что есть...

Женщина говорит:

— И это же я думаю про вас!..

В рассудительном голосе звучит усмешка:

— Вы думаете верно: я — не я!

После паузы за стеной, смешавшись, продолжают говорить, только теперь так оживленно и быстро, что слов разобрать нельзя.

Отворяется дверь, и входит Иола.

Она переделалась — на ней чёрное строгое платье, туфли на высоких каблуках; уже слегка седеющие волосы гладко причёсаны и стянуты узлом на затылке. В ушах серьги, губы подкрашены.

Она подходит к столу, опирается на него рукой и, не садясь, не глядя на Машу, говорит:

— Я слушаю вас!

— Иола Игнатьевна, — решительно начинает Маша, — я надеюсь, что... Я приехала в Москву на один день — от поезда до поезда — специально, чтобы повидать вас... Я воспользовалась тем обстоятельством, что Фёдор Иванович сейчас здесь... иначе я бы не смогла... Я с вокзала позвонила в театр, узнала, что у него сейчас репетиция и... Но мне кажется — будет лучше, если он не узнает, что я была у вас. Правда?

Иола не отвечает.

— Иола Игнатьевна, — быстро, кончиком языка облизнув губы, продолжает Маша, — я понимаю, что вам неприятно видеть меня, но... что случилось, то случилось! Никто ни в чём не виноват... Мы обе любим Фёдора Ивановича... и для вас, и для меня — самое главное в жизни — это его счастье, его здоровье, его благополучие... Поэтому я приехала к вам!

Иола встаёт, Маша тоже встаёт.

— Дело вот в чем: Федор Иванович получил из-за границы чрезвычайно выгодное предложение: гастроли с двухгодичным контрактом... но он боится ехать... Он говорит, что он не имеет права в такое страшное и смутное время оставить вас и детей... Он не хочет понять... — В голосе Маши вдруг прорывается раздражение. — Что именно ради детей он обязан уехать... Он погибнет здесь, погибнет! Умрет, заболет, потеряет голос — от этих крошечных спектаклей в нетопленных театрах... У него — как это теперь говорится?! — ах, да, реквизируют все его состояние... владимирское имение уже забрали... Чем же он сможет тогда помочь детям — нищий, больной, никому не нужный?!

За стеной, перебивая Машу, снова раздаётся грохот падения и вопль:

— Не уходи! Прошу тебя, скажи мне, что обо мне ты думаешь?

И снова отвечает рассудительный голос:

— Что вы себя считаете не тем, что есть...

Маша нервно передёргивает плечами.

— Кто это? Что там происходит?!

— Это Ирина и Лида! — спокойно отвечает Иола. — Дочери Фёдора Ивановича. Они учатся в театральной студии и репетируют. У них скоро экзамен.

Молчание.

Маша подходит к Иоле — и Иола сразу же, почти произвольно делает несколько шагов от неё назад.

— Иола Игнатьевна, — тихо говорит Маша, — поверьте, что мне тоже было совсем нелегко прийти к вам... И всё-таки я пришла... Я отбросила самолюбие, я хочу сейчас думать только о нём. Я знаю — он по-прежнему уважает вас и считается с вашим мнением... Он по-своему любит вас... И я прошу вас — вы должны, вы обязаны уговорить его уехать...

И опять наступает молчание.

Как-то нелепо и странно запрокинув голову, Иола тихо говорит:

— Много лет назад... О-о, очень много лет назад — я была тогда совсем молодая, моложе вас, моложе, чем мои дочери... Я приехала в Россию на один год... Я боялась всего, и я даже не знала говорить по-русски... В первые недели, я помню, я всё считала дни — сколько дней осталось до того, как мы вернёмся в Италию... Оказалось — вся жизнь... Я не уехала домой в Италию, я осталась в России и хочу умереть в России... Умереть на той земле, на которой родился мой муж — Фёдор Шаляпин... Что бы ни случилось, он навсегда мой любимый и мой муж...

И после паузы, сверкнув глазами, но еще тише Иола говорит:

— Как же вы посмели... Как вы посмели прийти ко мне и просить, чтоб я уговорила его уехать?! Вам мало того, что вы отняли его у меня?! Теперь вы хотите отнять его у всех, у всех, у всех... Уходите!.. Уходите скорей, или я... Уходите, я прошу вас, ну?!

Маша, прищурившись, резко поворачивается и выходит из комнаты.

Иола прислушивается — звякает в прихожей цепочка, хлопает входная дверь.

Иола опускается в кресло.

Она сидит, как благонаправная девочка — выпрямив спину, положив руки на колени, — и по её лицу катятся быстрые и частые слёзы.



Ирина и Лида за стеною снова начинают всё сначала:  
— Не уходи! Прошу тебя, скажи мне, что обо мне ты думаешь?

— Что вы себя считаете не тем, что есть...

— И что же я думаю о вас?

Раннее утро. Туман.

Сначала слышен только ленивый, как старческое шарканье, цокот копыт по булыжной мостовой. Затем из тумана появляется извозчичья пролётка. Откинувшись на кожаное сиденье, с лицом невыспавшимся и хмурым, сидит в пролётке Шаляпин, на нем подаренная шуба.

Он не смотрит по сторонам — только в такт покачиванию пролётки покачивает головой, полузакрыв глаза и стиснув зубы.

Зато старенький извозчик, видимо, после недавнего опохмела, чувствует себя прелотлично — помахивает кнутом, ёрзает на сиденьи, громко поёт:

Цыпленок жареный,  
Цыпленок пареный,  
Цыпленок там-пам-пам-парам...

— Ты чего это так распелся? — сердито обрывает его Шаляпин.

Извозчик усмехается:

— А я выпивши, господин хороший. Я, когда выпивши, всегда пою.

— А трезвым ты петь не пробовал? — с неожиданным интересом спрашивает Шаляпин.

Извозчик машет рукой.

— Трезвый человек — он делом заниматься должен, а не баловством!

Шаляпин, пожевав губами, соглашается:

— Да, это верно, это ты, старина, в самую точку попал! Слушай, а ты, случайно, Шаляпина не знаешь?

— Это артиста, что ли?

— Артиста.

— Знаю... Сам его не возил, врать не буду, но знаю... Все его знают... Он одного жалованья сто тыщ получал... И ведро водки в день... У него от водки голос разрабатывался... За границу удрал!

— Кто? — привстаёт Шаляпин.

— Кто, кто... Шаляпин!

— Стой! — громовым голосом командует Шаляпин.

Извозчик, оторопев, натягивает вожжи.

— На! — суёт ему какую-то мелочь Шаляпин, соскакивает на мостовую, грозит извозчику кулаком. — И пошел к чёрту!..

...Постукивая тростью, Шаляпин идет мимо решётки сада. За облетевшими листьями деревьев в тумане тускло поблескивают купола церкви Николая Морского.

Шаляпин сворачивает на канал, подходит к артистическому подъезду Мариинского театра.

Древнего обличья швейцар по-военному прикладывает руку к фуражке.

— Доброго здоровья, Фёдор Иванович.

— Да, — невпопад отвечает Шаляпин и проходит в тёмный вестибюль.

На мгновение он задерживается у доски с объявлением, на которой выделяется написанный красным карандашом призыв:

«Граждане артисты! При получении продпайка необходимо предъявление справки из домоупра о количестве иждивенцев. Без таковой справки продпайк выдаваться не будет».

— Домоупра! — произносит вслух Шаляпин, как бы прислушиваясь к звучанию этого диковинного слова, и вдруг, вздохнув, рявкает во всю силу, на низах, так, что на люстре начинают раскачиваться хрустальные подвески. — Справка из домо-у-упра!.. — И, неожиданно развеселившись, Шаляпин бросает на руки гардеробщику шубу и шапку, подмигивает ему и быстро по узкой винтовой лестнице поднимается на сцену.

На полутёмной сцене, освещённой одним только контрольным фонарём, группами стоят хористы.

— Извините, что опоздал, здравствуйте! — торопливо говорит Шаляпин. — Я только из Москвы и... И потом — пришлось пешком идти!.. Можем начинать?..

— Начнём! — раздаётся чей-то суховатый голос из зала.

Дирижёр, постучав по пюпитру, поднимает палочку.

Вступает хор:

Ясно ли солнышко в небе покажется,  
Будет дороженьку нам освещать...

— Минутку! — вдруг говорит Шаляпин и выходит вперёд.

Он делает несколько шагов вдоль ramпы, похлопывает себя ладонью по груди и для того, чтобы смягчить резкость своих слов, произносит их вежливо и примирительно улыбаясь:

— Во-первых, как говорит наш друг Направник, у вас в оркестре какая-то «трезь»! А во-вторых...

Он оборачивается к хористам.

— Ну, сколько раз нужно вам повторять одно и то же!! Вы поёте не ноты... до-до-до, ми-ми-ми, фа-фа-фа-фа, ми-ми-ми... Вы поёте слова... А слова имеют смысл... И этот смысл должны понять все... И те, кто сидит в первом ряду, и те, кто стоят на галёрке...

Он напевает, четко фразируя:

Ясно ли солнышко в небе покажется,  
Будет дороженьку нам освещать...

— Послушайте, Шаляпин! — грубо перебивает его пожилой знакомый криворотый хорист с отёчным лицом и какой-то грязно-серой, стоящей торчком шевелюрой. — Хватит, между прочим, строить из себя генерала! Нынче генералов нет!..

И ещё кто-то, прячась за спину товарищей, злорадно и звонко добавляет:

— А которые есть — тех бьют!..

Шаляпин каменеет.

Мягкой дрожью начинает дрожать рука, лежавшая на отвороте пиджака.

— Это ты мне говоришь? — очень тихо, сквозь стиснутые зубы спрашивает Шаляпин. — Это ты говоришь мне?! Ты, который первый повалился на колени перед Николашкой...

— А вы, господин Шаляпин, разве не ползали?!

Шаляпин, коротко вскрикнув, одним прыжком покрывает расстояние, отделявшее его от хориста, хватая его за грудь и, уже не помня себя, заносит тяжёлый кулак.

— Ну!..

Испуганно взвизгивают женщины. Шаляпин медленно, так и не ударив, опускает руку, закрывает глаза.

Молчание.

Сумерки.

По тёмной лестнице, чертыхаясь про себя и зажигая на ходу почти мгновенно гаснущие спички, Шаляпин поднимается к дверям своей квартиры — в одной руке какой-то узелок, палка зажата под мышкой, пальто растёгнуто.

Тяжело переводя дыхание, он останавливается у двери, привычно нашаривает замочную скважину, вставляет ключ.

Но едва только он переступает через порог, как откуда-то из глубины квартиры раздаётся вопль:

— Федя?!

В прихожую в развевающемся халатике, непричёсанная, с лицом, залитым слезами, выбегает Маша, бросается Шаляпину на шею.

— Федя... Федя... Господи! А я уж и не знала... Я думала, что тебя уже нет...

— Как это нет?!

— Ну, убили, ограбили, арестовали... Мало ли что?! Почему ты так поздно?

Шаляпин иронически торжественно поднимает узелок.

— За пайком стоял! Стоял за продпайком, но так как не имел справки домоупра...

— Господи, милый, глупый... Почему же не позвонил?! Ах, да — телефон не работает! Иди сюда!..

Она тянет Шаляпина за руку в столовую, в которой мирно горит неяркий голубоватый свет, сияет начищенный паркетный пол, а на столе горою лежат кульки и свёртки, поблескивают горлышки винных бутылок, тщательно обёрнутых папиросной бумагой.

— Добрый вечер, Фёдор Иванович!

Маленький плюгавый человек с лицом одновременно испуганным и наглым поднимается торопливо навстречу Шаляпину, шаркает ножкой.

Шаляпин, не глядя на человека, глухо спрашивает, мотнув головой:

— Что ему здесь надо?

— Ну, Федя... Алексей Степанович достал для нас сыр, макароны, шоколад, сахар...

Плюгавый подобострастно хихикает:

— Питание для мозга, Фёдор Иванович!

— И потом, вино, Федя... Твое любимое — токай...

— Ты заплатила? — всё так же, глядя куда-то в окно, мимо плюгавого, спрашивает Шаляпин.

— Да.

— Так в чем же дело?

— Алексей Степанович хотел тебе рассказать...

Шаляпин, резко обернувшись, говорит негромко, отчеканивая каждое слово:

— Убирайтесь отсюда!.. Вон!..

Обменявшись быстрым взглядом с Марией Валентиновной, плюгавый насмешливо пожимает плечами.

— Как угодно, Фёдор Иванович! Честь имею!..

Подождав, пока за плюгавым захлопнется дверь, Шаляпин, так и не сняв пальто, тяжело опускается в кресло.

Маша подходит, садится рядом, обнимает Шаляпина.

— Федя, Федя... Что с тобой? Если бы ты только знал, какие ужасы он рассказывал...

— Этот тип? — брезгливо морщится Шаляпин.

Но Маша, не обращая внимания на тон Шаляпина, продолжает напряжённым захлебывающимся шёпотом, словно сама приходя в ужас от собственных слов:

— Арестованы Смирнов, Ковалевский, Пулято... расстрелян... У Бобрышевых вывезли всё до нитки... Или нет, кажется, это Ковалевский расстрелян... Пришли какие-то в коже и всё вывезли... Это ужасно... Я не могу больше, Федя! Пока мы живы, пока ещё живы дети, мы должны уехать... Каждую ночь я лежу без сна — и слушаю, слушаю, слушаю... Сойду с ума... Я умоляю тебя, Федя...

Соскользнув с кресла, Маша становится перед Шаляпиным на колени.

— Я умоляю тебя — уедем... Уедем, пока не поздно... Я не могу так больше... Я сойду с ума или выброшусь из окна..

И вдруг в тишине, которую нарушают только прерывистое дыхание и всхлипывание Маши, раздаётся пронзительный дребезжащий телефонный звонок.

— Что это? — тревожно вскрикивает Маша.

Шаляпин быстро протянул руку, снимает телефонную трубку.

— Да?

В трубке мёртвое молчание.

— Кто там?.. Почему вы молчите... Но ведь был же звонок... Почему вы молчите? Кто это? — раздражённо и нервно допытывается Шаляпин.

Маша, всё еще стоя на коленях и глядя на Шаляпина широко раскрытыми, расширенными ужасом глазами, начинает беззвучно плакать.

Шаляпин медленно опускает трубку на рычаг, медленно говорит:

— Никто не отвечает... Телефон не работает... А звонок был... И я так ждал этого звонка... Вот уже несколько дней, как я все жду и жду этого звонка...

— Какого этого? — спрашивает сквозь слезы Маша.

Шаляпин встаёт, обеими руками поднимает Машу с пола, говорит, заглядывая ей в глаза:

— Понимаешь, я почти уверен, что со дня на день должен вернуться Серёжа Рахманинов... Может быть, он уже вернулся... Может быть, это именно он звонил...

— Какой Рахманинов? — не сдерживаясь больше, гневно кричит Маша и отталкивает Шаляпина. — Ты бредишь? Рахманиновы уехали три года назад. Навсегда. За границу. Ты же сам и помог им уехать... Ты всем помогаешь, кроме...

Недоговорив, она умолкает.

И Шаляпин тоже молчит.

Потом странно безжизненным и тусклым голосом спрашивает:

— Дети дома?

И так же безжизненно, точно целиком выплеснувшись в последнем крике, Маша отвечает:

— Дети у себя.

— Позови их. Побудь с ними.

— Хорошо. А ты уходишь?

— Я ненадолго. Только дойду до Прибытковых. Серёжа, когда приезжал в Петербург, всегда останавливался у них...

Он притягивает к себе Машину голову, целует в лоб, произносит тихо, как заклинание:

— Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!..

...Он уходит из дома.

Секунду помедлив на ступеньках подъезда, он поднимает воротник пальто и решительно, как в студёную воду, ныряет в вечерние сумерки.

Тишина. Ветер с Невы.

Дома стоят безмолвно, тёмные, лишь в редких окнах поблескивает сквозь закрытые шторы неяркий свет.

Шаляпин сворачивает за угол и лицом к лицу сталкивается с комендантским патрулём.

— Минутку! — окликает Шаляпина дребезжащий тенорок. — Документ!

...Чиркнув военной, сделанной из стреляной гильзы зажигалкой, начальник патруля, шевеля губами, изучает протянутое ему Шаляпиным удостоверение:

— Гражданин Шаляпин Фёдор Иванович, народный артист республики...

Тихонько присвистнув, начальник патруля возвращает Шаляпину удостоверение, козыряет.

— Здравствуйте, гражданин Шаляпин! Вы что же это один-то ходите?! Оружие при себе имеете?

— Нет, я оружия не имею.

Начальник патруля огорченно морщит курносый нос.

— Как же можно! Соколов!

Молоденький шуплый солдатик отделяется от общей массы.

— Здесь!

— Будете, Соколов, сопровождать гражданина народного артиста...

— Да не надо, что вы?! — пытается вяло протестовать Шаляпин.

— Надо! — строго говорит начальник патруля. — Нынче, знаете, пошаливают и... Соколов, вам задание понятно?

— Так точно, гражданин начальник!

— По исполнению вернётесь в комендатуру!

Начальник патруля снова козыряет Шаляпину.

— Желаю счастливо следовать, гражданин народный артист!

...Теперь они идут вдвоём, впереди, размахивая тростью, широко шагает Шаляпин, а сзади, путаясь в длиннополой шинели, с винтовкой через плечо семенит солдатик.

Темень. Снег.

Шаляпин бормочет:

Чёрный вечер,  
Белый снег...  
Ветер, ветер —  
На ногах не стоит человек!..

— Чего? — спрашивает сзади солдатик.

— Здесь! — говорит Шаляпин.

Он уверенно сворачивает в арку двора, перешагивая через груды мусора, подходит к невысокому, одноэтажному флигелю, останавливается.

Дверей во флигеле нет, сорванные с петель, они валяются здесь же, у входа, выбиты окна, и в пустых разорённых комнатах гуляет ветер.

— Вам, гражданин, кого?..

Представитель домовой охраны — ехидный старичок с допотопным охотничьим ружьём в руках — вопросительно разглядывает Шаляпина и солдатика.

— Я... Здесь жили Прибытковы...

Старичок усмехается.

— Жили, как говорится, да сплыли! Убегли! Месяца два уже, как убегли!

Шаляпин, помолчав, спрашивает:

— А куда, вы не знаете?

— Куда все... То ли в Финляндию, то ли же куда по-  
дальше — сладкой жизни искать!.. Чай с сахаром пить...

— И никто к ним за это время не приезжал?

Старичок, посмеиваясь, отвечает вопросом на вопрос:

— Кто ж теперь, граждане-товарищи, приезжает!..

...И снова они идут вдвоём по ночному, пустому, слов-  
но выметенному ветром городу.

Впереди — Шаляпин, сзади солдатик.

Они стучатся в запертые, охраняемые жильцами па-  
радные, заходят во дворы, поднимаются по тёмным лест-  
ницам, и всюду, всюду встречают их тишина и разорение,  
и в опустелых квартирах — разбитые окна, висящие лох-  
мотьями ободранные обои и бумаги, бумаги — газеты,  
письма, черновики, наспех брошенные, лишние, не нуж-  
ные теперь никому.

Кажется, что ни души не осталось в этом городе, ни-  
кого не осталось, кроме Шаляпина и следующего за ним,  
как тень, молоденького солдатика.

Нет Бунина и нет Куприна. И нет Коровина.

А на Кронверском на закрытых дверях, обитых черной  
клеёнкой, висит записка, написанная квадратным, чёт-  
ким, так хорошо знакомым Шаляпину почерком:

*А.М. Горький уехал. По всем вопросам обращаться в из-  
дательство "Всемирная литература" к А.Н. Тихонову.*

И перед этой дверью, перед этой запиской Шаляпин  
стоит особенно долго и даже зачем-то снимает шапку.

...И опять они идут по набережной Невы, сворачива-  
ют на Троицкий мост.

Из-за туч выплывает луна, и внезапно перед ними от-  
крывается во всём своём суровом величии невяская даль —  
свинцовые волны реки, панорама биржи, острый шпиль  
Петропавловской крепости.

Постукивая мотором, буксирный катерок тащит на ка-  
нате большую плоскодонную баржу, сигналил.

Разрывает тишину пронзительный, гневный и жалоб-  
ный вой сирены.

Шаляпин, порывшись в карманах пальто, достает гру-  
ду мелочи, зажимает её в кулаке, швыряет вниз, в реку и,  
встретив удивлённый взгляд солдатика, говорит серьёзно,  
печально и просто:

— Это для того, чтобы вернуться... Для того чтобы не-  
пременно, непременно вернуться!..



Иронически улыбается Мария Валентиновна.

Аппарат отъезжает, открывая общий план: у причала стоит пароходик, на пристани много провожающих, небольшой оркестр друзей-музыкантов играет любимые арии Шаляпина. Он прощается, обнимает друзей, которые печально смотрят на него. Прощаясь, он твердит:

— Не смотрите на меня, будто хороните.

Мария Валентиновна на пароходике следит за погрузкой своего имущества, указывая, какие ящики, узлы отделить.

Прощание на берегу продолжается. Раздаётся гудок. Шаляпин прощается с Исайкой, который не может сдержать слёз. Шаляпин успокаивает:

— Не плачь, скоро вернусь.

Гудок. Шаляпин, махнув рукой, идет к пароходу.

Провожающие машут руками.

Шаляпин на пароходу.

Плачет Исайка.

Пароход начинает медленно отчаливать.

Оркестр заиграл «Интернационал».

Шаляпин кричит Исайке:

— Не плачь, не плачь, говорю! Приеду. Вот истинный крест — приеду!..

И он широко и неистово крестится.

Мария Валентиновна иронически посмотрела на мужа, который, продолжая креститься, не может удержать слёз.

Маленький оркестр продолжает играть.

Шаляпин вынимает красный платок и машет им провожающим. Пароход удаляется. Из труб валит дым, закрывая пристань.

Из дыма возникает надпись по-немецки:

«Гамбург, таможня».

На длинных столах разложены чемоданы, узлы. Их тщательно проверяют таможенники.

Длинная очередь у столов.

У входных дверей таможни около выгруженных вещей стоят их владельцы.

В окружении жены и детей стоит Шаляпин около больших узлов, ящиков, картин, свёрнутых ковров. Носильщики подносят новые, складывают. Маша считает.

Неподалёку стоят прибывшие эмигранты. Глядя на разгружаемое имущество Шаляпина, обмениваются репликами:

— Своему прислужнику выделили немало!.. Красная крыса бежит с тонущего корабля.

Шаляпин косится на говорящих, но молчит. Он держит под мышкой палехскую знакомую коробку с землёй с могилы матери.

Злобные иронические лица мелькают мимо Шаляпина.

Таможенный чиновник подходит к Шаляпину. Указывая на палехскую коробку, спрашивает:

— Это что?

Шаляпин, прижимая коробку.

— Здесь нет ничего запрещённого.

Но чиновник даёт знак следовать за собой.

Маша хочет идти с ним, но он останавливает её:

— Ты за вещами смотри... Я сейчас...

Носильщик подносит связку картин.

В зале чиновники с опаской осматривают коробку, поворачивая из стороны в сторону. Шаляпин молча смотрит.

Чиновники открывают крышку. Недоумённо переглядываются. Подозрительно косятся на Шаляпина.

А тот стоит, прищурив злые глаза.

Чиновники через сито просеивают землю. Сыплется земля. И вдруг издали звучит напев. Это песня матери.

Молча стоит Шаляпин. Землю пропускают через более густое сито.

Через третье сито.

Смотрит Шаляпин.

Сыплется земля, образуя холм, похожий на могилу. Песня матери звучит громче. И сразу возникает огромное лицо Шаляпина на рекламном плакате. Сверкают рекламные буквы:

«Концерт знаменитого русского баса Шаляпина».

Номер гостиницы. Шаляпин репетирует с пианистом.

Врывается антрепренёр. За ним ещё несколько человек. Все встревожены. Все объясняют Шаляпину, перебивая друг друга:

— Готовится обструкция!..

— Будет скандал.

— Билеты раскупили враждебные вашей стране эмигранты...

— Вы большевик, говорят они...

— Скандал будет большой...

— Может дойти до кровавой драки...

Испуганно смотрит аккомпаниатор. Слышен тревожный голос:

— Устроят побоище... Устроят...

Шаляпина убеждает антрепренёр:

— У нас будут большие убытки, но надо отменить, отменить!

Шаляпин вдруг резко говорит:

— Я приехал сюда не в солдатики играть, а петь... Концерт отменить не позволю... Я за всё отвечаю...

Антрепренёр хочет что-то сказать, но Шаляпин останавливает его, обращаясь ко всем вежливо:

— Идите... Успокойтесь... И готовьте концерт.

Перепуганные посетители уходят.

У дверей антрепренёр останавливается. Вопросительно смотрит на Шаляпина.

А Шаляпин, улыбнувшись, успокаивает:

— Идите... Концерт состоится.

До отказа набит концертный зал. Люди сидят. Злобные лица. Грозное молчание.

Взволнованный антрепренёр в артистической уборной уговаривает Шаляпина:

— Отмените, отмените... Они не останутся и перед кровавым...

Шаляпин, вдруг разъярившись, выталкивает антрепренёра, крича:

— Состоится... Состоится...

Затем подходит к аккомпаниатору и что-то говорит на ухо.

Антрепренёр в ужасе смотрит из ложи в зал.

А там зловещая тишина.

На сцене у закрытого занавеса Шаляпин смотрит через дырочку в зал.

Злобные улыбки.

Шаляпин идет за кулисы. Даёт знак. Занавес медленно открывается.

На эстраду выходит один пианист.

Зловещее молчание публики.

Пианист раскрыл ноты и заиграл.

Когда кончился вступительный аккорд, вдруг раздался голос невидимого Шаляпина:

Духовной жаждою томим,  
В пустыне мрачной я влачился...

В публике молчание. Внимательно слушают:

И шестикрылый серафим  
На перепутье мне явился.

Посредине медленно распахивается занавес, и появляется могучая фигура Шаляпина:

И он к устам моим приник  
И вырвал грешный мой язык.

Шаляпин резко выходит к самой рампе и торжественно заканчивает:

Встань, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнишь волею моей,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей.

В зале могильная тишина. Затем все встают. Грохот оваций.

Молча стоит Шаляпин...

Холл фешенебельного отеля. В глубоких кожаных креслах, попыхивая сигарами, сидят два чрезвычайно почтенных господина.

У одного из них на коленях лежит портфель.

Из ресторана доносится негромкая музыка.

— Однако! — взглянув на часы, чуть раздражённо цедит господин с портфелем. — Мадам заставляет себя ждать!

Второй молча пожимает плечами, смотрит на дверь, и на лице его неожиданно появляется сладчайшая улыбка.

За огромной стеклянной дверью видно, как на улице у подъезда отеля останавливается такси. Мальчонка-бой открывает дверцу машины. Выходит Мария Валентиновна, расплачивается с шофёром.

...Господа в холле отеля встают.

В сопровождении почтительного боя, несущего за нею кучу каких-то пакетов и свёртков, появляется Маша.

Она подходит к ожидающим ее, улыбается, протягивает руку.

— Прошу извинить, я немного задержалась... Но что поделаешь — Париж!..

Господа, церемонно склонив напомаженные головы, целуют протянутую руку.

— Я не приглашаю вас наверх, — продолжает Маша, — господин Шаляпин не очень хорошо себя чувствует и посему...

Она садится, достает из сумочки лорнет в черепаховой оправе, деловито спрашивает:

— Вы привезли контракт?

— Разумеется, мадам!..

...Маша внимательно читает контракт, что-то бормочет про себя, поднимает глаза.

— Здесь не указано главное... Общая сумма гонорара... и не вообще, а гарантированного гонорара...

Господин с портфелем вытаскивает из кармана блокнот, раскрывает его.

— Когда мы предварительно говорили с господином Шаляпиным, речь шла о...

Тонким золотым карандашиком он пишет какую-то цифру, пододвигает блокнот Маше.

Небрежно взглянув, Маша отрицательно качает головой.

— Нет, это просто смешно!..

— Но господин Шаляпин...

— Господина Шаляпина надо слушать, когда он поёт! — холодно перебивает Маша. — А во всех остальных случаях — надо слушать меня!..

Она задумчиво вертит в пальцах золотой карандашик.

Джентльмены переглядываются.

Мария Валентиновна поясняет:

— Мы согласимся петь за...

Она что-то пишет в блокноте, подчеркивает написанное.

— Вот за такую сумму, господа, мы будем петь!..

И сразу аппарат отъезжает, открывая афишу-рекламу. На ней с огромной открытой пастью Шаляпин. Сверху летят осколки висящей люстры. Рекламная надпись по-английски:

«Американцы, слушайте Шаляпина — бас-гром!!! Ушные затычки получайте при покупке билета».

И гремит голос Шаляпина:

Вдоль по Питерской...

Огромный зал. Слушатели в восторге. И все поглядывают на потолок. А там действительно качается люстра. За потолком сидит человек, в руках у него провод, которым он и раскачивает люстру.

Шаляпин поёт.

И люстра в ритме качается.

Шаляпин кончил петь.

Публика неистовствует.

Но это уже на стадионе.

Матч американского футбола.

Игроки хватают друг друга за горло. Опрокидывают на ходу друг друга.

И публика неистовствует.

В новом зале поёт Шаляпин.

И здесь качаются уже две люстры. За потолком сидят двое. В руках тонкие провода, которыми они ритмично раскачивают люстры.

Но Шаляпин поет пианиссимо.

Публика смотрит вверх на люстры.

Кончив петь под грохот оваций, Шаляпин тоже смотрит на качающиеся люстры. Резко повернувшись, уходит со сцены. Раздражённый, входит в артистическую, где его ждут. Гневно кричит:

— Предупреждаю, в следующий раз я просто уйду со сцены и сообщу в газеты о том, что все эти номера с люстрой — самое отвязавленное мошенничество!.. Я же, черт возьми, не шпаги глотаю, не по канату хожу...

Номер в отеле.

Шаляпин, уже одетый к концерту — во фраке, в белом крахмальном пластроне, — стоит у окна.

Мистер Ромни — американский антрепренёр Шаляпина, — маленький, круглолицый, лысый человек, с видом провинившегося школьника сидит у стола, заваленного газетами, морщится и вздыхает.

— Но, мистер Шаляпин...

— Никаких «но»! — рявкает Шаляпин и, бросив взгляд на часы, спрашивает: — А чего мы ждём? Пора ехать!..

— Я вызвал машину, мистер Шаляпин, — миролюбиво объясняет Ромни, — когда она придёт, нам позвонят!..

Шаляпин смотрит в окно.

Внизу, запрудив тротуар и часть улицы, шумит у входа в отель толпа.

Шаляпин морщится.

— Смотрите, что делается! Надо бы выйти через какой-нибудь чёрный ход, а то разорвут ещё!..

Ромни встаёт, подходит к Шаляпину, тоже выглядывает в окно, усмехается и машет рукой.

— Не беспокойтесь. Сегодня они ждут не вас. Американцы, мистер Шаляпин, как дети! Каждый день им нужна новая игрушка... Вчера это были вы, сегодня они встречают артистов московского Художественного театра.

— Что-о?!

Ромни берет со стола газету, читает и переводит:

— «Сегодня в Нью-Йорк приезжает прославленная труппа Станиславского и Немировича, которая покажет знаменитые пьесы Антона Чехова и...»

Но Шаляпин, уже не слушая, хватая с вешалки шляпу и плащ, стремительно выбегает из номера.

У гостиницы стоит толпа.

У входа в отель Шаляпин.

На всякий случай он поднял воротник плаща и надвинул на глаза шляпу, но на него действительно никто не обращает внимания.

Все глаза устремлены туда — в конец улицы, откуда должны появиться машины.

— Едут! — раздаётся чей-то восторженный крик.

— Едут!.. Едут!..

И вот одна за другой появляются машины, целая кавалькада машин. Несколько полицейских, чуть потеснив толпу, берутся за руки, образуя коридор.

Машины останавливаются.

В толпе раздаются возгласы, аплодисменты, свист.

Хлопают дверцы машин — и к подъезду отеля, улыбаясь и кивая в ответ на приветствия, проходят актеры московского Художественного театра: Станиславский, Немирович, Книппер-Чехова, Качалов, Леонидов, Москвин...

Переполненный зал театра.

Кончается спектакль «Вишнёвый сад».

Шаляпин и Рахманинов в ложе, позабыв обо всем на свете, привстав со своих мест, смотрят на сцену.

...Уходят Раневская и Гаев.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают двери дома, как отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву.

Шаркая туфлями, выходит на сцену больной Фирс — Москвин.

В тишину, которую нарушает только сдержанный плач зала, падают негромкие слова:

— Уехали... Про меня забыли... Жизнь-то прошла, словно и не жил... Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось... ничего... Эх, ты... недотёпа!..

Шаляпин, опустив голову, что-то шепчет беззвучно...

Слышится отдалённый звук, точно с неба; звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Медленно идёт занавес.

И сразу же раздаётся громкий и взволнованный голос Шаляпина:

— Что ж случилось?! Почему в театральных залах перестали по-настоящему плакать и по-настоящему смеяться?!  
...Шаляпин стоит с наполненной рюмкой в руке в центре огромного банкетного стола.

Обращаясь к своим друзьям-мхатовцам, он продолжает:

— Почему иные скептики, ни шиша еще не сделавшие для искусства, позволяют себе посмеиваться над словами «Святое Искусство...»? Пусть слова эти старомодны, но ведь не бывает нового без старого... Если в том, что делали мы сегодня, есть жизнь — плоть и дух, — то жизнь эта непременно связана с прошлым...

Шаляпин улыбается влюблённо глядящему на него Москвину.

— Нынче для меня счастливейший вечер! Впервые за все эти годы я прикоснулся — душою прикоснулся — к настоящему, истинному искусству... А ведь порою просто руки опускаются! Смотришь вокруг себя и думаешь: да что же это делается-то, люди добрые?! Что творится?! Все спешат, суетятся, торопятся... Аэропланы, радио... Наверху летают, а внизу, на земле, дерутся...

И на словах Шаляпина возникают быстро сменяющие друг друга изображения — горящих после бомбёжки деревень, мчащихся поездов, опрокидывающихся автомобилей, толпы избиваемых полицейскими «голодных очередей», целующихся, дерущихся, орущих, раздевающихся, падающих на полном скаку лошадей, стреляющие маски...

Голос Шаляпина:

— Говорят, новое время — новые песни! Да только у этой новой песни одно: бизнес... бизнес... деньги... Этот базар, эта ярмарка тщеславия разрастается всё шире, всё ужаснее...

Снова банкетный зал.

Шаляпин, тряхнув головой, заканчивает:

— Вот потому-то, дорогие мои друзья, великое вам спасибо! Смотрел сегодня на вас и думал: нет, чёрт возьми, живёт еще настоящее искусство, живёт, и никакими рекламами, никакой мишурой или дешёвым эпатажем не отменить его и не заслонить! Спасибо вам, милые вы мои, великое спасибо!..

...А потом, когда уже и выпили, и захмелели немножко, и успели протрезветь, когда всё общество разбилось на группки, они сидели втроем, обнявшись, — Шаляпин, Качалов и Москвин.

Негромко пели цыгане:



В час роковой,  
Когда встретил тебя...

А друзья запели «По долинам и по взгорьям». И Москвин, вспоминая свою любимую роль — Феди Протасова из «Живого трупа», — протяжно говорил:

— Вот это она! И где же делается всё то, о чём здесь поётся? И почему человек может доходить до такого восторга?..

И, не меняя интонации, словно это тоже текст роли, Москвин продолжает:

— А когда же ты домой, Феденька? Заждались мы тебя...

— Скоро, Ваня! — твёрдо говорит Шаляпин. — Отплю вот в Америке, наторгуюсь рафинадом, развяжусь с контрактами и домой. Я ведь тут так и живу — на перекладных, как кукушка — по чужим гнёздам... Скоро, Ваня, вернусь!.. И тогда споём чудные спектакли в Москве, Питере и в других городах. Прошу передать привет всем, кто помнит меня и не думает обо мне плохо.

Париж. Северный вокзал.

Ещё из окна вагона — на перроне, среди встречающих — Шаляпин видит Марию Валентиновну и радостно кричит:

— Машенька!.. Машенька!.. Маша!..

...Он соскакивает с подножки вагона, подбегает к Маше, обнимает её, целует.

— Господи, наконец-то!..

Потом он озирается, спрашивает:

— А где дети?

— Дома... Я никому не сказала, что ты приезжаешь... А то была бы здесь сейчас толпа...

Она оглядывается через плечо.

— Рене!..

Невысокий человек в фуражке с лаковым козырьком вежливо кланяется Шаляпину.

— Это месье Рене, — объясняет Маша, — наш шофёр...

Она обращается к Рене по-французски:

— Возьмите вещи Фёдора Ивановича и отнесите их в машину!

— Слушаюсь, мадам!..

Когда Рене уходит, Маша с чуть беспокойным смешком говорит:

— Не ругай меня, пожалуйста... В конце концов, это не дороже, чем вечно тратиться на такси!..

...Мчится машина по оживлённым парижским улицам. Шаляпин, откинувшись на спинку сиденья, улыбается, смотрит в окно, спрашивает:

— А почему мы едем таким странным путём? Ты переменила отель?

— Мы едем в гости, — прищурившись, с нарочитой небрежностью отвечает Маша.

— В гости?! — Он смеётся. — С корабля на бал!.. А к кому?

— Увидишь.

— К кому-нибудь из наших, оттуда?

Последний вопрос заставляет Машу нахмуриться. Поджав губы, она говорит почти резко:

— Наши *оттуда* — уже давно стали нашими *отсюда!*

Автомобиль останавливается на авеню Эйлау, перед зеркальным подъездом многоэтажного дома.

Рене с почтительным поклоном распахивает перед мадам и месье дверцы машины.

— Идём, Федя!

По широкой, застланной ковровой дорожкой парадной лестнице Маша и Шаляпин поднимаются на второй этаж, останавливаются перед дверью квартиры.

— Ну, кто всё-таки здесь живёт? — снова спрашивает Шаляпин.

— Увидишь! — всё с той же загадочной интонацией отвечает Маша и нажимает кнопку звонка.

Молоденькая горничная в крахмальной наколке открывает дверь, делает книксен.

Маша, не раздеваясь, тянет Шаляпина за руку:

— Идём!..

...Они проходят через длинную анфиладу комнат, и Маша на ходу стремительно говорит:

— Здесь столовая... спальня, детская, будуар... кабинет...

— Ничего не понимаю, — бормочет Шаляпин, следуя за Машей. — Чья столовая, чей кабинет?..

Маша останавливается, поднимает на Шаляпина глаза.

— Наши. Твои. Мои.

Она притягивает Шаляпина к себе и, как бы предупредив возражения, покрывает его лицо быстрыми частыми поцелуями, говорит:

— Мне надоело переезжать из отеля в отель... Хватит... Пора устраиваться по-человечески! Ну, похвали же меня, скажи, что я умница, что я молодец, что я делаю всё, как надо!..

Шаляпин насторожённо:

— А где же ты взяла деньги?

— Авансы по контрактам, которые надлежит тебе подписать. — Она показывает на стопку бумаг, которые лежат на столе. — Аванс за литературный труд твой «Маска и душа».

И сразу голос:

— Появление книги Фёдора Ивановича Шаляпина — знамение времени...

Аппарат отъезжает от рук человека, который держит в руках книгу «Маска и душа», открывая небольшой зал.

Мужчина с острой бородкой продолжает:

— Это маска и душа не только нашего великого соотечественника, это наша душа и наша маска.

В первых рядах сидят старшие представители эмиграции.

В средних рядах какие-то мятые личности неопределённого возраста.

Сзади разные группы молодёжи. Особняком, сбоку, откинув голову, сидит Шаляпин — элегантный, в светлом костюме и небрежно повязанном галстуке.

На подмостках человек продолжает:

— Позвольте привести несколько выдержек.

Он читает:

— В мрачные дни петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни. Я получил её. Но часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине.

Мрачная тишина в зале.

Шаляпин, сжав губы, слушает.

Человек на подмостках обращается к нему:

— И мы вернёмся, вернёмся!

Аплодируют слушатели. А человек на подмостках кричит:

— Это время, друзья мои, не за горами! Но как ужасно будет, если вновь кто-то из эмиграции проявит постыдную мягкотелость и не пойдёт вместе с теми, кто всей своей силой нагрянет на советскую власть... Мы должны помнить, кто наш враг! Мы победим, верьте мне, мы победим, ибо Небеса на нашей стороне!..

Старухи и старцы аплодируют, кто-то манерно картавит:

— Бгаво, бгаво!

Но молодой голос, из задних рядов, переждав, пока немного утихнут аплодисменты и возгласы одобрения, насмешливо спрашивает:

— А где же они раньше-то были, Небеса?! Раньше-то они, как говорится, куда смотрели?!

Негодующее движение в рядах старцев, возмущённо колышатся перья и веера, оборачиваются мятые личности и холодными, цепкими, запоминающими глазами разыскивают того, кто подал реплику. Оратор скорбно усмехается:

— Меня не удивляет этот вопрос... Нет, нет!.. Увы, многие молодые умы заражены сейчас неверием и цинизмом! Да и что спрашивать с молодых, когда сам премьер Франции господин Эрио...

Оратор вытаскивает из кармана газету, разворачивает её.

— Вы только послушайте, что он писал: «Новая Россия могуча. Я люблю Францию превыше всего, а потому и за дружбу с этой новой Россией...»

Нарумяненная пожилая женщина кричит тонким голосом:

— Позор!

Оратор театральным жестом отбрасывает газету, воздевает руки к потолку.

— Дружба с большевиками... Нет уж, господа, наш спор с коммунизмом мы будем решать железом и кровью... И, какие бы трудности и лишения ни пришлось бы нам испытать, но мы победим, а советский строй рухнет, рухнет навсегда!..

Оратор кланяется.

Бешено аплодируют старухи и старцы.

К ним присоединяются мятые личности из середины зала.

Молодежь молчит.

Шаляпин беспокойно озирается по сторонам, как бы решая — уйти ему или ещё остаться.

Новый оратор появляется перед аудиторией — этакий трагический, седовласый, с треугольными черными бровями.

Слегка покачиваясь из стороны в сторону, он начинает:

— Я понимаю гнев господина Горчакова, но с большевизмом надо бороться не криком, не огульной критикой, а сплочённостью, сознанием общности интересов. Надо уметь быть гибким.

Внимательно слушают оратора, который продолжает:

— В масонских ложах, которые я имею честь представлять, я пускаю такую мысль: некоторые социальные завоевания революции можно и признать — это не страшно, но надо при этом сохранить лазейку, при которой мы оставались бы всегда тем, что мы есть.

Очень внимательно слушает Шаляпин.

— Ну, скажем, пример духовного начала. Борьба с материализмом — это ведь очень широкое понятие, которое можно применять по самым различным поводам. А пока что объединимся. Масонство стало цементом, связывающим воедино эмигрантские силы.

Оратор обводит глазами слушателей.

— Масонские ложи, дамы и господа, масонские ложи!..

Шаляпин, весь подавшись вперёд и даже приложив к уху ладонь, чтоб лучше слышать, неожиданно спрашивает:

— Как вы сказали? Масонские ложи?

Этот глубокий, так хорошо знакомый, необыкновенно выразительный голос заставляет всех в зале немедленно обернуться к Шаляпину.

— Именно! — подтверждает оратор.

Откинувшись назад к стене, Шаляпин начинает смеяться. Он смеётся безо всякой рисовки — искренне, открыто, заразительно.

И все молча смотрят на него.

Шаляпин вытирает выступившие на глазах слёзы. Встаёт.

— Прошу меня извинить!

И почти одновременно с Шаляпиным в последнем ряду, где сидит молодёжь, поднимается тоненькая девушка — большеглазая, с черной, на парижский манер чёлкой.

Глядя на Шаляпина, она произносит решительно и негромко:

— Я хочу прочесть стихи... Можно?

И, не дождавшись ответа, девушка пробирается по рядам, поднимается на возвышение, седовласый оратор поспешно отходит куда-то в сторону, и, глядя в потолок, прищурившись, девушка тихо начинает читать:

Россия! Печальное слово,  
Потерянное навсегда..  
В скитаниях напрасно суровых,  
В пустых и ненужных годах...

Старец в мундире негодуяще перебивает:

— Не навсегда!.. Не навсегда!..

Но девушка, только дернув плечом, продолжает:

Туда никогда не поеду,  
А жить без неё не могу...  
И снова настойчивым бредом  
Сверлит в воспалённом мозгу...

Голос девушки крепнет. Теперь она смотрит в упор на злобствующих старух и старцев.

Зачем меня девочкой глупой  
От страшной родимой земли,  
От голода, тюрем и трупов  
В двадцатом году увезли?!  
Зачем постоянно и снова,  
В немилой, чужой стороне  
Россия — печальное слово —  
Всю ночь повторяю но сне?!

Девушка умолкает.

Она стоит, тяжело дыша, бессильно опустив тонкие руки, очень похожая в это мгновение на птицу с перебитыми крыльями.

И тогда, в несколько шагов пройдя весь небольшой зал, на возвышение легко поднимается Шаляпин, подходит к девушке, обнимает ее за плечи и, глядя ей в лицо, ей одной начинает петь:

Эх ты, ноченька!  
Ночка тёмная,  
Ночка тёмная,  
Ночь осенняя...

И вот уже не обшарпанный зал, а прекрасные и тихие улицы ночного Парижа.

Под облетающими каштанами, мимо зеркальных витрин, мимо закрытых кафе и дремлющих в парадных домов консьержек, мимо влюблённых парочек и подвыпивших одиноких гуляк шагают Шаляпин и худенькая девушка с чёлкой.

И, всё также обнимая девушку за плечи, Шаляпин поет:

Что ж ты, молодец,  
Приздумался?  
Что ж ты, сокол мой,  
Припечалился?  
Али нет у тебя  
Отца-матери,  
Али нет у тебя,  
Друга милого?!

Они идут по набережной, по направлению к Ситэ, туда, где темнеет чёрная громада Нотр-Дама, и, раскрыв ос-

каленные рты, слушают каменные химеры удивительный  
проникновенный голос певца.

Как же мне, молодцы,  
Не туманиться?  
Как же мне, горькому,  
Не кручиниться?  
Нет у меня батюшки,  
Нет у матушки,  
Только есть у меня  
Мил-сердечный друг...  
Да и тот со мной  
Не в ладу живёт,  
Не в ладу живёт,  
Всё ругается...

...И ещё долго-долго звенит под сводами Нотр-Дама, перекачивается эхом над спящею Сеной, расплывается в знаменитом фиолетовом предутреннем воздухе Парижа шемаящая последняя нота.

...А потом они опять идут по набережной. И уже светает. И девушка, прижимаясь доверчиво к плечу Шаляпина, говорит:

— Почему мы такие?.. Не знаю, как сказать... Ну, такие странные, что ли! Я учусь в Сорбонне... У меня много подруг — из Америки, Канады, Австралии... и они ничуть не скучают по своей родине... Им всё равно, где быть... Они могут и на всю жизнь остаться в Париже, и им — наплевать!.. А мы...

Шаляпин смотрит на девушку.

— У Пушкина есть великие строчки... «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал...» Милость к падшим! — с восторгом повторяет Шаляпин. — Вот завет для всех нас!.. Для ваших подруг родина — это просто место, где они родились. А родиться можно везде — и на пароходе можно, и в поезде... Что ж, всю жизнь тосковать по какой-нибудь «Куин Мэри»? Россия для каждого русского — это поле боя... где должно восславлять свободу и призывать милость к падшим. А поле боя покидать нельзя! Иначе потомки назовут тебя дезертиром!..

Они долго молчат, идут рядом — не глядя друг на друга, каждый думает о своем.

Шаляпин вдруг останавливается, смотрит — что-то блестит в решётке, накрывающей водосток.

Шаляпин наклоняется, при помощи палки выковыривает застывшую в решётке монетку, показывает её девушке:

— Франк!

И тут же сам усмехается.

— Уважаю деньги, скотина! Знаете, вот кончатся мои контракты, и тогда, может быть, я смогу...

Шаляпин совсем тихо:

— Бедности боюсь. Отвратительно. Вот поеду снова... Контракт... Не хочется, а вот еду, не люблю, а еду... за деньгами, за золотом, продаю душу за доллары — выругал бы себя покрепче, да что-то жалко... Ведь семья, дети... В последний раз, в последний раз, и домой. Домой, на родину... В последний раз...

Мчится бешено поезд. Грохот колес.

И сразу сцена. Поёт Шаляпин по-итальянски.

Грохот аплодисментов.

И снова в другую сторону мчится поезд. Грохот колес.

Грохот аплодисментов.

Поёт Шаляпин по-французски.

Грохот аплодисментов.

Грохот пропеллеров самолёта.

Аплодисменты. Поет Шаляпин по-английски.

Аплодисменты.

И снова грохот колес мчащегося поезда.

Аплодисменты.

Поет Шаляпин по-испански.

Публика в восторге.

Аплодисменты. Восторженно стреляют темпераментные мексиканцы.

Всё в дыму.

Дым стелется по небу. Труба мчащегося поезда.

Поёт Шаляпин.

За кулисами в тревоге идёт Мария Валентиновна. С ней импресарио. В руках телеграмма. Мария Валентиновна закрывает лицо руками.

Аплодисменты и крики: браво, браво, браво!

Шаляпин, утомлённый, выходит.

Увидел жену. Она бросается к нему, бросается на шею. Тихо шепчет:

— Мы разорены. Разорены.

Шаляпин недоумённо смотрит на импресарио, который показывает на телеграмму:

— Крах... Биржевой крах...

Шаляпин растерянно смотрит на телеграмму, которую показывает импресарио.



Крики и аплодисменты публики все настойчивей:

— Ша-ля-пин... Ша-ля-пин!..

Оттолкнув жену, Шаляпин резко выходит на сцену.

Зрители неистово аплодируют.

Шаляпин поднимает руку. Наступает тишина. Тогда он начинает петь:

На земле весь род людской  
Чтит один кумир священный...

Он поет неистово, зло, трагично. И возникают кадры из самых уникальных съёмок, в которых хроникёрами были зафиксированы подлинные события знаменитого краха.

Биржа похожа на сумасшедший дом. Огромный зал. Люди передвигаются в бешеном темпе.

Меняются цифры на автоматических приборах.

На улицах Нью-Йорка мчатся бесконечные вереницы машин.

На бирже движение людей. Похоже на этот уличный ритм.

Голос Шаляпина звучит грозно:

Он царит над всей Вселенной,  
Тот кумир — телец златой,  
В угождении бога злата...

И вот с небоскрёба бросается в поток машин разорившийся делец.

Под мчавшийся автомобиль бросается другой.

У выхода из биржи стреляется третий.

Мчится машина, влетает в груды машин и взрывается.

Под это сумасшествие звучит голос Шаляпина:

Люди гибнут за металл,  
Люди гибнут за металл,  
Сатана там правит бал,  
Там правит бал,  
Там правит бал...

Шаляпин кончает петь.

В зале неистовые аплодисменты.

Шаляпин некоторое время смотрит в публику, затем уходит не поклонившись.

В артистической комнате его ждут Маша и антрепренёр, который подходит к Шаляпину.

— Господин Шаляпин, успокойтесь, прошу вас... Контрактов у нас с вами хватит, чтобы вернуть то...

Шаляпин резко поворачивается, ожесточённо говорит:

— Чтобы вернуть... вернуть... Доллар затемняет все лучи солнца... Теряет смысл то прекрасное, которым я жил раньше... Доллар вывихнул мозги!..

Ошеломлённый антрепренер отступает от яростного Шаляпина, кричащего:

— Но у меня семья! Жена!.. Дети!.. И буду для них продавать черту душу!..

Он подходит к жене.

— Не беспокойся, Маша, вернись к детям...

Он хватается руками шею.

— Горло еще работает... Буду рыскать по свету... Я всё верну... Верну!.. Горло работает, работает! Буду петь... петь...

И он запел неистово:

Лю-ю-ди-и гибнут

За мета-а-алл

За мета-а-алл...

От портрета Шаляпина в роли Мефистофеля аппарат отъезжает и панорамирует по роскошной обстановке квартиры и останавливается в большой столовой, где собралась вся семья Шаляпина. Радостные объятия, поцелуи.

Обнимая жену, Шаляпин тихо шепчет:

— Тяжело было, Маша, но я вернул... Всё вернул. Смяты только художественные задачи, но вернул.

Весело и шумно галдят дети.

Шаляпин шутливо объявляет:

— Подарки всем, всем привёз... Не забыл никого... Никого... Только по порядку...

Он раскрывает большой чемодан и начинает раздавать привезённые сувениры. Охи, крики удивления... Поцелуи благодарности.

И когда процедура эта окончена, Мария Валентиновна берет мужа за руку, ведёт за собой.

— Тебя мы тоже не забыли.

Они проходят через анфиладу роскошно убранных комнат. Входят в кабинет. Мария Валентиновна подходит к письменному столу, на котором лежит внушительная горка бумаг. Она поднимает первый лист, показывает:

— Контракт!

Начинает перебирать:

— Америка, Англия, Австралия, Мексика...

Шаляпин стоит у окна. Смотрит на светящийся город. Голос Марии Валентиновны, она перечисляет страны и города. Шаляпин у окна. Закинув голову, смотрит в небо.

Над большим зданием колыхается огромный глобус. Он вертится, и вспыхивают ярким светом все страны мира. Вспыхивают и надписи на всех языках:

«Пейте «Кока-колу», самый лучший напиток мира. Покупайте автомобили Форда — самые быстрые автомобили в мире.

Курите сигареты «Кемел», — самые ароматные сигареты в мире. Матч Демпси — Карпант — на звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Слушайте Фёдора Шаляпина — самого громкого баса в мире».

Шаляпин внимательно разглядывает глобус. Слышны голоса, извещающие на разных языках:

— Во всем мире существуют наши филиалы! Пейте «Кока-колу»...

Шаляпин, нахмутив брови, горько улыбается.

Голос Маши на изображении глобуса:

— Контракты, контракты — Америка, Англия, Мексика, Италия, Китай, Австралия, Япония.

Вплетаются и голоса:

— Пейте «Кока-колу»!..

Огромный глобус завертелся быстрее. Ярко вспыхивают страны, города. И слышен голос Шаляпина, который поёт на разных языках.

От бешено вертящегося глобуса возникает голова Шаляпина. Кабинет. Фёдор Иванович в халате, полулежит на диване. В зубах длинный мундштук с сигаретой, которую он иногда курит. Он постарел и похудел. Напускная важность во взоре. Он обращается к кому-то:

— Рисовали меня и Репин, и Кустодиев...

Неподалёку стоит у мольберта молодой художник, рисует Шаляпина. Он слушает голос его:

— ...И Коровин, и Серов, и Врубель рисовали. А вы кто такой?

Молодой художник, смеясь:

— А я Шаляпин, папа!

Шаляпин шутливо-важно:

— Не ты Шаляпин. Я — Шаляпин, а ты просто Борька!!

Он подходит к мольберту, надевает очки, долго смотрит на работу сына, который осторожно спрашивает:

— Ну как, папа, получается?

Шаляпин задумчиво:

— Маска неплохая... но это только маска... Скажи, сын, а душу ты можешь изобразить?..

Борис молчит.

Шаляпин грустно:

— Этого, друг мой, никто ещё не смог...

Приоткрывается дверь, и горничная, не входя в кабинет, осторожно докладывает:

— Месье, к вам пришли...

— Кто? — хмурится Шаляпин.

— Мадам Пешкова... Она из России... Сказать, месье, что вас нет?!

— Дура! — восклицает Шаляпин и торопливо встает. — Что значит — меня нет, когда я есть?! Проси!..

Горничная скрывается.

Шаляпин бросает взгляд на себя в зеркало, снимает очки.

Снова отворяется дверь, и входит Екатерина Павловна.

— Можно, Фёдор Иванович?..

Шаляпин радостно, но в то же время сдерживая себя, подходит к Екатерине Павловне, целует ей руку.

— Здравствуйте, Екатерина Павловна, здравствуйте, дорогая, с приездом! Вы давно? Надолго?

Он подвигает кресло.

— Садитесь, прошу вас. А это сын мой — Борька, вырос ведь, помните его?

— Отлично помню. Мальчик был способный...

Екатерина Павловна садится, протягивает Шаляпину букет полевых цветов.

— Это вам... Максимка у нас на даче собрал и просил передать... Я всю дорогу воду им меняла, боялась, завянут...

Шаляпин держит в дрожащей руке цветы и, чтобы скрыть волнение, кричит громовым голосом:

— Маша!.. Даська!..

Вбегают очень испуганная хорошенькая девушка лет семнадцати.

— Что, папа?!

Шаляпин обнимает её за плечи.

— Вот, прошу любить и жаловать — меньшая моя — Даська, гусар-девица!.. А это Екатерина Павловна Пешкова!

— Ой, я вас знаю! — доверчиво и весело говорит Даська. — Мне папа рассказывал про вас и про Алексея Максимовича...

— Ну, ладно, ладно! — перебивает ее Шаляпин и даёт цветы. — Пойди, поставь в воду и принеси сюда...

— Сейчас!

Даська убегает.

— Прелесть! — улыбается Екатерина Павловна. — Так вот, Фёдор Иванович, Алексей Максимович просил, чтоб я непременно повидалась с вами и поговорила...

Шаляпин даёт знак сыну, тот тихо выходит.

— Екатерина Павловна, — помолчав, сухо произносит Шаляпин. — Я очень рад видеть вас... Я всегда, с самой юности, относился к вам с любовью и глубочайшим уважением... Но я прошу вас — не надо со мной говорить об Алексее Максимовиче... Мне это слишком больно!.. Тридцать с лишним лет длилась наша дружба... Дружба, которой я гордился больше, чем своими театральными успехами, поверьте!.. И вот полгода назад господин Горький прислал мне письмо и сообщил в этом письме, что он порывает со мною всякие отношения и...

У Шаляпина перехватывает дыхание, и он, подозрительно покашливая, отворачивается.

Открывает лежащую на столе книгу, достаёт письма.

— Вот что он пишет.

И сразу голос Горького:

— Я совершенно уверен, что дрянное это дело ты не сам выдумал, а тебе внушили его окружающие тебя паразиты, и всё это они затеяли для того, чтобы окончательно закрыть перед тобою двери на родину.

Внимательно слушает Екатерина Павловна.

— Ты хорошо знаешь, что я всегда пытался оградить тебя, артиста и человека, от попыток различных жуликов скомпрометировать тебя так или иначе... Поверь, что и теперь мною руководит только одно это желание: не позорь себя, Фёдор!

Екатерина Павловна тихо:

— Да, Алексеем Максимовичем руководило одно хорошее желание — оградить вас от скверных людей.

Шаляпин вновь посмотрел на портрет Горького.

— Поверь, что не только одни русские беспощадно осудят тебя за твою жадность к деньгам. Много вреда принесла твоему таланту эта страсть накапливать деньги. Не позволяй негодяям играть тобой, как пешкой. Такой великий прекрасный артист и так позорно ведешь себя.

Шаляпин поднял глаза на Екатерину Павловну.

— А вот в последнем письме он уже обращается на «вы».

Шаляпин повернул голову к стене, где висит прекрасный портрет Горького.

Снова голос его:

— В книге вашей «Душа и маска» — все ложь! Мне кажется, что вы лжете не по своей воле, а по дряблости вашей природы и потому, что жуликам, которые окружают вас, полезно, чтоб вы лгали и всячески компрометировали себя...

Сидит понуро Шаляпин. Аппарат панорамирует по роскошно убранным комнатам, по стенам, завешанным картинами.

— ...Что они, пользуясь вашей жадностью к деньгам, вашей малограмотностью и глубоким социальным невежеством, понуждают вас бесстыдно лгать...

Шаляпин смотрит на Екатерину Павловну.

— ...Зачем это нужно им? Они — ваши паразиты, вошь, которая питается вашей кровью. Один из главных и самый крупный сказал за всех остальных веские слова: «Федя воротится к большевикам только через мой труп».

Открывается дверь. На пороге Маша.

Шаляпин смотрит на неё. Посмотрела и Екатерина Павловна. Неловкое молчание.

— Фёдор Иванович! — тихо говорит Екатерина Павловна. — Алексея Максимовича огорчила, оскорбила ваша книга «Маска и душа»... И письмо он вам написал сразу же после её прочтения... Мечта Алексея Максимовича — видеть вас на родине...

Шаляпин усмехается:

— Кто же меня теперь пустит?!

— Видите ли, — продолжает Екатерина Павловна, — совсем недавно, перед самым моим отъездом, Алексей Максимович говорил... Ну, я точно не знаю с кем, но с кем-то из очень влиятельных лиц... Он говорил о вас — и он просил меня передать вам, что если бы вы захотели приехать...

Возвращается Даська, вносит вазу с цветами, ставит её на рояль.

Шаляпин встаёт. Возбуждённо подходит к цветам. Сжав губы, долго нюхает.

Маша насторожённо поглядывает на мужа.

Он тихо шепчет:

— Оттуда запах родной, оттуда, оттуда... Я ведь каждый день слушаю по радио Москву.

Маша подходит ближе. Шаляпин не видит её. Он приник к цветам.

— Я горжусь расцветом моей родины...

Екатерина Павловна спрашивает, глядя на Машу:

— Что же вам мешает вернуться домой?

Шаляпин резко повернулся.

— А пустят? Узнайте, пустят? У вас строго, а я ведь человек шалавый!

Маша запротестовала:

— Куда ты такой больной поедешь? Я с тобой не поеду.

Шаляпин, глядя на Екатерину Павловну:

— Ну что ж, я с Даськой поеду.

Он обращается к дочери:

— Поедешь?.. Поедешь со мной?

Даська бросается к отцу, обнимает.

— Конечно, папа. С радостью поеду!

Екатерина Павловна, чувствуя себя неловко, подходит прощаться:

— До свиданья, Фёдор Иванович!

Шаляпин, целуя руку Екатерине Павловне, очень тихо говорит:

— Так вы узнайте: пустят меня?

Внимательно, насупив брови, слушает Мария Валентиновна.

Голос Шаляпина:

— Скажите Алексею Максимовичу, что тоска моя по родине безгранична, что узы нашей с ним дружбы не могут быть порваны.

Шаляпин с тоской заканчивает:

— ...ибо для меня это равносильно преждевременной смерти... Пусть он теперь позовёт меня. Тогда я все брошу и приеду немедленно.

Он еще раз целует руку Екатерины Павловны.

— До свиданья.

— До свиданья.

Екатерина Павловна, кивнув головой Марии Валентиновне, уходит.

Мария Валентиновна, пристально глядя на мужа, жёстко говорит:

— Федя... Они расстреляют тебя... большевики тебя расстреляют...

Шаляпин на мгновение останавливается, затем озорно и весело говорит:

— Нет, не расстреляют, не расстреляют Шаляпина, великого русского певца... Не расстреляют.

И, зашагав по комнате, озорно продолжает:

— И явлюсь я к самым что ни есть знаменитым комиссарам, на колени грохнусь и скажу им — вот я здесь... перед вами... Голову повинную не сымут... И запою... Ох и запою, русскую запою песню. — Он обращается к дочери: — Едем, едем, Даська, домой едем...

Но вдруг останавливается. Перед ним Мария Валентиновна. Она гневно глядит на мужа. Жёстко произносит:

— Федя, ты воротишься к большевикам только через мой труп!

И, резко повернувшись, уходит. У дверей останавливается и жёстко бросает:

— Через могилы детей!..

Уходит, хлопнув дверью.

Реверберирует — стук дверей далеко-далеко.

Шаляпин ошеломлен. Отворачивается к стене. Осторожно выходит Дася.

Шаляпин сник. Подходит к углу. Из стеклянного шкафчика вынимает заветную коробочку с землёй. Машинально включает радио. Пауза.

Прижимаясь головой к шкафу, открывает крышку коробки. Слышны позывные Москвы. Затем голос говорит:

— Говорит Москва, передаём русские народные песни в исполнении Фёдора Шаляпина.

Шаляпин смотрит на землю в коробке.

На землю упала слеза, другая. Аппарат отъезжает, открывая просторы земли. Весенний тёплый дождь нежно поливает землю. И голос Шаляпина. Тоскливо звучит песня:

Прошай, радость, жизнь моя!  
Слушай — едешь от меня!  
Знать, пришла пора расстаться,  
Тебя мне больше не видать.

Широко раскинулись просторы величавой Волги, конца и края не видать, без края и горизонт. Плывут расчудесные облака, покрытые лёгкой дымкой. И снуют пароходы, парходики, баржи самоходные. Врываются гудки с песней:

Ах, тёмна ночь,  
Ах, ноченька...  
Да не спится мне.

Над Волгой восходит солнце. Издалека показывается гудящий пароход. Он ближе, ближе доносится песня:

Помню, помню майский день,  
Как купаться вместе шли,  
Как ложились на песочек,  
На жёлтый, на мелкий песочек.

Пароход гудит, он ближе, ближе, и ярко горит надпись на борту «Максим Горький». И горестно звучит песня:

Ах, тёмна ночь,  
Ах, ноченька...  
Да не спится мне.

В большом кабинете Шаляпина стоят два друга — сам Шаляпин и Сергей Рахманинов. Шаляпин отделяет от



стоящего на столике букетик и передает Рахманинову. Тот берет нежные цветы осторожно, стараясь сдержать волнение.

Шляпин тихо:

— Я храню этот подарок Екатерины Павловны...

Рахманинов отходит в угол комнаты, чтобы скрыть волнение. И стоят два друга в разных углах роскошной комнаты. Молчание длительное, тягостное.

Не поворачивая головы, тихо говорит Рахманинов, нюхая цветы:

— Знакомый, неистребимый... А знаешь, покинув землю эту, я потерял желание сочинять. Я потерял самого себя... Когда лишаешься музыкальных корней, традиций родной почвы, не остаётся желания творить, не остаётся иных утешений — кроме нерушимого безмолвия нетревожных воспоминаний.

Он медленно подносит букетик к лицу, долго смотрит, затем вдыхает запах нежных цветов.

Шляпин стоит в противоположном углу. В озлоблении сквозь зубы шепчет:

— И снова богат я, богат, богат... А гнетёт тоска, тоска...

Рахманинов тихо:

— Как бы славен, знаменит, богат ты ни был, счастье твое одиноко... А счастье одиноким быть не может.

Шляпин так же тихо.

— А как ты думаешь, позовёт Максимыч, позовёт?

Рахманинов сел у рояля, тихо заиграл.

Шляпин запел романс Рахманинова:

Я опять одинок...

Рахманинов к концу играет буйно, импровизируя...

Вступает оркестр.

Поёт Шляпин.

Кончает он петь в большом театральном зале. Овации сопровождают его на проходе в артистическую комнату, где ждут его несколько американцев. Один из них обращается к Шляпину:

— Контракт наш закончился под гром оваций, слышите?!

Грохот аплодисментов доносится в артистическую.

После молчания американец продолжает:

— Обе договорившиеся стороны довольны, претензий нет. Разрешите вручить последний аккорд по договору.

Он вручает Шляпину чек.

— Нам известно, что в Париже готовится ваш юбилей. Разрешите поднести вам юбилейный подарок.

Он подаёт торжественно маленькую статуэтку.

— Это статуя Свободы — символ величия нашего народа.

Шаляпин берёт статуэтку, ставит её на стол, затем достаёт из портфеля коробку, берёт значки, подходит к окружающим и начинает прикалывать к пиджакам.

— Это русские — папанинцы, — первые осевшие на Северном полюсе.

Прикалывает другому.

— А это Папанин — первый человек на земле, живущий на Северном полюсе. Это символ величия нашего народа.

Антрепренёр, вежливо улыбаясь, даёт Шаляпину билет.

— К сожалению, мы ещё так далеко не селимся. Это билет на чудесный пароход «Нормандия», который в рекордные сроки пересекает океан.

Медленно проплывает ослепительно-белый пароход «Нормандия».

В каюте первого класса, тихо пробуя голос, шагает Шаляпин. Стук в дверь. Шаляпин произносит по-английски:

— Войдите.

Входит молодой официант с подносом на руке. Расставляет на столе приборы с завтраком. Кладёт на стол газеты. Шаляпин благодарит, садится за стол. Официант уходит.

Шаляпин наливает кофе. С удовольствием пьёт. Затем берёт газету. Продолжая пить, просматривает газету. Вдруг, отставив чашку, впивается глазами в газетное сообщение. Аппарат наезжает на крупный план. Крупным шрифтом напечатано по-английски: «Горький умер».

Шаляпин встаёт, потрясённый. Отходит от стола. Беспомощно валится на диван. Затем вскакивает, выбегает из каюты.

Темные, тяжёлые волны шумно бурлят. Шаляпин выбегает на верхнюю палубу. Ветер треплет волосы, развеваются полы фрака. Он останавливается у перил. Грознее шумят волны.

Шаляпин, опершись руками о перила, тихо шепчет:

— Максимыч... Максимыч... Максимыч!..

Треплется в руке, которой он опирается о перила, газета с портретом Горького.

Слышен голос:

— Я люблю и уважаю тебя не меньше, чем всегда любил. Знаю я, что в душе — ты честный человек, к холоп-

ству не способен, но ты нелепый русский человек и — много раз я говорил тебе это!

Лицо Шаляпина, губы шепчут:

— Максимыч... Максимыч!..

Взлетела высоко буйная волна. Треплется газетный лист с портретом Горького. Голос:

— ...По праву старой дружбы я советую тебе: не позорь себя. Не позволяй негодяям играть тобой, как пешкой. Такой великий, прекрасный артист — и так позорно ведёшь себя!

Шаляпин стоит у перил, что-то шепчет; потом вдруг закричал неистово:

— Мак-си-мы-ыч!!

Рванулись волны океана, по которым прокатился крик. Треплется газетный лист, на котором фотография толпы на Красной площади. Раскаты крика.

И Красная площадь с живой толпой, которая хоронит Горького.

И раскатный крик:

— Мак-си-мы-ыч!..

И снова треплет ветер газетные листы.

Переворачивает ветер лист, открывая новую страницу, на которой большой портрет Шаляпина и огромная надпись: «Юбилей великого русского артиста Фёдора Шаляпина». Аппарат отъезжает, открывая шаляпинскую квартиру.

Сверкают серебро и хрусталь на огромном, роскошно сервированном банкетном столе, за которым сидят многочисленные друзья и поклонники Шаляпина, собравшиеся сегодня на его юбилей.

Шаляпин, странно прищурился глаза и оттопырив губы, стоит в центре стола, зажата в кулаке наполненная рюмка, а напротив пожилой господин, этакое профессорского обличья, заканчивает свою речь:

— ...И сегодня, в этот торжественный день, мы славим не только Шаляпина-певца, не только Шаляпина — величайшего артиста, мы славим и Шаляпина — человека, славим душу его, прекраснейшую, несравненную русскую душу, которую не сумели сломить никакие невзгоды! Многая вам лета, дорогой наш Фёдор Иванович, многая лета!..

— Многая лета! — дружно подхватывают присутствующие.

Бунин поднимается и трижды, крест-накрест, целует с Шаляпиным. Маша вытирает платком глаза. В насту-

пившей паузе откуда-то из коридора доносятся два озорных и весёлых голоса:

— А вот ушица! Кому — ушицы?.. Ах, ах, хороша уха — только не было б греха!..

Коровин и Борис Шаляпин, подпоясанные полотенцами с петушками, вносят большую дымящуюся фарфоровую миску с ухой. Звонко выкрикивают на манер уличных разносчиков:

— Господа хорошие, девицы пригожие, давайте налетайте, ушицу разливайте!..

Их встречают смехом, аплодисментами, удивлёнными возгласами.

Балерина Карсавина в чёрном, словно лаковом платье даже всплескивает от радости руками.

— Господи, что за прелесть! Костенька, откуда?

— Сам ловил, сам варил! — важно отвечает Коровин и неожиданно усмехается. — Только откровенно скажу — не годится на уху французская рыба! Скус не тот!.. Но, как говорится, за неимением лучшего...

Борис и Коровин обносят гостей ухой. А Шаляпин по-прежнему молча и всё так же нелепо и неудобно для окружающих продолжает стоять... Гости едят, пьют.

Маша, ухаживая за Буниным и Рахманиновым, говорит им, указывая на большой стол в углу, заваленный телеграммами, письмами, адресами, цветами и подношениями.

— Со всего света! Буквально со всего света. Пришла поздравительная телеграмма с острова Тринидад, можете себе представить?! — Она язвительно кривит рот. — А вот из милой нашей советской России — ни слова... Ни единого!..

Борис, стоявший поблизости, поглядел на Марию Валентиновну, отошел в сторону и, присев около большого радиоприемника, принялся крутить ручки настройки.

Маша покосилась на Шаляпина, сказала громким шёпотом:

— Сядь, Фёдор! Ну, что ты стоишь?..

Но Шаляпин, словно он и не слышал слов Марии Валентиновны, продолжает, чуть покачиваясь, стоять.

...К Рахманинову подходит Карсавина.

— Сергей Васильевич, я к вам, можно?! А то меня там с англичанами посадили, по-русски ни бе, ни ме, а сегодня — смерть как хочется по-русски наговориться...

Рахманинов, как всегда, подтянутый и сдержанный, встаёт, пододвигает Карсавиной стул.

— Прошу вас! Я тоже с радостью говорю сегодня по-русски!..

Гости подвыпили. Поют старинные песни.

...На другом конце стола два подвыпивших седых господина говорят, перебивая друг друга и перекрикивая общий шум:

— Господи, ну что вы...

— Вы послушайте...

— Нет, вы послушайте! Вы как идёте?

— По Петровке... А потом сворачиваю налево на Козицкий... Иду по правой стороне, пересекаю Неглинную...

— Ну?

— Сначала магазин Дациаро — картины и эстампы... Потом книжная лавка Суворина.

— Боже мой, Боже мой! А кондитерскую Филиппова вы куда дели?!

В другом конце трое:

— И сказала Анна Павловна: «Мне так тяжело, что я не у себя в России».

— Тише, господа, тише!..

Это, перебивая разговоры и смех за столом, кричит Борис.

Все умолкают, в недоумении смотрят на Бориса, на включенный радиоприёмник.

В наступившей тишине слышно, как где-то очень далеко — за тысячи километров — там, на Кремлёвской площади, негромко гудит проезжающая машина, а потом раздаётся мелодичный перезвон курантов на Спасской башне. Это так неожиданно, что Карсавина даже вскрикнула и тут же двумя руками сама зажала себе рот.

Бьют куранты на Спасской башне.

Тишина за нарядно накрытым столом.

Панорама по лицам — прыгающие побелевшие губы, сдвинутые брови, слёзы на глазах.

Шаляпин стоит, запрокинув голову, часто и тяжело дышит.

Бьют куранты.

Господин профессорского обличья резко поднимается, подходит к радиоприёмнику и выключает его.

Но все еще длится тишина. Никто не шелохнётся.

И только, всем телом упав на стол — ослепительно черная на ослепительно белом, — в голос плачет Карсавина.

Господин профессорского обличья, произносивший тост, пожевав губами, медленно говорит:

— Ну, что вы, право, господа?! Экий вы нервный народ, художники! Поверьте, господа, поверьте — Россия — это ведь не географическое понятие! Россия там, где находятся лучшие ее дочери и сыны, Россия сегодня здесь, за этим столом — здесь, где присутствует Сергей Васильевич Рахманинов...

И по мере того, как он называет имена, один за другим возникают портреты:

— И наша несравненная танцовщица Карсавина, и писатели — господин Бунин, господин Куприн, господин Шмелев, и художники — господин Коровин, господин Бенуа... Россия там, где Шаляпин...

Он патетически вытягивает руку, указывает пальцем на молчащий радиоприёмник:

— А у них?! Кто там у них?! Ни одного имени, ни одного подлинного ума и таланта... Ну, был Горький — так и того теперь, слава Богу, не стало!..

— Что?!

Это первое слово, произнесенное за весь вечер Шаляпиным. И произносит он его как-то странно — высоким, почти срывающимся фальцетом. И лицо у него в это мгновение воистину страшное — напряжённое, перекошенное.

— Фёдор! — предостерегающе шепчет Мария Валентиновна.

Шаляпин, одной рукой сжимая горло, другой рукой ухватившись за край скатерти, сдавленно шепчет, тяжело ворочая языком, как человек, близкий к удару:

— Это подло!.. Вы не смеете...

Наступает зловещая тишина. Шаляпин, полузакрыв глаза, тихо продолжает:

— Одним путем, одной дорогой — мы пришли с ним к славе, пришли из бедной, страшной, тёмной жизни, из пригородов — он из Нижнего, я — из Казани... И не было на земле для меня человека дороже...

Шаляпин открывает глаза.

— Российская буря разметала нас в разные стороны... Но он звал меня, звал домой, звал! А я не поехал...

Шаляпин усмехается, машет рукой.

— Когда-нибудь потом недруги мои станут поливать меня грязью, друзья — защищать и оправдывать. Будут говорить — его запугали, его не пустили...

Шаляпин повышает голос:

— Я сам себя не пустил, сам себя запугал! Струсил Фёдор Шаляпин! Струсил! Красивые и жалкие слова говорил... А надо не слова — надо быть со своей родиной — всеми горбами... каждую минуту, в беде и в радости — всеми горбами!..

Он оборачивается к профессору, кричит:

— Слышите?! Понимаете?! Всеми горбами!

Покачнувшись, он начинает медленно падать назад, на руки подбежавших Рахманинова, Коровина, Бориса. Он тянет на себя скатерть. Со звоном летят на пол серебро, хрусталь.

Пусто в огромном банкетном зале.

Громадный кабинет Шаляпина. На стенах старинные картины известных мастеров. Портреты Шаляпина работы Серова, Коровина.

На первом плане картина Кустодиева — Шаляпин в шубе на фоне ярмарки.

Шаляпин на огромной кровати. Вокруг родные. Он лежит с закрытыми глазами. Тихо, очень тихо иногда стонет. Вдруг резко открывает глаза.

— Где я? В русском театре?

Все подошли ближе. Беспokoйно смотрят.

Шаляпин замотал головой.

— Тяжко мне... Чтобы петь, надо дышать... А нет дыхания...

Он берёт за руку стоящую у изголовья дочь.

— Не понимаю, не понимаю, почему я — русский артист, русский человек — должен жить и петь здесь, на чужой стороне...

Он вдруг приподнимается, тихо говорит:

— Я в театре, я в русском театре!..

И неожиданно запел:

Скорбит душа,  
Какой-то страх невольный  
Зловещим предчувствием  
Сковал мне сердце...

Музыкальное смятение.

Оркестр. Большой театр.

Поёт Фёдор Шаляпин:

Ежели в тебе пятно единое,  
Единое случайно завелось,  
Душа горит. Налъется сердце ядом,  
Так тяжело, тяжко стонет  
Что молотом стучит в ушах укором  
И проклятьем...

На сцене поет Шаляпин:

Достиг я высшей власти,  
Шестой уж год я царствую спокойно,  
Но счастья нет моей измученной душе.

И под неслышную овацию зрителей в огромном зале театра звучит голос:

Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщения,  
Ни клики толпы не веселят.

Огромные просторы вечерней Волги. Как в молодости, проходят два великана — Горький и Шаляпин. Что-то беспокойно говорит Горький. В оркестре смятение.

Голос Шаляпина:

Тяжка десница грозного судьи.  
Ужасен приговор душе преступной,  
Окрест лишь тьма и мрак неприглядный.  
Хотя мелькнул бы луч отрады,  
И скорбью сердце полно.

Слушает огромная толпа. Дарят шубу.

Тоскует, томится дух мой усталый.  
И в лютом горе, ниспосланном Богом  
За тяжкий грех мой в искупленье  
Виной всех зол меня нарекают...

Огромная толпа слушающих в Орехово-Зуеве рабочих, матросов, солдат. Голос:

Клянут на площадях имя Бориса.  
Довольно!  
Ух, тяжело, дай дух переведу.

Восторженная толпа аплодирует. Голос:

Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо.

И снова слушают красноармейцы с винтовками на плечах. Голос:

И тяжело опустилась,  
О совесть лютая, как тяжело ты караешь!

На сцене поёт Шаляпин:

Ой!.. Душно!.. Душно! Свету.

На палубе парохода с семьёй Шаляпин.

Провожающие на пристани.

Пароход отчаливает, голос Шаляпина:

Измену карай без пощады,  
Без милости карай,  
Строго вникай в суд народный,  
Суд нелицемерный.

И снова толпа людей. На открытой сцене Шаляпин. Его слушают, затаив дыхание. Голос:



Боже! Боже! Тяжко мне!  
Ужель греха не замолю,  
Боже! Смерть! Прости меня!

И сразу запрокинул голову на подушки Шаляпин. Семья в тревоге окружает его. Он тихо шепчет, закрыв глаза:  
— Отчизну свою обожаю... Прости меня... Как всё далеко, Боже мой! Как все близко... Прости, прости... прости.

И сразу песня, которую поёт Шаляпин:  
Вниз по матушке, по Волге...

Идёт огромный пароход по великой реке. Звучит голос Шаляпина.

Много людей на палубе. Слушают.  
Пароход всё ближе. И видна надпись на нём:  
«Максим Горький».

Песня звучит широко и сильно:  
По широкому, братцы, раздолью...

Просторы волжские. Бешено падают каскады Куйбышевской ГРЭС.

Голос Шаляпина могуче звучит под грохот ниспадающих вод. Идёт пароход «Максим Горький». Навстречу огромный современный гигант-пароход. Сравнялся с «Максимом Горьким».

И ярко горит надпись:  
«Фёдор Шаляпин».

1968—1970

## РАЗНЫЕ ЧУДЕСА

*История с музыкой, пением и танцами  
(мюзикл)*

1

Всё начинается с песни.

Её поют по-польски пассажиры большого туристского автобуса, который неторопливо катит по широкому загородному шоссе.

Девушка-гид, постучав пальцем по микрофону, говорит привычно бодрым голосом:

— Дорогие друзья! Мы въезжаем сейчас в город Вавилон — город-спутник столицы нашей республики — Минска...

Пассажиры автобуса приникают к окнам.

Всё так же неторопливо едет машина по странно безлюдным, но довольно широким и очень прямым улицам, мимо зелёных тихих скверов, мимо стадиона, мимо невысоких двух- и трехэтажных домов.

— Здесь находится крупнейший агробиологический исследовательский центр, где работают учёные со всего Союза и из многих других стран! — продолжает девушка-гид. — Кстати, скоро, недели через две, если не ошибаюсь, город Вавилон будет праздновать юбилей — двадцать лет со дня его основания...

— А снимать можно? — спрашивает бородатый загорелый молодой человек в шортах.

— Можно, конечно.

Девушка-гид кладёт руку на плечо шофёру.

— Сергей Петрович, остановимся!

...Автобус выезжает на круглую небольшую и тоже странно пустую площадь и, скрипнув тормозами, останавливается.

Туристы, расстёгивая на ходу футляры фотоаппаратов и любительских кинокамер, выходят из машины на площадь.

Солнце. Тишина.

Только у здания кафетерия в забавных металлических загончиках стоит множество велосипедов — это означает, что сейчас в городке час обеденного перерыва.

Туристы рассыпаются по площади.

Музыка. Танец туристов.

В киоске, торгующем газированной водой, на высоком круглом табурете сидит девушка — лет восемнадцати, круглолицая, курносая, с весёлыми прищуренными глазами и девчоночьим хвостом, завязанным вместо ленты обыкновенной верёвкой.

Отложив в сторону какой-то журнал с картинками, девушка с интересом смотрит на приезжих.

Когда танец кончается, туристы — во главе с бородатым в шортах — устремляются к киоску с газированной водой.

— Здравствуйте, — вежливо говорит бородатый.

— Здравствуйте, — улыбается девушка.

— Пожалуйста — пить.

— С сиропом? Без?

— Мне — с сиропом... Без... С сиропом... Чистую...

Шипит в стаканах газированная вода.

Туристы пьют. Гудок автобуса.

Бородатый наводит объектив фотоаппарата на девушку, щёлкает затвором.

Снова гудок автобуса.

Переводчица из окна машины призывно машет рукой.

— Поехали, товарищи, поехали... Опаздываем!

Бородатый достёт из кармана кошелек.

— Сколько мы должны?

Девушка пожимает плечами.

— Ничего не должны.

— Как это так?! — удивляется бородатый.

— А вот так! — величественно отвечает девушка и, почему-то зажмурившись, произносит напевным речитативом. — У нас в городе — газированная вода бесплатная!..

— Поехали, товарищи!

— Это очень интересно, очень! — с растерянной улыбкой говорит бородатый. — Спасибо! До свиданья!

— На здоровье! — смеётся девушка. — Счастливый путь!..

...Автобус, ещё раз прогудев на прощание, уезжает.

Девушка провожает его глазами, а потом, подумав и что-то подсчитав про себя, достаёт из кармана брюк несколько мелких монет и кладёт их на мокрую, с отбитым краем фарфоровую тарелочку... Пожилая женщина в белом халате выходит из дверей кафетерия и торопливо направляется к киоску.

— Извини, Натка, там жуткая была очередь!..

Взглянув на мелочь, мокнушую в тарелочке, женщина уважительно усмехается.

— Гляди-ка, наторговала!

— Ага, — небрежно говорит Натка. — Восемь с сиропом, пять чистых... Ну, я пошла, тётя Катя!

— Спасибо, Натка!

## 2

Музыка. Открытое летнее кафе. Ранний вечер.

Натка в одиночестве сидит за столиком и сосредоточенно ест мороженое.

В стороне стоят две — уже опустошённые — вазочки, а на спинке стула висит чёрная папка с профилем Шопена и золотой надписью латинскими буквами «Мюзик».

Как ни странно, но в этот вечерний час улицы городка выглядят куда оживлённее, чем днём.

Родители разводят малышей — из яслей и детских садов — по домам; катят, переговариваясь, велосипедисты (велосипед — это основной вид городского транспорта); девчонки из лабораторий и со стройплощадок в замызганных комбинезонах спешат в общежития — переодеться и принарядиться к вечеру; уже выстраивается очередь у кассы кинотеатра Дома учёных, а из открытых окон домов играют, говорят и поют бесчисленные радиоприёмники и магнитофоны.

— ...Разрешите?

Натка поднимает глаза.

Паренёк одних примерно с Наткою лет — некрасивый, толстогубый, но с модной чёлочкой и к тому же шикарно опоясанный, как пулемётными лентами, ремнями фотоаппарата, киносъёмочной камеры, лампы-блица и коробки магнитофона-репортёра, — дружелюбно улыбается Натке и, ставя на стол вазочку с мороженым, представляется:

— Миша.

— Ну и что? — иронически спрашивает Натка.

— Сесть можно?

— Садитесь, — говорит Натка, облизывая ложечку. — Только молчите.

— Почему? — удивляется Миша.

— Потому, что я думаю! — серьёзно объясняет Натка. — И потом, мне вообще неохота разговаривать... Особенно с приезжими!

— А откуда вы знаете, что я приезжий? — ещё больше удивляется Миша.

— У нас в городе все друг друга знают. Если не по имени, так по виду... И ещё... Вот вы фруктовый пломбир взяли, а мы его не берём — он кислый!

Миша пробует мороженое и тут же отодвигает вазочку в сторону.

— Действительно.

Молчание.

— Вы занимаетесь музыкой? — поглядев на чёрную папку, робко спрашивает Миша.

— Да.

— Играете?

Натка, чуть помедлив, закрывает глаза и говорит нарастающим тоном:

— Играю. Пою. Танцую. Сегодня, например, я спела своему профессору вальс Чайковского из балета «Спящая красавица»...

— А разве его поют? — снова удивляется Миша.

— Я — пою! — гордо, не открывая глаз, отвечает Натка. ...Класс музыкальной школы.

Впрочем, это не обычный класс — это большой, ярко освещённый зал с хрустальной люстрой, с портретами в золочёных рамах великих музыкантов и композиторов, с концертной эстрадой.

На эстраде за роялем сидит Натка и под аккомпанемент оркестра исполняет виртуозные вариации на тему вальса из «Спящей красавицы».

...А потом Натка поднимается — кружится в вальсе по эстраде, поёт.

Почтенный седой профессор в чёрной бархатной куртке с белым бантом бросает на пюпитр дирижёрскую палочку, подбегает к Натке, обнимает её, целует.

Профессор  
(тенором):

Умница! Умница! Золотая умница!

Натка  
(поёт):

Я этот вальс за месяц разучила!

Профессор:

Ну, молодчина! Просто — молодчина!..

...Натка открывает глаза и, со вздохом проглотив ложечку мороженого, неожиданно фыркает:

— А вы почему такой — битком набитый техникой? Для фасона?

— Нет, я из Гомеля, — не совсем впопад отвечает Миша и, смутившись, торопливо поясняет: — Я там — в газете... И на радио... Ну, и мне поручили — сделать материал о том, как ваш город готовится к юбилею... Завтра я буду снимать соревнования — на водном стадионе...

— Ясно! — кивает Натка. — Я, между прочим, тоже там буду...

— Участвовать? Или — так просто?

И опять после паузы Натка чуть зажмуривает глаза и говорит:

— Участвовать. В заплыве на сто метров. Этим самым... как его... вольным стилем!

Натка встаёт.

— До свидания. До завтра. Завтра увидимся!..

### 3

...Выстрел стартового пистолета.

И одновременно с рванувшимися стрелками секундомера мелькают — в прыжке — загорелые тела, раздаётся всплеск воды и по переполненным трибунам водного стадиона прокатываются шум, аплодисменты, оживлённые возгласы.

Толстогубый Миша из Гомеля, присев на корточки у самого края бассейна, снимает заплыв киносъёмочной камерой.

У стола, за которым расположилась величественная судейская коллегия, стоит Натка — в руках у неё чем-то туго набитая авоська — и умоляюще смотрит на высокого, очень худого белоголового парня с повязкой судьи на рукаве спортивного тренировочного костюма.

— Ну, Вадим, ну, я просто не понимаю! — жалобно говорит Натка. — Ну, что тут такого?! Это же просто незачётные предварительные заплывы... Правда?! В них могут принимать участие все, кто хочет...

Вадим усмехается.

Покачиваясь на носках, он почти презрительно смотрит на Натку и говорит, растягивая слова:

— До чего ж ты мне надоела, Наталья, с твоими фокусами! В бассейне ты не была ни разу, на тренировки не приходила... Ну, как я могу тебя выпустить?! А может, ты вообще не умеешь плавать?!

— Умею.

— Каким стилем?

— Вольным.

— Какой у тебя результат на сто метров?

Натка морщит нос, она в явном затруднении, но, на её счастье, в эту секунду начинают бурный финиш участники мужского заплыва и шум на трибунах сливается в общий рёв, в котором отдельные голоса разобрать уже просто физически невозможно.

Пожилой человек, сидящий в центре стола судейской коллегии, подзывает жестом Вадима.

Они о чём-то недолго говорят — сердито и озабоченно, — а затем Вадим, оглянувшись, кивает Натке.

Натка подходит.

— Везёт вам, Люлько! — официальным, «судейским» тоном говорит Вадим. — Не явилась Емельянова... Заболела, что ли. Примите старт в следующем заплыве. По пятой дорожке... Идите, одевайтесь!..

— Закон! — весело отвечает Натка и, перекружившись на каблуках, убегает в раздевалку.

...Финиширует мужской заплыв.

Замирают стрелки секундомеров.

Шум. Аплодисменты.

Сияющего победителя окружает толпа болельщиков и друзей.

Диктор по радио объявляет:

— Вызываются на старт участницы следующего заплыва — сто метров для женщин вольным стилем. Первая дорожка — Савич, стройуправление, вторая дорожка — Макарова, Институт неорганической химии, третья дорожка — Лавренова, университет, четвёртая дорожка — Мохнач, университет, пятая дорожка — Люлько, лаборатория синтеза... Участницы заплыва приглашаются на старт!..

...Миша из Гомеля лихорадочно перезаряжает аппаратуру.

Появляются участницы заплыва.

Скинув халаты, они поднимаются на стартовые тумбочки, натягивают на головы разноцветные резиновые шапочки, чуть наклоняются вперёд.

Оживление на трибунах.

— Ну, смотри, Натка! — тихо сквозь зубы говорит Вадим.

Натка не отвечает.

Всё её внимание поглощено борьбой с резиновой шапочкой, которая — из-за хвоста — никак не хочет держаться на голове.

Стартёр поднимает пистолет.

— Внимание!..

Мгновение тишины. Выстрел.

Снова побежали по циферблатам стремительные стрелки секундомеров.

Участницы начинают заплыв.

Натка благодаря удачному и сильному прыжку оказывается на какое-то время впереди.

Она плывёт, отчаянно выбрасывая руки, каким-то совершенно несусветным стилем, который и вправду можно назвать «вольным», в самом буквальном смысле этого слова.

На трибуне смех:

— Пятая дорожка, давай, жми!..

Но понемногу Натка начинает отставать.

Стенки бассейна на повороте она касается уже последней.

Борьбу за победу ведут, в основном, девушки, плывущие по второй и третьей дорожкам.

Миша из Гомеля, прищурившись и подняв над головой камеру, ведёт её «панорамой» — первая дорожка, вторая, третья, четвёртая...

И вдруг в полной растерянности Миша опускает камеру, наклоняется над краем бассейна, тревожно вглядывается — пятая дорожка пуста, и по ней одиноко плывёт только голубая резиновая шапочка.

Волнение в судейской коллегии.

Волнение на трибунах.

На какую-то долю секунды, судорожно глотая воздух открытым ртом, появляется растрёпанная Наткина голова и тут же снова скрывается под водой.

Молоденький морячок, стягивая с себя на ходу китель, звонко кричит:

— Человек тонет, полундра!..

...И вот уже со всех четырёх сторон бассейна, преграждая дорогу участницам заплыва, бросаются в воду добровольные спасатели.

#### 4

— Не понимаю — за что вы на меня все накинулись?!  
Комсомольское собрание.



Оно происходит в общежитии, в большой комнате, в которой живут девушки.

Натка, скрестив по-турецки ноги, сидит на своей кровати и говорит с видом оскорблённой невинности, обращаясь, главным образом, к ведущему собранию Вадиму:

— Каждый человек, в конце концов, может случайно захлебнуться и...

— Каждый человек, — сурово перебивает её Вадим, — не полезет участвовать в соревнованиях, если он не умеет плавать.

— А я умею! — упрямо говорит Натка.

Толстая девушка — ей, как самой, очевидно, безропотной, поручено вести протокол — тихо спрашивает Вадима:

— Это записывать?

— Подожди.

— Можно, я скажу? — поднимается со своей кровати угрюмая девушка-очкарик и, не дожидаясь ответа, мгновенно накаляясь, решительно говорит: — Во-первых, пускай ребята не курят, а то мы больше не разрешим устраивать собрание в нашей комнате...

— Правильно, Карасёва! — уныло говорит Вадим и захихивает сигарету в спичечный коробок.

— А во-вторых...

Карасёва уничтожающе смотрит на Натку.

— Насчёт Люльки! Не в том дело, что она захлебнулась, а дело в том, что она очень много о себе воображает, выдумывает, как маленькая, а потом из-за неё на всё наше общежитие ложится пятно...

— Ты примеры давай! — замечает лохматый парень, который, пристроившись на подоконнике, сам с собою играет в шахматы.

— Примеры?! Пожалуйста! Все ходят на работу с портфелями или сумками, верно?! А Люлька, изволите-ка видеть, купила себе какую-то дурацкую папку «Мюзик»... Это чтоб все думали, что она занимается музыкой! А у неё в этой папке лабораторные анализы лежат, и ничего больше...

— Записывать? — шепчет девушка-секретарь.

— Подожди.

— Могу ещё пример привести! — всё больше распаляется Карасёва. — Фото артистов многие девчонки вешают, я не спорю... Но вы посмотрите, что за фото Люлька повесила... Нет, Вадим, ты не отмахивайся, ты встань и посмотри!..

— Пожалуйста.

Вадим, пожав плечами, лениво встаёт, подходит к Наткиной койке, смотрит на три фотографии, пришпиленные кнопками к стене — киноактрисы Татьяны Соколовой, известного певца Кирилла Войковича и, что уже совсем неожиданно непонятно, академика Ивана Петровича Павлова.

Натка снизу вверх с некоторой тревогой поглядывает на Вадима.

— Ты надписи прочти, надписи! — не унимается Карасёва.

Вадим читает вслух:

— «Милая моя Натка, спасибо! Я никогда тебя не забуду. Твоя Татьяна Соколова». — Вадим, усмехнувшись, читает следующую надпись — на фотографии академика Павлова: — «Наташа, смотри и помни — это я, твой дедушка»...

Вадим в изумлении смотрит на Натку.

— Ты что, с ума сошла? Академик Павлов — твой дедушка?

— Нет, — очень спокойно говорит Натка. — Мой дедушка был убит на войне. У меня была его фотография, но она куда-то затерялась... Просто они — академик Павлов и мой дедушка — очень похожи...

Вадим, помедлив и покачав головой, читает последнюю надпись — на фотографии Кирилла Войковича:

— «Дорогая Наташа! Большое-пребольшое спасибо! «Пусть дарит цветы любовь».

Ваш К.—Войкович».

— Между прочим, «любовь» — без мягкого знака! — язвительно замечает Карасёва. — Этот Войкович, видать, не шибко грамотный!

Натка высокомерно улыбается.

— А он очень торопился! И вообще — мало ли кто как пишет?!

Она поднимает глаза на Вадима.

— Я очень интересно с ним познакомилась... Это было года полтора назад... Он уезжал в Италию на стажировку... И вот в филармонии в Минске был его прощальный концерт...

Натка медленно зажмуривается.

— Я и поехала, решила, что уж как-нибудь у входа билет достану... А по дороге в совхозе я купила цветы — маки...

Музыка — насмешливая и одновременно волшебная.

...Минск. Ярко освещённый подъезд Государственной филармонии.

На стендах у входа огромные афиши, с которых смотрит такое же, как и на фотографии, улыбающееся лицо Войковича.

Шум. Смех. Толчея. Оживлённые возгласы.

Но вот постепенно редет толпа у входа — через несколько минут начинается концерт.

И лишь небольшая группа неудачников — и среди них Натка с букетом маков в руках — всё ещё бросается ко всем встречным с жалобными воплями:

— Билетика нет?

— Лишнего билетика нет?!

— Пожалуйста... Умоляю вас... Билетик...

Но всё напрасно.

Никто не заболел в этот день, никого не задержали на работе, никто не опоздал.

Уже гаснут огни в вестибюле филармонии, и Натка, потеряв всякую надежду, едва ли не со слезами на глазах собирается уходить, как вдруг...

...У обочины тротуара, лихо тормознув, останавливается чёрная «Волга».

...В музыке возникает мелодия речитатива. На этом речитативе и идёт вся дальнейшая сцена.

...Хлопает дверца машины.

Очень маленькая и очень решительная женщина с копной разлетающихся во все стороны рыжих волос выскакивает из машины, подбегает к Натке, тычет ей в грудь указательным пальцем.

Ж е н щ и н а:

Девушка! Вы, вы!  
Откуда у вас эти цветы?

Н а т к а:

Я... Я их купила!

Ж е н щ и н а:

Продайте мне!

Н а т к а  
(гордо):

Нет, я цветов не продаю...  
Но если вам так нужно,  
То я могу их подарить — возьмите!

Ж е н щ и н а

(берёт цветы):

Спасибо, девушка, спасибо!

Женщина бросается к машине, но внезапно резко останавливается и снова подбегает к Натке.

Ж е н щ и н а:

А что вы здесь стоите?  
У вас, должно быть, нет  
Билета на концерт?

Н а т к а:

Нет.

Ж е н щ и н а:

Возьмите — вот вам пропуск.  
Ваше место — второй ряд, с левой стороны,  
У прохода... Но только,  
Ни с кем, прошу, местами  
Не меняйтесь... Поймите, это важно!  
И — вот ещё!..

Женщина отделяет от букета несколько цветов и возвращает их Натке.

Ж е н щ и н а:

Держите! И не потеряйте!..

...Переполненный зал филармонии.

Гром аплодисментов. Крики:

— Bravo!.. Бис!..

— Вой-ко-вич!.. Вой-ко-вич!

— Bravo!

— Вой-кович, воз-вращай-тесь скорей!..

...Войкович на эстраде улыбается, раскланивается, уходит за кулисы.

Натка, как ей и было велено, сидит во втором ряду, с левой стороны у прохода, на откидном стуле, держит в руке цветы.

Зал продолжает неистовствовать:

— Bravo!..

— Вой-ко-вич, бис!..

Войкович снова появляется на эстраде. В руках у него — Наткины цветы. Вместе с ним выходит и маленькая рыжая женщина, садится к роялю.

Войкович делает шаг вперёд — к рампе, — и в зале мгновенно воцаряется тишина.

— Дорогие друзья! — говорит Войкович. — Там, далеко, в Италии, я постоянно буду вспоминать вас, вашу доброту и этот сегодняшний — прощальный — концерт!.. А сейчас я хочу вам спеть новую песню. Я буду петь её в первый раз, так что... Называется песня «Девушка с алыми маками»...

Войкович разыскивает глазами в зрительном зале Натку, кивает ей, улыбается.

— И я хотел бы посвятить её той, не знакомой мне девушке, которая подарила мне этот букет!..

...Маленькая женщина за роялем играет музыкальное вступление.

Войкович начинает петь.

Это песня о девушке, которая идёт по одной из улиц Минска с букетом алых маков в руках.

Откуда у неё эти цветы? Может быть, ей подарил их её любимый? Или она сама несёт их в подарок любимому?

Но нет — на площади Победы, там, где горит Вечный огонь, к подножию памятника воинам-освободителям кладёт девушка букет алых маков.

...В музыке — тема военного марша... Войкович поёт о том, что мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь за победу над захватчиками, что мы никому не позволим снова обрушить на нашу землю огонь и смерть.

Пусть приносят цветы любовь, радость, пусть даже разлука — но только не горе, не материнская скорбь, не слёзы сирот и вдов.

...Горит Вечный огонь на площади Победы.

Лежат алые маки у подножия памятника погибшим воинам.

...Мгновение тишины.

А затем — оглушительный, неистовый грохот аплодисментов.

...Войкович спускается в зал, берёт Натку за руку и ведёт её по ступенькам — наверх, на эстраду.

От смущения Натка спотыкается, но Войкович ловко, на лету подхватывает её, тихо спрашивает:

— Как вас зовут?

— Наташа... Натка...

— Спасибо, Натка!..

Умолкает музыка.

...Натка открывает глаза, смотрит на Вадима и со вздохом заключает:

— Ну, а потом, после концерта, он мне и подарил свою фотографию!..

— Враньё! — резко говорит Карасёва. — Обрати внимание, Вадим, что у них у всех — и у Войковича, и у Соколовой, и даже у академика Павлова — одинаковый почерк!..

— А я всё-таки не понял, — неожиданно вмешивается лохматый парень, играющий в шахматы, — академик — он дедушка или не дедушка?!

— Слушай, ты, Капабланка, ты или присутствуй, или катись отсюда со своими шашками-пешками! — сердито говорит Вадим и снова садится за стол, на своё председательское место. — И вообще, товарищи, хватит уже о знакомых и родственниках Люлько! У нас важнейший вопрос — подготовка к юбилею города, а мы целый час всё какой-то ерундой занимаемся!

— Кто хочет по существу?

— Я! — поднимается неугомонная Карасёва. — Вот, Люлько...

— Я же сказал — хватит о Люлько! — взрывается Вадим и стучит карандашом по столу.

— А я о Люлько по существу! — невозмутимо продолжает Карасёва. — Раз Войкович и Соколова — такие её близкие друзья, то пускай она пригласит их к нам — на праздничный концерт!

Смешки. Возгласы.

— А что ж, это правильно!..

— Здравсьте, привет! — весело и нахально говорит Натка. — Интересно, как я могу их пригласить, когда Войкович в Италии, а Соколова в Москве или снимается где-нибудь.

— Ты так думаешь? — зловеще усмехается Карасёва. — А вот в газете написано...

Она снимает одни очки, надевает другие, разворачивает лежавшую на столе газету, читает:

— «На киностудии “Беларусьфильм” начинаются съёмки музыкальной комедии “Клетчатый чемодан”. На главные роли приглашены хорошо известная зрителям актриса Т.Соколова и недавно вернувшийся из Милана К.Войкович. В беседе с нашим корреспондентом Соколова сказала, что она очень рада...» И так далее, и тому подобное!..

Пауза.

— Вот теперь — пиши! — говорит Вадим толстой девушке, ведущей протокол собрания, и, секунду подумав, диктует: — Бюро ВЛКСМ отделения микробиологии поручает товарищ Люлько Н. пригласить на праздничный юбилейный концерт товарищей Соколову и Войковича...

— И обеспечить явку! — злорадно добавляет Карасёва. Вадим кивает.

— Ну, это, само собой, ясно!..

Минск.

Оживлённый, шумный, по-летнему распахнутый настежь, когда даже витрины магазинов и столики кафе как бы выплёскиваются на улицы — в поисках прохлады и тени.

Весёлая толчея в вестибюле гостиницы.

Музыка.

Танцевальная группа — уезжающие.

Танцевальная группа — приехавшие и жаждущие получить номер.

Танцевальная группа — иностранные туристы у киоска с сувенирами.

...А в стороне, слегка подавленные этим оглушительным столичным круговоротом, стоят Натка и Вадим, дожидаясь лифта.

Натка беспокойно и нетерпеливо поглядывает на Вадима.

— Ты же говорил, что у тебя сто тысяч дел в городе!

— Говорил.

— Ну, иди!

Вадим усмехается.

— Я хочу, как говорится, поприсутствовать при радостной встрече старых друзей!..

...Пожилой лифтёр распахивает дверцы лифта.

— Прощу! Какой этаж?

— Четвёртый, — говорит Вадим и, взяв Натку за локоть, втаскивает её в кабину лифта.

...Четвёртый этаж.

Натка и Вадим идут по длинному коридору мимо бесчисленных — с правой и с левой стороны — дверей с укрепленными на них табличками с номерами.

— А может, её дома нет?! — с робкой надеждой в голосе замечает Натка.

— Проверим, — лаконично отвечает Вадим, отсчитывая на ходу — четыреста двадцать три... четыреста двадцать пять... четыреста двадцать семь. — Стой, Натка, здесь!..

Натка и Вадим молча и неподвижно стоят перед закрытой дверью, из-за которой доносится негромкая музыка.

— Стучи! — приказывает Вадим.

Натка, закусив губу, отрицательно мотает головой.

— Стучи, я тебе говорю! — яростным шёпотом повторяет Вадим и, схватив Наткину руку, тянет её к двери.

Номер гостиницы.

Это большой двухкомнатный номер, так называемый люкс, состоящий из кабинета, спальни и прихожей.

В кабинете, где задёрнуты шторы и царит полумрак, включён телевизор. Передают урок современного танца. На голубом экране кружатся пары, звучит весёлая мелодия. И под эту мелодию светленькая девушка, чем-то очень похожая на Натку — с таким же девчоночьим хвостом, в простом ситцевом платье и белых резиновых тапочках на босу ногу, старательно выделывает перед высоким, в полстены, зеркалом фигуры твиста.

Когда раздаётся стук в дверь, девушка, не прерывая танца, громко отзывается:

— Войдите!.. Кто там?

...Первой, подталкиваемая сзади в спину Вадимом, входит в номер Натка, останавливается на пороге, испуганно и растерянно морщится.

— Здравствуйте! — говорит девушка, прерывая наконец танец. Она почему-то очень запыхалась и держится рукой за сердце. — Вам кого?

Натка беззвучно открывает и закрывает рот. Пауза. И тогда вперёд выступает Вадим:

— Нам нужна Татьяна Сергеевна Соколова... Она дома?

— А вы откуда? — вопросом на вопрос отвечает девушка и улыбается. — Откуда, кто такие и по какому, извините, поводу?

— Мы из города Вавилова, — степенно объясняет Вадим. — Из Института микробиологии. Научно-исследовательского! — Он кивает на Натку. — Вот, она — её зовут Наташа Люлька, — она из лаборатории синтеза и она будто бы знакома с товарищ Соколовой...

Натка, проглотив комок в горле, бормочет:

— Я... я просто...

— Расскажу я! — повелительно обрывает Натку Вадим. — Товарищ Соколова будто бы прошлым летом отдыхала у нас под Минском, на Нарочи... Ну, и Натка тоже была там... И вот у товарищ Соколовой будто бы пропала собака, а Натка её нашла... И тогда они познакомились и подружились, и всё такое.

— Да, да, да! — медленно, внимательно и с любопытством глядя на Натку, говорит девушка. — Я припоминаю... Мне Татьяна Сергеевна что-то об этом рассказывала...



Она неожиданно весело смеётся и протягивает Натке руку.

— Значит, тебя зовут Натка?! Очень приятно! А меня — Галя! — Она оборачивается к Вадиму. — А вас?

— Вадим.

— А вы знаете, братцы, это вы очень здорово сделали, что пришли! — всё веселее и оживлённее восклицает Галя. — Ненавижу завтракать в одиночестве... А у меня есть бутерброды и кофе в термосе...

— Спасибо, мы уже завтракали! — с достоинством отвечает Вадим.

Галя машет рукой.

— Ерунда! Садитесь!

Натка и Вадим, переглянувшись, чинно рядышком садятся на диван, а Галя, выключив телевизор, достаёт из буфетной горки большущий термос, чашки, тарелку с бутербродами, ставит всё это на стол, разливает кофе.

— Прощу!

Натка берёт протянутую чашку и неожиданно спрашивает:

— А сахара нет?

Галя с сожалением разводит руками.

— Увы, не потребляю.

— Почему? — удивляется Натка.

— Хочу быть стройной! — говорит Галя и, не переставая наблюдать за Наткой, уютно, с ногами, устраивается в кресле. — Братцы, а вам зачем нужна Татьяна Сергеевна?

— У нас в будущую субботу юбилей, — прихлёбывая кофе, отвечает Вадим. — Двадцать лет со дня основания города. И мы хотели просить... Вернее, это вот ей, Натке, как знакомой, поручено пригласить товарищ Соколову к нам на праздничный концерт!.. Она, кстати, где?

— Татьяна Сергеевна? Она на киностудии. Вернётся не скоро.

Натка, незаметно покосившись на Вадима, облегчённо вздыхает.

А Вадим хмурится.

— Придётся нам, значит, ещё раз заходить! — Он смотрит на Галю. — А вы кто?

— Я? Я её племянница... у меня сейчас каникулы, вот она меня и взяла с собой!..

— Вы учитесь?

— Учусь.

— Скажите, Галя, — тоном светской беседы спрашивает Вадим, — а товарищ Соколова — она теперь за кем замужем?

— Что значит «теперь»? — снова вопросом на вопрос, но каким-то вдруг напряжённо-злым голосом отвечает Галя.

— Ну, говорили, что вроде она...

— Кто говорил?! — резко перебивает Галя и, взглянув на Натку, спрашивает в упор: — Ты говорила?

Натка пугается.

— Нет, честное слово... Нет, я не говорила!

— А кто?

Вадим, начиная догадываться, что он допустил какую-то бестактность, вяло бормочет:

— Ну, там... одни... Люди вообще!..

Галя усмехается.

— Ясно! Говорили люди, которые слышали, как говорили люди, которые слышали, как говорили люди, которые слышали... О Господи! Похоже на сказку про белого бычка... Или на песенку...

Подражая манере таких «интимных исполнителей», Галя поёт — низким, хриплым голосом:

Говорили люди, которые слышали,  
Как говорили люди, которые слышали,  
Как говорили люди, которые слышали,  
Как говорили люди, которые слышали,  
Как об этом кто-то болтал на вокзале.  
И поверили люди, которые слышали,  
Как поверили люди, которые слышали,  
Как говорили люди, которые слышали,  
Тем, которые просто — от скуки болтали...

Натка смеётся.

И подумали люди, которые слышали...

Пронзительный телефонный звонок.

Галя с досадой смотрит на телефонный аппарат.

— Эх, дурак, всю песню испортил!..

Она встаёт, снимает трубку.

— Да? Да, это я... Уже? Какой номер? Хорошо, но я сначала хотела бы... Ах, так?! Ну, тогда отлично!.. Да, да, я всё поняла!..

Она опускает трубку на рычаг, разводит руками.

— Это со студии — от Татьяны Сергеевны. Надо отвезти ей вот это чудовище... — Она поддаёт ногой стоящий на полу небольшой клетчатый чемодан, смотрит на Вадима. — Скажите, ведь вы, наверно, приехали в Минск не только для того, чтобы пригласить Татьяну Сергеевну? У вас и другие дела есть, правда?

— Сто тысяч.

— В таком случае у меня к вам просьба...

Галя говорит, обращаясь к Вадиму, но при этом иско-са поглядывает на Натку.

— Отпустите со мной Наташу... часа на два, на три... А я обещаю, что я вам за это помогу уговорить Татьяну Сергеевну. Идёт?

— А для чего? — робко спрашивает Натка.

— Надо!

— Пожалуйста, — говорит Вадим.

Натка в растерянности смотрит то на Галю, то на Вадима.

— А как же... А где же мы потом встретимся?

Вадим, подумав и бросив взгляд на часы, говорит:

— Здесь. Напротив гостиницы. У входа в Главный почтамт. В шестнадцать ноль-ноль, ровно!

— Хорошо! — соглашается Натка и для пущей верно-сти повторяет: — У входа в Главный почтамт. В шестнад-цать ноль-ноль!..

## 7

...Ленинский проспект.

В бесконечном потоке машин, текущем по этой едва ли не самой длинной в Советском Союзе улице, едет се-рая «Волга» с чёткой надписью на борту кузова «Киносъём-очная».

...В машине рядом с шофёром — Галя, а сзади, при-держивая одной рукой то и дело сползающий на пол клет-чатый чемодан, сидит притихшая Натка.

...Некоторое время проходит в молчании, а потом, до-став из сумки косынку и большие тёмные очки, Галя го-ворит шофёру:

— Вот что. Остановитесь, пожалуйста! Мы выйдем, прогуляемся... А вы поезжайте вперёд и ждите нас... Ну, где-нибудь там — за Центральным универмагом!..

Машина останавливается.

Галя надевает очки, повязывает голову косынкой, обо-рачивается к Натке.

— Пойдём пройдемся... Да не бери ты этот чёртов че-модан, оставь тут!..

...Девушки выходят из машины и сразу, в ту же секун-ду оказываются вовлечёнными в стремительный и шум-ный уличный круговорот.

Солнце. Музыка.

Галя тянет Натку к какой-то магазинной витрине.

— Смотри — керамика!.. И вышивки... Идём, идём! Знаешь, как это называется в Париже? Ходить и облизывать витрины!.. Увлекательнейшее занятие!

...Девушки не спеша идут по улице, останавливаются у витрины, обмениваются короткими замечаниями, идут дальше. Это похоже на танец. Впрочем, это и есть танец — своеобразный танец прогулки и разглядывания витрин.

...И всё время — стараясь, однако, чтоб это было не слишком заметно, — Галя внимательно наблюдает за Наткой, словно запоминая — как она движется, как смеётся, как смотрит, как надменно вскидывает голову и делает независимое лицо, когда встречные парни чересчур уж бесцеремонно заглядываются на девушек.

— ...Привет! Куда торопимся, мисс?

— Далеко! В светлое будущее! — невозмутимо отвечает Натка, но всё-таки на всякий случай берёт Галю под руку и прибавляет шаг.

— А может, нам по пути?

— Нет, вам как раз в обратную сторону! — бросает через плечо Натка. — Давайте, травоядные, топайте!..

...Галя, быстро обернувшись и убедившись, что парни отстали, говорит со смешком:

— Ловко! А почему — травоядные?

Натка пожимает плечами.

— А как же?! Главная радость жизни — сидеть в каком-нибудь коктейль-холле и жевать соломинку... Ой, смотри!..

Девушки останавливаются перед зеркальной витриной большого универсального магазина.

Мимо течёт оживлённая людская река — с пакетами, покупками, свёртками.

Гул голосов. Музыка.

— Хочешь, сыграем в подарки? — неожиданно предлагает Галя.

— А как это?

— Очень просто. Представь себе, что у нас, у каждой, есть лишние... Ну, скажем, пятьдесят рублей!

— Ого! — морщит нос Натка. — А дальше?

— А дальше так — мы смотрим на витрину и выбираем подарки... Ты — для меня, а я для тебя... Нужно угадать — что кому хочется!

— На все пятьдесят рублей? — деловито, уже включаясь в игру, осведомляется Натка.

— На все.

Галя хлопает в ладоши.

— Раз, два, три — начали!..

...Дальнейшая сцена — вся, вплоть до реплик, исполняется, как музыкальный речитатив.

...Девушки, косясь друг на друга, пристально и придирчиво изучают вещи, выставленные в витрине.

Натка от усердия даже привстаёт на носки и высовывает кончик языка.

— Я готова! — сообщает она наконец.

— И я! — откликается Галя.

— Говори! — с жадным любопытством требует Натка.

— Хорошо. Слушай. Итак, я тебе купила... Я купила тебе, Наташа, вон тот, видишь, плед! Замечательный плед, по-моему... Но, к сожалению, он жутко дорогой, и у меня хватило денег только ещё вон на то шерстяное бельё... Плед и бельё!..

— Спасибо! — без особого энтузиазма отвечает Натка и усмешается. — Маловато у тебя получилось!

— Очень дорогой плед! — оправдывается Галя.

— Ну и кому он нужен?! — уже совсем невежливо машет рукой Натка и, помолчав, торжественно продолжает: — Нет, вот уж я тебе накупила, так накупила! Во-первых, я купила тебе сумку — на ремешке, через плечо, — вон, белая, за девять рублей... Во-вторых, большой маникюрный набор за одиннадцать... Это получается двадцать рублей, так?! Потом я тебе купила ночную нейлоновую сорочку с кружевами... Это сорок... И ещё я тебе купила — красный зонтик!..

Последние слова она произносит с тем особенным ликованием, по которому нетрудно догадаться, что красный зонтик — это её собственная, Наткина, мечта.

...Галя молча, медленно снимает тёмные очки, медленно протирает стёкла платком, смотрит на Натку — и в глазах у неё появляется какое-то странно-тревожное, почти печальное выражение.

— Да-а, — говорит она, — кажется, мы обе не угадали! Конечно, ещё не всё пропало — можно поменяться...

— Давай меняться! — охотно соглашается Натка.

— Я только не понимаю — зачем красный зонтик...

— Тебе не нравится красный зонтик?! — шёпотом, чуть ли не с благоговейным ужасом изумляется Натка.

Галя смеётся.

— Ну, ладно, ладно, пусть будет зонтик! А вот нейлоновая рубашка с кружевами... Учти, что эти кружева жутко колючие!..

— Ничего, не бойся, мне колоть не будут! — обещает Натка и снова берёт Галю под руку. — Ладно, пошли!

...А потом, всё ещё на пути к ожидающей их машине, девушки сворачивают на несколько минут передохнуть — в городской парк.

Они устраиваются в тени, на скамейке, стоящей неподалёку от служебного входа в цирк.

Слышны музыка, смех.

— Детский утренник, наверное! — с завистливым вздохом говорит Натка, откидываясь на спинку скамейки. — Сто лет не была в цирке!..

И, помолчав, вне всякой связи с предыдущим спрашивает:

— Ты замужем?

Галя приподнимает лежавшую на колене руку, растопыривает пальцы.

— Это мамино кольцо. Оно мне велико чуть-чуть, поэтому я его, чтоб не потерять, ношу на указательном.

— Твоя мама и Татьяна Сергеевна — сёстры?

— Да.

— Ты похожа на неё немножко. На Татьяну Сергеевну. Правда, она тёмная, а ты светлая... И потом, она вроде бы повыше тебя ростом... Посолиднее!..

Галя, глядя куда-то себе под ноги, небрежно спрашивает:

— Скажи, а она тебе нравится? Соколова?

— Очень!

— Почему?

Натка задумчиво покачивает головой.

— Не знаю... Нравится... Может быть, потому, что мне всегда кажется, что она — это я... Мне она только в последней картине, в «Белом дожде», не понравилась...

— Почему?

— Не знаю... Я думаю, что... Нет, не знаю!

Молчание.

За спиной девушек неожиданно раздаются осторожное, дипломатическое покашливание, негромкий голос:

— Дорогие девушки, извините...

Натка и Галя оборачиваются.

Перед ними, невесть как и откуда возникший, стоит человек — пожилой, степенный, седой, с меланхоличес-

ким или, скорее даже, унылым лицом. Одет он совершенно не по сезону — в мешковатый тёмный костюм. В одной руке у него — солидный портфель, а в другой какая-то квадратная бумажка, которую он осторожно, как бабочку, держит двумя пальцами.

— Да? — холодно спрашивает Галя.

«Некто в чёрном», как его мысленно, про себя мгновенно окрестила Натка, изобразив на унылом лице подобие улыбки, говорит невнятно и торопливо:

— Видите ли, девушки, у меня к вам просьба... Вернее — предложение... Вернее, просьба, которая как бы и предложение... У меня пропуск на троих... Я сейчас звонил — жена с дочкой задерживаются... А пропуск — на троих... И первое отделение скоро кончается, минут через десять—пятнадцать... А в цирке, как вы знаете, в конце отделения самые интересные номера... А одному смотреть скучно...

— А пропуск на троих! — поддразнивая, но серьёзно говорит Галя.

— Совершенно верно! — кланяется «некто в чёрном». — Вот и подумал — такие симпатичные девушки, может быть, они согласятся составить мне компанию?!

Натка с искренним огорчением разводит руками.

— Спасибо большое! Мы бы с удовольствием, честное слово, но нас ждут и...

Но Галя, не дав Натке договорить, решительно поднимается.

— Ничего, подождут!

Она смотрит на человека в чёрном, улыбается.

— Если это действительно не больше, чем пятнадцать—двадцать минут...

«Некто в чёрном» — явно обрадованный — снова кланяется.

— Не больше, уверяю вас, никак не больше!..

## 8

### Цирк.

На арене под звуки бурного галопа заканчивают свой номер жонглёры на шарах.

...Переждав, пока стихнут аплодисменты и шум, в центр манежа выходит высокий, густо напудренный мужчина во фраке — шпрыхсталмейстер — и зычным голосом объявляет:

— Патрицио Венус!.. Высшая школа верховой езды и дресс-сур-ра!..

Труба в оркестре играет кавалерийский сигнал.

— Просим! — странно громко произносит «некто в чёрном», сидящий между Наткой и Галей, весело крутит головой, хлопает в ладоши. — Просим, просим!..

Натка за его спиной тревожно переглядывается с Галей, даёт ей знаком понять, что спутник их, кажется, под хмельком.

Пауза.

Труба повторяет сигнал, но по-прежнему не шелохнётся занавес, из-за которого выходят на манеж исполнители.

— Патрицио Венус! — снова начинает шпрыхшталмейстер, но тут внезапно раздаётся на весь цирк безмятежное и звонкое:

— Привет!..

...Рыжий клоун с шамбарьером под мышкой перелезает, кряхтя, через борт манежа, подходит к шпреху, раскланивается, делает книксены, посылает воздушные поцелуи публике, представляется:

— Мыкола!

— Позвольте, — удивляется шпрех, — а где же месье Патрицио Венус?

— Мусьё пошёл пообедать! — сообщает Рыжий, продолжая раскланиваться с публикой.

— Как это — пообедать?! Когда?!

— Часа два назад... Я ему говорю — мусьё, вы опоздаете на представление! А он мне говорит — Мыкола, за два часа можно не только пообедать, но и поужинать! А я ему говорю — мусьё, вы человек приезжий, вы наших ресторанов не знаете, за два часа вы даже не успеете сделать заказ! А он мне говорит...

— Ладно, ладно, хватит! — перебивает Рыжего шпрех. — Я понял! А почему вы с шамбарьером?

— А я буду выступать вместо мусьё Венуса! Высшая школа верховой езды и дрессур-ра!.. Алле, ап!

Рыжий, едва не задев шпреха, щёлкает шамбарьером, и на манеж выбегает маленький и очень нарядный ослик.

— Санечка! — командует Рыжий. — Поздоровайся с публикой!..

Ослик мотает во все стороны головой.

— Молодец, Санечка!..

Рыжий, приподнявшись на цыпочки, кричит дирижёру оркестра:



— Маэстро Иван Палыч, попрошу — вальс!..

Оркестр играет медленный вальс.

И снова Рыжий щёлкает шамбарьером, а ослик под звуки вальса начинает выделывать на песке манежа всевозможные пируэты и танцевальные па.

— А теперь, — торжественно-замогильным голосом объявляет Рыжий, — исполняется смертный номер! У которых больное сердце — просим выйти, покурить! Маэстро Иван Палыч, прошу!..

...Глухая барабанная дробь.

Гаснет свет. В скрещенных лучах прожекторов — ослик и Рыжий.

Осторожно, очень осторожно, горестно распрощавшись — за руку — со шпрыхом и униформистами, Рыжий садится верхом на ослика и несколько мгновений под пронзительную барабанную дробь сидит — неподвижно, выпучив глаза.

— Алле, ап!..

Рыжий слезает с ослика, раскланивается.

Зажигается свет. Барабанную дробь сменяет торжественный туш оркестра.

Зрители смеются.

— Какой же это смертный номер? — опять же вслух удивляется «некто в чёрном».

— Тише, тише, — шепчет Натка.

На арене шпрых строго говорит Рыжему:

— Подумаешь, номер! Такой номер может сделать кто угодно!..

— Вы думаете?! Очень хорошо!..

Рыжий, обернувшись, делает знак униформисту, и тот выносит и ставит на барьер манежа блюдо с огромным тортом.

— Уважаемые зрители! — кричит Рыжий. — Па-апрошу желающих на манеж! Кто сумеет повторить мой смертный номер, получает награду — торт!.. Па-апрошу желающих на манеж!..

— Девушки! — заговорщицким шёпотом, но так, что его слышно далеко вокруг, говорит «некто в чёрном» и встаёт. — В антракте мы будем с вами есть торт!..

— Послушайте, я умоляю вас! — вцепляется Натка ему в рукав. — Это же шутка... Вы не понимаете — он же разыгрывает... Пожалуйста!..

— Ничего, ничего! — пытаюсь освободиться, бормочет «некто в чёрном».

Натка вскакивает следом за ним.

— Пожалуйста... Пожалуйста, не надо... Я прошу вас!..  
И теперь уже Гале приходится останавливать Натку.

— Сядь! — шипит она ей и едва ли не силой усаживает обратно на место. — Что ты, в самом деле, как маленькая! Сиди и молчи!..

«Некто в чёрном», не выпуская из рук портфеля, спускается на манеж.

...Исполняется классическая клоунская интермедия «Взбесившийся ослик» — интермедия, которую клоуны особенно охотно играют на детских утренниках.

Кончается она тем, что «некто в чёрном» после целого ряда неудачных попыток справиться со взбесившимся осликом остаётся в одних трусах и под ликование зрителей и насмешки Рыжего убегает с манежа, ослик съедает торт, а шпрых, уже даже и не пытаясь дождаться тишины, перекрикивая хохот и рукоплескания, объявляет:

— Антракт!..

## 9

...Девушки идут по улице.

— Не понимаю, чего ты огорчаешься?! — посмеиваясь, говорит Галя. — По-моему, было очень смешно!

— Нет, ну какая же я дура! — всё ещё продолжая переживать, восклицает Натка и всплёскивает руками. — Ведь я им чуть номер не испортила!.. Но я совершенно, совершенно не догадывалась, что он... Как, ты сказала, называют они это в цирке?

— Подсадка.

— Вот, вот — подсадка!.. Такой, понимаешь, почтенный дяденька... Слушай, а почему он выбрал нас с тобой?! А если бы нас не было?

Галя пожимает плечами.

— Ну, у него, вероятно, есть про запас постоянные партнёры — кто-нибудь из артистов!

— А почему же он выбрал нас?

— А потому, что ни один актёр, — с непонятым раздражением говорит Галя, — никогда в жизни не сыграет испуга так, как это сделала ты!

— Почему?

— Почему, почему, почему! — уже почти грубо перебранывает Натку Галя. — Започемукала!..

Натка обиженно поджимает губы.

— Ты тоже, между прочим, всё время спрашивала — почему!

— Когда?

— Когда мы говорили про Татьяну Сергеевну. Забыла уже?!

Галя неприязненно усмехается:

— Кстати, а для чего ты наврала, что ты с ней знакома?

— Я не наврала!..

Натка останавливается.

— Я не наврала! — повторяет она дрожащим голосом. — Я просто представила себе — как бы это могло быть! А уж потом всё сложилось само собой! А если ты этого не понимаешь, то...

— Стой! — останавливает Галя Натку, которая уже собралась уходить. — Не сердись!..

Она обнимает одной рукой Натку за плечи.

— Я действительно не поняла. Но ведь и ты тоже не всё ещё понимаешь... Не сердись, идём!..

...Девушки в молчании доходят до поджидающей их серой киносъёмочной «Волги», молча садятся в неё, молча едут — недолгий уже отрезок пути — до студии, а когда машина останавливается, молча выходят.

И только на крылечке, у дверей студии Галя отрывисто говорит:

— Вот что... Я сейчас пройду в группу, закажу тебе пропуск. Ты побудь здесь — кто-нибудь за тобой придёт!

— Хорошо.

Галя уходит, и Натка остаётся одна.

Она ставит на ступеньки клетчатый чемодан, с интересом осматривается.

Впрочем, в самом здании киностудии решительно нет ничего примечательного — дом как дом.

— Какое счастье, милая вы моя!!!

С этим страстным воплем вылетает из дверей киностудии худой человек неопределённого возраста — в тexasских штанах и хлорвиниловой куртке с таким количеством застёжек-молний, что просто непонятно, как они умещаются на этом сравнительно небольшом пространстве.

— Счастье!.. Чудо!.. Скорей!.. — выкрикивает человек-молния и хватает Натку за руку.

— Вас послала Галя?

— Галя, Валя, Таля! — продолжает бушевать человек-молния, подталкивая Натку к дверям. — Не важно, кто

послал меня! Не имеет значения! А вот вас — послал Бог, это точно!.. Скорее!..

И, втолкнув наконец Натку в дверь, он бросает на ходу вахтёру:

— Со мной! В павильон! На съёмку!..

## 10

Киностудия. Павильон.

Декорация, установленная в павильоне, изображает почти в натуральную величину часть зала и сцену Дворца профсоюзов.

Но всё это бутафорское великолепие со всех сторон окружено всяческим хламом — досками, гипсовыми архитектурными деталями, огромной головой Черномора из папье-маше, поломанным реквизитом.

И, как всегда, бродят среди этого хлама странные люди; бродят на первый взгляд совершенно бесцельно, хотя каждый из них занят своим совершенно определённым и важным делом.

И, как всегда, переминаясь с ноги на ногу, зорко наблюдает за всем происходящим в павильоне пожилой усатый пожарный, готовый немедленно ринуться в бой, если кому-нибудь вздумается закурить или зажечь спичку.

И — тоже неизменный — висит в павильоне неразборчивый и ровный, как в бане, гул голосов, в который время от времени врываются отрывки — без начала и без конца — музыкальных фраз.

На рельсах, проложенных вдоль рампы, стоит на тележке киносъёмочная камера, возле которой колдуют три молодых, очень друг на друга похожих человека — впрочем, лица их закрыты зелёными целлулоидными козырьками на резинках, так что похожи они друг на друга, главным образом, всё теми же тexasскими штанами с кожаными ярлыками на заду.

А в центре павильона в лёгком дачном матерчатом кресле, на спинке которого масляной краской написано слово «режиссёр», откинув голову и свесив по сторонам руки, сидит невысокий худенький человек, смуглолицый, с тоненькой полоской усов, в дымчатых очках с выпуклыми линзами.

Он тяжело и часто дышит полуоткрытым ртом и вдруг, не меняя позы, неожиданно зычно кричит:

— Анатолий!..

И со всех сторон десятки самых разных голосов мгновенно присоединяются к его воплю:

— Анатолий!.. Анатолий!..

— Здесь, — раздаётся в ответ, и из-за высокого фанерного щита в сопровождении насмерть перепуганной Натки появляется человек-молния.

— Здесь я, Милен Антонович! — повторяет он, останавливаясь перед режиссёром.

— Тэк-с!

Режиссёр смотрит на Натку.

— Она? Девушка с цветами?

— Она самая, Милен Антонович.

Режиссёр, прищурившись и пощипывая двумя пальцами усы, придирчиво разглядывает Натку.

— Ну, что ж... Есть, конечно, какая-то нарочитость... Этакий наигрышный наив... Вы снимались уже, девушка?

Натка морщит нос.

— Я? Нет, что вы!

Режиссёр недоверчиво фыркает.

— Предположим!.. Ну, а что вы должны делать, вы знаете?

— Знает, знает! — поспешно за Натку отвечает Анатолий. — Я ей всё объяснил, Милен Антонович!..

— Хорошо! Тогда — так...

Неожиданно с энергией, которую предположить в нём было почти невозможно, режиссёр вскакивает, хватая с пола жестяной рупор, подносит к губам.

— Валюня!..

На сцене — в декорации, из-за кулис — появляется человек в трико, с чёрной шкиперской бородкой, танцевальным шагом подходит к рампе.

— Да, Милен Антонович?

— Валюня, скажите своим — мы сейчас пройдем всё подряд... Начнём с «Мятелицы», потом финал и выход всех участников на поклон... Потом — девушка с цветами... Войкович здесь?

— Войкович в буфете, — отвечает чей-то мрачный голос.

— Позовите его... Вы поняли, Валюня?!

Валюня, зачем-то подпрыгнув, томно спрашивает:

— А зачем «Мятелица»? Мы её уже десять лет танцевали, её весь мир видел... нам её репетировать не нужно!..

— Это мне нужно, мне, мне, мне! — кричит режиссёр в рупор. — Валюня, я вас умоляю... Я хочу — для себя — увидеть и ощутить весь кусок! Я умоляю, Валюня!..

Валюня снова подпрыгивает, успевая — в прыжке — пожать плечами.

— Пожалуйста, Милен Антонович.

Один из обладателей техасских штанов с кожаным задом спрашивает с тележки:

— Какой кадр?

— Никакого кадра, — сердится режиссёр. — Я же сказал, я хочу увидеть весь кусок целиком. Кадр мы установим потом... Девушка с цветами, вы где?

— Здесь, — снова отвечает за Натку человек-молния Анатолий.

— Прекрасно! — говорит режиссёр. — Прежде всего — кто-нибудь заберите у неё этот чемодан...

— А это не мой чемодан, — угрюмо замечает Натка, — это чемодан Татьяны Сергеевны Соколовой.

— Соколовой?! А где она? — оживляется режиссёр.

— Не знаю. Где-то здесь, на студии.

— Прекрасно! — говорит режиссёр. — Анатолий, миленький, разыщите её — она, наверное, в группе — и попросите зайти в павильон!..

Анатолий убегает.

— Итак, — чуть помедлив, кричит в рупор режиссёр, — внимание! Начинаем с «Мятелицы»... Все по местам! Полная тишина!.. Музыка!..

Пауза.

Именно теперь из радиорубки, из которой во время всей предыдущей сцены звучали обрывки мелодий, не доносится ни единого звука.

— В чём дело?! — мгновенно сатанея, вопит режиссёр.

Невозмутимый голос откуда-то сверху не спеша отвечает:

— Плёнку перематываю, Милен Антонович.

— А раньше, раньше вы её перемотать не могли?!

— А раньше не мог.

— Послушайте, Серёжа...

— Готово, Милен Антонович!..

Режиссёр, иронически и горестно вздохнув, садится в кресло и повторяет, но уже без прежнего металла в голосе:

— Внимание!.. «Мятелица»!.. Музыка!..

Вступает музыка.

На сцене ансамбль народного танца исполняет блистательную «Мятелицу».

Это и вправду так захватывающе красиво, ярко и темпераментно, что даже пожарный, забыв на время о своих суровых обязанностях, восхищённо смотрит на сцену.

— Гениально! — кричит режиссёр. — А теперь — все исполнители — на поклон... Кирилл здесь?

— Здесь, здесь.

— Кирочка, миленький, значит, так... Все исполнители — на поклон, ты выходишь вперёд, твоя бисовка... А девушка с цветами... Где девушка с цветами?

— Тут! — заразившись общим возбуждением, во весь голос кричит Натка.

Режиссёр морщится.

— Зачем так громко?! Когда Войкович кончает петь — девушка с цветами... Стоп! А почему у девушки с цветами нет цветов?

Какая-то пожилая женщина суёт Натке в руки букет бутафорских цветов.

— Давайте! — командует режиссёр. — Все исполнители — на поклон...

Артисты ансамбля танца, взявшись за руки, выходят на авансцену, раскланиваются.

— Бурные аплодисменты! — комментирует в тишине режиссёр и легонько ладонью похлопывает по спинке кресла. — Теперь — Войкович!..

Войкович, оставив руку с недоеденным бутербродом, поёт «Праздничную песню»...

— Бурные аплодисменты, переходящие в овацию! — сообщает режиссёр и ещё раз шлёпает ладонью по спинке кресла. — А теперь — девушка с цветами бежит на сцену и отдаёт цветы Войковичу... Девушка с цветами, пошла!..

Натка, сжимая, как веник, бутафорский букет, бегом поднимается по ступенькам на сцену. На последней ступеньке она спотыкается и падает — прямо на руки успешному шагнуть вперёд Войковичу.

— Стоп! — кричит режиссёр.

Долгая и зловещая пауза.

— А вы знаете, — вдруг медленно произносит режиссёр, — а ведь в этом что-то есть!.. — Он задумчиво трёт кулаком переносицу: — Ты не находишь, Кирилл?

— Что-то есть, Милен! — неопределённо отвечает Войкович.

— Что-то есть, что-то есть! — поёт режиссёр и снова вскакивает. — Значит, так — это мы закрепляем! Девушка с цветами спотыкается, а Кирилл её подхватывает!.. Приготовились, сейчас всё повторим!..

Натка спускается вниз, режиссёр подносит рупор к губам, но в это мгновение в павильон врывается Анатолий.

Рядом с ним, воздевая к небу короткие ручки, семенит толстый лысый человек.

— Милен, всё пропало! — восклицает он во всеуслышание, а потом, наклонившись к режиссёру, сообщает ему захлёбывающимся шёпотом какую-то чрезвычайно, видимо, неприятную новость.

— Не может быть! — по-птичьему вскрикивает режиссёр и, в свою очередь, воздевает руки. — Она сошла с ума! Где она?

— В группе.

— Бежим!..

Режиссёр, лысый и Анатолий бегут к выходу. Уже у самых дверей режиссёр оборачивается и трагически объявляет:

— Репетиция окончена!.. Все свободны!..

## 11

Киностудия.

Натка, помахивая клетчатым чемоданом, идёт по бесконечным коридорам и запутанным переходам.

Из полуоткрытых дверей доносятся громкие, чаще всего раздражённые голоса, пение, брэнчание гитары, звонки телефонов.

Морща нос и шевеля губами, Натка читает загадочные надписи на дверях:

— «Я родом из детства», «Тысяча окон», «Город мастеров».

Натка беспомощно озирается — она решительно не знает, куда ей идти и где искать пропавшую Галю.

Мимо, не заметив Натки, пронесётся, размахивая руками, человек-молния Анатолий и скрывается за одной из дверей.

— Послушайте! — кричит ему вдогонку Натка. — Пожалуйста... Вы не знаете...

Задребезжав, захлопывается дверь, на которой укреплена очередная таинственная надпись:

— «Клетчатый чемодан».

Подумав и сделав на всякий случай независимое лицо, Натка стучит в дверь.

Никто не отвечает.

Натка стучит ещё раз.

Молчание.



Тогда, решившись, Натка приотворяет дверь и заглядывает в комнату.

Несколько человек — режиссёр, лысый, человек-молния Анатолий, один из обладателей тexasских штанов с кожаным ярлыком на задку и две пожилые женщины — молча и, почему-то не глядя друг на друга, сидят и старательно курят.

Несмотря на жару, окно и даже форточка в комнате закрыты, и табачный дым висит в воздухе плотно и неподвижно.

— Здравствуйте, извините! — вежливо говорит Натка, но никто из присутствующих не обращает на неё ни малейшего внимания и даже не поворачивает головы в её сторону. Не дождавшись ответа, Натка перекладывает чемодан из руки в руку и спрашивает:

— Вы не знаете — где Галя?

Молчание.

— Вычту за проезд и суточные! — мстительно, выпуская дым колечками, произносит лысый.

— Я уже выписала ордер, — вяло отзывается одна из женщин.

— А я всё равно вычту! И на номер в гостинице броню сниму!..

— Ну, это ребячество! — сухо говорит режиссёр.

Снова молчание.

Натка делает шаг вперёд, со стуком опускает чемодан на пол и повторяет, отчеканивая каждое слово:

— Вы не знаете — где Галя?

— А если попробовать через Москву? — предлагает Анатолий.

Режиссёр усмехается.

— А что может Москва?!

— Москва может всё!

— Но не в данном случае.

Натка стискивает зубы.

— Где Галя?!

— Галя уехала, — отвечает наконец обладатель тexasских штанов. — На выбор природы.

— Когда? — изумляется Натка.

— Дней пять назад.

Натка с облегчением машет рукой.

— Нет, это другая Галя... Я спрашиваю про ту Галю, которая с Татьяной Сергеевной Соколовой... Где она?

Лысый в ответ бормочет что-то невнятно и возмущенно, а режиссёр, закинув голову к потолку, говорит медленно, нарочито-бесстрастным голосом:

— Если ещё раз... Если я ещё раз услышу это имя, отчество и фамилию, то я начну кусаться, предупреждаю!..

Анатолий, соскочив с подоконника, подбегает к Натке, поднимает с пола чемодан, суёт его Натке в руки и, подталкивая её за плечи к дверям, произносит на ходу быстрым свистящим шёпотом:

— В гостинице... В гостинице, в гостинице!..

## 12

Гостиница.

У входа в лифт, застрявший где-то между этажами, скопилось множество людей, и Натка с Вадимом решают подняться пешком.

Они идут медленно и устало — нагруженные каким-то невероятным количеством пакетов, свёртков, рулонов разноцветной бумаги, цветов.

— Вот что, Вадим, — говорит Натка, останавливаясь на площадке третьего этажа и тяжело переводя дух. — Я хочу тебе сказать... Ну, в общем, я всё сочинила!

— Что именно?

— Всё! — быстро, словно боясь передумать, выпаливает Натка. — Я не знакома с Татьяной Сергеевной Соколовой... Никогда даже её не видела... не в кино, конечно, а в жизни...

Вадим хмыкает.

— А я так, между прочим, и предполагал! И собачки тоже не было?

— Тоже не было.

— А Войкович?

Натка отрицательно мотает головой.

— И никаких ты ему цветов не дарила?

— Н-нет, не дарила, — чуть запнувшись, говорит Натка. — Сегодня, правда, на киностудии очень смешно получилось, потому что...

Вадим сурово перебивает:

— Прекрати! Опять что-нибудь сочинишь и...

Он задумчиво хмурится.

— Что же будем делать? Чемодан всё равно вернуть надо...

— Надо, — печально соглашается Натка.

— И потом, эта Галя — она ведь обещала, что уговорит Соколову...

— Обещала.

— Тогда пошли!..

...Некоторое время Натка и Вадим поднимаются молча, а потом Вадим неожиданно спрашивает:

— Слушай, а почему именно теперь ты решила признаться? Испугалась, что сейчас всё откроется?

Натка пожимает плечами.

— Нет, не испугалась... А просто... Ну, когда-нибудь надо признаться.

Вадим кивает.

— Да, это верно. Когда-нибудь надо...

Он улыбается.

— Но цветы Соколовой тем не менее будешь дарить ты!

— Почему — я?! — степенно возражает Натка. — Это неправильно — цветы должен дарить мужчина!

— Пожалуйста! — соглашается Вадим и сообщает: — Четвёртый этаж!..

Они снова останавливаются.

— Молодые люди, а вы куда? — с привычной подозрительностью окликает их коридорная.

— Мы в четырёхста двадцать седьмой, — отвечает Вадим. — К Соколовой.

— А Соколова уехала!

— Как уехала?!

— Очень просто. Сдала номер и уехала. В Москву улета.

— А Галя? — растерявшись, спрашивает Вадим.

Коридорная шурится.

— Это что ещё за Галя?!

— Племянница её... Ну, девушка, которая вместе с нею жила!

Коридорная сердито трясёт головой.

— Не пойму я, гражданин, что вы такое говорите! Никаких с ней племянниц не проживало! — Она внимательно смотрит на Натку. — Вас Наташей зовут?

— Наташа.

— Тогда так, — деловито говорит коридорная. — Товарищ Соколова велела, чтоб вы её чемоданчик у меня в дежурке оставили... И ещё она велела вам сказать, чтоб вы не беспокоились!..

— Не беспокоились? — от изумления шёпотом переспрашивает Натка.

— Именно! — подтверждает коридорная. — Так прямо и сказала — я, говорит, в Москву улетаю, но пускай, говорит, не беспокоятся!..

Аэропорт.

Музыка. Радио. Гудение самолётов — идущих на взлёт и на посадку.

Сумерки. За широкими окнами зала ожидания видно лётное поле с уходящими вдаль разноцветными сигнальными огнями.

Танцевальным шагом проходит стайка хорошеньких бортпроводниц, за которыми немедленно увязывается компания подгулявших командировочных.

Комический танец.

В стороне у окна в низком кресле, поставив у ног большую кожаную сумку, одиноко сидит молодая женщина, лет тридцати, — темноволосая и темноглазая, в строгом дорожном костюме.

Несмотря на то, что она сидит, опустив голову, её узнают. Проходящие по залу замедляют шаги и оглядываются, а две девушки, делая вокруг петли, взволнованно перешёптываются:

— Она!.. Соколова!..

— Честное слово, она!..

Неожиданно раздаётся возглас:

— Таня?!

Соколова поднимает голову.

В зал ожидания, запыхавшийся и взволнованный, врывается Кирилл Войкович, подбегает к Соколовой.

— Фу, а я боялся, что опоздаю... Я позвонил в гостиницу, и мне сказали, что вы улетели в Москву...

Он плюхается в соседнее кресло.

— Что случилось, Таня?

— В каком смысле? — суховато спрашивает Соколова.

— Ну, вы даже не представляете себе, что творится на студии...

— Нет, почему же, представляю! — усмехается Соколова. — Хорошо представляю!..

Несколько мгновений она молчит, а потом вдруг, как-то странно и тревожно заторопившись, начинает говорить:

— Я очень виновата, очень, я понимаю... Кругом виновата! Но прежде всего, больше всего в том, что согласилась играть эту роль. А я не должна была соглашаться, не имела права!.. То, что я сейчас улетаю, — это не самое страшное... Ансамбль танца скоро отправляется на гост-

роли, значит — надо отснять сцены с ними, в этих сценах Галя не занята... А за это время найдётся, не сомневаюсь, какая-нибудь молодая актриса... Я сама кликну клич!..

— Но, Таня...

— Кирилл, милый, поверьте, я не могу больше!.. Вот уже пятнадцать лет, с самой первой своей роли, я всё играю — девчонок, девчонок, девчонок... И всё хуже и хуже! И не только потому, что мне за тридцать и я стала другой, — девчонки стали другими... Они по-другому ходят, по-другому смотрят, по-другому думают... Я могу им подражать, могу казаться, а быть — не могу! И как раз сегодня, так случилось, я поняла это особенно ясно...

Громкий голос по радио сообщает:

— Внимание! Объявляется посадка на самолёт, следующий рейсом триста семнадцать по маршруту Минск—Москва! Просим пассажиров, улетающих этим рейсом, пройти к выходу на лётное поле!..

Соколова встаёт, протягивает Войковичу руку.

— Ну, до свидания, Кирилл! Скажите Милену — пусть уж не очень на меня злится!..

Войкович поднимает с пола сумку.

— Я провожу вас, Таня.

Они идут вместе через зал ожидания, и две девчушки приходят в окончательное беспамятство:

— Войкович... Я ж тебе говорила, что это Войкович!

— И Соколова!

— Войкович и Соколова! Тебе ясно?!

...Выход на лётное поле.

Соколова забирает у Войковича сумку.

— Спасибо, Кирилл... И ещё раз — до свидания! Кстати, я скоро вернусь... Ровно через неделю. Меня пригласили на праздничный концерт в город Вавилон — и я обещала...

Она кивает головой, улыбается.

— Я ведь не всегда подвожу!.. Я приеду и позвоню вам — а вдруг за неделю всё образуется!.. До свидания!.. Не смотрите на меня так грустно — и не сердитесь, пожалуйста!..

Голос по радио повторяет:

— Внимание! Продолжается посадка на самолёт, улетающий рейсом триста семнадцать по маршруту Минск—Москва!..

Электричка.

Поздний вечер. Вагон почти пуст. За окнами, заштрихованными дождём, возникают, исчезают и возникают снова огоньки пролетающих станций.

Монотонно постукивают колёса.

Натка и Вадим сидят друг против друга — то подрёмывают, то открывают глаза, когда раздаётся громкий и протяжный гудок электровоза.

— Знаешь, Вадим, — неожиданно говорит Натка, — а я собираюсь выйти замуж...

— Привет! — устало усмехается Вадим. — Давно ничего не выдумывала, да?!

— А я не выдумываю — я загадываю! — важно отвечает Натка. — Это большая разница!

— И про Соколову с Войковичем — ты тоже не выдумала?!

Натка загадочно шурится.

— Может быть, и не выдумала.

— Ну, Натка, Натка! — покачивает головой Вадим. — Теперь я начинаю понимать Карасёву — от тебя действительно можно умом тронуться! За кого ж ты собираешься замуж?

— За одного человека. Он биолог. И я загадала — так...

В монотонном постукивании колёс возникает музыкальная — Наткина — тема.

Зажмурив глаза, Натка нараспев произносит:

Электричка подходит к станции.

На станции никого нет... Уже поздно,

Все спят... Он встречает меня

И дарит мне цветы... И смотрит

На меня долго-долго...

А потом мы идём по пустым улицам...

Накрапывает дождь, но и это хорошо...

...Электричка подходит к станции.

Натка и Вадим выходят на пустую, освещённую неярким светом платформу.

Прогудев, трогается электричка — проплывают по откосу квадраты окон; растворяется в темноте красный огонёк последнего вагона; замирает стук колёс.

Тихо. Пусто.

Вадим невольно озирается. Кажется, он всё-таки немножко поверил Наткиному рассказу, — и Натка, заметив его движение, хитро улыбается.

— Пошли, Вадим!..

...Они идут вдвоём по пустым улицам.

Город спит. Накрапывает дождь — летний, ленивый, тёплый.

И всё время, пока они идут, словно аккомпанируя негромкому цоканью Наткиных каблучков, звучит всё та же музыкальная тема, в которой странным образом сочетаются насмешка и волшебство.

— Вот что, Натка...

— Что? — после долгой паузы, не дождавшись продолжения, спрашивает Натка.

— Я никому ничего не скажу, ладно?! Скажу просто, что ни Соколову, ни Войковича нам повидать не удалось!..

— Как хочешь.

...Они останавливаются у дверей общежития.

— Ну, до завтра, — говорит Вадим.

— До завтра, — кивает Натка.

Вадим собирается уже уходить и вдруг, вспомнив, неловко суёт Натке букет цветов, который был предназначен для Соколовой.

— На, возьми!

— Зачем?

— Ну, а куда я с ним денусь?!

— Спасибо.

Натка берёт цветы, чуть наклонив набок голову, смотрит на Вадима, улыбается.

— Вот видишь!

— Что видишь? — недоумевает Вадим.

Натка, глядя Вадиму прямо в глаза, медленно говорит:

— Если очень захотеть и очень хорошо загадать — то всё непременно сбывается!..

— Ну, знаешь ли...

Вадим, потеряв от возмущения дар речи, только потрясает в воздухе пакетами и свёртками.

— Ну, Люлька... Ну, знаешь ли...

Он резко поворачивается и уходит. Он почти бежит — а сзади, за его спиной, весело смеётся Натка и всё звучит, не умолкая, странная мелодия, в которой одновременно — и насмешка, и волшебство.

## 15

### Лаборатория.

Натка, в белой марлевой косынке и белом халате, из-под которого выглядывают подсученные джинсы, что-то негромко насвистывая, колдует над колбами и ретортами.

Приотворяется дверь, и в лабораторию просовывается голова Карасёвой.

— Люлько!

— Что? — не оборачиваясь, дёргает плечом Натка.

— Допрыгалась, Люлько! — зловеще говорит Карасёва. — Сейчас звонили в дирекцию. Из городского Совета. Велели, чтоб ты в перерыв явилась к товарищу Мележу!..

— А зачем? — с некоторым испугом, обернувшись, наконец спрашивает Натка.

Карасёва усмехается.

— Там скажут! Допрыгалась, Люлько!..

...Большая, выполненная в цвете фотография улыбающейся Натки.

Это обложка еженедельного польского журнала «Новости».

— Узнаёшь? — спрашивает у Натки председатель городского Совета Мележ — высокий, слегка уже отяжелевший с возрастом человек. Левый пустой рукав пиджака пришит к карману английской булавкой.

— Узнаю! — растерянно отвечает Натка.

— А подпись под фотографией прочесть можешь? Не можешь? Ладно, сейчас я тебе сам попробую перевести...

Чуть отстранив от себя журнал и шурясь, Мележ медленно переводит:

— «Девушка из советского белорусского города Вавилова, где газированная вода бесплатно...»

Он хмыкает.

— Здесь дословно получается — бесплатно продаётся... Но по смыслу это надо понимать, как «бесплатно выдаётся»... Ну, это тоже не совсем точно, но примерно так!..

Молчание.

В кабинете Мележа помимо самого хозяина и Натки присутствует ещё один человек — квадратный, сердитый, с висячими казацкими усами и в расшитой тюбетейке на бритой загорелой голове.

Посапывая, он угрюмо и неодобрительно смотрит на Натку.

— Рассказывай — как это всё получилось? — спрашивает Мележ.

— Очень просто, — безмятежно говорит Натка. — Я в киоске сидела — тётя Катя обедать пошла... А тут приехал автобус — с туристами... Они пить захотели... Что ж я с них — деньги брать буду?! А потом я подумала, что, если я им объясню, что я их — вроде бы — угощаю, они могут



обидеться... Ну, я и сказала, что у нас в городе газированная вода бесплатная!..

Мележ после паузы, не выдержав, смеётся.

— Да, братец ты мой, задала ты нам задачу! Вон товарищ Орловский, — кивает он на сердитого в тюбетейке, — наш бог торговли — он уже вторые сутки рвёт и мечет!

— А почему? — невинно удивляется Натка.

— Почему?! — с хрипотцой, вытирая платком лицо, гневно переспрашивает Орловский. — А вы, значит, не понимаете — почему?! Этот чёртов журнал, где написано, что у нас вода бесплатная — его, может, во всех странах прочтут... Прочтут и, как говорится, поверят! А нам что прикажете делать?! Ну, хорошо, предположим, что с чистой — я уж как-нибудь выкручусь! А сироп?! Кто, я вас спрашиваю, будет мне сироп оплачивать?! Кто?!

Молчание.

Мележ, бросив взгляд на часы, говорит:

— Ладно, Наташа, спасибо... Ты иди, а то перерыв кончается — поесть не успеешь! До свидания!..

Он протягивает Натке руку и незаметно для Орловского подмигивает.

— Иди!..

— До свидания, — тихо говорит Натка и, подумав, добавляет: — Извините!..

Натка уходит.

— Молодые! — фыркает Орловский. — В штанах разгуливают... Не знают они — почём фунт лыха...

— Ты молчи, молчи! — неожиданно свирепея, но сдерживая себя, обрывает его Мележ. — Ты про фунт лыха молчи! Я ни твоего, ни своего добра считать не собираюсь — квартиру, машину, дачу казённую, но...

— Нам положено...

— А ей — что положено?! У неё в паспорте, у первой в мире, написано: место рождения — город Вавилон! Её родители строили этот город... А потом, в пятьдесят пятом, когда ставили вторую высоковольтную линию, её отец погиб в аварии. А потом и мать померла... Жила она в интернате, теперь живёт в общежитии, работает лаборанткой... Пенсию за родителей с прошлого года не получает, уже совершеннолетняя... Шестьдесят пять рубликов и — привет! Штаны! — передразнивает он Орловского. — А у неё, может быть, кроме этих штанов, и нет ничего... Так что — про фунт лыха — ты помолчи! Ты лучше придумай — как нам с газировкою быть?!

Орловский разводит руками.

— Думай, не думай... Ничего нельзя сделать!

— Надо, братец ты мой! — говорит Мележ, к которому уже вернулось его весёло-добродушное настроение. — Нельзя, но надо! Праздник через три дня... Гости... Многие из них наверняка видели этот журнал — очень может, знаешь ли, некрасиво всё получиться...

Телефонный звонок.

Мележ снимает трубку.

— Да?.. Добрый день! Поезд? Поезд с гостями из Минска отправляется в девять тридцать, значит, у нас будет одиннадцать пятнадцать... Так, так, понятно! — Он слушает, усмехается. — Вавилонское столпотворение. Это нам, конечно, ни к чему, но пионеры с цветами — тоже, мягко выражаясь, не самая свежая мысль... Ладно, вы зайдите сейчас ко мне, обсудим!..

Он вешает трубку, весело смотрит на мрачного Орловского.

— Слышал?! А ты говоришь — нельзя газировку бесплатно! Город гостей встречать собирается, гостей со всего света, а ты говоришь — нельзя!..

## 16

Торжественный марш духового оркестра.

Протяжный гудок электровоза.

Поезд с гостями медленно приближается к станции — переполненной встречающими, залитой солнечным светом, празднично разукрашенной.

Девушки — среди них Натка и Карасёва — поднимают над головами полотнище с надписью: «Нам двадцать лет! Здравствуйте!»

Поезд всё ближе и ближе.

Натка прикрывает глаза.

— Ты чего? — улыбаясь, негромко спрашивает стоящий рядом Вадим. — Опять что-нибудь загадываешь?!

— Нет, — отвечает Натка, — просто — солнце в глаза.

Но, взглянув на Вадима, она, конечно, не может удержаться, чтобы не поддразнить его:

— А может быть, и загадываю!..

Поезд подходит к станции и останавливается.

С новой силой гремит духовой оркестр.

Встречающие размахивают букетами цветов и флажками, на которых римскими цифрами написано «XX», — бегут вдоль вагонов, заглядывают в окна, разыскивая друзей и знакомых.

Смех. Поцелуи. Рукопожатия. Возгласы и приветствия на всех языках.

И вдруг конец полотнища, который держит Натка, начинает медленно ползти вниз.

— Натка! — угрожающе кричит Карасёва.

На перекошенном и сбившемся полотнище можно теперь прочесть только странные слова:

— «Нам два... Здра...»

— Натка!..

Но Натка ничего не слышит.

Округлив глаза, она смотрит, как из вагона в толпе гостей выходят Соколова и Войкович.

— Натка!..

Натка, не выпуская из рук конца полотнища, отступает, пятится назад, пытается спрятаться за чьи-то спины.

— Натка?!

Натка вздрагивает, потому что это кричит уже не Карасёва — это окликает её так хорошо знакомый по многим фильмам низкий голос Соколовой.

— Здравствуй, милая моя! Здравствуй, Натка!..

Соколова сквозь толпу пробирается к Натке. И, как везде и повсюду, люди узнают её и расступаются перед нею, образуя подобие коридора, на одном конце которого Соколова, на другом — Натка.

Натка смотрит, как замороженная, только дрожат губы и прыгает зажатое в кулаке полотнище.

В недоумении смотрит Вадим, а у Карасёвой от возмущения даже запотевают очки.

— Ну, здравствуй же!..

Соколова обнимает и целует Натку.

— Ты даже не знаешь, как часто я всё это время вспоминала тебя! И как я тебе благодарна!..

— За что? — всё ещё в состоянии столбняка, тихо спрашивает Натка.

— А ты не догадываешься?! — улыбается Соколова. — За подарки... Ну, помнишь — за белую сумку на ремешке через плечо, за маникюрный набор, за красный зонтик... Кстати, красный зонтик я тебе привезла — держи!..

Она протягивает Натке зонтик, раскрывает его, поднимает и обнимает Натку за плечи.

Они стоят вдвоём под красным зонтиком, и вокруг них мгновенно образуется круговорот фотокорреспондентов и любителей.

У Карасёвой окончательно запотевают очки, и ей приходится снять их и надеть другие.

— Таня, идёте, нас ждут! — с трудом прорвавшись сквозь кольцо фотокорреспондентов, говорит Войкович.

— Иду, иду! Познакомьтесь, Кирилл, это та самая Натка! Войкович, улыбаясь, протягивает Натке руку.

— А мы знакомы!

— Знакомы?! — удивляется уже даже Соколова.

Войкович смеётся.

— Был такой случай... Наташа должна была подарить мне цветы, но споткнулась и чуть не упала... Помните, Наташа?

Натка молча кивает.

Карасёвой приходится снять и вторые очки.

Вадим, потерявший — как тогда, ночью — дар речи, повторяет про себя бессмысленным шёпотом:

— Ну, Люлько... Ну, знаешь ли... Ну, ты даёшь, Люлько!..

Гремит оркестр.

Лохматый парень — тот, что на комсомольском собрании сам с собою играл в шахматы — философски замечает:

— Не удивлюсь, если окажется, что академик Павлов — действительно Наткин дедушка!..

## 17

В синее вечернее небо взлетают и рассыпаются разноцветные кружева фейерверка.

Начинается праздничный концерт — в летнем театре, под открытым небом.

Сводный хор исполняет торжественную кантату.

А потом закрывается занавес и на авансцене в луче прожектора появляется Соколова.

— Здравствуйте! — говорит она. — Сегодня вам двадцать лет, и я поздравляю вас!..

Переждав, пока стихнут дружные аплодисменты, она продолжает:

— Когда-то мне было тоже двадцать лет... В тот год я сыграла свою первую роль — девочку Катю в картине «Разные чудеса»... Я не певица — вы это знаете, — но сегодня мне хочется спеть вам песню из этой картины — песню о чудесах, которые сбываются, если очень сильно захотеть и очень хорошо загадать!..

Она поднимает руку, давая знак оркестру к вступлению.

В луче прожектора — блеснуло и погасло — золотое кольцо.

— Знаешь, почему она носит кольцо на указательном пальце?! — шепчет Натка сидящему рядом с ней Вадиму. — Чтоб не потерять... Это её мамы кольцо, и оно ей чуть-чуть велико!..

Вадим недоверчиво косится на Натку, но возражать он ей теперь уже больше не решается.

Соколова начинает петь — песню о чудесах, которые сбываются.

## 18

Поздняя ночь. Или, вернее, раннее утро.

Общежитие спит.

Висят перекинутые через спинки стульев нарядные платья; валяются на ковриках у кроватей туфли-лодочки — уже не было сил убирать всё это и прятать.

Бесшумно падают на пол, как снег, — блёстки конфетти.

Не спит только Натка.

Вздохнув, она пристраивает у спинки кровати красный зонтик — так, чтобы его можно было мгновенно взять, — раскрывает чёрную папку с профилем Шопена, достаёт из неё две фотографии — Соколовой и Войковича. Это точно такие же фотографии, как и те, что висят на стене, и надписи на них те же самые, но только написаны они теперь разными почерками.

Натка смотрит на фотографию Соколовой, на фотографию Войковича — и вдруг неожиданно фыркает.

Она зажимает рот рукою, валится лицом в подушку, плечи её вздрагивают от неудержимого смеха.

— Что ты? — приподнимает встрёпанную голову Карасёва.

— Ты знаешь, — шёпотом, давясь от смеха, еле выговаривает Натка, — он опять... Он очень торопился... И он опять написал «любовь» без мягкого знака!..

...За открытым окном с негромким треском пролетает разноцветный сноп искр. Это кто-то, всё ещё не угомонившийся, нашёл неразорванную палочку фейерверка и отправил её в рассветное небо.

А кто-то ещё заиграл негромко на губной гармошке простую мелодию — слегка насмешливую и немножко волшебную.

## РАССВЕТ

*Скетч*

Гостиная в доме Торминстеров. Широкое полураскрытое окно, мягкие тёмные шторы. Небольшой круглый стол. На столе журналы, книги и глобус. Время около полуночи, и в комнате полумрак. Сидней Тренсон сидит в кресле у окна. Он человек лет тридцати пяти, с открытым мальчишеским лицом и седою головой. Он чувствует себя явно неловко в штатском костюме, который он надел всего несколько дней тому назад. Дверь отворяется, входит Анна Торминстер.

Анна (*испуганно*). Кто здесь?

Тренсон (*вставая*). Не пугайтесь... Это всего лишь я!

Анна (*улыбнулась*). Господи, как я вас ненавижу! Вы самый отвратительный, самый циничный и несносный человек... Почему вы не ложитесь спать?..

Тренсон. Надоело... Ложиться, вставать... Чересчур однообразно! А вы почему не легли? Впрочем, догадываюсь — лихорадит перед рассветом!

Анна. Разумеется!.. Я за книжкой зашла.

Тренсон. Позвольте мне выбрать вам. Вы какую обложку предпочитаете — зелёную, красную, синюю?

Анна. Разве в цвете дело?

Тренсон. Ну, конечно! Книга в зелёной обложке непременно идилична... Весенняя трава, молоко, клубничное варенье, мамины руки... Синяя обложка — это роковая любовь, осень, ночь, просёлочная дорога...

Анна. А красная?

Тренсон. Юмористические рассказы! Весёлое чтение, чтобы разогнать скуку.

Анна. В таком случае дайте мне красную!

Тренсон. Пожалуйста!

Анна. Что это? «Популярная астрономия». Действительно весёлое чтение.

Тренсон. Во всяком случае, она поможет вам сократить время до рассвета.

Анна. Я боюсь звёзд! Но попробую. Доброй ночи.

Тренсон. Доброй ночи. (*Бьют часы. Двенадцать медленных ударов.*)

Анна. Полночь.

Тренсон. Стойте... Дайте мне вашу руку.

Анна (*нерешительно*). Ну?

Тренсон. Благодарю вас. Садитесь. Вот сюда, в кресло... Теперь я на одну минутку покину вас...

Анна. Что вы делаете?

Тренсон. Прикрываю дверь и задёргиваю шторы.

Анна. Вы сошли с ума...

Тренсон. Ничуть. Теперь я сяду сюда, напротив вас. Мы зажжём настольную лампу и отлично побеседуем.

Анна. Я уйду!

Тренсон. Стоит ли? Полночь — час привидений. В старом доме поскрипывают половицы, люди спят, а два довольно симпатичных привидения, два духа, две ночные тени сидят в гостиной и мирно болтают.

Анна. Это неприлично.

Тренсон. Чепуха! Вы сейчас отнюдь не хозяйка дома... Не Анна Торминстер. Вы — тень, блуждающая ночью. За теньями не ухаживают! Ваша хозяйка, Анна, в своей комнате, наверху, читает «Популярную астрономию», мой хозяин, Сидней Тренсон, преспокойно спит.

Анна. Уже очень поздно.

Тренсон. А где-нибудь день! Садитесь, привидение, и давайте разговаривать.

Анна (*сдаваясь*). Вы опять в своём эксцентричном настроении...

Тренсон. Да! (*Пауза.*) Какое у вас забавное лицо. Глупости! Я не то хотел сказать, вы такая, какая есть. Похожи на самоё себя как нельзя больше... Кстати, за что ваша хозяйка, Анна, назвала моего хозяина, Сиднея, циником и несносным человеком?

Анна. А вы не догадались? Вы отвратительно вели себя.

Тренсон. Не я! Не я! Мой хозяин! Я за него не несу никакой ответственности.

Анна. Вы отвратительно вели себя нынче вечером, вы чуть не до слёз довели мою маму, говорили гадости мне. Вы просто пользуетесь тем, что знакомы с нами уже целых десять лет.

Тренсон. Простите меня. Не сердитесь, Бога ради, очевидно, на войне у меня испортился характер, и потом...

Анна. Что потом?

Тренсон. И потом я хитрил — прием старый, как мир! Завтра, когда я уеду...

Анна. Сидней! Что за нелепость? Вы собирались провести у нас месяц.

Тренсон. Мне поручено измыслить относительно правдоподобный предлог внезапного отъезда этого чудака! Жалкий лгун — этот мистер Тренсон!

Анна. Я ничего не понимаю.

Тренсон. Будто? *(Пауза.)* Так вот, завтра, когда я уеду, ваша мама с облегчением вздохнёт и тут же забудет обо мне. А веди я себя иначе, она бы целый год напоминала вам обо мне.

Анна. А вы этого не хотите?

Тренсон. Нет.

Анна *(вставая)*. Я лучше пойду читать.

Тренсон. Полно, какой в этом смысл? Сядьте, Анна, если вы будете умницей, я угощу вас папиросой.

Анна. Хорошо, я выкурю. Но только одну и тогда уйду.

Тренсон. Согласен.

Он подаёт ей ящик с папиросами, зажигает спичку.

Они оба закуривают.

Анна. Ну-с!

Тренсон.

Деревья, деревья! Куда ни взгляни,  
Всё близко и всё незнакомо.  
Весёлые дети, мы бродим одни  
В лесу незнакомом, как дома.  
И пусть разлучают моря и года,  
Когда-нибудь детям приснится —  
Как ели шумели, как пела вода,  
Как плакала дальняя птица...

Анна. Перестаньте. Перестаньте, или я сейчас же уйду...

Тренсон. Перестал.

Анна. Я хочу знать, что означает эта нелепая затея — уехать завтра утром...

Тренсон. Да. Завтра утром меня уже не будет здесь. Мне вдруг вспомнилось, что я ещё не видел Китая. Это серьёзнейший пробел в моей биографии.

Анна. Ну, если Китай ждал так долго, то он подождёт ещё месяц.

Тренсон. Нет, дело в том, что я не могу ждать. У меня цыганская натура: не могу сидеть на одном месте.

Анна. Моя папироска потухла.

Тренсон. Возьмите другую. Никогда не следует раскуривать потухшую папиросу. Это всё равно что тревожить прошлое. Возьмите же.

Анна. Я сказала, только одну.

Тренсон. Теперь не время упражняться в твёрдости. И мидяне, и персы — все легли спать...



Анна. Мистер Тренсон! Я, в конце концов, просто требую, чтобы вы мне объяснили, что всё это значит?

Тренсон. Объявляйте ваши решения, но никогда не приводите мотивов, как говаривал один мой знакомый судья... Я уезжаю, потому что уезжаю. Да и вообще — нужны ли человеку причины? Почему люди умирают, женятся или обзаваются зонтиками? По причине тифа, любви или дождя? Никоим образом.

Анна. Неужели вы не можете говорить серьёзно?

Тренсон. Я страшно серьёзен. Я серьёзен, как дрессированный тигр. Сейчас так отлично: тихо, спокойно! Вот случай для мужчины порассказать женщине кое о чём.

Анна. О чём же?

Тренсон. В том-то и дело — о чём? Я уезжаю завтра потому, что я капризный осёл. И ещё, вероятно, потому, что я одинок.

Анна. Чем же поможет вам Китай?

Тренсон. Он очень симпатично выглядит на карте, и потом — он такой большущий...

Анна. Вы даже не хотите попрощаться?

Тренсон. Хочу. Мы обнимемся, расцелуемся, похлопаем друг друга по плечам...

Анна. Надеюсь, вы говорите не обо мне?

Тренсон. Разумеется.

Анна. Знаете, что вам нужно? Жениться!

Тренсон (*очень взволнованно*). И это вы говорите? Вы? (*Пауза.*)

Анна. Так вот почему вы уезжаете?

Тренсон. Да.

Анна. Людям, как я погляжу, трудно придумать какие-нибудь новые ситуации.

Тренсон. Вы, конечно, всё время знали! Знали с первой же минуты нашего знакомства! Знали в тот день, когда мы все поехали на торжественную загородную прогулку, и я помогал вам сервировать завтрак на траве, и вы научили меня этой песенке о весёлых детях и незнакомом лесе... Всё это случилось ровно десять лет тому назад. Обыкновенная житейская история.

Анна. Да, такие истории случаются.

Тренсон. Вот именно. А потом мне, честное слово, было совершенно не до вас там, на войне, и я вообразил было, что излечился. Провёл здесь пять дней, в штатском, и вижу, что ошибся.

Анна. Может быть, не нужно было снимать форму?

Тренсон. Теперь вы шутите. Вот, собственно, почему я уезжаю. Самое лучшее, не так ли?

Анна. Да.

Тренсон. В общем, адская чепуха! Вы, разумеется, прекрасная женщина, но прекрасных женщин — масса. У вас много достоинств, но они есть и у других. Почему же мне в самом деле не жениться? Не знаю... Вот интересно: есть ли где-нибудь на белом свете женщина, хоть немного похожая на вас?

Тренсон задумчиво вертит в руках глобус.

Анна. Что вы делаете?

Тренсон. Гадаю. *(Он вертит глобус, останавливает.)*

Анна. Ну?

Тренсон. Есть, оказывается... В Тихом океане около слова или...

Анна. Или?

Тренсон. Ну, да — Великий или Тихий.

Анна *(задумчиво)*. И вы считаете невозможным дожить у нас тот срок, на который вы приехали?

Тренсон. Решительно невозможным, особенно начиная с завтрашнего дня. *(Пауза.)*

Анна. Моя папироска кончается...

Тренсон. Их сколько угодно в ящике. И до рассвета ещё долго.

Анна. А чем вы объясните ваш отъезд?

Тренсон. Я же вам говорю, что мне поручено придумать правдоподобный предлог! А кроме всего прочего, я действительно собираюсь предложить свои услуги министру иностранных дел.

Анна *(с улыбкой)*. Заметьте, что я не уговариваю вас остаться.

Тренсон. Вы вообще оказались на высоте положения.

Анна. Я молодец.

Тренсон. Да. Великий или Тихий — когда-нибудь я всё-таки попытаюсь добраться до этого «или».

Анна. А вам это действительно нужно?

Тренсон. Кажется.

Анна *(вдруг напряжённо)*. Зачем же ездить так далеко?

Тренсон. Что?

Анна. Зачем же ездить так далеко? Ждать так долго?

Тренсон *(в ужасе)*. Анна!

Анна *(шёпотом)*. Да...

Тренсон. Нет...

Анна. Давайте говорить о чём-нибудь другом. Когда вы уедете в Китай?

Тренсон. С первым пароходом.

Анна. И вернётесь?

Тренсон. Через год... два... три...

Анна. Три года! Что же вы собираетесь там делать?

Тренсон. Буду изучать китайскую грамоту. У них, кажется, пятьсот букв в алфавите.

Анна. Неужели так много?

Тренсон. Может быть, я преувеличиваю.

Анна. Китай...

И если разлучат моря и года,  
Когда-нибудь детям приснится,  
Как ели шумели, как пела вода,  
Как плакала дальняя птица...

Тренсон. Перестаньте, перестаньте, пожалуйста. Спокойной вам ночи, Анна.

Анна. Солнце всё ещё не зашло — там, далеко... дорогой мой, садитесь и не глупите. Вы сердитесь, что я заговорила?

Тренсон *(вскочив)*. Сержусь? Я?

Анна. Да. И вы сами это знаете. В душе вы говорите себе, что я всё испортила!

Тренсон. Господи! И зачем я упросил вас остаться!

Анна. Милый друг, вы тут ни при чём.

Тренсон. Я ни при чём?

Анна. Ну, да, конечно. Я знала, что вы завтра уезжаете.

Тренсон. Каким образом?

Анна. Безразлично, каким. Знала, догадалась, что вы садитесь тут на всю ночь. Вот и сошла вниз, чтобы поговорить. Вы думаете, что это привилегия мужчин — быть откровенным, а женщины должны молчать? Я тоже люблю вас и хочу, чтобы вы об этом знали! Вот слышите, люблю. Сказала — и даже легче стало на душе.

Тренсон. Анна!

Анна *(смеётся)*. Ну что? Люблю, люблю! А теперь можете презирать меня, можете уезжать в Китай, можете делать всё, что вам угодно. Но я сказала.

Тренсон *(решительно)*. Я уйду!

Анна. Один?

Тренсон. Что? *(Они стоят друг против друга и говорят быстро, напряжённым шёпотом.)*

Анна. Я спрашиваю вас: вы уходите один? Неужели же вам никогда в жизни не приходило в голову подойти ко мне, взять меня за руку и...

Тренсон. Как?

Анна. Вам лучше знать! Вы мужчина! *(Пауза.)*

Тренсон *(совсем тихо)*. Идёмте!

Анна. Когда?

Тренсон. Сейчас, сию минуту, пока ещё не рассвело. Ну?

Анна. Мне нужно собраться.

Тренсон. Чепуха. Накиньте плащ и возьмите маленький саквояж. Всё остальное мы достанем потом. Ну?

Анна. Хорошо.

Тренсон. Я жду.

Анна. Хорошо.

Анна смотрит несколько секунд на Тренсона, затем резко поворачивается и выбегает из комнаты. Тренсон подходит к окну, открывает штору. Светает.

Тренсон. Мы сошли с ума. Честное слово, мы сошли с ума!

Дверь тихо отворяется. На пороге Анна. Она всё в том же костюме, лицо у неё растерянное и печальное.

Тренсон *(глухо, не оборачиваясь)*. Анна?

Анна. Да.

Тренсон. Простите меня. Я вас напрасно побеспокоил. Позвольте мне отнести наверх ваш саквояж и плащ.

Анна. Спасибо, милый, не трудитесь.

Тренсон обернулся. Пауза.

Тренсон. Вот как?!

Анна. Ну, конечно. Просто у нас на одну минуту закружилась голова. Уже светает. Давайте-ка выкурим на прощание ещё по одной папиросе.

Тренсон. Час привидений кончился!

Анна. Пожалуй, хотя кое-что я бы вам ещё хотела сказать.

Тренсон. Слушаю вас.

Анна. Сегодня у меня странное настроение. На рассвете приезжает Джек. Я с ним не виделась четыре года, почти всю войну, и я очень боюсь нашей встречи.

Тренсон. Почему?

Анна. Так... Вы бы поглядели на нас с Джеком в долгие зимние вечера, когда мы сидели за одним столом вместе весь вечер, не говоря ни одного слова, потому что не о чём было... Не о чём, понимаете?

Тренсон. Лучше, благороднее человека, чем Джек, нету на земле.

Анна. Да, десять лет тому назад, когда он привёз вас на нашу помолвку, зачем вы держали себя так строго?

Тренсон (*резко*). Вы знаете, что говорите? Я друг Джека!

Анна. А я его жена. И я говорю такие вещи, которые женщина может сказать только раз в жизни. Всё было очень просто: вы полюбили меня, но вы понимали, что это невозможно, и я вышла замуж за Джека. Я не вправе жаловаться. Золотое сердце, примерный супруг, идеальный отец... Он приезжал домой усталый, хмурый, и немедленно влезал в свои ночные туфли, и садился в кресло с газетой. Я до сих пор слышу его голос: «Анна, где мои ночные туфли?»

Тренсон. А под Дюнкерком он не снимал сапог две недели, и если бы не он, то очень многие из нас не вернулись бы назад. Я — во всяком случае.

Анна. Вы вернулись только затем, чтобы уехать.

Тренсон. Да, уехать. Уехать и жениться на первой встречной китаянке.

Анна. Что за спешка, к чему?

Тренсон. К тому, что, не зная языка, она не в состоянии будет говорить про меня моим друзьям такие ужасные вещи!

Анна. Сидней! Но ведь Джек такой скучный.

Тренсон. Для меня — нет. И в те дни, когда нам казалось, что всё пошло к чёрту, когда самые сильные из нас потеряли голову, Джек не был скучным, он был нашим спасением, он был... А впрочем, женщины не могут этого понять. Женщины не могут понять, что такое для мужчины — дружба.

Анна. Да нет. Он, конечно, прекраснейший человек. Или вы думаете, что я позирую? Прикидываюсь непонятой и так далее? Вы должны бы знать меня лучше! Я просто разрешаю себе разок роскошь быть вполне искренней.

Тренсон. Да, но ведь вы любите его?

Анна. Конечно, и люблю, и жду.

Тренсон. Вот видите!

Анна. Милый мой, если бы женщины создавали язык, сколько бы они придумали слов для выражения различных оттенков нашей любви. Конечно, я люблю Джека. Разве я не хорошая жена? Разве я не останусь такой до конца? И разве не удивительно, что вот мы двое — друг Джека и его жена — признались друг другу в любви и способны рассуждать об этом так спокойно, как будто бы дело идёт о ревматизме?

Тренсон (*тихо*). Да.

Анна. Уже совсем рассвело. Скоро приедет Джек.

Тренсон (*тихо*). Да.

Анна (*внезапно*). Вы любите меня, Сидней? Вернее — вы любили меня сегодня? Вот в эту минуту?

Тренсон. Да, да, да...

Анна. И я... Я вас любила и люблю за то, что вы такой милый, честный, прямой, и за то, что вы так говорите про Джека. И Джека очень поднимает в моих глазах то, что он смог внушить такую любовь к себе. И нечего нам с вами стыдиться, дорогой друг! Напротив, будем гордиться и считать себя счастливыми.

Тренсон. Теперь я начинаю понимать...

Анна. Господи! Это ведь всё так просто.

Тренсон. Анна!

Анна. Молчите, совсем рассвело. (*Внезапно за окном автомобильная сирена.*)

Тренсон. Это Джек!

Анна. Джек, Джек...

Тренсон. Бегите к нему, бегите к нему!

Анна. А вы?

Тренсон. Я встречу его здесь.

Анна. Хорошо. Прощайте, дорогой!

Тренсон. Прощайте.

Анна. Нет, мы не поцелуемся.

Тренсон. Да.

Анна. Я иду.

Тренсон. Идите. И знаете, что... Не забудьте приготовить домашние туфли Джека.

Анна. Да.

Тренсон. Прощайте, Анна!

Анна. Прощайте.

Анна убегает. Тренсон один. Он стоит у окна, задумчиво вертит в руках глобус.

Тренсон. Великий или Тихий?

И если разлучат моря и года,  
Когда-нибудь детям приснится,  
Как ели шумели, как пела вода,  
Как плакала...

Внезапно Тренсон радостным движением поднимает глобус высоко над головой.

Тренсон (*в окно*). Здравствуй, Джек! Здравствуй, старина!

## ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

*История в четырех действиях и пяти главах*

...Дай мне неспешно и нелживо  
Поведать пред Лицом Твоим  
О том, что мы в себе таим,  
О том, что в здешнем мире живо.  
О том, как зреет гнев в сердцах...

*Александр Блок. Возмездие*

### Первая глава

...Земля была пустыней — выжженной, вытопанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, посвистывал в чёрных развалинах. И мимо этих развалин, что ещё недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, — бесстрастно шагали римские легионеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.

Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьётся к свету ни одна былинка.

Горе тебе, Карфаген!

...В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебой), а возможно, и по какой-нибудь другой причине, но уже не римские легионеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпали прохожую часть улицы крупной серой солью, оставлявшей на обуви несмываемые противные белёдые разводы.

— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь в это утро очередная студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у неё — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, — но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушённые начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».

— Но позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актёрам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось.

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актёров тетрадочки с ролями, режиссёры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.

Когда-нибудь на досуге они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы...

И только маленькая студия — ещё не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы партгором ЦК при МХАТе, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.

Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не мог понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие по-



роки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.

Я начал писать эту пьесу весной сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приближался День Победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблён в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актёрством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнётся та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть, так оно и было на самом деле, — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.

И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зеков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вывалят в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел с грехом пополам играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смыслу музыки.

А ещё чуть позже начнётся и вовсе страшное — дело Вознесенского, убийство Михозлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унижительная в своей ничтожности «борьба за приоритет», знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда — так они думали — покончат с «лженаукой» генетикой.

Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года, какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидают нас в ближайшие годы?!



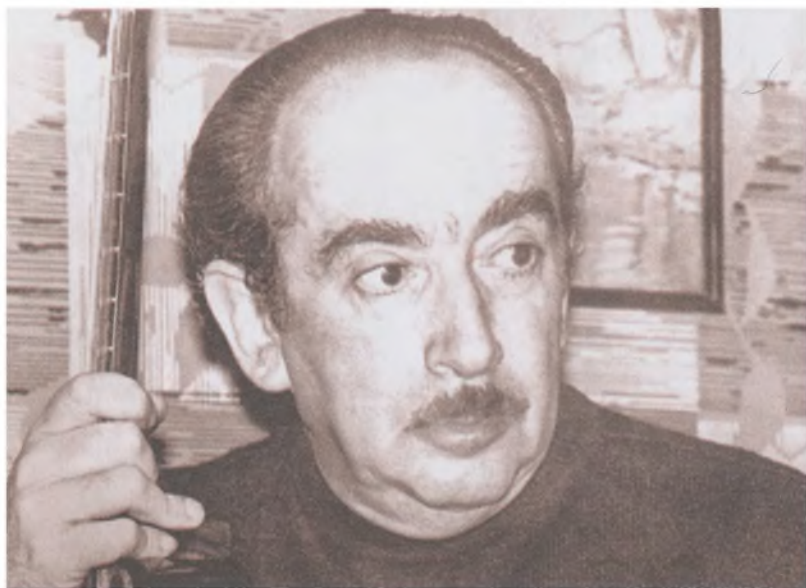
Александр Галич. Москва, начало 70-х годов



Домашний концерт. 1971 г.







Москва. 70-е годы



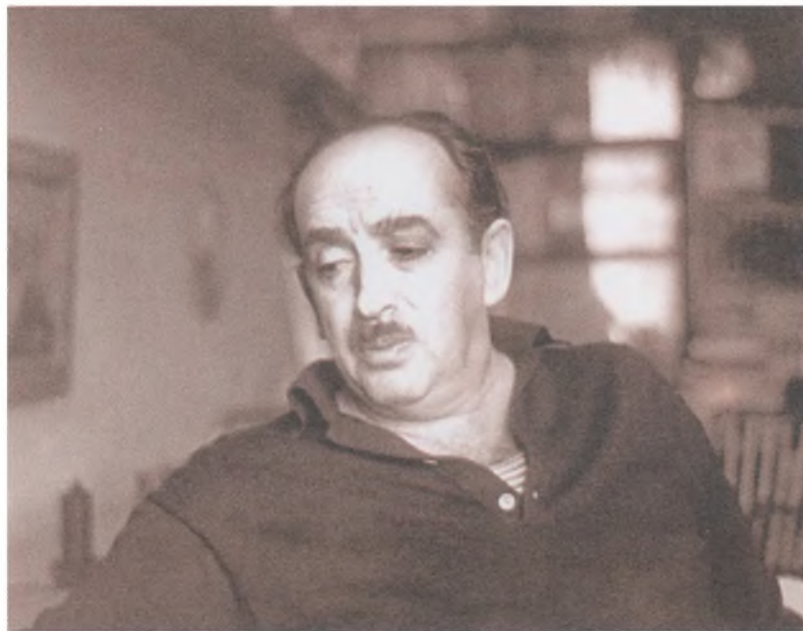
А. Галич и П. Капица



Концерт в доме друзей по поводу возвращения  
из ссылки П. Литвинова и В. Делоне



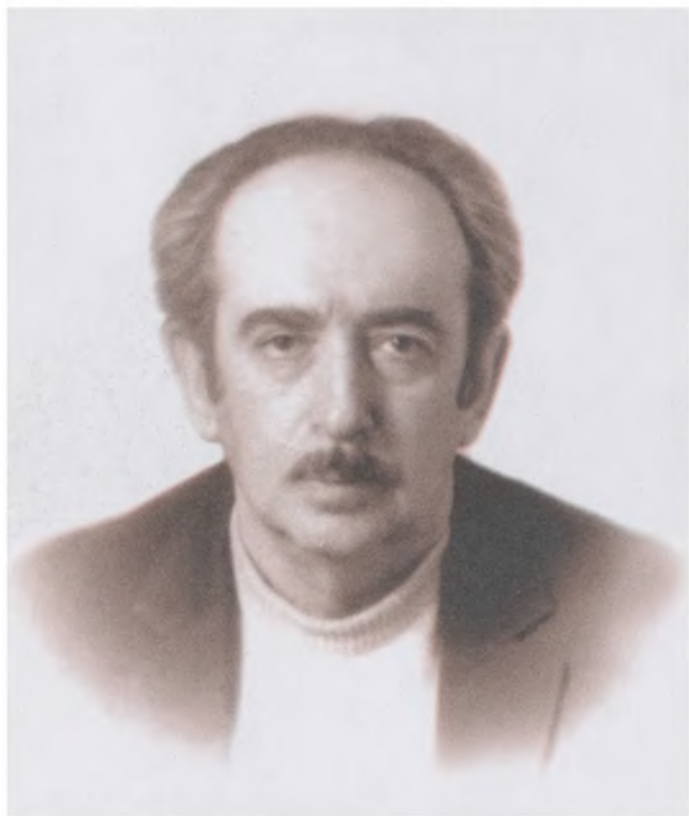
© 1998



Александр Галич. Еще дома...

В аэропорту Шереметьево с Вадимом Делоне





Фотография на заграничен паспорт. 1974 г.



Норвегия, Осло. 1974 г.



А. Галич  
6.5.75

А. Галич. Рисунок Н. Дронникова. Париж, 1975 г.



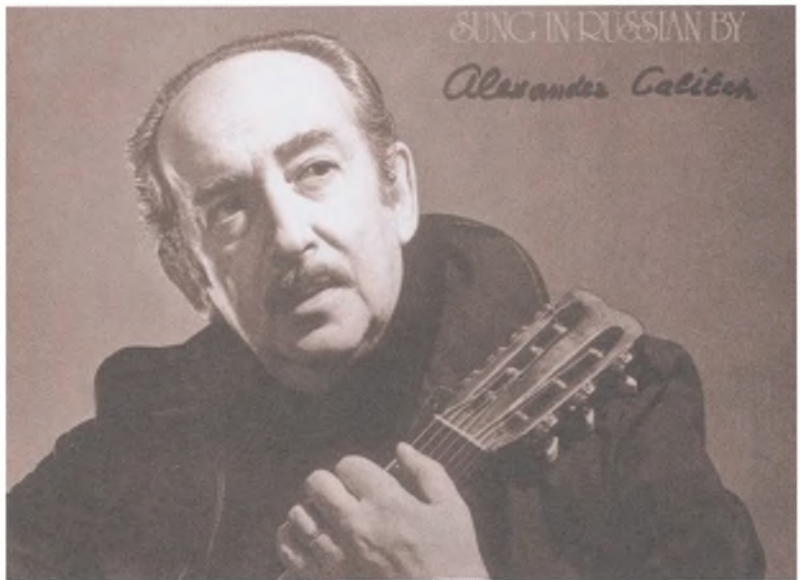
Концерт в Мюнхене. 1975 г.



Париж. 1976 г.



Поездка в Америку. А. Галич, Г. Вишневская, М. Барышников, М. Ростропович, И. Бродский



Обложка одной из первых пластинок



Италия, 1977 г. Незадолго до гибели



У гроба Александра Галича. Париж, 1977 г.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ» № 1184 7

**ВЛАДИМИР МАКСИМС**

## До свидания, Саша

Младший вдова, маневренной  
привык: «и душа, и тело, и  
оказал. Его глубоко уверенно

и неслучайно остротой  
ной яркостью складывался во  
логи и быту, в творчестве, и

отзывались и делала. Всякая  
забывание, выходясь до это  
тиска или эстетике, выходясь  
и, или мучительные страдания.  
Мне кажется, что именно это  
качество его души и характера  
и стало причиной широкого при  
знания артиста, поэта, поэта и  
гражданина демократического  
движения. Читая и изучая  
«руководство» и «исполнитель-  
скую» Александра Галича  
по всему спектру: искусство,  
литературоведение под Кристо  
фом Мюллером, которое беспре  
дельно является в его стране.  
Духовно и творчески был очень  
чуждо человеку из окружающей  
жизни и окружающей среды:  
до него и всем артистам, по  
высокому габариту души и фи  
зи, от интеллектуально-эмоци  
ональной и организационной точки  
зрения по отношению к поэтиче  
скому и Кинотеатру Прич Чо  
лохте, неизменно и в то же  
время Александра Саваркина, с ко  
торым Галича до конца жизни  
связывала самая искренняя дру  
жба. Но эти люди и события и на  
ше превращаются для нас в не  
высокая судьба.  
Мне трудно еще представить,

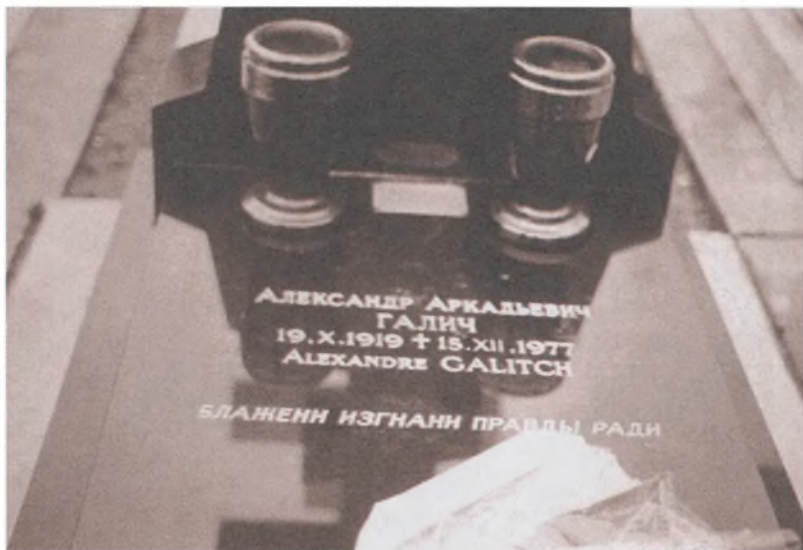
НА БЕНАТЕ И ВЕНЕЦИИ  
Посвящение фотографу А. Галича

## УХОДЯТ ДРУЗЬЯ...

Мы встали с миром-океаном,  
Собирались прощаться на Галича!  
То, как ступенчатый гробик, сползая,  
Улетит в другой океан.

(И. Ионин, не совсем, но точно  
в стилистической манере)

«Русская мысль». Некролог



Могила А. Галича. 1979 г.

**СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

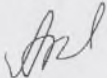
---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА**

Протокол № 28 § \_\_\_\_\_ « II » ИЮЛЯ 1979 г.

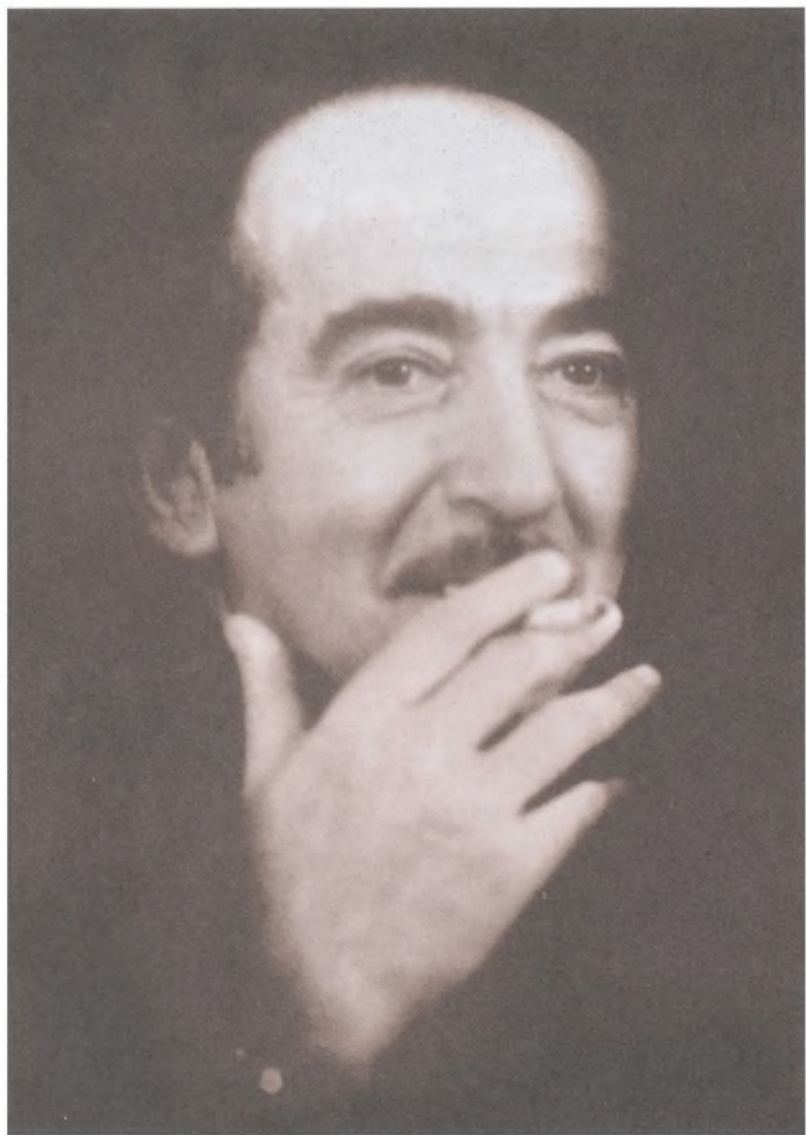
**СЛУШАЛИ:**  
О А.А.Гинзбурге (А.Галиче).

**ПОСТАНОВИЛИ:**  
Решение Секретариата правления Союза писателей РСФСР от 14 января 1972 года об исключении А.А.Гинзбурга (А.Галича) из членов Союза писателей СССР отменить.

Выписка верна: 

ОК СП СССР, Архангельской А.А., СП РСФСР, МО СП РСФСР.





Ещё несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы — нет, не могли знать!

Но теперь —

...На этом горьком рубеже,  
Когда отрублены канаты  
И сходни убраны уже... —

теперь, сейчас, когда я — да и не один я, многие с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определённой сказать — нет, ничего мы знать не могли!

Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унижительной проверке — а подчас и не только проверке — подвергаются и старики, и малыши, жившие «под немцем», или, как деликатно писали в газетах, «оказавшиеся на временно оккупированной территории»!

Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобождённых «родными советскими войсками»! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но...

Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина — и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что всё будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено, — эта счастливая и в глубине своей трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всём, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость.

В те дни я начал писать эту пьесу. Потом по вполне естественным причинам я её отложил в сторону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша» и вернулся к «Матросской тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущёвым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с лёгкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепели».

Название это, кстати, при всей своей пошлости довольно точно отражает эту насморочно-хлипкую кутерь-

му, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала.

И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зелёную травку, которая оказалась вонючей топьёю!

Я дописал пьесу, отпечатал её в четырёх экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я её почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

И вот однажды без предварительного звонка ко мне пришли актёр Михаил Козаков (когда он работал в Театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль) и актёр Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссёр Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли её на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы Студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В.Розова «Вечно живые» и «Матросской тишиной».

Так начался год нашей дружбы, весёлой, увлекательной работы — которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожидаемым нами финалом.

...Небольшая толпа, состоявшая в основном из молодёжи — друзья студийцев, знакомые, родственники, — томилась у подъезда Дворца культуры.

Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетёров, вымуштрованных наподобие кремлёвской охраны.

Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетёрами и держал в руке составленный Солодовниковым список.

Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально улыбнулся, кивнул и сказал билетёрам:

— Пропустите!

В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса:

— Почему это одних пускают, а других...

— Это АВТОР!

— Ну и что же?! — хрипло сказала какая-то девчушка.

И она была, разумеется, права! Что есть автор для театраль­ных чиновников, как не докучливый недотёпа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обременённому и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами?! А тут на тебе — читай пьесу или того лучше — трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каких следует этот спектакль запретить!

Так при чём же, спрашивается, автор? Решительно ни при чём!

...Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочинили шуточную песню:

Мы поехали за город,  
А за городом дожди,  
А за городом заборы,  
За заборами вожди!

Там — трава несмятая,  
Дышится легко!  
Там — конфеты мятные,  
Птичье молоко!

За семью заборами,  
За семью запорами,  
Там — конфеты мятные,  
Птичье молоко!

О упоение — величайшее из величайших! О, непреходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников — создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью:

*Посторонним вход воспрещён!*

*Посторонним вход строго воспрещён!*

*Посторонним вход строжайше воспрещён!*

Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк:

...Там некогда и я,  
Сердечной муки полный...

...Итак, мы отдали с женою наши пальто унылому гардеробщику, привели себя в порядок перед зеркалом — всё-таки генеральная репетиция — и направились в зал.

Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидели человек пятнадцать, не больше. И ещё, усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нём долго сушили плохо постиранное бельё и курили скверный табак.

Этот запах будет ещё долго меня преследовать и даже иногда сниться. Мне вообще снятся запахи:

Я усну, и мне приснятся запахи  
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти, — были летними: мокрые и тёплые камушки, солёная морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навидался предостаточно.

А вот у окна, выходявшего на четвёртый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь всё было замечательно: и реющий в дымном тумане андреевский флаг, и раскалённые жерла пушек, и суетящиеся возле этих пушек орудийные расчёты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони.

А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок, и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь.

Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из открытого окна, чтобы разглядеть ещё лучше — куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвёрнута но-

га, я высунулся, наклонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия.

И тут я не то чтобы испугался — я просто-напросто окаменел.

Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное — гром, молния, Божья кара!

Но ничего не произошло.

Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом — и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже — хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чём не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошёл к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли — а вернее сказать, с пола — мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул её — оттуда! — нам.

— Спасибо, — сказала мама, — большое спасибо!

— Не об чем говорить, мадам! — весело, с певучей южной интонацией ответил сторож.

...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весной и летом. Может, и впрямь — есть летние города и зимние города?! Я отчётливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня в лютый мороз попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти — это сушили на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама.

...Я усну, и мне приснятся запахи  
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной — человек десять — была группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов — наш защитник и друг — на репетицию не пришёл, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и во искупление своего подмоченного социального происхождения прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливал, совершал какие-нибудь промахи — и тогда на некоторое

время он исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета — Художественного театра, Большого театра, Малого театра, Комитета по делам искусств, Министерства культуры и так далее и тому подобное.

Если Барон в пьесе Горького «На дне» говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью «Директор А.В.Солодовников» он, верно, носил в портфеле — сам привинчивал её к дверям, сам отвинчивал.

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда после окончания спектакля возникнет долгая и неловкая пауза.

Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости.

Но одно дело — пробиться наверх. И совсем другое — на этом вершине удержаться.

Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений вроде — ну ладно, поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом...

Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата — в нашей стране они следуют друг за другом непрерывно чередой — и: «Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!..»

И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют!

И не наступит, никогда уже не наступит это заветное «потом» — вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово «смелость».

...Когда мы с женою вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, — все головы обер-

нулись к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально-сочувственное выражение — таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся.

Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд.

...После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года во время короткого наезда в Москву Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделён на целые четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор, две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и тёмный коридор, в котором постоянно, и днём и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

А во дворе в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли «службами», жил дворник Захар.

Был он добрейшей души человек, но горький пьяница. В конце концов он допился до белой горячки и умер.

Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом вроде бы на прощание устроила распродажу оставшихся после Захара и не нужных ей в деревне вещей.

Прямо во дворе на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немыслимое шмотьё — всё, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в веневитиновском доме чуть не каждый месяц — а то и чаще — сменялись жильцы. Одни уезжали — неведомо куда,



другие переезжали — неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе, под открытым небом, на жёлтых газетах — и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения.

А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками.

Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало — неряшливо и небрежно, иные прямо обратной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И марок в нём было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она — не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не разобрав, к чему именно я прицениваюсь, — равнодушно ответила:

— Пять гривен.

Я понимал, что пятьдесят копеек — это большие деньги, но я всё-таки выпросил их у отца. И я купил этот альбом.

Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество неиспорченных («небракованных» — так полагалось говорить) марок в «альбоме Захара». Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки.

Как большинство начинающих, я мечтал о «треугольниках» с далёкого острова Борнео, о чёрных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут всё были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров.

Но я не огорчился. Я знал, что есть чудачки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен — но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в «альбоме Захара». Нужен был каталог.

А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера), стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили.

Но и тут отыскался выход.

Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот, находился Главный почтамт. И ежедневно часов с

двух и до позднего вечера в здании Почтамта у окошечка, за которым красномордый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы.

Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателистического общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприятном и шумном пяточке.

Прелюбопытнейшее это было зрелище — азартные мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины эдакого профессорского обличья — в пенсне и старомодных глубоких калошах, — и мятые юркие личности неопределённого возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался Дядя Меша, или Мешок.

Здесь можно было купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию, и, что самое главное, у красномордого «дедушки в окошке» был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим.

И вот я отправился на Главный почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку — ту, которую я по неизвестным причинам особенно невзлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф».

...В ответ на мою робкую просьбу «дедушка в окошке» взял со стола вождеденный, в синем матерчатом переплёте каталог Ивера и, ещё не давая его мне, коротко спросил:

— Какая страна?

— Россия.

«Дедушка в окошке» перелистал каталог, нашёл нужную страницу, заложил её бумажной полоской и протянул наконец каталог мне.

Я взглянул на заложенную страницу и обомлел.

Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф», словом, та самая марка, которая — запрятанная в пакетик — лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звёздочками, что, кажется, означало крайнюю степень редко-

сти, и стоила, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков.

— Ну, давай каталог! — проворчал «дедушка в окошке» и, увидев на моём лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, поинтересовался: — Ты чего?

Я молча показал ему марку.

«Дедушка в окошке» издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и напрямик направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку:

— Покажите! Это ваша марка? — спросил он меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой. — Вот что, — сказал дядя Меша, — я сегодня покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не «фальшак», то я предложу вам за неё чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!..

...Но назавтра — ни в три, ни в четыре, ни в пять — дядя Меша на Почтамт не пришёл. Он явился только на третий день, и, когда ещё издали я увидел, как он проталкивается сквозь тяжёлую вращающуюся дверь, я, не помня себя от радости, со всех ног бросился к нему:

— Здравствуйте!

— Моё почтение?! — удивлённо, холодно и небрежно ответил дядя Меша.

— Ну, как моя марка? — спросил я, глупо улыбаясь.

Лохматые брови дяди Меша полезли вверх.

— Ваша марка? Какая ваша марка?

— Ну как же?! — залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое. — Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... «Русский телеграф»...

— »Русский телеграф«?!

Дядя Меша скорчил презрительную усмешку.

— Милостивый государь! — сказал он, добивая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня «милостивым государем». — Я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать «Русский телеграф», и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров — настоящих

коллекционеров, которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет...

Что такое «раритет», я не знал, но мне уже было всё равно.

Несколько мятых личностей обступили нас, с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору.

Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее.

— Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я её просто-напросто выбросил!..

...Вот так же точно, как дядя Меша, посмотрел на меня Александр Васильевич Солодовников. И хоть он и не назвал меня «милостивым государем», но то же язвительно-скучное осуждение читалось в его взгляде — зачем, мол, ты, братец, подсовываешь нам, занятым людям, какую-то грубую подделку, какой-то фальшак?!

Великое правило «чёрного рынка», первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников — обманутого следует объявить обманщиком!

...Весь год ни валко и ни шатко,  
Все то же в новом январе.  
И каждый день горела шапка,  
Горела шапка на ворё!  
А вор бельё тащил с забора,  
Снимал с прохожего пальто  
И так вопил:  
«Держите вора!» —  
Что даже верил кое-кто!

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, не обернувшись, продолжали шушукаться о чём-то своём.

Как выяснилось, эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное сло-

во, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьими: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьёвой.

Причём как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпичного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета), и, как говорили, они далеко не всегда и не во всём ладили.

Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк, и они время от времени почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговицы и чинно запихивали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платьев.

О чём они шушукались, кто знает!

Уж наверняка не о студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а скорее всего — о чём-нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты — с яйцом или без.

Есть три раза в день хотят все, даже палачи.

...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашён на торжественное собрание в Дом кино, посвященное избиению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были поначалу обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья — драматург Блейман, критики Оттен, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам, не помнящим родства!..

А вёл собрание, председательствовал на нём, управлял им Михаил Эдищерович Чиаурели — любимый режиссёр

и неприменный застольный шут гения всех времён и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте, поворачивал к говорившему свой медальный — как у Остапа Бендера — профиль, то хмурился, то язвительно усмехался, то неодобрительно поджимал губы.

Он негодовал, он скорбел, он переживал.

И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня, и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть приподнял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой.

Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеил, кого положено заклеить, и заверил, кого положено заверить, в том, что уж мы-то, молодые, не подведём, не подкачаем, не посраим!

«Надо смываться!» — решил я.

А Чиаурели всё продолжал призывно кивать мне головой, и я мысленно обругал своего ни в чём не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеровичем.

Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома кино:

— Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!..

Чиаурели спустился со сцены в зал, подошёл, взял меня дружески под руку, отвёл в угол.

Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил:

— Слушай, это правда, что у тебя больное сердце?

— Правда, правда, Михаил Эдишерович, — заторопился я, надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказать от выступления, — правда!

Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошелолил:

— Слушай, а сколько раз ты не боишься?

Я ничего не понял:

— Как это — «сколько раз»?

— Ну, ты понимаешь... — Чиаурели повертел пуговицу на моём пиджаке и печально улыбнулся. — У меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек! Но когда я её... — Он употребил, как нечто совершенно естественное, грубое непечатное слово. — Больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?..

Так вот о чём он думал, этот почтенный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чём он размышлял, делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского.

Теперь я знаю, что означали покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка!

А вот о чём шушукались бутылочная и кирпичная, я не узнаю уже никогда. Тем более что и сами они давным-давно позабыли и эту генеральную репетицию, и мою пьесу. Столько их было потом — других театральных залов, других спектаклей, других пьес, которые по той или иной причине следовало запретить.

...Когда мы с женой заняли свои места, Солодовников встал. Он подошёл к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек.

Кирпичная кивнула.

— Олег Николаевич! — позвал Солодовников.

В проёме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова.

— Олег Николаевич, — сказал Солодовников и посмотрел на часы, — я думаю, будем начинать!.. А то товарищи, — значительно указал он на бутылочную и кирпичную, — торопятся!

— Хорошо, Александр Васильевич!..

Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал — он исполнял в моей пьесе роль Чернышёва и одновременно рассказчика — читать вступительную ремарку:

— Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звёздное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы, мальчишки.

В ту пору нам было по десять—двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, бы-

ли патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоём — отец, Абрам Ильич, и Давид — они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось — их только что сгрузили с телеги старьёвщика и ещё не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в чёрной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих...

...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были сооружены из так называемого подбора — кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра.

...Ефремов медленно, спиной к зрительному залу — словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, — перешёл из левой кулисы в правую, остановился и вполоборота к залу договорил слова вступления:

— Вечер. Абрам Ильич Шварц (актёр Е.Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актёр И.Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздёрнутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики.

У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и весёлый человек — кладовщик Митя Жучков (актёр И.Пастухов).

Ефремов, слегка понизив голос:

— Сухо пощёлкивают костяшки на счётах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с Богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте:

— Серёньку-у-у-у!..

...Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелками костяшки на счётах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос:

— Серёньку-у-у-у!..



## Началось первое действие

Шварц (*бормочет*). ...Вчера, семнадцатого августа одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, было отправлено в Херсон шесть вагонов и ещё девять вагонов в Одессу... Так, пишем!

Давид. Раз, и два, и три!.. Раз, и два, и три, и!..

Митя. Гуревичи уже сложились... Чистый цирк, честное слово! Вот объясните мне, Абрам Ильич, почему это у евреев так барахла завсегда много?

Шварц (*уткнувшись в бумаги*). Семейные люди, очень просто!

Давид. Раз, и два, и три, и... Раз, и два, и три, и...

Митя (*усмехнулся, помотал головой*). Нет, я на Розу Борисовну прямо-таки удивляюсь. Это надо же — с маленькими детьми, с больным мужем — и на такое отчаянное дело подняться! Прямо не старуха, а Махно какая-то, честное слово!

Давид (*опустил скрипку*). Папа, девятый час!

Шварц (*равнодушно*). Ну и что?

Давид. Я устал.

Шварц. Устал?! (*Хмыкнул, покосился на Митю*.) Он устал — как вам это понравится, Митя?! (*Резко обернулся к Давиду*.) Между прочим, я целый Божий день стою больными ногами на холодном цементном полу. И целый Божий день мне морочат голову. И на вечер я ещё беру работу домой... Так почему же я никому не жалуясь, что я устал? Что?

Давид. Я не знаю.

Шварц (*подумав*). Сыграй Венявского и можешь отправляться на двор. (*Усмехнулся*.) Ему, видите ли, Митя, с отцом скучно! Ему нужны его голь, шмоль и компания... Сыграй Венявского, ну!

Давид (*после паузы*). Хорошо.

Давид снова поднимает скрипку. Печальная и церемонная музыка Венявского. Абрам Ильич слушает, чуть наклонив набок голову и почёсывая в затылке карандашом.

Шварц (*шёпотом, с торжеством*). Ну, что вы скажете? А, Митя?!

Митя (*развёл руками*). Талант!

Шварц (*Давиду*). А теперь ещё разок упражнения Ауэра.

Давид (*возмущенно*). Папа!..

Шварц (*неумолимо*). Упражнения Ауэра, и тогда пойдёшь!

Давид, помедлив, с ожесточением принимается за очередное упражнение. Шварц снова уткнулся в бумаги. Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!..»

Митя (*словоохотливо*). Уезжают, значит, от нас Гуревичи. В Москву едут, к братцу. Братец ихний, Сёма, агентом работает — жуликов ловит... Слышите, Абрам Ильич, чего говорю? Сёма Гуревич, говорю, жуликов ловит! Мелкоту небось, вроде нас с вами, Абрам Ильич, верно?

Шварц (*зашипел*). Откройте дверь! Откройте дверь, чтобы слышал весь двор, сумасшедший!

Митя (*счастливо захохотал*). От нас Москва далеко, Абрам Ильич, нас не поймают!

Давид. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Шварц. И ещё десять вагонов в Николаев. Всего это будет двадцать пять вагонов... Так, пишем!

Митя (*поерзал в кресле, вздохнул*). Да-а, поехал бы я в Москву, Абрам Ильич. Поехал бы — и знаете, чего перво-наперво сделал? В магазин бы пошёл, в продовольственный магазин, честное слово! Купил бы себе булку французскую, франзолу! Я её, сволочь такую, сперва бы маслом намазал, а потом... А потом я бы — ах ты, братцы мои, — потом я съел бы ту булку. Всю!

Давид. Папа, уже девять часов.

Шварц. Меня интересуется — ты играешь на скрипке или ты смотришь на часы?

Митя (*добродушно*). Да ладно, Абрам Ильич, отпустите вы его, пускай человек побегает...

Шварц (*со смешком*). Вот как? Вы меня извините, Митя, я вас очень уважаю как хорошего кладовщика и всякое такое... Но если я не ошибаюсь — я имею в виду музыку, — так профессор Столярский — это не ваша фамилия?!

Митя (*неожиданно обиделся*). Моя фамилия Жучков, это все знают! А что я цельную кучу братьев своими руками поднял, так это тоже все знают!

Шварц (*высокомерно*). Ну, и кем же они стали, ваши братья, позвольте спросить? Они закончили консерваторию? Они адвокаты? Врачи? (*Снова усмехнулся*.) Каждому своё, Митя! Давайте лучше займёмся делами...

Митя (*показал глазами на Давида*). Давайте, только...

Шварц. А-а, да-да! Давид, можешь отправляться на двор.

Давид. Хорошо.

Давид аккуратно укладывает скрипку в футляр.  
Ставит футляр на полку.

Шварц. Упадёт. Поставь глубже.  
Давид. Хорошо... Теперь я могу идти?  
Шварц. Иди, сынок.

Давид уходит.

Митя (*поглядел вслед*). Замучили вы паренька, Абрам Ильич!

Шварц (*резко*). Митя, это не ваше дело! (*Помолчав.*) Знаете, о чём я мечтаю? Когда-нибудь я получу отпуск и премию. И тогда я возьму Давида и поеду с ним к морю. В Крым. Мы будем жить, как цари, в белом дворце, и по утрам горничная в крахмальном фартуке прямо в постель будет приносить нам яичницу с колбасой из четырёх яиц и кофе с кренделями... Что?

Митя. Чудак вы, Абрам Ильич! В прошлом году вы на Турксиб собирались, теперь в Крым...

Шварц. Да, я чудак... Займёмся делами! В субботу я вам дал ящик мыла. Сто кусков, за которые я сам заплатил по три рубля. Что вы сумели с ними сделать?

Митя. Есть один человек. Из Херсона. Даёт три сотни и ещё тридцать бумажек. Говорит — через неделю мы и этого не получим. Вам решать, Абрам Ильич.

Шварц. Триста тридцать рублей?! Кошмар! За удовольствие заниматься коммерцией мы, кажется, скоро будем докладывать из собственного кармана! Триста тридцать рублей! Это же просто грабёж! Что?.. Ну, а с вельветом?

Митя. Вельвет берут. Тут получается такая история...

В дверь стучат.

Шварц. Тихо!.. Кто там?

Входит человек в мохнатой шляпе, в светлом заграничном костюме. В руках трость, плащ и маленький чемодан. Это Мейер Вольф (актер М.Зимин). Он высок и широкоплеч.

Вольф. Добрый вечер! Как поживаете, Абрам?

Шварц (*растерянно*). Простите... Но я не...

Вольф. Может быть, вам нужна моя визитная карточка?

Шварц (*приглядываясь*). Боже мой!..

Вольф. Ну же!

Шварц (*остолбенело*). Мейер!.. Мейер Вольф!

Вольф. Ну, наконец-то! Здравствуйте, Абрам!

Шварц (*в волнении*). Мейер Вольф!.. Подождите! Подождите, дайте мне вас потрогать! Чудеса! Когда вы приехали?

Вольф. Час тому назад.

Шварц. Почему? Зачем? На какой предмет?

Вольф. Я расскажу.

Шварц. Только давайте сядем, а то у меня ноги дрожат.

Митя (*поднялся*). Я, Абрам Ильич, другим часом зайду.

Шварц (*отмахнулся*). Да, да, да... Конечно!

Митя торопливо уходит.

Вольф (*огляделся*). А где Давид?

Шварц. Где-нибудь бегают... Слушайте, Мейер... Нет, я всё ещё никак не могу поверить в то, что это действительно вы! Последняя ваша открытка была из Рош-Пина...

Вольф. Вы получили её?

Шварц. Получил, получил. Это было год... Или полгода назад, не помню.

Вольф (*сел*). Ну-с, так как же вы тут живёте?

Шварц. Какой об нас разговор?! Человек приехал из Палестины, и он ещё спрашивает — как мы тут живём! Или вы не знаете Тульчина? Не знаете, как тут можно жить?!

Вольф. Знал. Когда-то. Но теперь, если верить газетам, многое переменялось — строительство, индустриализация...

Шварц (*иронически*). В Тульчине? Наша индустриализация — это паточный завод имени Розы Люксембург, бывший «Арон Сукеник и сыновья». (*Засмеялся*.) Ну, хорошо! Я считаю, что по случаю вашего приезда мы имеем полное право выпить рюмку-другую... Как вы?

Вольф. Не возражаю.

Шварц лезет в шкаф, достаёт бутылку водки, два гранёных стакана, хлеб, помидоры. Кладёт всё это на стол, на газету, разливает водку в стаканы.

Шварц. Лехаим! Будем живы-здоровы! С приездом. Ешьте помидоры... Так зачем же вы вернулись, Мейер?

Вольф. Просто так.

Шварц (*насмешливо*). Ах, просто так? Ладно, можете не говорить, это ваша забота. (*Понизив голос*.) Я хочу знать одно — не политиком?

Вольф. Упаси Бог!

Шварц (*с облегчением*). Правильно! Политика — это занятие для англичан и поляков... Слушайте, Мейер, так вы действительно своими глазами видели Иерусалим, и Стену плача, и Средиземное море?

Вольф. Да, конечно.

Шварц. Можно сойти с ума! Сидит разодетый, как граф, и спокойно говорит — да, конечно! Ну, за Средиземное море!

Вольф. Мне довольно.

Шварц. Как хотите. А я, с вашего разрешения, повторю. Будем живы-здоровы!

Вольф. А что слышно у Гуревичей? Яша всё лежит?

Шварц. Лежит. Старуха увозит его и детей в Москву! Завтра едут! Можете себе представить?

Вольф (*задумчиво*). Вот как? А ведь и вы когда-то тоже собирались в Москву, Абрам!..

Шварц (*он уже захмелел*). Собирался! Чего только я не собирался сделать! Я всю жизнь безвыездно живу в этом городе. И всю жизнь, сколько я себя помню, я хочу отсюда уехать. (*Помотал головой.*) Нет, Мейер, нет, никуда я уже теперь не уеду и ничего не увижу! Ничего, кроме пьяных мужиков на Рыбаковой балке, и моего товарного склада, и поездов — скорых, курьерских, почтовых... Всяких...

Вольф. Вы всё ещё ходите по вечерам на станцию?

Шварц. Случается. Иногда. Помните ту красавицу из скорого, что попросила нас сбегать за кипятком?

Вольф. Ирину?

Шварц. Да, Ирину... То есть нет, не Ирину... Это мы уже сами потом придумали, что её звали Ириной! Впрочем, это не важно. Тогда мы ещё были вполне приличными кавалерами... Что?

Вольф. Хоть куда.

Шварц (*поднимает стакан*). Ну, за Ирину!

Быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом, растрёпанная, с хитрыми молодыми глазами.

Это старуха Гуревич (актриса Г.Волчек).

Старуха Гуревич (*торжественно*). Ещё два дня таких сборов, и меня повезут... Но только не в Москву, а на еврейское кладбище! У вас есть шпагат?

Шварц. Поищем.

Вольф. А «здравствуйте» вы не умеете говорить?

Старуха Гуревич (*равнодушно*). Здравствуйте.

Шварц (*засмеялся*). Смотрите — она не узнала! Это же Мейер Вольф.

Старуха Гуревич. Какой Мейер Вольф? (*Вздрыгнула, вскинула голову.*) Бросьте шутить! Мейер Вольф?! Это вы?

Вольф. Я.

Старуха Гуревич. Оттуда?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Насовсем?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Крупное дело?

Вольф (*неуверенно*). Как вам сказать...

Старуха Гуревич (*почти угрожающе*). Ну-ну-ну!

Вольф (*пожал плечами*). Допустим.

Старуха Гуревич. Он хочет меня обмануть. (*Усмехнулась.*) Имейте в виду — мужчин я вижу насквозь. (*Неожиданно всхлипнув.*) А Яшенька всё лежит, знаете? Лежит, не встаёт. Доктор Ковальчик, этот умник, говорит — везите его на грязи! Так я его спрашиваю, этого умника, — зачем нам куда-то ехать и тратить деньги, когда грязь — это как раз то единственное, что мы всю жизнь имеем дома! И притом совершенно бесплатно! (*Снова всхлинула, засмеялась, двумя пальцами благоговейно ухватила Вольфа за рукав пиджака.*) А костюмчик тоже оттуда? Пустяки — выделка. А про меня вы уже слышали, Мейер? Везу своих в Москву. Великий путешественник! Колумб!.. Абрам, вы мне наконец найдёте шпагат?

Шварц. Держите.

Старуха Гуревич. Спасибо... Знаете что? Приходите к нам. Через полчаса, когда мы поужинаем. Посмотрите наши железнодорожные билеты, сделаете с Яшенькой немножко лехаим на дорогу. Ну, а потом вы нам, Мейер, про всё расскажете... Хорошо?

Вольф. Можно.

Старуха Гуревич. Так я за вами зайду!

Старуха Гуревич убегает. В дверях задерживается, оборачивается, видимо, собирается что-то спросить, затем, передумав, машет рукой и исчезает.

Шварц (*помолчав*). Полное впечатление, что она действительно едет открывать Америку — она так шумит.

Вольф. Да, кстати, Абрам, а как поживает ваше собрание почтовых открыток?

Шварц (*церемонно и гордо*). Благодарю вас, моё собрание поживает неплохо. У меня уже две с половиной тысячи штук! (*С надеждой.*) Может, хотите взглянуть?

Вольф. С удовольствием.

Шварц вынимает из ящика стола толстый, переплетённый в кожу альбом, осторожно кладёт его на колени.

Шварц (*шёпотом*). Здесь у меня Европа... Вот объясните мне, Мейер, почему такое: когда я вижу нарисо-

ванную картину «Лес шумит» или там, я знаю, «Море волнуется», так я поглядел на неё один раз, и мне довольно, клянусь вам! А вот — простая фотография, и под ней написано «Пляс де ля Конкорд», и ходят люди, и всякое такое — так на эту фотографию я могу смотреть целые сутки, и мне не скучно.

Вольф вытаскивает из кармана несколько почтовых открыток, протягивает их Абраму Ильичу.

Вольф. А такие у вас есть?

Шварц *(всплеснул руками)*. Мейер!

Шварц бережно разложил открытки на столе.

Вольф. Есть такие?

Шварц. Нет, таких у меня нет... Ни одной такой нет... Вот это что?

Вольф. Берлин, Аллея Победы... Видите, вон в углу газетный киоск? Там я, между прочим, и купил эту открытку.

Шварц. Вы были в Берлине?

Вольф. Проездом.

Шварц *(восторженно)*. Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне всё время кажется, что вы врётё! Это же сон — еврей из Тульчина идет по Берлину, по Аллее Победы!

Вольф *(улыбнулся)*. А как вам нравится Испания?

Шварц *(тряхнул головой)*. Про Испанию я даже говорить не хочу!.. Сокровище, Мейер! Они очень странные люди, эти испанцы. Обычно они снимают одну Альгамбру! Какую открытку ни возьми — Альгамбра, и снова Альгамбра, и нох-а-мул Альгамбра... А тут Барселона, Кордова — сокровище! *(Шварц перелистывает альбом, останавливается, вскрикивает.)* Боже мой!

Вольф. Что случилось?

Шварц. Булонский лес пропал... Вот здесь он был, видите, и вот он пропал!.. Ой, и Марселя тоже нет... Двух открыток Марселя...

Вольф. Может быть, вы их выростили?

Шварц *(медленно)*. Нет, Мейер, я их не выростил! *(Шварц встает, неверными шагами подходит к дверям, кричит.)* Давид!

Вольф. Не горячитесь, Абрам!

Шварц. Хорошо, хорошо... Давид!

В дверях появляется Давид.

Д а в и д. Что?

Ш в а р ц. Ты мой альбом брал?

Д а в и д (*замялся*). Н-нет!

Ш в а р ц. Тебе кто позволил брать мой альбом?

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Не брал? Значит, ты ещё и врёшь? Воруешь и врёшь, босяк! (*Шварц в ярости шагнул к Давиду, схватил его за ворот рубахи, встряхнул, ударил ладонью по лицу.*) Я тебя отучу воровать и врать! Я у тебя вышибу из головы эту манеру — воровать и врать!

Давид молча с ненавистью смотрит на отца. Рот у него в крови.

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Куда ты дел Булонский лес и Марсель?

Д а в и д. Я не брал.

Ш в а р ц. Так, значит, это я взял? Да? Это я — вор?..

Д а в и д. Не знаю.

Гулко хлопает дверь. Вбегает Митя.

М и т я (*задыхаясь*). Абрам Ильич!

Ш в а р ц (*медленно повернул голову, холодно спросил*). Ну? В чём дело? Почему вы кричите?

М и т я. Абрам Ильич, Филимонов вас требует... Ревизия! Эта... Ну, как ее, будь она неладна, — легкая кавалерия!

Ш в а р ц (*помолчал*). Вот как? Интересно! А зачем же кричать? (*Усмехнулся.*) Запомните, Митя, хорошенько, — когда человек честный, так ему нечего бояться. (*Поднял палец.*) Вы меня поняли? Идёмте! Подождите меня, Мейер, я скоро вернусь!

Шварц берёт со стола початую бутылку водки, суёт её в карман, кивает Мите, и они вдвоём быстро уходят. Молчание. Вольф встаёт.

В о л ь ф (*Давиду*). У тебя кровь... Возьми платок — вытри.

Д а в и д. Чёрт проклятый!

В о л ь ф. Это отец?

Д а в и д (*сквозь слёзы*). Отец, отец... Убить его надо, к чёрту, и всё!

В о л ь ф (*помолчал, спокойно*). Ну что же, убить — это правильно.

Д а в и д. Что?

В о л ь ф. Я говорю, что это ты правильно придумал — убить. А пистолет или ножик у тебя есть?

Д а в и д (*растерянно*). Нет...



Вольф. Чем же ты его тогда убьёшь? Впрочем, пожалуй, мальчик из Тульчина может обойтись без ножика и без пистолета. Мальчик из Тульчина должен убить папу так: нужно взять обыкновенную пустую бутылку и насыпать в неё вишнёвых косточек. Можно и песок, но вишневые косточки лучше. И вот когда папа возвращается с работы домой и садится к столу ужинать, ты должен подойти к нему сзади и ударить его этой бутылкой...

Давид (*испуганно, не отрывая взгляда от лица Вольфа*). Что вы говорите?

Вольф (*резко*). А ты что говоришь?! Глупости болтаешь — убить, убить... Умный мальчик, а болтаешь глупости! Садись-ка, братец, лучше сюда — рядом. Вот так. Ты помнишь меня?

Давид. Да. Вы — дядя Мейер.

Вольф (*кивнул*). Правильно! (*Помолчав.*) Вот и всё. Как будто я и не уезжал никуда. Всё, как прежде, вечер, мы сидим с тобой рядом, и я рассказываю тебе сказку...

Темнеет. Протяжно кричит за окном женщина: «Серёньку-у-у!..»

Давид (*хмыкнул*). Опять Сережку Соколова мать ищет.

Вольф. Да-а... Ты знаешь, сколько лет кричит эта женщина? На моей памяти она кричит уже сорок с лишним лет! Ищет своего Серёньку, Петьку, Мишку...

Снова на пороге появляется старуха Гуревич.

Старуха Гуревич. Я за вами, вы готовы? А где Абрам?

Вольф. Его вызвали на склад. Он скоро придёт.

Старуха Гуревич (*после паузы*). Вот что, Мейер, между нами, как старые друзья... Я же сразу поняла, что при Абраме вы не хотите всего говорить! Помилуй Бог, я ничего не имею против него, но ведь это же всем известно, какой у него язык, когда он напьётся... Вы затеваете большое дело, да?

Вольф. Нет. Уверяю вас, нет, Роза.

Старуха Гуревич (*не слушая Вольфа, задумчиво*). Может быть, я делаю глупость, что увожу своих в Москву? Все не вовремя! Так всегда — это ещё говорил мой папа, — когда евреи становятся прапорщиками, так перестают отдавать честь! Мы уезжаем в Москву, а вы возвращаетесь, чтобы начать тут большое дело...

Вольф. Я же вам говорю — нет!

Старуха Гуревич. А-а, толкуйте, что я, маленькая?! (*Прищёлкнула пальцами.*) Ладно, пошли. Все ждут вас. К нам всё-таки не каждый день приезжают гости из Палестины.

Вольф. Сейчас я приду. Ещё десять минут.

Старуха Гуревич. Мы ждём.

Старуха Гуревич уходит. Молчание.

Вольф (*негромко, без улыбки*). Завтра с утра по всей Рыбаковой балке будут говорить о том, что Мейер Вольф собирается рыть нефтяные скважины, или продавать пальмы, или промывать золотой песок... Что-нибудь в этом роде.

Давид. А разве нет?

Вольф. Нет.

Давид (*разочарованно*). А зачем же вы приехали?

Вольф. Я приехал домой. Я просто приехал домой. Неужели это так непонятно?<sup>1</sup>

Давид. А в вашей квартире Сычёвы теперь живут.

Вольф (*заходил по комнате*). Чепуха! Найдём, где жить. Не в комнате счастье. Я уехал с маленьким чемоданом и вернулся с маленьким чемоданом. И этот костюм, который на мне, — это мой единственный костюм. И никакие квитанции на получение груза не лежат у меня в кармане! (*Остановился.*) Когда я был таким, как ты, Давид, мой отец торговал перчатками, сумками, пуговицами, поясами. Мы ездили с ним в Польшу, в Галицию, на Украину... Тысячи тысяч местечек. И в каждом местечке новое горе, новые заботы и старый разговор: «В будущем году в Иерусалиме». И в каждом местечке имелся свой праведник, который на старости лет отправлялся умирать на святую землю. «Четыре шага по святой земле, и вы очиститесь от всех земных грехов» — так было обещано в старых книгах! И вот с той поры всю жизнь я мечтал накопить денег и поехать туда — в Иерусалим...

Давид. Так оно и вышло.

Вольф (*покачал головой*). Нет, милый, совсем не так. Может быть, даже наверное, я не праведник, но мне пока-

<sup>1</sup> Да, Мейер Миронович, непонятно! Теперь непонятно! А осенью сорок пятого года, когда писались эти слова, — они казались такими естественными, разумными, справедливыми! Еще кружило нам головы опьянение победной весны, еще не было на синем глобусе государства Израиль, а была Палестина — непонятная, чужая, ставшая в русском языке синонимом дальности и заброшенности — «как занесло вас в наши палестины?». Если бы я писал эту пьесу сейчас, Мейер Вольф, я не позволил бы вам сказать эти слова, но тогда...

залось, что Стена плача — это просто грязная старая стена. И что приехал я не на родину, а в чужую страну, где можно только плакать и умирать. И что люди там — чужие мне люди! Что мне Сион и что Сиону переплётчик Вольф из русского города Тульчина?! Ты понимаешь меня?

Д а в и д. Не очень.

В о л ь ф (*улыбнулся*). Вот и хорошо. Тебе и не нужно этого понимать! (*Вздыхнул.*) Да-а, а небо там действительно очень синее. И песок очень жёлтый. И по вечерам все плачут и молятся. А я, видишь ли, привык, чтобы в тот час, перед сном, когда я кончил работу, вымыл руки и сел у окна, я привык слышать, как женщина зовёт своего Серёньку, а мальчишки играют в казаки-разбойники и где-нибудь идут девушки и поют песню... И я знаю слова этой песни... И вот тогда я снова взял в руки свой чемодан.

Бьют часы.

Д а в и д. Половина десятого.

В о л ь ф. Ладно, я пойду. Скажешь папе, что я у Гуревичей.

Д а в и д. Да.

В о л ь ф. Будь умником, Давид.

Д а в и д. Да.

Вольф встал, пошёл к двери, неожиданно обернулся. Говорит медленно, с растерянной и странной улыбкой.

В о л ь ф. Самое нелепое... Вот — я вернулся домой... Прошло каких-нибудь полтора часа, и мне уже начинает казаться, что, может быть, я снова ошибся, а? Может быть, я был совсем не в том Иерусалиме и видел не ту Стену плача?! (*Помедлил, махнул рукой.*) Ну да, впрочем, этого ты уж и вовсе не поймёшь! Спокойной ночи, Давид!

Вольф уходит. Тишина. Давид отломил ломоть черного хлеба, густо посыпал солью. Уселся на стол, жуёт. В окне появляются две головы — тёмная и светлая, две смеющиеся рожицы.

Это Т а н ь к а (актриса Л.Толмачева) и Х а н а (актриса А.Голубева).

Т а н ь к а. Маугли, братец! Доброй охоты! Мы одной крови, ты и я!

Х а н а. Додька!

Молчание.

Т а н ь к а. Месяц скрылся за тучи... Доброй охоты, братец! Мы одной крови: ты и я!

Д а в и д (*грубо*). Чего надо?

Танька. Играть выйдешь?

Давид. Нет.

Танька. Почему?

Давид. Потому что... Одним словом, это моё дело — почему!

Танька. Что ешь?

Давид. Хлеб.

Танька. С чем? С вареньем?

Давид. Нет, просто хлеб с солью.

Танька. Тю! А у нас сегодня мать пироги с капустой пекла. Я вот такущих четыре куска съела!

Давид. Я не люблю пирогов с капустой.

Танька (*иронически*). Чёрный хлеб вкуснее?

Давид. Да.

Танька. Все ты нарочно говоришь? Ты пойдёшь с нами в Маугли играть?

Давид. Нет, не пойду.

Танька. А в Будённого?

Давид. И в Будённого не пойду!

Танька (*наконец обиделась*). Ну и не надо, подумаешь. Упрашивать его еще... Мы лучше Вовку Павлова позовём — он и рычать умеет, и не задаётся, как некоторые, и всё...

Давид. Вот и валяй. Вот и зови Вовку Павлова.

Танька. И позову!

Давид. Зови, зови.

Танька (*чуть не плача*). И позову!

Танька исчезает.

Давид (*соскочил со стола*). Танька!

Хана. Она убежала уже.

Давид (*после паузы*). Ну и пусть!

Хана. А я к тебе прощаться пришла. Мы ведь завтра рано уедем — ты ещё спать будешь.

Давид. Вы сорок третьим, почтовым?

Хана. Да.

Давид. Плохой поезд... Что ж, до свидания, Хана.

Хана (*протянула нараспев*). До свидания! Ты так говоришь, как будто мы через неделю опять встретимся. А мы, может, и не встретимся никогда больше.

Давид. Встретимся. Думаешь, я тут торчать буду?! Я тоже в Москву приеду. Учиться, в консерваторию. Кончу школу и приеду.

Хана. Правда?! (*Задумчиво улыбнулась*.) Ты приедешь, а я тебя встречу... Ты мне письмо пришли, ладно? И я тебя встречу... Запиши мой адрес.

Д а в и д. Говори, я запомню.

Х а н а (*торжественно*). Москва, Матросская тишина, дом десять, квартира пять. Гуревичу, для Ханы... Повтори.

Д а в и д. Москва, Матросская тишина... Погоди, а что такое — Матросская тишина?

Х а н а. Не знаю. Улица, наверное.

Д а в и д (*медленно повторил, с интересом прислушиваясь к странному звучанию слов*). Матросская тишина! Здорово! Ведь вот — не назовут у нас так... Только это, конечно, не улица. Это гавань, понимаешь? Кладбище кораблей. Там стоят всякие шхуны, парусники...

Х а н а. В Москве же нет моря...

Д а в и д (*увлеченно*). Ну, залив, наверное, какой-нибудь есть... или река. Это всё равно, чудачка. И там, понимаешь, стоят всякие шхуны, парусники, а на берегу в маленьких домиках живут старые моряки. Такие моряки, которые уже не плавают, а только вспоминают и рассказывают...

Слышен голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Х а н а. Мне пора. Мама зовёт... Давид, ты скоро приедешь?

Д а в и д. Не знаю.

Х а н а (*робко*). Слушай, ты подари мне на память чего-нибудь, ладно?

Д а в и д. У меня нет ничего! (*Подумав.*) Вот, возьми, что ли?

Давид протягивает Хане в окно листок бумаги. Хана смотрит, хмурится, затем решительным жестом возвращает листок обратно.

Х а н а. Не надо мне!

Д а в и д. Ты что?

Х а н а (*взволнованно*). Танька не уезжает, а ты ей целых три открытки подарил! А я уезжаю, так ты мне какую-то картинку вырезанную даёшь!

Д а в и д. Зато на ней корабль нарисован. Я сам эту картинку над своим столом повесить хотел.

Голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Х а н а. Бегу. До свидания.

Д а в и д. До свидания, Хана.

Х а н а. Адрес не забудь.

Д а в и д. Да, да.

Х а н а. Пиши непременно.

Д а в и д. Ладно.

Хана. До свидания, Давид!

Давид. До свидания, Хана!

Хана убегает. Давид один. Он садится в кресло, вытирает рот платком. Тикают часы. Прогрохотал поезд. Стало совсем темно. Где-то далеко, на соседнем дворе, наверное, захрипела шарманка:

По разным странам я бродил,  
И мой сурок со мною,  
И весел я, и счастлив был,  
И мой сурок со мною!  
И мой всегда, и мой везде,  
И мой сурок со мною.

Шарманка захлебнулась и умолкла. Внезапно с грохотом открывается дверь, на пороге появляется маленькая, нелепая, растерзанная фигура Шварца.

Шварц (*он еле ворочает языком*). Додик!

Давид (*не двигаясь*). Явился!

Шварц. Почему здесь так темно, а?

Давид. Я лампу зажгу.

Шварц. Ой, не надо! Я лягу спать... Я сейчас лягу спать. Ты раздеться мне помоги...

Давид. Ещё чего!

Шварц (*пытаясь быть строгим*). Давид!

Давид. Что?.. Испугался один такой! Проспишься, всё равно ни черта помнить не будешь!..

Шварц. Раздеться мне помоги...

Давид. Сам разденешься.

Шварц. Ботинки... Ботинки с меняними... Додик...

Давид. погоди, я свет зажгу.

Шварц. Не надо.

Давид. А я говорю — надо!

Давид подходит к столу. Возится с настольной лампой.  
Шварц уселся на пол.

Шварц. Ботинки с меняними...

Давид. Успеется...

Давид зажжёт наконец лампу. Поставил её на пол рядом со Шварцем.

Шварц (*испугался*). Ты что это, а?.. Ты чего? Ты спалить меня хочешь?

Давид. Нужен ты мне!

Шварц (*его совсем развезло*). Ты погоди... А ты — кто?.. Я извиняюсь, а вы кто?.. Вы по какому праву?..

Давид. Да помолчи ты, честное слово.

Шварц неожиданно с трудом привстал на колени и заплакал.

Шварц. Ваше благородие, не погубите! Не для себя... Клянусь вам, не для себя!.. Жена у меня от родов, а я... Не погубите, ваше благородие!

Давид подошёл к бочке у двери. Зачерпнул ковшом воды, выплеснул на Шварца. Шварц ткнулся ничком в пол, забормотал что-то невнятное. Молчание.

Давид. Ну!

Шварц (*почти трезво*). Додик, помоги мне раздеться.

Давид поднял Шварца, усадил в кресло. Перенёс лампу на стол.

Давид. Сейчас.

Шварц. А что с лицом у тебя? Почему губа распухла?

Давид. А ты не помнишь?

Шварц. Нет... Это — я?

Давид. Ты!

Шварц (*вскрикнул*). Нет!

Давид. Да.

Шварц (*после паузы, горестно*). Додик, милый!.. Ну, ударь теперь ты меня!.. Ну, хочешь — ударь теперь ты меня!

Давид. Папа!

Шварц порывисто обнял Давида, зашептал.

Шварц. Ничего, Додик, ничего, мальчик! Ты не сердись на меня... Мы с тобой вдвоём... Только мы вдвоём... Больше нет у нас никого! Я ведь знаю — и что жуликом меня называют, и мучителем, и... А-а, да пусть их! Верно? Пусть! Я же целый день, как белка в колесе, верчусь на своём товарном складе — вешаю гвозди и отпускаю гвозди, принимаю мыло и отпускаю мыло, и выписываю накладные, и ругаюсь с поставщиками... Но в голове у меня не мыло, и не гвозди, и не поставщики! Я выписываю накладные и думаю... Знаешь, о чём? (*Взмахнул руками*.) Большой, большой зал... Горит свет, и сидят всякие красивые женщины и мужчины, и смотрят на сцену... И вот объявляют — Давид Шварц, и ты выходишь и начинаешь играть! Ты играешь им мазурку Венявского, и ещё, и ещё, и ещё... И они все хлопают и кричат: «Браво, Давид Шварц!» — и посылают тебе цветы, и просят, чтобы ты играл снова, опять и опять! И вот тогда ты вспомнишь про меня! Тогда ты непременно вспомнишь про меня! И ты скажешь этим людям: это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа из маленького города Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь

его, чтобы его сын — узнал, с чем кушают счастье! Сегодня они устроили ревизию! Ха, чудачки!.. Натя — ищите!.. *(Загудел поезд.)* А тебя я сделаю человеком... Понял? Чего бы мне это ни стоило, но я тебя заставлю быть человеком!.. *(Гудит поезд.)* Вот этого я слышать не могу — поезда, поезда... Приезжают, уезжают... Не могу этого слышать! *(Гудит поезд.)* Да что он, взбесился, что ли?

Шварц встаёт. В руках у него керосиновая лампа. Стоит на середине комнаты, маленький, страшный, взъерошенный, покачиваясь и угрожающе глядя в окно.

Д а в и д. Папа! Что ты, папа?!

Все протяжнее и надрывнее гудит поезд.

Ш в а р ц *(в окно, смешным, тонким голосом)*. Замолчи!.. Замолчи!.. Немедленно замолчи!..

Равнодушно кричит женщина: «Серёньку-у-у!»  
Гудит поезд.

З а н а в е с



## Вторая глава

Закончилось первое действие. В зале снова зажётся тоскливый и тусклый боковой свет.

Ответственные дамочки разом встали и твёрдыми шагами командора направились в туалет, сохраняя на безликих лицах выражение этакой начальственной отрешённости. Отрешённость эта должна была, очевидно, означать — хоть мы и идём в туалет, но мы слишком ответственные работники, чтобы кто-нибудь посмел подумать, что мы идём в туалет!

Поравнявшись с Солодовниковым и встретив его вопросительный взгляд, кирпичная сказала сокрушённо и очень громко — в пустом зале голос её прозвучал как-то особенно громко и гулко:

— Никакой драматургии... Ну, совершенно, совершенно никакой драматургии!..

Солодовников понимающе кивнул.

Моя жена, точно окаменев, сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла.

В этом первом антракте мы оба — заядлые курильщики — даже не вышли в фойе покурить.

Белолицый администратор, почтительно проводив ответственных дамочек до выхода и тут же вернувшись, вдруг быстро подошёл ко мне, наклонился и со вздохом шёпотом проговорил:

— Дали бы мне этот спектакль месяца на три — на четыре... Я бы им закатил таких сто аншлагов, что...

Он поцокал языком и так же быстро отошёл.

А я сидел и нетерпеливо ждал начала второго действия. Я прекрасно — даже и тогда — понимал все его не-

достатки, но с этим вторым действием у меня были какие-то свои, тайные и особые отношения.

Дело в том, что я никогда не жил и даже не бывал в Тульчине. Я его придумал, вообразил, «вычислил» — как принято теперь говорить.

Детство своё я провёл в Севастополе, в Ростове, в Баку — в разных больших и малых городах, куда забрасывало неугомонное время моих неугомонных родителей.

А в Тульчине я не бывал.

Уже в середине двадцатых годов семья моя навсегда поселилась в Москве, я очень быстро стал московским мальчиком и в Трифоновский студенческий городок, где жили многие мои иногородние друзья, ездил чуть ли не ежедневно — именно в том самом тридцать седьмом году, именно в тот самый Трифоновский студенческий городок, где и происходит второе действие.

Тут уж я ничего не воображал и не придумывал — тут я помнил.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Багрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал моё имя.

Но, уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице Горького (тогда она ещё называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где помещалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в каковую студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвящённое столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырёх квартир, что были выгорожены из зала веневиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трёх комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвёртого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот, незабываемый для меня, вечер.

Съезд приглашённых ожидался к восьми часам, но ещё с утра, ещё в первой половине дня началось волшебное преобразование нашего дома.

У моих родителей довольно часто бывали гости, и я прекрасно знал, что это значит, когда в наших комнатах натирают полы, накрывают стол парадной скатертью, когда на кухне — которая помещалась в тёмном коридоре за занавеской — что-то шипит и жарится и отец, священнодействуя, настаивает водку на лимонных корочках.

Но теперь всё было совсем по-другому. Преобразование не имело внешних примет, а шло как бы изнутри. Преобразалась самая суть нашего дома — воздух его, звуки, запахи, настроение. Дом ожидал чуда — и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной, страстной отчётливостью.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставлял стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот наконец пробило восемь и начали появляться приглашённые. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне — но всё это ещё не было чудом, я знал, чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программе чудо это называлось так:

«Чтение отрывков из “Бориса Годунова” артистами Московского Художественного театра. Сцену “Келья в

Чудовом монастыре” исполняют Качалов и Сеницын, сцену “Царские палаты” — Вишневецкий, сцену “Корчма на литовской границе” — Лужский, сцену “Ночь, сад, фонтан” — Гоголева и Сеницын и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным “Бориса Годунова” у Веневитиновых исполнит Леонидов...»

Чудо произошло мгновенно и незаметно — просто Василий Иванович Качалов сел в глубокое кожаное кресло (которое отец по случаю приобрёл где-то на распродаже), а у ног Качалова на низкой скамеечке, моей скамеечке, устроился Сеницын.

И вдруг стало зябко и сумрачно, и окно нашей столовой вытанулось и сузилось, и на нём появилась решётка, и кожаное кресло превратилось в деревянное, и зазвучал несравненный голос Качалова — Пимена:

— Ещё одно последнее сказанье,  
И летопись окончена моя!..

Самой собой разумеется, что с этого вечера я стал бредить театром. Я выучил наизусть чуть ли не всего «Бориса Годунова» и, вышагивая по нашему тёмному коридору, декламировал, безуспешно подражая качаловским интонациям:

— Исполнен долг, завещанный от Бога  
Мне, грешному!

Как же я мог теперь, увидев объявление о наборе учеников в студию Константина Сергеевича Станиславского, удержаться и не подать заявления о приёме?! Правда, мне ещё не исполнилось семнадцати лет, но меня это смущало не слишком, тем более что заявление у меня приняли и даже назначили день, когда я должен явиться на первый экзамен.

Если в Литературный институт, как уже было сказано выше, я попал сравнительно легко, то на экзаменах в студию пришлось натерпеться и волнения, и страхов.

Конкурс был немислимый — сто человек на одно место. Приёмные испытания проводились в четыре тура, причём с каждым новым туром экзаменаторы были всё более знаменитыми и всё более строгими.

На предпоследнем, третьем, туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актёр и педагог, прославленный Митя Карамазов.

На этом экзамене я показывал с партнёршей, назначенной мне на втором туре — до сих пор помню, что звали её Верочкой Поповой, — сцену из «Романтиков» Ростана.

Мы поставили один на другой два шатких стола, что должно было означать сцену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актёров, «рвать страсть в клочки», изображая несчастных влюблённых.

Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия во главе с Леонидовым смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхоуры им на головы.

На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвёртому туру — то есть, в сущности, принят в студию, так как четвёртый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Я очень плохо помню тот день. Все мы волновались — до заикания, до дрожи в коленях, до слёз в глазах.

«Театральный роман» Булгакова ещё не был напечатан, и я не мог оценить ту насмешливую точность, с которой в главе «Сивцев Вражек» описаны двор дома Станиславского, и знаменитая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, и прихожая с беленькими колоннами и чёрной-пречёрной печкой.

Впрочем, в тот день я не сумел бы оценить Булгакова, даже если бы и читал роман. Я был в беспамятстве.

...И вот я стою в зальце, где такие же, как в прихожей, беленькие колонны, и прямо передо мною сидит Станиславский, а рядом с ним Леонидов, и ещё кто-то, и ещё кто-то — десятки лиц, сливающихся в одно зыбкое пятно.

Надсадным голосом я читаю Пушкина: «Графа Нулина» и «Погасло дневное светило».

Потом я вижу, как Станиславский приподнимает большую белую руку — помню, что я ещё тогда сразу поразился величине, белизне и необыкновенно выразительной пластичности этой руки, — и подзывает меня.

Я подхожу. Я вижу совсем рядом лицо Станиславского, седую голову и по-прежнему тёмные брови, слышу горьковатый запах одеколона и негромкий голос:

— Скажите, а монолог вы какой-нибудь приготовили?

— Монолог «Скупого рыцаря»! — с готовностью выпаиваю я.

Леонидов почему-то фыркает, как будто он поперхнулся. И вокруг тоже раздаются смешки.

Станиславский улыбается и совсем тихо — мне приходится к нему наклониться — спрашивает:

— Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?

— Семнадцать, — отвечаю я.

— Семнадцать?! — переспрашивает Станиславский и вдруг, откинувшись назад, начинает весело и по-детски заразительно смеяться.

Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверения, в которых чёрным по белому было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-драматической студии народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным.

Целый учебный год, с осени до весны, я метался, как заяц, из Литературного института в студию, а потом снова в институт и снова в студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в студии читал историю русского театра, и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно... — Помолчав, он ещё более ворчливо добавил: — Если будешь писать — будешь писать... А тут всё-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал студию.

Не пройдёт, между прочим, и месяца, как я в первый раз — а впоследствии не однажды — пожалею об этом решении.

Теперь, когда мне уже не надо было мчаться с лекций в институте на занятия в студию, у меня неожиданно образовалось свободное время, и я мог спокойно, не торопясь, совершать обходы букинистических магазинчиков, которых в ту пору было на Тверской превеликое множество.

Однажды в дверях одного из таких магазинчиков я столкнулся с Леонидом Мироновичем Леонидовым.

Устремив на меня свой знаменитый прищуренный — «пулевидный» — правый глаз, он зловеще сказал:

— Ага, так, так! Книжечками интересуетесь?

— Да, — виновато признался я.

— Прекрасно! — сказал Леонид Миронович и взял меня под руку. — Здесь сегодня ничего хорошего нет, а вот, говорят, напротив, у Кузьмича...

Леонидов был страстным книжником и знал по имени-отчеству всех букинистов Москвы. Он собирал изда-

ния «Академии» и книги по театру, а я поэзию. Мы, так сказать, не были конкурентами (да и возможности у нас были, разумеется, разные), и после занятий — а Леонид Миронович репетировал с нами «Плоды просвещения», где я исполнял роль гипнотизёра Гроссмана, — он иногда, если был в хорошем настроении, предлагал мне:

— Пройдёмся, Саня, по книжкам?

Один из таких походов я запомнил особенно хорошо — этот пронзительный весенний день с холодным ветром и ярким солнцем. Только что на занятиях Леонидов похвалил меня за какой-то этюд, и теперь я шагал рядом с ним возбуждённый, радостный и без умолку трещал о ролях, которые я мечтаю сыграть.

Я не слишком утруждал свою фантазию, а просто почти без изменений повторял репертуар легендарного провинциального актёра на амплу «неврастеников» Павла Орленева, мемуарами которого мы все тогда зачитывались: Треплев в «Чайке», Освальд в «Привидениях» Ибсена, «Орлёнок» Ростана.

Леонидов шагал, посмеиваясь — большой, грузный, — постукивал палкой. А потом он вдруг остановился, положил руку мне на плечо и сказал:

— Вот что... Ты теперь уже взрослый, на второй курс переходишь... Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил, — своё заявление о приёме и мою на нём резолюцию! Почитай!..

...Я держал в руках своё заявление, я читал и перечитывал надпись, сделанную Леонидовым — красным карандашом, крупным, угловатым, каким-то готическим почерком: «ЭТОГО принять обязательно! Актёра не выйдет, но что-нибудь получится! Л.М.».

Сердце моё было разбито. На несколько дней. Свойственное мне до седых волос легкомыслие и вера в то, что всё ещё как-то обернётся к лучшему, заставили меня усомниться в справедливости слов Леонидова.

Я пробыл в студии ещё целых три года.

Странное это было заведение — последняя студия гениального мастера, последнее детище величайшего актёра и режиссёра, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя прославленной и изучаемой во всём мире «Системы Станиславского».

Странное это было заведение, очень странное!

Ну, например, едва ли не треть педагогов студии состояла из близких и не очень близких родственников

Константина Сергеевича Станиславского. Предмет «мастерство художественного чтения» вела Зинаида Сергеевна Соколова — несостоявшаяся актриса, родная сестра Станиславского. Брат — милейший старик — Владимир Сергеевич Алексеев занимался с нами и вовсе загадочной дисциплиной — правилами истинно московского произношения.

Был Владимир Сергеевич рассеян до чрезвычайности. Однажды мы поднимались с ним вместе из гардероба на второй этаж, где находились учебные классы студии.

И вот, пройдя несколько ступенек, Владимир Сергеевич, с которым я уже здоровался в гардеробе, остановился, поглядел в мою сторону, мило улыбнулся и протянул руку.

— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Как поживаете?

— Спасибо, Владимир Сергеевич, здравствуйте, хорошо!

Пока мы успели подняться наверх, эта процедура здорования повторилась раз пять, не меньше.

Была ещё в студии какая-то сторбленная и скрюченная старушенция, уже из дальних родственников, которая обучала нас пластике движения. Была и другая старушка — шепелявая, картавая и злая, — она занималась с нами постановкой голоса.

Уроки эти мы ненавидели страстно — в течение часа старуха негнушимися пальцами выдалбливала на рояле простейшие трезвучия, а мы должны были с разной степенью громкости тянуть за нею:

— Ми-ма-мо!.. Ми-ма-мо!..

Но, конечно же, конечно — были и Станиславский, Леонидов, Подгорный, Книппер-Чехова, были опытнейшие педагоги и воспитатели Раевский и Карев, были студийные вечера, на которых мы совсем рядом могли видеть и слышать великих актёров Москвина, Качалова, Тарханова...

И тем более многие, причастные к студии — и я в том числе, — не раз задумывались над таким простейшим вопросом: как случилось, как могло случиться, что из тридцати человек, отобранных из трёх тысяч (потом ещё было два набора, и всего на драматическом отделении — а существовало ещё и оперное — занимались человек пятьдесят), что из этих избраннейших из избранных, из этих счастливичков, которым завидовали студенты всех театральных школ, — как случилось, что из них не вышло ни одного, ни единого сколько-нибудь значительного актёра, за исключением разве что Михаила Кузнецова, который сразу же по окончании студии ушёл работать в кино.



Ответ, как я теперь думаю, прост: никого по-настоящему и не интересовало — станут студийцы актёрами или не станут. Нам преподавали актёрское мастерство — как же иначе! — но были мы, в сущности, деревянными фигурками на шахматной доске, именуемой пышно «Театром — Храмом», мы были подопытными кроликами, на которых Константин Сергеевич Станиславский проверял свою последнюю теорию — «теорию физических действий».

Писалось об этой теории достаточно много, а в двух словах сводилась она к следующему: правильные физические действия должны привести исполнителя к правильному поведению, правильное поведение — вызвать правильное состояние, правильное состояние — помочь обрести правильные слова.

Я сам каждую неделю принимал участие в репетициях «Гамлета» под руководством Константина Сергеевича.

Распределение ролей никакого значения не имело: роль Гамлета была почему-то поручена девушке, Ирине Розановой, я — восемнадцатилетний, худющий как щепка — изображал короля Клавдия.

Заучивать шекспировский текст нам было строжайшим образом запрещено. Предполагалось, что если мы будем правильно действовать, в соответствии с сюжетом пьесы, то и найдём в конце концов правильные слова.

Разумеется, многие из нас жульничали. И я жульничал чаще других.

Пользуясь своей хорошей памятью, я время от времени вставлял в эту чудовищную ахиною, которую мы все несли, подлинные, хотя и слегка ритмически изменённые шекспировские слова, и тогда Константин Сергеевич радостно улыбался, хлопал в ладоши и с глубоким удовлетворением говорил:

— Вот видите: Саня правильно действовал — и он нашёл почти правильные слова.

Много лет спустя, когда я наконец прочту удивительный «Театральный роман» Булгакова, я узнаю и этот особняк в Леонтьевском переулке, и фойе-прихожую с вечно раскалённой печкой, и маленький домашний театральный зал, и кабинет Константина Сергеевича, где проходили наши репетиции.

Но если в годы действия «Театрального романа» ещё возможно было такое чудо, как приезд Ивана Васильевича (то бишь Константина Сергеевича) на репетицию в театр, то в годы последней студии Станиславский никуда и никогда из дома не выходил.

Запершись в своём особняке, отгородившись от всего света, он жил в иллюзорном, совершенно нереальном мире, где единственной святыней, началом всех начал и смыслом всех смыслов было некое «Театральное Искусство» с большой буквы, которому он истово продолжал служить до глубокой старости, тогда как «там»...

Презрительная усмешка и великолепный жест большой выхоленной руки давали нам понять, что под словом «там» подразумевается нынешний Художественный театр, которым заправляет единолично Владимир Иванович Немирович-Данченко и где ставятся какие-то немыслимые современные пьесы, названия которых и запомнить-то невозможно.

У нас в студии подобные глупости не допускались. Если художественное чтение — то «Семейное счастье» Толстого, или, на худой конец, «Герой нашего времени», или «Стихотворения в прозе» Тургенева.

Если пьесы, то «Три сестры», «Плоды просвещения», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

И, покорённые великим талантом нашего великого учителя, заворожённые его неслыханным обаянием, величию его имени и человеческой мужской красотой, — мы тоже жили в придуманном, нереальном, иллюзорном мире. Нет, конечно же, у нас бывали комсомольские собрания, мы читали газеты — Константин Сергеевич газет не читал, — мы слушали радио и смотрели кино. Но всё это делалось как-то мельком, мимоходом, всё это было не главным. Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения.

Многие из нас — многие, если не большинство, — жестоко поплатятся за эти, словно лишённые зрения и слуха годы юности. Поплатятся разочарованием и утратой таланта, неверием в собственные силы, горестным ощущением непоименованных потерь и почти звериной ненавистью ко всем и вся за то, что собственная судьба так и не состоялась.

**Я не кощунствую!**

Я пишу о себе и пытаюсь разобраться в том, почему так странно и нелепо сложилась моя жизнь, почему так поздно пришло ко мне — не прозрение, нет, прозрение — это слишком высокое и ответственное слово, а просто хотя бы понимание элементарнейших истин и почему понимание это далось мне с таким трудом и такой великой ценой, в то время как мои более молодые друзья обрели и мужество, и зрелость естественно, как дыхание.

Станиславский умер седьмого августа тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Мы — несколько студийцев, случайно оказавшихся в Москве (остальные разъехались на каникулы, а Художественный театр был где-то на гастролях), — до глубокой ночи помогали приводить в порядок дом: завешивали зеркала, перевивали чёрным крепом колонны в прихожей и в зале, расставляли цветы.

Утром мы пришли снова, но уже не поднялись наверх, а остались во дворе. Мы сидели на лавочке, молчали, курили.

Было жарко, и душно, и как-то нестерпимо жестоко светло, будто на свете вовсе перестала существовать тень.

Мы услышали, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверца, и во двор быстро вошёл Качалов. Он был без шляпы, в тёмном — а тогда мне показалось, да и по сей день кажется, в черном, — костюме.

Мы встали.

Качалов ещё издали, глазами, спросил нас — правда ли?

И мы тоже молча ответили — да, правда.

И тогда Качалов, как-то нелепо, боком прислонившись к белой стене дома, заплакал. Он плакал открыто, в голос, страшно. И страшней всего было то, что сам Качалов как бы исчез, его не было — был только чёрный костюм, распластанный на ослепительно белой стене.

После того как умер Константин Сергеевич и тяжело заболел Леонидов, из студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очередной отчаянный шаг: не окончив учебного курса, перешёл в другую студию — Московскую театральную студию, которой руководили режиссёр Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой студии не только не шарахались от современности — здесь жили современностью, дышали современностью, клялись современностью.

Она и создавалась-то, эта студия, на общественных началах: мы сами, за свои деньги (большую часть давал Арбузов) снимали помещение школы на улице Герцена, напротив консерватории, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска.

Мы всё делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций.

Жить делами и мыслями сегодняшнего дня — вот лозунг, который мы свято исповедовали!

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живём современностью, а мы ею вовсе не жили, мы её конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из «Комсомольской правды».

С одержимостью фанатиков мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы гордили, есть доподлинная истина.

Впрочем, нам — двадцатилетним — нужно было, наверное, как-то для самих себя оправдать всё то непонятное и страшное, что происходило в мире. Возможно, если, размышляя и раздумывая, мы прозрели бы уже в те годы, мы бы задохнулись и не смогли жить!

Да и в самой какой-то слегка «вечериночной», взвинченной атмосфере студии была, видимо, особая притягательная сила — в группу так называемых друзей студии входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксёр Николай Королёв.

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» студия открылась и стала существовать как театр.

У меня до сих пор хранится наша первая афиша, на которой авторами пьесы и спектакля были названы в алфавитном порядке все студийцы.

Честно говоря, я просто не помню другой подобной премьеры: толпы студенческой молодёжи, жаждущей попасть на спектакль, буквально осаждали театр, в зрительном зале люди стеною стояли в проходах, сидели вдоль рампы на полу.

Так было на первом, на втором и на третьем спектакле. А на четвёртом — толпа поредела. А последующие спектакли мы играли уже и вовсе при полупустом зале.

Что же произошло? Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приёмов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла.

Двадцать второго июня, в день начала войны, студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, погибнут. Вместе с Севой и другим студий-

цем, впоследствии известным драматургом Исаем Кузнецовым, мы написали пьесу «Дуэль», которую студия репетировала до самого последнего дня своего существования.

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог — на медицинской комиссии в райвоенкомате признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллектором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

Из грязной и шумной, похожей на огромное.bestоловое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатёнку в маленьком домике, стоявшем в саду на спокойной окраинной улице Алхан-юртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завлитом в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актёров и режиссёром Борщевским Театр политической сатиры.

Я писал для спектаклей этого театра песни и интермедии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...Испуганный помреж вбежал в мою актёрскую уборную, где я сидел перед зеркалом и с отвращением отклеивал рыжие усы — я только что изображал какого-то немецкого полковника.

— Александыр! — больше, чем обычно, коверкая слова, задыхаясь, проговорил помреж. — Иди... Скорей иди... Тебя в правительственную ложу зовут.

«Правительственной» называлась у нас в театре ложа, где на премьерах и парадных спектаклях сидели ответственные чины из обкома партии и горсовета.

— Брось разыгрывать! — сказал я помрежу. — Я же смотрел со сцены — там сегодня никого нет!

— Там есть! — трагическим шёпотом выдохнул помреж и схватился за голову. — Там Юля Дочаева... Иди скорей!

Знаменитую грозненскую красавицу, жену одного из секретарей обкома партии Юлию Дочаеву я до этого ве-

чера видел только один раз: на коне, в мужском седле, она лихо промчалась по центральной улице, провожаемая восторженным цоканьем мужчин и осуждающим шёпотом женщин.

Она была худенькой, темноглазой и темноволосой. У неё был низкий, тихий и очень спокойный голос.

— Здравствуй! — сказала она и протянула руку. — Ты из Москвы?

— Да, — сказал я, с первой же секунды отчаянно влюбляясь в неё.

— Я тоже из Москвы, — сказала Юля, — училась на медицинском, собиралась врачом на Сахалин, а мой дикарь приехал на какой-то пленум и похитил меня... — Она засмеялась. — А тебе сколько лет?

— Двадцать два. Завтра, девятнадцатого октября, в день годовщины открытия Пушкинского лицея, мне исполняется двадцать два!

Я проговорил эту тираду слегка хвастливо, так как всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился этим случайным совпадением.

А Юля снова засмеялась, потом сказала быстро и тихо:

— Я приду тебя поздравить, хочешь? Ты где живёшь?

— Алхан-юртовская, сто десять.

Юля кивнула.

— Я приду. У меня завтра ночное дежурство в больнице, но часов в двенадцать я постараюсь сбежать... Ты меня жди!

...Я начал её ждать с утра.

Мне удалось путём неслыханной лести и ещё более неслыханных посулов выпросить у администратора театра бутылку спирта, потом, пользуясь всё той же лестью и посулами, я уговорил мою хозяйку испечь её коронное блюдо — тыквенный пирог. Потом я отправился на базар — купил яблок, слив и цветов.

Базар был в этот день как-то странно и подозрительно малолюден, но я не обратил на это внимания.

Уже приготовив всё для вечернего пира, я принялся просто слоняться по городу — думал о Юле и влюблялся в неё всё больше и больше.

А между прочим, вокруг меня в этот день происходили события, на которые, будь я в здравом уме, следовало бы обратить внимание: куда-то за черту города тянулся поток стариков и детей, проезжали телеги с убогим скарбом, плелись навьюченные ослики и к обычному запаху

грозненной пыли примешивался сладковатый и ядовитый запах дыма — во время одного из разведывательных налётов немцы бросили зажигательную бомбу в нефтяной резервуар, и вот уже третьи сутки над городом и днём и ночью стояло невысокое радужное зарево.

Вечером пошёл дождь. Лаяли собаки — безостановочно и надсадно.

В сотый раз я оглядел свою комнату: в центре стола красовался тыквенный пирог, цветы я расставил по всем углам и зажёл свечи.

Тогда ещё не было написано замечательное стихотворение Пастернака, ещё не пришла мода ужинать при свечах — просто свет в городе вырубали в девять часов вечера, а керосиновая лампа стояла на рынке целое состояние.

Я ходил по комнате и сочинял для Юли стихи.

В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики я растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил:

Лают азиатские собаки,  
Гром ночной играет вдалеке...  
Мне б ходить в черкеске и папахе,  
А не в этом глупом пиджаке!

Мне б кинжал у талии осиною  
И коня — земную благодать,  
Чтоб с тобою, с самою красивой,  
На скаку желанье загадать!..

Ещё задолго до двенадцати я услышал быстрый и тихий стук.

Как во многих южных домах, дверь моей комнаты открывалась прямо на улицу. Сначала в дождливой темноте, которую не подсвечивало даже зарево пожара, я вовсе ничего не мог различить. Потом, вглядевшись, я увидел странное зрелище — двух осёдланных лошадей.

— Что такое? — спросил я. — Кто?

— Тихо! — проговорил кто-то шёпотом, невысокая фигура в бурке отделилась от лошадей, и я узнал своего приятеля, поэта Арби Мамакаева, которого за буйный нрав называли «чеченским Есениным». — Собирайся, Александр, поехали!

— Куда? — изумился я.

Арби притянул меня к себе за плечи и зашептал мне в самое лицо:

— У нас точные сведения... Немцы будут в Грозном через неделю... Ты чужой, ты еврей, ты дурацкие спектак-

ли играл — тебя сразу повесят! А в горах мы тебя спрячем! Поскакали!..

А я никуда не мог ехать — я ждал Юлю!

— Я не поеду, Арби, — сказал я.

— Ты совсем дурак? — грозно спросил меня Арби.

— Слушай, — попытался я найти компромисс, — вот что — приезжай за мной утром.

— Ты совсем дурак! — уже утвердительно повторил Арби. — Я сейчас еле проехал... Патрули всюду... Ты поедешь?

— Нет, — сказал я.

Арби молча сплунул, повернулся ко мне спиной и медленно, тихо увёл лошадей в темноту.

А Юля не пришла. А я под утро свалился в приступе жесточайшей лихорадки — у меня время от времени бывают такие непонятные приступы, которые не сумел разгадать ещё ни один врач.

Дня через два меня пришли проведать актёры нашего театра.

Они рассказали мне, что в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября — в ту самую ночь — муж Юли, Идрыс Дочаев, в начале двенадцатого застрелился в своём служебном кабинете.

Командование Северо-Кавказского военного округа отдало распоряжение — прочесать горные аулы и выловить всех, уклоняющихся от воинской службы. Ответственным за эту операцию был по неизвестным причинам назначен штатский человек Идрыс Дочаев. Снова, в который раз, проявила себя во всём блеске «мудрая» национальная политика Вождя народов: поручить чеченцу возглавить карательный рейд по чеченским аулам — большее оскорбление и унижение трудно было придумать.

А немцы до Грозного так и не дошли.

Когда Отец родной повелел выслать чеченцев и ингушей в отдалённые районы Казахстана, Юля, русская Юля, уже не жена чеченца, уехала вместе со всеми. Попала она куда-то под Караганду и меньше чем за полгода сторела от туберкулёза.

Многие говорили, что ей повезло!

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрались во главе с Валентином Плучеком остатки студии. В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ,



написали письмо в Политуправление Советской Армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение и всю войну проездили по армейским частям, играя спектакли и концерты.

С концом войны театр распался.

Людам, как бы ни менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: ещё в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только в самом прямом значении этого слова обокрал павших и живых.

Это бы ещё полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная всё то, что знали мы в эти годы, он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынок, Башкатов, совершал вредительство и диверсию.

Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь откровенной подлостью.

В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова — и пятнадцать лет спустя, на заседании секретариата, на котором меня исключат из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмёт реванш и назовёт меня мародёром.

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмёрз в санный след,  
В лёд, что я кайлом ковырял...  
Ведь недаром я двадцать лет  
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если

бы сидел и мстил — это вашему пониманию было бы ещё доступно! А вот так, просто взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов скажет ещё несколько прочувствованных слов о том, как потрясён он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь.

Не медведи, не львы, не лисы,  
Не кикимора и сова —  
Были лица — почти как лица  
И почти как слова — слова.

За квадратным столом по кругу  
(В ореоле моей вины!)  
Всё твердили они друг другу,  
Что друг другу они верны!..

Так завершится моё очень долгое, затянувшееся больше чем на четверть века прощание с театром! От резолюции Леонида Мироновича Леонидова до заседания секретариата!

Бросив в конце войны актёрство и занявшись драматургией, я всё равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы: «Матросскую тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов.

Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось ещё славы поэта — и тут он кончился!

Ну что ж, кончился так кончился. Я ни о чём не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, своё проклятое и спасительное легкомыслие, своё долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определённо доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!

Я ни о чём не жалею.

Это раньше я бессмысленно и часто сокрушался по разным поводам.

Пути Господни неисповедимы, но не случайны.

Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда Москва—Ленинград, когда я написал свою первую песню «Леночка».

Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагал Арбузов, — а началом моего истинного, трудного и счастливого пути.

И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни я делаю то, что положено было мне сделать на этой земле.

Это гордыня? Не знаю. Надеюсь, что нет!

...Бутылочная и кирпичная с просветлёнными лицами вернулись в зал и, сморкаясь, заняли свои места в первом ряду.

И тотчас же, словно кто-то подсматривал в глазок занавеса (впрочем, так оно, наверное, и было), в зале погас свет и в луче бокового софита снова появился Олег Ефремов.

Прислушиваясь к звукам далёкого марша, он медленно начал слова вступления ко второму действию:

— Юность. Москва. Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «линкольны» возят по городу иностранных туристов. Туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы — главным образом, об исчезающих за ночь портретах — и с некоторой опаской поглядывают на девушек-переводчиц.

...Марш зазвучал громче.

Ефремов, не двигаясь, продолжал:

— По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках продают нарасхват ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрины «Известий», с утра и до ночи толпится народ, разглядывая фотографии далёкой Испании, где фашистам всё ещё не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Ещё совсем недавно — робкие провинциалы — мы впервые, разинув рты, бродили по набережным, почтительно следовали правилам уличного движения, ездили, восхищаясь, в метро и писали длинные, восторженные и подробные письма домой...

Ефремов улыбнулся.

— Потом письма стали короче. Всего несколько слов — о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять очень нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы... Нам исполнилось девятнадцать лет!

...Пошёл занавес. Ефремов стал к залу вполоборота и сказал, указывая рукою на декорацию и действующие лица:

— Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене пыльная гипсовая маска Бетховена.

Давид в тапочках, в тёплой байковой куртке, с завязанным горлом расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко...

Ефремов незаметно скрылся в кулисе.

### Началось второе действие

Давид. ...Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и! (*Со злостью опускает скрипку.*) Нет, ни черта не выходит сегодня.

Таня. В чем дело?

Давид (*оттопырил губы*). Иногда, знаешь, я слышу всё: как стоит стол, слышу, как ты улыбаешься, как Славка думает... А иногда — вот как сегодня — наступает вдруг какая-то полнейшая и совершеннейшая глухота... Который час?

Таня. Половина девятого. Температуру мерить пора.

Давид. А ты все-таки уходишь?

Таня. Я вернусь. Получу новое платье и вернусь! (*Заломила руки.*) О Боже, какая я буду красивая в новом платье.

Давид (*ворчливо*). Ты и так очень красивая. Даже, я бы сказал, чересчур! Где градусник?

Давид прячет скрипку в футляр, садится на кровать, засовывает градусник под мышку. Таня, выключив плитку, снимает молоко.

Таня. Надо же ухитриться — заболеть ангиной в мае месяце.

Давид. А я все могу. Я человек, как известно, необыкновенный.

Таня. Ты необыкновенный хвостун, вот ты кто!

Давид. Старо! Хвостун, хвостун — а почему я хвостун? Персональную стипендию я получаю, и в «Комсо-

молке» про меня уже два раза писали, ты дала мне слово, что выйдешь за меня замуж... Вот и попробуй тут не расхвастайся!..

В комнату без стука входит очень худая и высокая, остриженная по-мужски и с мужскими ухватками, длинноногая и длиннорукая девица. Это — Людмила Шутова из Литинститута (актриса Л.Иванова).

Людмила. Привет!

Давид. Слушай, Людмила, ты почему не стучишь?

Людмила. Я потом постучу. На обратном пути. Шварц, ну-ка давай быстро — в каком году был Второй съезд партии?

Давид. В девятьсот третьем.

Людмила. Так. Нормально. А где?

Давид. Сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне.

Людмила. Так. А закурить нету?

Давид. Нет.

Людмила. И Славка Лебедев отсутствует! Судьба! Хотите, стихи прочту новые? Ге-ни-аль-ные!

Давид. Твой?

Людмила. Мои, конечно!

Давид. Не надо, будь здорова.

Людмила подходит к столу, берёт стакан с молоком, отпивает глоток, неодобрительно морщится и ставит стакан обратно.

Людмила. Тёплое!

Таня (*возмущалась*). Послушайте!.. Ну что это...

Людмила (*не обращая на Таню ни малейшего внимания*).

Мы пьём молоко и пьём вино,  
И мы с тобою не ждём беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

Людмила раскланивается и уходит — не забывая в коридоре постучать в дверь.

Давид. Психическая! (*Вытащил градусник.*) Тридцать семь и семь.

Таня. Ого! Ну-ка, ложись немедленно!

Давид. Ложусь. А ты не уходи.

Давид скинул тапочки, ложится поверх одеяла. Тишина.  
Тикает будильник. Далеко гудит поезд.

Таня (*тихо*). Поезд гудит... Вот и лето скоро! Кажется, уж на что большой город Москва, а поезда, совсем как в Тульчине, гудят рядом... Помнишь?

Д а в и д (с неожиданной злостью). Нет. Не помню и не хочу помнить. И я тебе уже говорил — для меня всё началось два года назад, на площади у Киевского вокзала! Вот — слез с поезда, вышел на площадь у Киевского вокзала, спросил у милиционера, как проехать в Трифоновский студенческий городок, — и с этого дня себя помню... Хана злится, что я к ним в гости не прихожу, а я не могу! Понимаешь?

Т а н я. Почему?

Д а в и д. Не могу! Местечковые радости! Хана, Ханина мама, Ханин папа. Детям дадут по рюмке вишнёвки, а потом начнут поить чаем с черносливом и домашними коржиками... Смертная тоска, не могу!

Т а н я. И ты ни разу не был у них?

Д а в и д. Ни разу. (Усмехнулся.) Смешно! Столько лет я мечтал побывать на улице Матросская тишина... Я когда-то придумал, что это кладбище кораблей, где стоят шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки... А там на самом деле живут Ханины родственники! И мне не хочется ехать к ним на улицу Матросская тишина!

Молчание. Гудит поезд.

Т а н я. А зимою поездов почти не слышно, ты заметил? И осенью, когда дожди... А летом и особенно весною по вечерам они так гудят... Почему это?

Д а в и д. Не знаю.

Т а н я. А хочется уехать, верно?

Д а в и д. Куда?

Т а н я. Куда-нибудь. Просто — сесть в поезд и уехать. Чтобы — чай в стаканах с большими подстаканниками и сухари в пакетиках... А на остановке — яблоки, помидоры, огурцы... И бежать по платформе в тапочках на босу ногу... А утро раннее-раннее, и холодно чуть-чуть... А потом я вернусь в вагон, а ты проснешься и спросишь — что это была за станция? А я отвечу — Матросская тишина. Будет так?

Д а в и д. Будет. Непременно.

Т а н я. Я стала очень жадная, Додька! Хочу, чтобы всё исполнилось. Самая малая малость. Ничего не желаю уступать. Вот кончим, и тогда...

Быстро входит сосед Давида — Слава Лебедев (актер Олег Табаков). Он коренастый, косолапый, у него открытое мальчишеское лицо и большие, солидные роговые очки.

Л е б е д е в. Добрый вечер. Тебе письмо, Давид.

Лебедев через стол перебросил Давиду письмо.  
Сел на свою кровать, закрыл руками лицо.

Таня. Что с вами?

Лебедев. Голова болит.

Таня. Честное слово, у вас прямо не общежитие, а лазарет!

Давид. Славка, а что в газетах?

Лебедев. Всё то же. Продолжаются бои на подступах к Мадриду.

Давид вскрыл конверт, быстро пробежал глазами письмо.

Таня. Откуда?

Давид. Из Тульчина. Целый месяц шло.

Давид встал, со злостью разорвал письмо, бросил в пепельницу.

Таня. Что такое?

Давид. А какого чёрта он денег не шлёт?!

Таня. Кто? Ладно, мне пора, я ухожу... Через час вернусь. Хотите, Слава, я пирамидона вам принесу?

Лебедев. Спасибо, у меня есть. Большое спасибо.

Таня (*вдруг быстро наклоняясь к Лебедеву*). Славочка, вы очень хороший человек! Правда, правда! И вы не сердитесь — но я вам буду говорить «ты»! Хорошо? (*Засмеялась.*) Мальчики, приказ такой — сидите и ждите! Я скоро вернусь, и мы что-нибудь вместе придумаем... Давид, пей молоко!

Таня снова засмеялась, перекружилась на каблуках и исчезла.  
Долгое молчание.

Лебедев. Никто не спрашивал меня?

Давид. Нет, никто.

Лебедев. Голова смертельно болит. А Таня откуда знает? Ты ей сказал?

Давид. Да.

Лебедев. Ну, правильно. Я ведь и не скрываю... Чёрт, голова как болит! Весь день сегодня прошатался по городу, всё думал, думал.

Давид. О чём?

Лебедев. Об отце. Ты пойми, ведь я не просто любил его, я им всегда гордился! И всегда помнил о нём! Даже на зачёте, когда Брамса играл, — помнил о нём. О том, какой он могучий и смелый... О том, что это он научил меня говорить, читать, запускать змея, переплывать Волгу...

Давид (*сквозь сжатые зубы*). Перестань!

Лебедев. Что ты?

Давид (*помолчав*). Ничего. Глупости. Извини.

Лебедев. А теперь мне говорят — он враг... И в газетах пишут... И что же — я должен этому верить?!

Давид. Должен.

Лебедев. Почему?

Давид (*неловко*). Потому что ты комсомолец...

Лебедев. А я не комсомолец!

Давид (*опешил*). Что-о?

Лебедев. Меня исключили сегодня. И со стипендии сняли. Вот, брат, какие дела!

Давид (*недоверчиво*). Врёшь? (*Поглядел на Лебедеву, стиснул кулаки.*) Ну, это уж слишком! Это ерунда, Славка!

Лебедев (*взорвался*). Да? А что не слишком? На каких это весах меряют, что слишком, а что не слишком?!

(*Поморщился.*) Чёрт, как болит голова! А в общем, Додь-ка, тяжело! Очень тяжело. Из консерватории придётся, конечно, уйти!

Давид. Ты шутишь?

Лебедев (*усмехнулся*). Разве похоже? Нет, не шучу. У меня в Кинешме мать, сестрёнка маленькая — мне помогать им теперь надо... Уйду в какое-нибудь кино...

Давид. В какое еще кино?

Лебедев. Ну, в оркестр, который перед сеансами играет... Что я, «Кукарачу», что ли, сыграть не смогу?!

В дверь стучат.

Давид. Кто там?

Входит, чуть прихрамывая, высокий русоголовый человек в гимнастёрке и сапогах. Это секретарь партийного бюро консерватории — Иван Кузьмич Чернышёв (Олег Ефремов).

Ему лет сорок, не больше, но и Давиду и Славе он, разумеется, кажется стариком. В руке у Чернышёва полевая сумка, чем-то туго набитая, повидавшая виды.

Чернышёв. Добрый вечер! К вам можно?

Давид (*удивлённо*). Иван Кузьмич? Здравствуйте. Вот уж... Конечно, конечно, можно.

Лебедев. Здравствуйте.

Чернышёв неторопливо придвигает стул к постели Давида, вытирает лицо платком.

Чернышёв. Жарко. Как здоровье, Давид?

Давид. Ничего... Только температура.

Чернышёв (*улыбнулся*). Ты давай-ка, поправляйся скорей, дела есть.



Давид (*посмотрел на Чернышёва, на Лебедева, снова на Чернышёва, прищурил глаза*). Иван Кузьмич, это очень хорошо, что вы пришли! Это просто очень хорошо. Я ведь уже дней десять не был в консерватории, а мне сейчас Славка сказал...

Лебедев. Давид!.. Давид, я прошу тебя, перестань!

Отворяется дверь, и снова появляется Людмила Шутова.

Людмила. Шварц!

Давид (*резко*). Людмила, к нам сейчас нельзя!

Людмила. Ничего, ничего, мне можно! Шварц, а какой основной вопрос стоял на Втором съезде?

Давид. До чего же ты мне надоела! Программа партии.

Людмила. Так. Нормально. А закурить нет, Славка?

Лебедев. Нет.

Чернышёв (*развел руками*). И я не курю.

Людмила (*весело*). Жалеее! Всё у вас, ребята, есть — только совести у вас, ребята, нет...

Давид. Людмила, уходи!

Людмила. Да, между прочим, Славка, держи тридцать рублей — я у тебя зимою брала. Не помнишь? Держи и не спорь! (*Легко положила руку Лебедеву на плечо.*) И не горюй, Славка! Выше голову!

Мы ещё побываем у полюса,  
Об какой-нибудь айсберг уколемся.  
И добраться — не красные ж девицы —  
К Мысу Доброй Надежды наедемся!  
И, желанье предвидев заранее,  
Порезвимся на Мысе Желания!

Давид. Людмила, ты уйдешь?!

Людмила. Поэма не кончена, продолжение в следующем номере... Прощай, прощай и помни обо мне!

Людмила уходит. Молчание.

Чернышёв (*засмеялся*). Занятная гражданочка! Это кто же такая?

Давид. Шутова Людмила. Из Литинститута. Она — не то гениальная, не то — ненормальная, не поймёшь!

Лебедев (*с виноватой улыбкой спрятал деньги в карман пиджака*). Какой-то еще долг выдумала...

Молчание.

Давид (*волнуясь*). Вот, кстати, Иван Кузьмич, я начал говорить, а она перебила... Я хотел... Мне Славка ска-

зал, что его сегодня исключили из комсомола и сняли со стипендии.

Чернышёв (*негромко*). Ну, насчёт комсомола — этот вопрос будет окончательно решать райком. А насчёт стипендии — зайди в понедельник, Лебедев, в дирекцию к Фалалею, он тебе даст приказ почитать.

Лебедев. А я уже читал, спасибо.

Чернышёв. Ты утренний приказ читал. А это другой — вечерний.

Давид. О чём?

Чернышёв. Об отмене утреннего! (*С невесёлым смешком.*) Как говорится — круговорот азота в природе. Вы проходили в школе такую штуковину?

Давид (*с торжеством*). Вот видишь, Славка?

Лебедев (*зачем-то снял очки, подышал на стёкла, встал*). Вижу... Извините... До свидания...

Чернышёв. Погоди! Ты смотрел новое кино «Депутат Балтики»?

Лебедев. Нет.

Чернышёв. И я не смотрел. А говорят, стоит! Хорошее, говорят, кино. Может, сбегаешь, если не лень, возьмёшь билеты на девять тридцать?

Лебедев (*растерялся*). А кто пойдёт?

Чернышёв. А вот мы с тобою и пойдём... Или моя компания тебя не устраивает?!

Лебедев (*с вызовом*). А вас — моя?!

Чернышёв (*нарочито спокойно*). Поговорим на эту тему!.. Возьми деньги.

Лебедев. Иван Кузьмич!

Чернышёв. Бери, не выдумывай! Я ж не девица, что тебе за меня платить. Беги, а я тебя здесь обожду!..

Лебедев. Хорошо.

Лебедев быстро уходит. Чернышёв усмехается, вытаскивает из полевой сумки бутерброды с колбасой, кладет их на стол, включает электрический чайник.

Чернышёв. Ловко умел устраиваться Иван Кузьмич Чернышёв — и чаю попить, и кино посмотреть, и с тобою успею кое-что обсудить.

Из уличного репродуктора загремел марш:

— Аванти, пополо! Аларис косса!

Баньдере росса, баньдере росса!..

Давид. Неужели всё-таки возьмут Мадрид? Тогда это конец, да, Иван Кузьмич?

Чернышёв. Боюсь, что возьмут. И боюсь, что это совсем не конец, а только начало! (*Разломил бутерброд, протянул половину Давиду.*) Хочешь?

Давид. Нет, спасибо!

Чернышёв. Дело хозяйское! (*С наслаждением принялся за еду.*) Проголодался!.. Так вот, Давид, ты насчёт Всесоюзного конкурса скрипачей слышал что-нибудь?

Давид (*насторожился*). Слышал.

Чернышёв. У нас по этому поводу в консерватории был нынче учёный совет. Решали — кого пошлём.

Давид. Ну?

Чернышёв. До седьмого пота спорили. Каждому, конечно, хочется, чтобы его ученика послали, это вполне естественно. Ну, а я, как тебе известно, не музыкант, я в подобные дела обычно не вмешиваюсь, не позволяю себе... Но как-то так оно сегодня вышло, что предложил я твою кандидатуру...

Давид (*восторженно*). Иван Кузьмич!

Чернышёв. погоди! Предложил, знаешь, и сам не рад. Такую на тебя критику навели, только держись — и молод ещё, и кантилена рваная, и то, и другое... (*Поглядел на вытянувшееся лицо Давида и улыбнулся.*) Ты погоди огорчаться — включили тебя. (*Погрозил пальцем.*) Но только смотри! Насчёт кантилены ты подзаймись! Ведь не зря люди говорят, что хромает она у тебя... Да я и сам вижу. Мне объяснили. Ты подумай об этом, Давид, подтянись!

Давид (*с силой*). Я как зверь буду заниматься! И не уеду никуда, и летом буду заниматься, и осенью! (*После паузы.*) А ещё кого наметили, Иван Кузьмич?

Чернышёв. Всего шесть человек.

Давид. А Славку Лебедева?

Чернышёв (*нахмурился*). Нет... Насчет стипендии — это и профессор Гладков выступил, и я поддержал. А насчет конкурса...

Давид. Нет? Но, Иван Кузьмич, вы поймите, надо же разобраться — ведь ничего же, в сущности, неизвестно...

Чернышёв (*сухо*). Разберутся...

Давид. Кто? Когда?

Чернышёв (*помолчав, со сдержанной горечью*). Видишь ли, Давид, я семнадцать лет в партии. Может быть, я не все понимаю, но я привык верить — всё, что делала партия, всё, что она делает, всё, что она будет делать, — всё это единственно разумно и единственно справедливо.

И если когда-нибудь я усомнюсь в этом, то, наверно, пу-  
щу себе пулю в лоб! (*Снова помолчал.*) А я твою автобио-  
графию смотрел — там написано, что твой отец служа-  
щий... А я думал — он у тебя тоже музыкант...

Давид (*растерялся*). А он и есть... Музыкант... Он  
служащий... В оркестре служащий... Он в оркестре игра-  
ет... В кино, перед сеансами... (*Деланно засмеялся.*) Ну,  
всякую там «Кукарачу»! Знаете?

Чернышёв (*кивнул*). Понятно.

Осторожный стук в дверь.

Давид. Да?.. Кто там?..

Входит худенькая смуглая девушка. Длинные чёрные косы заложены  
коронкой вокруг головы. Это — Хана Гуревич.

Хана. Можно?

Давид. Хана? (*Едва заметно поморщился.*) Здравст-  
вуй... Ну, чего ты стала в дверях? Входи.

Хана. Здравствуй. Добрый вечер.

Давид. Как ты нашла меня?

Хана (*пожала плечами*). Нашла. Ты ведь к нам не  
приходишь, вот мне и пришлось самой тебя искать. Ты  
нездоров?

Давид. Ангина. Поправлюсь — обязательно к вам  
приду... Через недельку, наверное...

Хана (*улыбнулась*). Что ж, приходи. Наши будут  
очень рады тебе.

Давид. А ты?

Хана. А я уеду уже.

Давид. Куда?

Хана. На Дальний Восток!

Давид. На каникулы?

Хана. Нет, работать... Помнишь — было в газетах  
письмо Хетагуровой? Вот я и еду.

Чернышёв. Молодчина! (*Протянул руку.*) Здравст-  
вуйте! А ведь мы с вами, Хана, знакомы... И я даже был у  
вас дома — на Матросской тишине. Я с вашим папой, с  
Яковом Исаевичем, у Будённого, в Первой Конной слу-  
жил!..

Хана (*радостно всплеснула руками*). Ой, ну конечно  
же... Я вас не узнала... А папа мне про вас столько расска-  
зывал... Вы — Ваня Чернышёв, верно?

Чернышёв (*улыбнулся*). Был Ваня. А теперь Иван  
Кузьмич... Здравствуйте, Хана! А вы, между прочим, по-  
хожи чем-то с Давидом... Вы не родственники, случайно?

Хана. Нет. Мы просто из одного города. С одного двора. Земляки.

Давид (*явно желая перевести разговор*). Да, да, земляки!.. Слушай, а как тебя мамаша твоя отпустила — вот чего я понять не могу!

Хана (*махнула рукой*). Досталось мне! Сперва она плакала, потом шумела, теперь опять плачет... А я рада! Так рада, даже пою целыми днями от радости! Представляешь — сесть в поезд и уехать... Красота!

Давид. Когда едешь?

Хана. Скоро. На днях. И снова мы с тобой прощаемся, Додька. Не видимся годами, а как увидимся — так прощаемся.

Давид. Придётся мне к вам на Дальний Восток с концертами ехать.

Хана (*усмехнулась*). Правда? Ты пришли тогда телеграмму — и я тебя встречу.

Давид. Забавно получается — ты от меня, а я за тобой.

Хана. Да, а я от тебя! (*Облокотилась на подоконник.*) А как Танька живёт? Ты встречаешь её?

Давид (*уклончиво*). Встречаю. Иногда. Она ничего живёт — учится на юридическом, переходит на второй курс.

Хана (*скрывая насмешку*). Ты кланяйся ей... Если увидишь. (*Быстро взглянула на Давида и засмеялась.*) А что из дома пишут?

Давид (*скривился*). Да ну!.. Пишут.

Хана. Скучаешь?

Давид. Нет.

Хана. А я скучаю. Очень хочется поехать туда... Не жить, нет! Мне бы только пройтись по Рыбаковой балке, под акацией нашей посидеть, поглядеть, какие все стали...

В дверь стучат.

Чернышёв. Стучат, Давид!

Давид. Ну, кто там? Не заперто!

Отворяется дверь, и входит Абрам Ильич Шварц. Он в длинном чёрном пальто. В старомодной касторовой шляпе. В руках чемодан, картонки и пакеты. Он останавливается на пороге, взволнованно и чуть виновато улыбается.

Шварц. Здравствуйте, дети мои! Шолом алейхем!

Давид (*испуганно крикнул*). Кто?!

Хана. Абрам Ильич!

Д а в и д. Папа!..

Ш в а р ц. Здравствуй, Давид, здравствуй, мальчик!

Шварц, роняя картонки и пакеты, подбежал к Давиду, обнял.  
Молчание.

Д а в и д (*задыхаясь*). Как ты?! Откуда ты?..

Ш в а р ц (*тихо*). Ты не знаешь, куда я мог деть носовой платок? Дай мне свой... Извините меня, это от радости!..

Молчание. Шварц уселся на кровати рядом с Давидом, вытер глаза носовым платком, высморкался, внимательно оглядел комнату.

Ш в а р ц. А ты прилично устроился. Вполне прилично... А почему ты лежишь? Ты болен?

Д а в и д (*всё ещё задыхаясь*). Нет... Послушай... Зачем ты приехал? Каким образом?

Ш в а р ц. Сел на поезд и приехал. Теперь, слава Богу, никто от меня права на жительство не требует... Погодите-ка, вы, девушка, вы не Хана Гуревич?

Х а н а. Да. С приездом, Абрам Ильич.

Ш в а р ц. Благодарю!.. Ай, смотрите, какой она стала красавицей! Что?.. Как папочка?

Х а н а. Ничего.

Ш в а р ц. А мамочка?

Х а н а. Все в порядке.

Ш в а р ц. Вот и хорошо!.. Между прочим, я думал остановиться у вас, это можно?

Х а н а. Конечно. Пожалуйста.

Ш в а р ц. Ах, дети, дети! Вот я вас угощу! (*Шварц вытаскивает из кармана пакетик, осторожно высыпает содержимое на стол.*) Наш украинский чернослив. Кушайте, дети!

Д а в и д. Слушай, зачем ты приехал?.. Ты надолго в Москву?

Ш в а р ц. На целый месяц. Я получил отпуск и премию... На, читай! (*Торжественно помахал перед носом Давида какой-то бумажкой.*) Выписка из приказа... Читай, а то у меня очки в чемодане!..

Д а в и д (*читает*). «За ударную работу и...»

Молчание. Давид посмотрел на Чернышёва; встретил удивлённый и вопросительный взгляд, опустил голову.

Ш в а р ц. Ну?.. Ты неграмотный? Пусти, я наизусть помню. «За ударную работу и перевыполнение плана отгрузок в третьем-четвертом квартале премировать помощника начальника товарного склада Шварца Абрама Ильича...» Одним словом — стахановец! А ганцер — я тебе дам!

Премировали путевкой в санаторий, в Крым... Что?.. Хорошо?

Хана. Так вы проездом?

Шварц. Нет. Мне предложили на выбор — или путевку в санаторий, или деньги. Я предпочел деньги. Для Крыма у меня нет белых штанов и купального халата. Мало шика и много лет!

Давид. Папа!..

Хана засмеялась.

Шварц (*весело*). Она смеётся, ей смешно... Ну-с, так я взял деньги и приехал в Москву. А на складе меня замешает Митя Жучков... Ты помнишь, Давид, моего Митю? Кладовщика? Того самого Митю, с которым мы когда-то занимались всякими комбинациями...

Давид (*стиснув зубы*). Папа!

Шварц. Что? Это же было давно, милый. Мы крутились и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я его как-то вызвал и сказал — хватит!.. Кого мы обманываем? Самих себя! Зачем нам не спать ночей? Зачем нам прятать глаза? Попробуем жить так, чтобы наши дети нас не стыдились! Очень интересный был разговор, можете мне поверить... Почему вы не кушаете чернослив? Кушайте все... Это для всех поставлено. Кушайте, товарищ, простите, не знаю вашего имени-отчества.

Чернышёв. Иван Кузьмич Чернышёв.

Шварц (*припоминая*). Чернышёв, Чернышёв... Где я слышал эту фамилию? Вы не из Херсона?

Давид. Папа!

Чернышёв. Нет.

Шварц. Впрочем, там был не Чернышёв, а этот...

Давид (*яростно*). Папа!

Шварц. Погодите минутку — я все понял... Вы же тоже Шварц! Вы меня понимаете?! Чернышёв — это Шварц!.. Вы приятель Давида?

Давид. Иван Кузьмич — секретарь партийного бюро консерватории.

Шварц. Ах, вот как? (*Вскочил, протянул Чернышёву руку*.) Извините, будем знакомы — Шварц, Абрам Ильич... Папа Давида.

Чернышёв (*улыбнулся*). Об этом я уже догадался.

Шварц. Я очень рад с вами познакомиться, товарищ Чернышёв. Очень рад. Что вы скажете про Давида? Как он учится?

Чернышёв. Хорошо учится.

Шварц. Да? И его ценят? К нему хорошее отношение?

Давид. Папа, перестань!

Шварц. Почему! Почему я должен перестать? *(Покачал головой.)* Нет, друзья мои, когда всю жизнь ты думаешь только о том, чтобы твой сын вышел в люди, так ты имеешь право спросить — стоило тебе думать, и работать, и мучиться или не стоило? Пришла, как говорится, пора — собирать пожитки и кончать ярмарку. И вот я хочу знать — с пустыми руками я уезжаю или нет? Понимаете?

Чернышёв. Понимаю.

Шварц *(взволнованно)*. Нет, товарищ Чернышёв, извините, конечно, но вы этого никогда не поймёте как следует! Чтобы такое понять, нужно родиться в Тульчине, на Рыбаковой балке. И, как Господа Бога, бояться околоточного надзирателя. И ходить на вокзал смотреть на дальние поезда. И прятаться от погромов. Нужно влюбиться в музыку за чужим окном и в женский смех за чужим окном. Нужно купить на базаре копилку, глиняную копилку, на которой фантазёр вроде тебя написал красивую цифру — миллион! И положить в эту копилку рваный рубль! На эти деньги ты когда-нибудь будешь учить сына, если Бог позволит тебе иметь детей!.. А-а-а! *(Махнул рукой.)* Можно, я поцелую тебя, Давид?

Давид *(грубо)*. У меня насморк!

Хана. Давид!

Шварц. С насморком нельзя целовать девушек. Ханочку нельзя целовать с насморком, а папу можно. Ну, ничего, ничего... Кушайте чернослив. Я, наверно, очень много говорю, но это просто потому, что я взволнован. Я почти три года не видел Давида... И я, стыдно признаться, в первый раз в жизни в Москве.

Чернышёв. Нравится?

Шварц. Не знаю... Понятно — нравится... Но я ещё ничего не видел, прямо с вокзала — сюда. Завтра я пойду в Третьяковскую галерею, а потом в Мавзолей Ленина, а потом в Парк культуры... У меня записана вся программа! Да, в Большой театр трудно попасть?

Хана. Трудно.

Шварц. А что, если мы попросим товарища Чернышёва? Вы не сумеете нам помочь, товарищ Чернышёв?

Чернышёв. Постараюсь.

Шварц. Большое спасибо! *(Внезапно нахмурился.)* Да, и потом, у меня есть ещё одно дело... Вы понимаете, дети мои, посадили Мейера Вольфа!



Хана. Дядю Мейера? За что?

Шварц. Деточка моя, кто это может знать? «За что?» — это самый бессмысленный в жизни вопрос! (*Обернулся к Чернышёву.*) Понимаете, товарищ Чернышёв, этот Вольф — он переплётчик, одинокий больной человек... Ну, и мы собрались — несколько его друзей — и написали письмо на имя заместителя народного комиссара товарища Белогуба Петра Александровича... Так вот, вы не знаете, куда мне отнести это письмо?

Чернышёв (*сухо*). Не знаю. Пройдите на площадь Дзержинского — там вам скажут.

Шварц (*записал в книжечку*). На площадь имени товарища Дзержинского. Так, спасибо! (*Усмехнулся.*) Вам не кажется, что было бы лучше, если бы площадь называлась именем товарища Белогуба, а наше письмо прочёл бы товарищ Дзержинский?

Вбегает Слава Лебедев.

Лебедев (*в дверях*). Иван Кузьмич!.. Здравствуйте!

Шварц (*радушно*). Здравствуйте, милости просим.

Лебедев. Иван Кузьмич, я достал... Только надо быстрее — там уже в зал пускать начинают!

Чернышёв. Побежали.

Чернышёв встал, застегнул полевую сумку.

Шварц. Вы уходите? Посидите, товарищ Чернышёв, а?

Чернышёв. Извините, Абрам Ильич, мы в кино... Всего вам хорошего, до свидания...

Шварц. До свидания. Вы не забудете — насчёт Большого театра?

Чернышёв. Нет, нет, не забуду.

Шварц. Давид вам напомнит.

Давид (*умоляющими глазами взглянул на Чернышёва*). Иван Кузьмич, вы не думайте... Вы... Я не... Я вам потом объясню... Вы...

Чернышёв. Ладно, ладно. Ты сперва поправляйся. Бежим, Слава! Кланяйтесь вашим родным, Хана, скажите — я к ним заеду на днях.

Хана. Спасибо. До свидания!

Чернышёв. Счастливый вам путь!

Чернышёв и Лебедев быстро уходят. Молчание. Шварц внимательно посмотрел на Давида, осторожно прикоснулся к его руке.

Шварц. Чем ты расстроен, милый, ты мне можешь сказать?

Д а в и д (*угрюмо*). Ничем... Ничем не расстроен.

Ш в а р ц. Я как-нибудь не так выразился? Или у тебя неприятности с этим Чернышёвым?

Д а в и д. Нет.

Ш в а р ц. А почему ты всё время молчишь?

Д а в и д (*со взрывом злости*). А что я должен делать, по-твоему? Петь? Плясать? Мало тебе того, что...

Ш в а р ц (*не дождавшись продолжения*). Чего?

Д а в и д. Ничего! Ничего — и оставь меня в покое! Ничего!

Шварц ещё раз внимательно посмотрел на Давида. Неожиданно легко и поспешно встал, зачем-то надел шляпу.

Ш в а р ц (*почти торжественно*). Давид, я знаю, почему ты расстроен! Ты недоволен тем, что я приехал! Да?

Д а в и д (*уткнулся лицом в подушку*). Что ты наделал?! Если бы только мог понять, что ты наделал! Всё теперь кончено, всё! Всё!

Х а н а (*возмущённо*). Давид!

Ш в а р ц (*строго*). Подождите, Ханочка! (*Помолчав.*) Ничего такого страшного не произошло, глупый! Всё можно поправить. Всякое горе можно поправить. Поезда ходят не только сюда — обратно они тоже ходят... Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да?

Д а в и д (*с отчаянием*). Да! Но какая уже теперь разница!

Х а н а. Давид!

Ш в а р ц (*грустно*). Для меня разница есть.

Д а в и д. Ну и...

Молчание. Шварц странными кругами заколесил по комнате. В одной руке у него чемодан, в другой пакетик с черносливом.

Х а н а. Немедленно извинись!

Давид молчит.

Ш в а р ц (*бормочет*). Я должен был это предвидеть. Я обязан был это предвидеть. У мальчика хорошие дела. Его навещают большие люди. И вдруг является старое чучело из Тульчина и говорит — здравствуйте, я ваш папа, кушайте чернослив... Идиот! Мне просто очень хотелось, Додик, посмотреть, как ты живешь и какой ты стал... И послушать, что о тебе говорят... И погордиться тобой... Мне хотелось сидеть в зале, когда ты играешь, — и чтобы все показывали на меня пальцем и шептали: это папа Давида Шварца! Кому это важно, чей я папа?.. Не сердись на меня, милый, я завтра уеду, обещаю тебе... Ну, так я

не увижу Третьяковскую галерею... Вот — я оставляю, что привёз...

Д а в и д. Не надо.

Ш в а р ц. Обязательно надо. Ты, наверное, удивлялся, почему я не присылаю тебе денег? А я хотел их сам привезти... Вот — я положил. Тут хватит надолго! (*Потёр пальцами лоб, взглянул на Хану.*) Так мне можно пойти к вам, Ханочка?

Х а н а. Да, непременно.

Ш в а р ц. Хорошо. На одну ночь придётся вам потесниться! (*Помолчав.*) Ну, пойдём.

Х а н а. Уже сейчас?

Ш в а р ц. Да. Я почему-то вдруг устал. И, вероятно, Давиду нужно заниматься... Пойдёмте, Ханочка... Будь здоров, милый.

Шварц обнял Давида. Долгая пауза.

Д а в и д (*бессвязно*). Я не хотел обидеть тебя!.. Я не хотел. Честное слово, я не хотел обидеть тебя!

Ш в а р ц (*ласково*). Ну, конечно, конечно. Что я, не понимаю? Конечно, не хотел. Будь счастлив, родной. Я уеду завтра... В крайнем случае послезавтра — как достану билет. Ханочка тебе позвонит... Тут есть телефон?

Д а в и д. Есть.

Ш в а р ц. Ханочка позвонит. И, если ты сможешь, ты приедешь меня проводить. Правда?

Д а в и д. Да.

Ш в а р ц. Если сможешь.

Д а в и д. Папа!.. Папа!..

Ш в а р ц. Ну?! Ты прав, Додик, — зачем же ты плачешь?

Д а в и д. Папа!..

Ш в а р ц (*решительно*). Идёмте, Хана! (*Шварц и Хана медленно идут к дверям, Абрам Ильич обернулся.*) Да, скажи товарищу Чернышёву, чтобы он не трудился напрасно. Скажи, что я не сумею пойти в Большой театр. Скажи, что мне расхотелось! (*Помедлив.*) Ну, Бог с тобою, Давид!

Шварц и Хана уходят. Давид один. Он рванул было вслед за ушедшими, но у самой двери остановился, постоял, вернулся назад и сел. Он сидит молча, неподвижно, опустив голову. Тикает будильник. Бегом возвращается Хана.

Д а в и д (*испуганно*). Что? Плохо ему?

Х а н а. Я косынку забыла.

Д а в и д. Вот она. Возьми.

Хана. Ты отвратительно поступил... Подло... Мерзко...

Давид. Я знаю.

Хана. Он чудесный старик, твой отец.

Давид. Я знаю.

Хана. Всё ты знаешь...

Закипел чайник.

Давид. Выключи, будь добра.

Хана вытащила шнур, бросила на стол, остановилась перед Давидом.

Хана. Ничего ты не знаешь! Даже того, как сильно я тебя люблю, ты не знаешь! Такой простой вещи не знаешь!

Давид. Хана!

Хана. Что? Теперь можно сказать, не стыдно. Больше мы всё равно с тобой не увидимся! *(Печально улыбнулась.)* Я так ждала, когда ты приедешь. Так ждала... А ты не зашёл даже... Всё некогда было... Три года было некогда! А я и на это разозлиться не сумела. Узнавала о тебе... О тебе и о Таньке... На концерты ходила в консерваторию, надеялась — встречу... А на первомайском вечере ты даже и заметить меня не захотел...

Давид. Ты была разве?

Хана. Была. В пятом ряду сидела. Громче всех тебе хлопала. Ты превосходно играл в тот вечер. Превосходно. Особенно Венявского. Ты будешь знаменитым скрипачом, Додька, и очень счастливым человеком. Я так загадала! Прощай!

Давид *(растерянно)*. погоди, Хана!

Хана. Абрам Ильич ждёт. Прощай!

Хана убегает. Давид снова один. Он бесцельно слоняется по комнате. Берёт скрипку. Кладёт её обратно. Накрывает чайник подушкой.

Входит Людмила ШUTOва.

Людмила. Шварц!

Давид обернулся и внезапно бросился с кулаками на Людмилу.

Давид. Уходи отсюда ко всем чертям!.. Убирайся... Убирайся отсюда.

Молчание.

Людмила *(тихо)*. Зачем же ты лезешь на меня с кулаками, свинья! Я папиросы тебе принесла, а ты... На — кури, свинья!

Людмила швырнула на кровать Давида пачку папирос и вышла. Тишина. Сумерки. Зажглись огни в доме напротив. Давид садится на подо-

конник. Хрипит и захлёбывается уличный репродуктор: «...Сегодня, во время очередного массированного налёта фашистской авиации на Мадрид, было сбито...»

Бесшумно открывается дверь, и входит Таня. Она в новом нарядном платье, радостная и возбуждённая.

Таня. Вот и я! Ну, гляди, я нравлюсь тебе в новом платье?

Давид. Не вижу. Темно.

Таня. А ты зажги свет.

Давид. Не хочу.

Таня. Что с тобой?

Давид. Ничего.

Таня. Со Славкой поругались?

Давид. Нет.

Таня (*после паузы*). Что случилось? Может быть, я напрасно пришла?

Давид. Может быть.

Таня. Ах так?!

Таня постояла ещё секунду, словно соображая, а затем решительно повернулась и пошла к дверям.

Давид. Танька!

Таня (*звонко, дрожащим голосом*). Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюблённый, нахальный...

Давид (*насмешливо*). Ну, а ещё?

Таня. И не приходи больше ко мне, и не звони, и...  
Всё!

Таня выбегает, оглушительно хлопнув дверью. Молчание. Давид перегнулся через подоконник, высунулся на улицу, крикнул:

— Танька-а-а!

Тишина. Только по-прежнему хрипит и захлёбывается репродуктор: «...Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил...» Давид встал, прошёлся по комнате, взял скрипку.

Давид. Ну и хорошо... Очень хорошо! И пожалуйста! (*Он поднял скрипку, зашагал по комнате. Играет бесконечные периоды упражнений Ауэра, зажав в зубах незажжённую папиросу.*) И раз, и два, и три, и!.. И раз, и два, и три, и!..

Загудел поезд. Давид играет всё громче и ожесточённее.

— И раз, и два, и три, и!.. И раз, и два, и три, и!.. И раз, и два, и три, и!..

Занавес

### Третья глава

Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить.

Мы стояли в курилке возле урны — с двух сторон, как часовые, — часто и с отвращением глотали дым.

— Во втором действии Евстигнеев был лучше, — сказала жена.

— Да, — сказал я, — а в третьем действии он будет ещё лучше... Только это не имеет никакого значения!

— Да, — согласилась жена, — разумеется.

Помолчав, она спросила:

— Ты очень огорчён?

— Нет, — сказал я, — всё давно ясно... Это ребята на что-то ещё надеются!

И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков — в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль «сына полка» Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав студии насчитывал человек двадцать, и ряд актёров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.

...Как странно мне бывает теперь — изредка, очень изредка — встречаться и церемонно раскланиваться с важным и представительным директором театра «Современник» Олегом Павловичем Табаковым!..

Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота.

Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом:

— Александр Аркадьевич, ребята просят... Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!

— С кем, Олег? — изумился я.

— Ну, я не знаю... Ну, с этими — Соколовой, Соловьёвой, чёрт их там разберёт!

— О чём говорить? — спросил я.

Откуда-то раздался отчаянный вопль:

— Табаков?! Давай по-быстрому!..

Олег махнул рукой и убежал.

Мы с женою переглянулись. Ничего ещё, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обречённости, предрешённости, безнадёжности и бессмысленности всего, что происходит, — это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.

— Ну что ж, пойдём, — сказал я жене.

— Пойдём, — сказала она. — Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно ещё что-то можно предпринять?

— Нет, — сказал я.

Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.

Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока ещё не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать, что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению, что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом, а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию, — спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперёд и выше, товарищи!..

Всё это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля бодрой, слегка пришепётывающей ско-

роговоркой. Потом он пожмёт руку мне, пожмёт руку Ефремову, ещё раз — благодарно — улыбнётся всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдёт.

И всё будет кончено!..

А из-за закрытого занавеса раздавались стук молотков, невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало.

Декорация третьего действия — учитывая отсутствие настоящих декораций — была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом кригеровском вагоне для тяжелораненых.

...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать в войну доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запёкшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.

Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

После концерта нас обычно вели в вагон-столовую — кормить ужином.

Санитарки — «хожалочки», всегда миловидные, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.

А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки — и все догадливо хихикали: артист — он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!

Приносили бутылки со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в гранёные стаканы, а в кружки воду — запивать.

Тот же начальник, как правило, произносил первый тост — за родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времён и народов товарища Сталина, который ведёт нас от победы к победе.

И мы все, стоя в торжественном молчании — а кое-кто и со слезами на глазах, — пили за этот тост.



Постукивали колёса поезда, пронеслись за окнами, не отпечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые посёлки, дребезжали на столе, покрытом клеёнкой, миски, кружки, стаканы.

А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело, мы смотрели друг на друга с участием и любовью — нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!

Мы все вместе — пусть каждый по-своему — делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше прекрасное прошлое и ещё более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.

И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгаре ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему.

И начальник смотрел на меня, ухмылялся.

— Извините, вас, товарищ артист, в кригеровский вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!.. — Начальник ухмылялся ещё шире. — Ну, насчёт Дорофеева и других...

И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шёл в кригеровский вагон для тяжелораненых — петь частушки про Дорофеева и других.

Кригеровский вагон для тяжелобольных! Санитарный поезд!

Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых походных и тыловых госпиталях — с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллёз.

После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже, чем раз в два года — а порою и значительно чаще, — попадал в какую-нибудь очередную больницу.

Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля, — в отдельных палатах с собственным санузлом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.

Отделения эти у простых смертных называются «отделениями для слуг народа».

И лежал я в отделениях «для народа»: в палатах по двадцать — двадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться ня-

нечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика — звонков нет — и где питание обходится в восемьдесят копеек.

Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных «слуг народа», для самых бескорыстных и беззаветных его слуг — в Кремлёвке, в Барвихе, в Кунцеве.

О том, какие условия и какие яства подаются там, рассказывают только шёпотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.

Впрочем, и условия и яства для больного человека — для действительно больного человека — всё-таки дело второстепенное. Гораздо важнее другое — уход и лекарства. Так вот, с лекарствами в отделениях «для народа» особенная беда. Я уж не говорю о редких заграничных препаратах; анальгина и кодеина — и тех не допросишься!

У меня на глазах в отделении гнойной хирургии московской Боткинской больницы тридцатилетний прелестный парень Сергей Донцов — школьный учитель из-под Смоленска — в течение трёх недель превратился из человека в животное, в жесточайшего и законченного наркомана.

Возвращаясь из школы домой, он попал в пургу, сбился с пути, обморозил ноги. В результате — тяжелейший эндартериит.

Боли адские, которые снимались только большими дозами анальгина.

Но в одной из главных больниц Москвы — в знаменитой Боткинской больнице, в отделении гнойной хирургии анальгин в необходимых количествах больным выдавать не могут: слишком дорогое лекарство, целых тридцать две копейки пачка.

Значительно проще снять боль инъекцией морфия — ампула морфия стоит около двух копеек.

Сначала Донцову кололи морфий раза два в сутки, а в промежутках он потихоньку глотал анальгин, который приносила ему моя жена.

Но постепенно дозы морфия все увеличивались — три раза в сутки, четыре раза в сутки.

А когда я выписывался, многого, золотоголового, с белозубой улыбкой Серёжу Донцова уже невозможно было узнать. Он сидел в постели, полузакрыв глаза, страшный, взлохмаченный, с какими-то чёрными запёкшимися губами, покачивался из стороны в сторону и непрерывно, на одной протяжной звериной ноте то выл, то матерился и требовал морфия.

А его жалели. И ему давали морфий. И врачи не виноваты. И сёстры не виноваты. И вообще никто не виноват.

Да здравствует одно из величайших достижений советской власти — всеобщая бесплатная медицинская помощь!

...А начальник мой, а начальник,  
Он в отдельной палате лежит.  
Ему нянечка шторку повесила,  
Создают персональный уют!  
Возят к гаду еврея профессора...

Сколько их было в моей жизни — профессоров, врачей, сестёр, нянечек! Сколько их было — умных и не слишком, опытных и ещё совсем зелёных, добрых и сердитых, талантливых и просто «трудяг».

Я не каждого помню по имени, но всем им низко кланяюсь в ноги — спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваше терпение и усердие, за ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд.

А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле — до недавнего времени труд медицинских работников наравне с трудом учителей был в нашей стране по оплате одним из самых нищенских.

Потому-то в пятидесятые и шестидесятые годы так мало было среди врачей мужчин — только именитые старики, а в остальном всё больше женщины.

Про одну из таких замечательных женщин, про хирурга Анну Ивановну Гошкину, я не могу, не имею права не рассказать!

Ночью в ленинградской гостинице я почувствовал, что у меня начинается приступ стенокардии. Принял нитроглицерин — не помогло. Тогда я попросил дежурную по этажу вызвать врача.

Приехала «неотложная помощь», врач сделал мне инъекцию, мне стало легче, и я уснул.

А наутро меня начал бить сумасшедший болевой озноб, температура поднялась до сорока с десятymi, рука на месте укола покраснела и вспухла.

Я позвонил друзьям. Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний — совещания, даже дружеские, не бывают у нас короткими — решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой, биолога-генетика Раисы Львовны Берг.

Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны, не решаясь дать знать о своей болезни в Москву. А мне стано-

вилось всё хуже. Температура не падала, домашние средства, которыми меня пытались лечить, не помогали.

Тогда я всё-таки поднялся и, обливаясь потом, на подгибающихся, ватных ногах добрался до телефона и позвонил в Москву жене.

Уже через три часа после моего звонка она была в Ленинграде. Она почему-то прилетела в шубе, хотя стоял невероятно жаркий апрель, и в первые часы была совершенно растеряна и подавлена. Она тыкалась, как слепой щенок, из угла в угол — а углов в квартире Берг предостаточно — и соглашалась со всем, что ей говорили.

Говорили: его надо отправить в больницу — она соглашалась.

Говорили: надо лечить дома — она тоже соглашалась.

Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке, она взяла себя в руки — в трудные минуты она всегда умеет взять себя в руки — и принялась действовать.

На счастье, мы с нею оба не вспомнили о Союзе писателей и Союзе кинематографистов — в ту пору я ещё был членом и того и другого Союзов, — а просто нашли знакомых врачей, которые и устроили меня в самую обыкновенную городскую клиническую больницу имени Эрисмана, в отделение общей хирургии.

А позвони мы, между прочим, в один из Союзов — меня непременно, как московского гостя, устроили бы в Свердловку (ленинградский вариант Кремлёвки), где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы!

Меня ввезли на каталке в огромную, человек на тридцать, палату. Все кровати у стен были заняты, и каталку оставили стоять посредине. На какое-то время я провалился в беспамятство — температура в это утро была уже сорок один градус.

Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое: седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами — это был профессор, заведующий отделением, и его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно, — и рядом с ним, тоже пожилая, женщина с широким, добрым и каким-то домашним — я не могу подобрать другого слова — лицом.

И именно домашним, а не врачебным движением она положила ладонь мне на лоб, вздохнула и покачала головой.

Профессор наклонился ко мне.

— Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную... Вас будет оперировать наш ведущий хирург — Анна Ивановна Гошкина.

Анна Ивановна покивала мне.

— А почему так сразу? — спросил я.

— А потому что, голубчик, плохо дело, — чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно сказала Анна Ивановна, — очень плохо дело!..

Как ни странно, эти её слова ничуть не взволновали меня.

Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе тех врачей-оптимистов, которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают:

— Ну-с, как поживает наш рачок?!

Напротив, ещё много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня или делая мне перевязку, будет сокрушённо покачивать головой и повторять своё «Плохо дело, очень плохо дело!».

А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи.

Врач из «неотложной помощи» занесла мне, делая укол, тяжелейшую инфекцию — золотистый стафилококк. В результате — заражение крови, рожистое воспаление отёчной формы и флегмона.

В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки. И только Анна Ивановна, не преминув сказать: «Плохо дело! — добавляла: — А руки мы ему всё-таки попытаемся спасти!»

Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех — всегда без четверти восемь утра.

А уходила, случалось, чуть не за полночь. Она не только оперировала, перевязывала и вела факультетские занятия со студентами — она с не меньшей охотой ассистировала другим хирургам, сама, не дожидаясь, пока это сделают сёстры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату. Она порою сама мыла своих больных.

В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом.

Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу по знаменитой «ледяной дороге», случайным шальным осколком убило шофёра. Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни ма-

лейшего понятия, как надо водить машину, села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь.

Когда я как-то в перевязочной спросил её об этом, она лаконично ответила:

— Пришлось.

...После первой операции меня перевели из огромной палаты в маленькую комнатёнку, изолятор для особо тяжёлых больных, и разрешили, вернее, даже попросили мою жену круглосуточно дежурить возле меня.

Она и дежурила круглосуточно — спала, сидя на стуле около моей постели или в коридоре в кресле, или изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке.

За день на опухших от усталости ногах она проходила с добрый десяток километров по бесконечно длинным коридорам клиники: то на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить, то к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем — рана моя непрерывно кровоточила.

Я смутно помню эти дни. Мне становилось всё хуже. Температура держалась, отёк угрожающе поднимался всё выше к плечу, не помогало ничто — ни бесконечные переливания крови, ни удвоенные дозы антибиотиков.

Я бредил, распевал какие-то песни без слов — жена потом смеялась, что хорошо, что без слов, — разговаривал с отсутствующими собеседниками.

В редкие минуты просветления я сочинял стихи — читать я не мог.

...В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела весёлая музыка и в почти светлом небе плясали лучи прожекторов, дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал:

— Сейчас вас подготовят... Необходима — и немедленно — повторная операция!

Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком, и я попытался схитрить:

— Ну какая же операция — Первое мая! И потом, это даже как-то неудобно — моего хирурга, Анны Ивановны, нету сегодня...

Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты.

Успокоенный, я задремал. Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут, а когда открыл глаза — возле мо-

ей кровати стояли профессор — заведующий отделением, Анна Ивановна, ещё несколько врачей.

Из-под белых халатов выглядывала парадная, праздничная одежда.

— Ну, поехали! — мирно сказала Анна Ивановна, наклонилась, приподняла меня — откуда у неё только сила бралась?! — и с помощью сестры переложила на каталку.

Анна Ивановна! Милая моя, прекрасная Анна Ивановна!

Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки!

Знаете, когда я — в самую, казалось бы, неподходящую минуту — вспомнил о вас?

Сейчас я вам расскажу!

Происходило это, между прочим, всё в том же семьдесят первом году, весной которого я лежал в вашей клинике.

Но только теперь уже был декабрь, самые последние дни декабря, весёлая и оживлённая предновогодняя суетня.

В здании Центрального Дома литераторов было шумно, людно.

В малом зале шла бойкая торговля — писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу, в ресторане устанавливали огромную ёлку, развешивали цветочные и электрические гирлянды.

А наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую ещё называют «дубовым залом», шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей, и вопрос на повестке дня стоял один-единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне некто Лесючевский, которого в конце пятидесятых годов чуть было тоже под горячую руку не исключили из Союза, когда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издательства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Николай Грибачёв. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!

И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате, сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина, фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных.

...Однажды в Дубовой ложе  
Был поставлен я на правёж —  
И увидел такие рожи,  
Пострашней балаганьих рож!..

Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями, я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище: и о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами, и о моих заигрываниях с церковниками — поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лесючевскому, и Грибачёву, и всем этим пузырям земли: лукониным, медниковым, стрехниным, тельпуговым.

Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли, а равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства: вы читаете на ходу газеты, слушаете — не слушая — радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях.

Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен — куда важнее, начался ли отток гноя у больного А. и не подскочила ли опять температура у оперированной вчера Б. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать.

Ещё раз простите меня, Анна Ивановна, но я даже уверен, что, если бы вам на этом достопамятном секретариате предложили принять участие в голосовании, — вы, как и все, проголосовали бы за моё исключение. Это одно из правил игры в советскую демократию — решение должно быть, решение не может не быть единогласным.

Но я не сомневаюсь и в другом: если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке ввезли в операционную вашей клиники — вы надели бы ваш клеёнчатый фартук, и приказали бы хирургической сестре готовить инструменты, и бинты, и тампоны, и, позабыв обо всех моих смер-



ных грехах, так же точно, как тогда, не обращая внимания на усталость и время, вступили бы в борьбу за мою жизнь.

Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры, потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть, — человеком, цель и назначение которого приносить людям добро, облегчать страдания страждущих.

Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна!

...Очнулся я после повторной операции уже под утро.

Откуда-то, очень издалека, доносились протяжные поющие голоса — последние празднователи расходились по домам. Из окон на мою постель падал странноватый жёлто-молочный свет, и свет этот пронизывал тоненький луч солнца, высвечивая запелёнутую бинтами и скованную лубком — лангеткою — руку и серебряную голову моей жены. Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги.

Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, — сказал я, — мне лучше, Асенька?

— Нет, — сказала она и снова закрыла глаза, — тебе ещё не лучше!

И я успокоился. Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно. И я сказал этому мгновению: остановись, запомнись — ныне, присно и во веки веков! Аминь!

Навсегда запомнись, это мгновение, и совсем не потому, что ты было прекрасно! Ты больше, чем просто прекрасно!

Ты мгновение, ты секунда того высшего душевного покоя, когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не один, что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой так же, как и он связан с ними, и связь эта нерасторжима и определена чем-то высшим, нежели обстоятельства или случай.

Будь благословенно это мгновение — молочно-жёлтый свет, пронизанный солнцем, лёгкое покалывание озноба, словно вспыхивающие в стакане минеральной воды пузырьки, и серебряная голова, лежащая у меня в ногах на больничном байковом одеяле.

И было ещё в моей жизни.

Заснеженная платформа подмосковной станции Перedelкино, гудок приближающейся электрички, спугнувшей

галок с куполов Патриаршего подворья — бывшей вотчины Колычёвых, — и внезапно пришедшие наконец строчки, ключевые строчки песни, посвящённой памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!..

Будь благословенно это мгновение! Останься в памяти, не исчезни!..

И ещё.

Зал Дома учёных в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню «Памяти Пастернака», и вот после заключительных слов случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находились две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным это мгновение!

И ещё.

Я пишу эти главы в Серебряном Бору, под Москвою, в деревянном доме, стоящем над рекою. В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери. И всё-таки я физически чувствую благословенную и тяжёлую тишину. Я приехал в этот дом, когда на земле ещё лежал снег, а потом, за одну ночь, началась удивительная весна.

...Было небо вымазано суриком,  
Белую позёмку гнал апрель.  
Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам,  
Услыхал я первую капель!  
И весна — священного священнее! —  
Вырвалась внезапно из оков,  
И простую тайну причащения  
Угадал я в таянье снегов.  
А когда в тумане, будто в мантии,  
Поднялась над берегом вода,  
Образок Казанской Божьей Матери  
Подарила мне моя Беда!..

Будь благословенно это мгновение! Запомнись, не стинь, останься со мной навсегда!..

Шум за занавесом затих, погас без предупреждения свет, и в тёмном пустом зале снова зазвучал голос Олега Ефремова:

— ...Война! Октябрь тысяча девятьсот сорок четвёртого года. Советская Армия движется с боями на Запад. В сумерки над осаждёнными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают чёрные хлопья пепла, похожие на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнобойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут... Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь!..

В тот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, тёрли кулаком слипающиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем небе и равнодушный женский голос, зовущий Серёнку...

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми.

...Пошёл занавес.

До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов и скамеек соорудить такую сложную декорацию, — но это им удалось. Во всяком случае, я отчётливо помню, что у меня было полное ощущение и вагона, и движущегося поезда, и покачивающихся подвесных коек.

Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потревожить спящих:

— Санитарный поезд. Кригеровский вагон для тяжело раненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посередине. Верхний свет не горит, и в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.

И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую подушку, сжав запёкшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц.

Беспокойно и смутно спят раненые — мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое орудие — к бою! Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!..»

Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колёса, и лишь по временам за окнами, как напоминание об огне, пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Людмила Шутова, молча и тревожно поглядывает на Давида...

Олег Ефремов неторопливо ушёл за кулисы.

### Началось третье действие

Давид (*с закрытыми глазами, ровным, тусклым голосом*). Пить... Пить... Пить дайте... Пить...

Людмила. Ну нельзя же тебе пить... Нельзя, милый! Ну, хочешь, я смочу тебе губы... Хочешь, Давид?

Давид. Пить... Пить дайте... Пить...

На верхней койке, над головой Давида, заворочался старшина Одинцов — скуластый, с рыжеватой щетиной на небритых щеках, с весёлыми от жара, возбуждённо блестящими, очень синими глазами.

Одинцов (*глядя в окно, хрипло, останавливаясь после каждого произнесённого слова*). Сестрица! Ты не знаешь, проехали мы Куреж?

Людмила. Час назад.

Одинцов. Вон что! То-то я гляжу — места вроде знакомые. Скоро, значит, и Сосновка.

Давид. Пить... Пить дайте... Пить...

Одинцов. Переедем сперва мост через реку. Потом лесок будет. А за лесом перегон ещё — и Сосновка... Водокачка, склады дорожные, садочек при станции. А в садочке том — рынок... Родина моя, между прочим!

Людмила. Много говоришь, Одинцов.

Одинцов (*не то засмеялся, не то закашлялся*). Как поезд подойдёт, так бабы, девчонки, огольцы — прямо в окна полезут. Кто с чем. Кто, понимаешь, с яблоками, кто с яичками калёными, кто с варенцом...

Чей-то голос в темноте, коверкая слова, мечтательно проговорил: «А у нас в Каласури шашлык продают! Шампур в окно подадут — ешь!»  
Напротив Одинцова — на верхней койке через проход — поднимает голову «сын полка» Женька Жаворонков, мальчишка лет семнадцати с красивым наглым лицом, с прищуренными глазами и тёмной родинкой над припухлой губой.

Женька (*с развязностью любимца публики*). Душа любезный шашлычка захотел! Эй, кацо, не горюй, тебе завтра ногу рубанут — вот мы шашлычок из неё и сготовим!

По вагону прокатился смехок:

— Ай, Женька!

— Женька скажет!..

Одинцов (*быстро и тихо*). Сколько я этих населённых пунктов в сорок первом оставил, сколько я их обратно отвоевал — сосчитать даже немислимо... Немислимо сосчитать... А Сосновки моей не увижу!

Людмила. Это почему же?

Одинцов (*спокойно*). Не дожить мне, сестрица. Никак не дожить.

Людмила (*сердитым шёпотом*). Ну что ты, Одинцов, глупости болтаешь?!

Людмила поспешно встала, взяла руку Одинцова, сосчитала пульс.

Одинцов. Тяжко.

Людмила. Говоришь много, оттого и тяжко. У тебя лёгкое осколком задето, тебе молчать надо... Неужели не ясно? (*Позвала.*) Ариша!

Из темноты, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, появляется Санитарка, маленькая, круглолицая, в белой косынке, надвинутой на самые брови.

Санитарка. Да, Людмила Васильевна?

Людмила. Кислородную подушку.

Санитарка исчезает и тут же появляется снова с тугой кислородной подушкой в руках.

Санитарка. Вот, Людмила Васильевна.

Людмила (*кинула*). Я сделаю укол, а ты сбегай разыщи доктора Смородина.

Санитарка. Сюда попросить? Хорошо, Людмила Васильевна!

Санитарка убегает. Людмила приставила раструб подушки к губам Одинцова, отвернула кран. Тонко зашипел кислород.

Одинцов. Не надо.

Людмила. Молчи, пожалуйста.

Людмила достала из стерилизатора шприц, разбила ампулу, наполнила шприц маслянистой жидкостью, сделала Одинцову укол.

Одинцов (*деревенеющими губами*). Не надо.

Людмила. Молчи. Сейчас тебе станет легче. Постарайся уснуть.

Одинцов откинулся на подушку. Тишина. Гудит поезд. Постукивают колёса.

Давид (*внезапно открыл глаза*). Людмила, Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый, здесь. Тебе что-нибудь нужно?

Д а в и д. Да. Пить. Нет, нельзя пить! *(После паузы.)* Я шёл по Тульчину, по Рыбаковой балке... Я хотел найти... Я непременно хотел найти... А потом... Я присел на лавочку под акацией, и тут чем-то ударило сверху и... *(Скрипнул зубами.)* Уу-у-у...

Л ю д м и л а. Додик!

Д а в и д. Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а. Здесь, милый.

Д а в и д. Здесь. Всё-таки удивительно, что ты здесь. И Чернышёв. Только на войне бывает такое! Правда?! Ну, рассказывай.

Л ю д м и л а. Про что, Додик?

Д а в и д. Про Таню. Про то, как ты с ней встретишься. И что она тебе сказала. И какой она была.

Л ю д м и л а. Так ведь я уже рассказывала тебе об этом.

Д а в и д. Расскажи ещё. Пока со мной снова не началось. Только громче — а то я что-то совсем плохо слышу. И вижу плохо. Плохо вижу и совсем плохо слышу.

Л ю д м и л а. Это контузия, Додик. Это пройдёт.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а *(медленно, нараспев, как рассказывают сказку)*. Я говорю — это было в Москве, в сорок первом, шестнадцатого октября... Ровно три года назад... Рано утром меня разбудил Серёжка Попов — из ИФЛИ, ты его, наверное, не помнишь — и сказал, что немцы в Истре. Я включила радио — передавали почему-то объявления треста ресторанов и столовых... И музыку... И тогда я решила ехать в военкомат — проситься на фронт... Ты слышишь, Давид?

Д а в и д. Слышу. Рассказывай. Что?

Л ю д м и л а. Я говорю — на улицах было полным-полным народу. И одни куда-то спешили — с вещами, с чемоданами, с подушками. А другие молча стояли у репродукторов и ждали. Ждали, что им хоть что-нибудь скажут... И вдруг объявили: «Передаём мазурку Венявского в исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца...» И тут я увидела Таню. Она стояла под репродуктором — в белом платье, с красным букетиком астр. Очень нарядная. Очень красивая. И слушала, как ты играешь. Я подошла к ней, мы обнялись — всё это как-то само собой получилось, ведь мы и знакомы толком не были — и стали вдвоём слушать, как ты играешь...

Д а в и д. Это была запись... Что?

Людмила. Да, конечно, это была запись. Но доиграть тебе не пришлось. Началась воздушная тревога, и все побежали в убежище, в щели, в парадные. А мы с Таней пошли по улице Горького, и я её спросила, где ты. А она ответила: «Мой муж на фронте...»

Одинцов (*бормочет в забытии*). Мост переедем, лесок переедем, а там и Сосновка... Водокачка, склады дорожные, садочек у станции. Бабы с девчонками яблоками торгуют, яичками калёными, варенцом... Мост переедем, лесок проедем...

Женька (*раздражённо*). А он своё, он своё! Прямо как заведённый!

Давид. Она так и сказала — мой муж? Ты хорошо это помнишь? Не Давид, а именно — муж?

Людмила. Муж.

Давид. Громче... Что?

Людмила. Она сказала — мой муж.

Давид (*слабо улыбнулся*). Милая моя! Ты знаешь, мы поженились в сороковом, в мае... Мне как раз после конкурса комнату дали. На Ленинградском шоссе. Там многие наши получили. И Чернышёв, между прочим. Хорошая комната, двадцать метров. Мы из неё две сделали. А Танька хотела... погоди, так ты говоришь, что она была очень красивая в тот день? И не было заметно?

Людмила. Что?

Давид. Нет, ничего... Значит, она была очень красивая?

Людмила. Очень.

Давид. Правильно. Она всегда очень красивая. Но в какие-то минуты она бывает такой красивой, что просто сердце заходится...

Возвращается Санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Разбудила?

Санитарка. Он с товарищем Чернышёвым в операционной. Сказал — кончит операцию и придёт.

Женька (*громко*). Сестра! Эй, сестра!

Людмила (*обернулась*). Что ты кричишь, Женя? В чём дело?

Женька. Не в «чём дело», а койку мне надо поправить!

Людмила. Ариша, поправь.

Санитарка подходит к Жаворонкову, но Женька со злым лицом грубо отталкивает её.

Женька. Уйди! У тебя руки кривые! Уйди ты к... Сестра!

Людмила (*встала*). Господи, наказание! (*Подошла к Женьке*.) Что тебе? Ты же видишь — я возле тяжёлых дежурю.

Женька (*со внезапно истерическими слезами в голосе*). А тут все тяжёлые! Тут не с чирьями лежат! Вот погоди, я доложу начальнику, что ты со своим лейтенантом как не знаю с кем возишься! (*Передразнивая*.) «Додик, Додик!» И кислород ему, и пантопончик ему... А как другие у тебя пантопон попросят, так выкуси!

Людмила. Не дам я тебе пантопона.

Женька. А я знаю, что не дашь... Я же не еврей!

Людмила. Что-о-о? (*Помолчав, брезгливо и тихо*.) Какая гадость!

Женька. Почему это — гадость? (*Со смешком*.) Правильно майор Зубков в полку у нас говорил. «Евреи, — говорил он, — они своё дело знают! Они и на гражданке, и на войне ближе всех к пирогу садятся...» Это точно!

Он обернулся, ожидая, как обычно, смеха и возгласов одобрения. Но вагон молчит. И только нижний Женькин сосед — ефрейтор Лапшин, немолодой человек с забинтованной головой, — отложил в сторону письмо, которое он читал при слабом свете синего ночника, и с любопытством снизу вверх посмотрел на Женьку.

Лапшин. Точно, говоришь?! (*Покачал головой*.) Ах, Женька ты, Женька! Сколько тебе годков?

Женька. А это к делу не касается! (*Разозлился*.) Брось, Лапшин, понял?! Всякий ефрейтор будет меня учить! Не нарвись я на эту мину чёртову, я бы и сам к ноябрю ефрейтором стал! Мне майор Зубков так и сказал...

Лапшин. Опять майор Зубков?

Женька (*срываясь на крик*). Опять! Да, опять! Не нравится? Он мне вместо отца родного был, если желаешь знать! Он меня из горящего дома спас, он в полк меня записал, солдатом сделал, воевать научил...

Лапшин (*сердито*). Воевать он тебя, может, и научил. А думать не научил! Я вот вторую неделю с тобой еду, разговорчики твои слушаю — и просто диву даюсь! За тобою ухаживают, а ты хамишь... Женщины у тебя все — бабьё, ППЖ... Кикнадзе — душа любезный, Каспарян — карапет и армяшка...

Женька (*чуть струсил*). Да это же я в шутку, чудак-человек! Подумаешь, делов — карапетом назвал! Каспарян и не обижается... Верно, Каспарян? У нас в полку майор Зубков не такое откалывал и...



С другого конца вагона спокойный голос отчётливо и внушительно проговорил: «Он сукин сын, твой майор Зубков! Сукин сын и дурак!»

Женька (*он даже растерялся от ярости.*) Дурак?! Майор Зубков — дурак?! Это кто сказал?..

Спокойный голос. Это я сказал — подполковник Захаров... И довольно! Заткнись, Женька! Дай людям спать!..

Долгое молчание. Гудит поезд. Громяхают колёса.

Женька (*тихо*). Товарищ подполковник, вы не сердитесь! Ведь у меня ни отца, ни матери, товарищ подполковник!..

Молчание. Подавленный Женька натягивает на себя одеяло и отворачивается к стенке. Лапшин улыбается, берёт письмо. Людмила снова садится на табурет возле койки Давида.

Одинцов (*всё глуше и глуше*). Мост проедем, лесок проедем... А там и Сосновка... Стойте, остановите!.. Остановите поезд — дайте сойти!..

Людмила. Что ты, Одинцов? До Сосновки ещё далеко... Ехать и ехать!

Одинцов. Мятою пахнет! Ах, как мятою пахнет! (*Чуть приподнимается.*) Девчоночки мои маленькие, парнишечки мои беленькие — здоровья вам желаю!.. Ах ты Боже мой, до чего же мятой, мятой, мятой отчаянно пахнет!..

Давид. Пить... Людмила!.. Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый.

Давид. Людмила! Слушай, а про что он там всё говорит? Там, наверху... про что?

Людмила. Вспоминает. Родные места его проезжаем. Он и вспоминает.

Давид (*усмехается*). Матросская тишина... У каждого непременно есть своя Матросская тишина... И не бывает так, чтобы не было... Ни черта человек не стоит, если у него нет или не было... И сколько бы он ни прошёл, сколько бы ни проехал — всегда у него есть такая заветная улочка — Матросская тишина, на которой он ещё не успел побывать... А я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке... Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, Додик.

Давид. Я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке и хотел найти... Нет, не могу говорить!

Людмила. Как ты себя чувствуешь?

Давид. Не знаю. Очень пить хочется.

Людмила. Нельзя.

Давид. Глоток... А я помню — у тебя стихи были про глоток воды, верно? Прочти мне.

Людмила (*помедлив*).

Мы пьём молоко и пьём вино,  
И мы с тобою не ждём беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

Давид. Вот как всё сходится... А ещё? Прочти ещё что-нибудь. Мне, когда ты читаешь, легче. Боль легче. И вообще мне с тобой спокойно. Ты спокойная... Быть бы тебе, Людка, врачом. Медиком. (*После паузы.*) Ну, прочти же мне что-нибудь!

Людмила (*задумчиво и печально*). Я позабыла все свои стихи.

Гудит поезд. Громыхают колёса. За дребезжащими окнами вагона всё те же серые предраусветные сумерки.

Одинцов перестал бормотать и закашлялся. Он кашляет каким-то резким, лающим кашлем, сотрясаясь всем телом и разрывая чёрными пальцами рубашку на груди.

Санитарка (*испуганно*). Людмила Васильевна!

Людмила. Одинцов! (*Растерянно оглянулась.*) Ну что же они там так долго?! Вот что, Ариша, ты побудь здесь, а я сбегая потороплю.

Санитарка. Боюсь, Людмила Васильевна!

Людмила (*прикрикнула*). Глупости!

Давид. Людмила?.. Людмила, ты здесь?

Людмила. Сейчас, Додик, сейчас я вернусь... Ариша, ты не уходи никуда, слышишь? Ни на минутку.

Санитарка. Хорошо, Людмила Васильевна.

Людмила. Лейтенанту пить не давай. Губы смочи, если попросит. Сейчас я вернусь.

Людмила поспешно уходит. Одинцов кашляет, рвёт на груди рубашку.

Санитарка смотрит на него расширенными от испуга глазами.

Санитарка. Миленький, потерпи!.. Потерпи!.. Сейчас!.. Миленький, потерпи!..

Одинцов захлёбывается кашлем. Санитарка отворачивается, прижимается лбом к оконному стеклу.

Давид. Пить. Пить дайте!.. Людмила!

Голос. Что тебе нужно, Додик?

Дрожащее и зыбкое пятно света — не то из окна, не то откуда-то сверху — падает на табурет, стоящий возле койки Давида.

Давид. Кто это?.. Кто?.. Это ты, Людмила?

Голос. Нет, это я, Додик.

Давид. Папа?!

В зыбком пятне света возникает Абрам Ильич Шварц. Он сидит на табурете, наклонившись к Давиду, всё в том же лучшем своём чёрном костюме, в котором он приезжал когда-то в Москву. И всё та же старомодная касторовая шляпа лежит у него на коленях. И всё тот же серебристый пушок вокруг головы. Он стал совсем прозрачным и лёгким, этот пушок, и только там, с левой стороны, где прошла пуля, виден чёрный след запекшейся крови. К рукаву пиджака пришпилена английской булавкой грязная повязка с жёлтой шестиконечной звездой и чёрной надписью «Юде».

Шварц. Здравствуй, мой дорогой! Шолом алейхем!

Давид. Папа, ты?! Откуда ты?.. Почему ты здесь?.. Ты живой, папа?..

Шварц (*спокойно и грустно*). Нет, милый. Меня убили. Год тому назад. Ровно год тому назад. Я думал, что ты знаешь, милый, об этом.

Давид. Да, я знаю, но мне показалось... (*Вскрикивает.*) Но ведь я вижу тебя! Почему же я вижу тебя?.. Ты чудисься мне, да?

Шварц. Возможно, Додик! (*Улыбнулся.*) Человек не таракан, ему всегда что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам — удачи. (*После паузы.*) И даже мне в тот самый последний день, когда нас вели под конвоем на Вокзальную площадь, — мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.

Давид (*строго*). Как это было, папа?

Шварц. Это было совсем просто, милый. В один прекрасный день по всему гетто развесили объявления, что нас отправляют на поселение в Польшу и что мы должны в воскресенье с вещами явиться на Вокзальную площадь...

Давид. И ты понял?

Шварц. Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись и такие, которые поверили... На одного умного всегда найдутся два с половиной дурака!..

Давид. А что было дальше?

Шварц. Ну, в воскресенье мы все собрались у выхода из нашего гетто, нас пересчитали, построили в колонну и повели! (*Усмехнулся.*) Это же всё-таки Тульчин, а не Киев. В Киеве, говорят, для этого дела подавали автобусы... А нас повели... И мы шли — женщины, старики и дети... Был дождь и ветер... И мне помогали идти — этот каменщик из дома восемь, Наум Шехтели, и его жена Маша, сестра Филимонова... И вот мы шли, шли... И лил дождь, и лаяли собаки, и плакали дети... А на улицах было пусто... Совсем пусто... Все попрятались по домам, и

только, когда мы проходили, шевелились занавески на окнах... И этому как раз я был рад!

Д а в и д. Почему?

Ш в а р ц (*помолчав*). Понимаешь ли, милый, — я родился в Тульчине. И жил в Тульчине. И умер в Тульчине. Я почти всех знал в нашем городе, и мне не хотелось, чтобы старые мои знакомые, увидев меня в тот день, отворачивались и прятали глаза... Ну, и нас привели на Вокзальную площадь. И снова пересчитали и приказали сдать вещи. А мне нечего было сдавать. Я ничего не взял. Только твою детскую скрипочку, твою половинку, на которой ты когда-то сыграл первое упражнение Ауэра. Только твою скрипочку и мой альбом с фотографиями. А с немцами был Филимонов... Оказалось, между прочим, что его фамилия Филимон... И даже фон Филимон... Так, во всяком случае, он утверждал! И когда этот Филимон увидел у меня в руках скрипочку, он засмеялся и крикнул: «А ну-ка, пархатый чёрт, сыграй нам кадыш! Сыграй нам поминальную молитву, пархатый чёрт!»

Д а в и д. Сволочь!

Ш в а р ц. А потом он заметил свою сестру Машу. И он сказал ей: «Зачем ты здесь?.. Ты же немка, дура, уходи!» Но она сказала: «Я русская», — и обняла своего Наума, и не ушла!.. Ах, Маша, Маша! Ты помнишь, какая она была красивая, Додик? Я как-то спросил у неё — за что она любит своего рыжего Наума? А она засмеялась и ответила... Знаешь что? «Меня все называют Машей, — сказала она, — но никто, ни один человек на свете не умеет так говорить “Маша”, как это умеет мой Наум». Ах, Маша...

Д а в и д (*сквозь сжатые зубы*). Дальше! Что было дальше?!

Ш в а р ц. Мы стояли. И лил дождь. И где-то далеко гудел поезд. А немцы, очевидно, кого-то ждали. Какого-то начальника. И тогда этот Филимон снова крикнул: «Ну, сыграй же нам кадыш, пархатый чёрт!» И знаешь, Додик, я вдруг ужасно рассердился... И на этого Филимона, и на немцев, и даже на самого себя! Ну почему я стою в грязи, с опущенной головой, и почему мне страшно, и почему у меня дрожат руки... И я поднял твою скрипочку, твою половинку, на которой ты учился играть упражнения Ауэра, и подбежал к господину Филимону, и ударил его этой скрипочкой по морде, и даже успел крикнуть: «Когда вернутся наши, они повесят тебя, как бешеную собаку!»

Д а в и д (*яростно*). А дальше? Что было дальше?

Шварц (*после паузы*). Это всё. Для меня уже не было никакого «дальше». Дальше, милый, начинается твоё «дальше».

Давид (*сдержанно*). Да, пожалуй.

Шварц. Что же было дальше, Давид?

Давид (*приподнялся*). Я расскажу тебе... Хорошо!.. Слушай, слушай, что было дальше! Мы взяли Тульчин после семи суток непрерывных сумасшедших боёв...

Шварц. Вы пришли?

Давид. Мы пришли, папа. Мы выбили фрицев, к дьяволовой бабушке, куда-то за Чукаринские болота, и на восьмые сутки под вечер вошли в Тульчин!.. Знаешь, я как-то не задумывался прежде над тем, что значат слова «земля отцов»! Но когда наша головная машина остановилась на площади Декабристов и я услышал запах Тульчина, увидел землю Тульчина, небо Тульчина и в небе не самолёт, нет, и не следы трассирующих пуль — от края до края, — а сизый голубь, первый сизый голубь, которого выпустил в нашу честь мальчишка с Рыбаковой балки... И когда мой шофёр обернулся ко мне и сказал: «Вот вы и на родине, товарищ старший лейтенант...»

Шварц (*удивлённо и радостно*). Ты старший лейтенант, Додик?

Давид. Да, папа.

Шварц. О-о-о, милый, поздравляю! Старший лейтенант — это большой чин! (*Усмехнулся*.) Прости, я тебя перебил... Что же было дальше?

Давид. А на следующее утро мои ребята привели господина Филимона... Мы уже кое-что слышали про его «подвиги» — он пытался скрыться, но мои ребята поймали его и привели в отдел...

Шварц. И ты его видел?

Давид. Видел.

Шварц. А он тебя видел?

Давид. Видел. Он только меня одного и видел. Он смотрел на меня во все глаза. Хотел узнать и не мог. Но я ему напомнил, кто я такой. Я сказал ему: «Да, да, это я — Давид Шварц, сын Абрама Ильича Шварца с Рыбаковой балки...»

Шварц. Додик! (*Помедлив*.) Ну, а потом?

Давид (*со злой улыбкой*). А потом всё было точно так, как ты ему напророчил!

Шварц (*тихо*). Вы его...

Д а в и д (*кивнул*). Да. На Вокзальной площади. И в тот вечер, когда всё уже было кончено, ко мне пришла его сестра Маша.

Ш в а р ц. Она осталась жива?

Д а в и д. Она осталась жива. Её только ранило. Два дня и две ночи она пролежала там — с вами, во рву... А на третью ночь она выбралась и приползла домой... Её прятали по очереди Митя Жучков и Танькины родные — Сычёвы... И вот она пришла ко мне, и мы отправились с нею вдвоём за линию железной дороги, к разъезду...

Ш в а р ц (*мягко*). Не надо об этом, Додик!

Д а в и д. Надо. (*Прищурив глаза.*) Мейер Вольф всю жизнь копил деньги, чтобы увидеть Стену плача. Он видел теперь ее, эту Стену. Она находится за линией железной дороги, на разъезде Тульчин-товарный. Это простая пожарная стена, кирпичный брандмауэр, щербатый от автоматных очередей. И к этой стене по вечерам приходит плакать русская женщина — сестра предателя, жена честного человека, — красавица Маша Филимонова.

Ш в а р ц. Дальше? Что было дальше, Давид?

Д а в и д. А потом, через день, меня контузило, папа. И ранило.

Ш в а р ц (*медленно, боясь услышать ответ*). Куда тебя ранило?

Д а в и д. В плечо. И в живот. Прости меня. Много раз я был перед тобой виноват. Особенно в тот вечер, когда ты приехал в Москву...

Ш в а р ц. Я забыл об этом, Давид...

Д а в и д (*крикнул*). Но я помню!

Ш в а р ц (*мягко, но настойчиво*). И ты тоже должен забыть! Мы оба виноваты. И я даже больше. Много больше. Потому что ведь это я когда-то заставил тебя поверить в то, что сначала — счастье, удача, а уже потом всё остальное... Нет, Додик, нет! (*Покачал головой, улыбнулся.*) Знаешь, о ком я сейчас подумал? О моём внучке, о твоём маленьком сыне! Ах, как он будет гордиться тобой, Додик! И уж он-то обязательно скажет людям: «Это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа — Давид Шварц, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, награждённый орденами и медалями...» И тебе тоже не нужно будет ни лгать, ни ловчить для того, чтобы твой маленький сын узнал, как выглядит счастье... Что? Разве не так?

Д а в и д. Да, папа, да.

Шварц. Кстати... Меня давно мучает один вопрос... Как-то раз из моего альбома пропали три открытки... И я не поверил тебе, когда ты сказал, что не брал их...

Давид. Я солгал тебе. Я их взял.

Шварц (*помолчав, строго*). Надеюсь, что больше этого никогда не повторится! (*Прислушался к чему-то, что слышно только ему одному, встал.*) Ну, мне пора!

Давид. Ты уходишь уже?

Шварц. Мне пора.

Давид. Как скоро! Но ведь мы ещё увидимся, правда?

Шварц. Нет, милый. Больше мы уже не увидимся. Оттуда не ходят поезда, не приносят писем и телеграмм. Мы не увидимся больше. Может быть, я тебе приснюсь... Впрочем, я не люблю, когда люди вспоминают и рассказывают свои сны... Мало ли что кому может присниться! Прощай, мой родной!..

Давид. Папа!

Шварц. Прощай.

Давид. Папа, погоди... Папа!..

Но Абрама Ильича уже нет. Исчезает и дрожащее, зыбкое пятно света, падавшее на табурет. Гудит поезд. Стук колёс становится громче. Это санитары выносят в тамбур носилки, покрытые белой простыней. Людмила дрожащими руками торопливо прибирает опустевшую койку Одицова, разглаживает одеяло, взбивает подушку.

Захлопывается дверь в тамбур. Тишина. За окнами вагона понемногу начинает светать. Людмила садится на табурет возле койки Давида.

Давид. Папа!.. Папа, я хотел тебе сказать...

Людмила. Что, Додик? Что ты?

Давид. Я хотел тебе сказать... Нет... Это ты, Люда?

Людмила. Да, милый.

Давид. Громче. Я ничего не слышу. Что?.. Как долго!.. Что?.. Это ты, Люда?

Людмила. Да. Всё будет хорошо, милый.

Давид. Громче... Что?

Людмила (*тихо*). Всё будет хорошо... Я тебя вѣхожу! Я вѣхожу тебя, мой любимый, ненаглядный мой. Ты будешь слышать. Ты будешь видеть. Ты встретишься с Таней... (*Сжала руки.*) Ах, какая простая беда приключилась со мной — я люблю тебя, а ты любишь свою красивую Таню...

Давид. Громче.

Людмила (*ещё тише*). А ведь я всё придумала, милый. Я не видела Таню в тот день, шестнадцатого октября. Я даже не знаю, где она была и что она делала. И это я одна стояла под репродуктором на площади Пушкина и

слушала, как ты играешь мазурку Венявского. И редела в три ручья, как самая последняя дура...

Сгорбив плечи и шмыгая носом, входит маленькая Санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Отнесли, Ариша?

Санитарка. Отнесли, Людмила Васильевна.

Санитарка ещё раз шмыгает носом и отворачивается в сторону, к окну.

Давид. Люда!

Людмила. Что, милый?

Давид. Где мы сейчас едем, Люда?

Людмила. Подъезжаем к реке. Лодки качаются у причала. А на берегу стоит маленький домик. Совсем игрушечный. Поблескивают окна. Из трубы идёт дым. Там, верно, живёт бакенщик! *(Вздыхнула.)* Если бы я могла, милый, — я остановила бы сейчас поезд, взяла тебя на руки, постучалась бы в двери этого домика... Многим, я думаю, многим и не один раз это приходило в голову! И ещё никто и никогда не отважился почему-то на это!! А ведь как, казалось бы, просто — остановить поезд, соскочить вдвоём со ступенек вагона...

Давид *(неожиданно отчетливо и громко)*. Земля!.. Большая моя земля!..

Людмила. Что ты говоришь, Додик? О чём ты?

Долгое молчание. Снова громче и резче застучали колёса, замелькали за окнами чугунные стропила моста.

Санитарка *(странным, сдавленным голосом)*. Мост, Людмила Васильевна!

Людмила. Ну и что?

Санитарка. Одинцов говорил — помните?

Гудит поезд. Мелькают за окнами вагона стропила моста. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тревожный шёпот прокатывается по вагону:

— Мост проезжаем!

— Старшина-то всё увидеть хотел!

— Мост!

— Мост!

Людмила *(прислушиваясь)*. Проехали.

Санитарка. А теперь лесок будет!..

Тишина. Стучат колёса. Молчание.

Людмила. Проехали лесок...

Санитарка. Водокачка... Склады дорожные...



И весь вагон повторяет вслед за нею:

- Водокачка!
- Склады дорожные!
- Водокачка!

Санитарка. Сосновка!

И едва только произносит она это слово, как в окна вагона врывается стремительный разнобой голосов:

- Яички калёные, яички!
- Варенец, варенец!
- Покупайте яблоки, братья и сёстры! Давай налетай, полтора рубля штука, на десять рублей...

Но поезд, не останавливаясь, пронесётся мимо. Замирают вдалеке голоса. Стучат колёса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыхаясь и захлёбываясь слезами: «А-а-а!.. Не хочу, не хочу!.. А-а-а!»

Людмила (*поспешно встала, прошла в конец вагона*). Что с вами, Каспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..

Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит Иван Кузьмич Чернышёв — в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.

Чернышёв. Людмила Васильевна! У вас радио включено?

Людмила. Нет, товарищ начальник... А что? Письма из дома?

Чернышёв. Сообщение Информбюро. Сейчас должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в неисправности — я не всё расслышал! (*Положил руку Людмиле на плечо, тихо проговорил.*) Держитесь, дружок, на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!

Людмила. Стараюсь! (*Позвала.*) Ариша! Включи радио!

Санитарка. Письма из дома?

Людмила. Сообщение Информбюро.

Санитарка включает репродуктор. Тишина. Стук метронома.

Чернышёв. Как Давид?

Людмила. Плохо.

Чернышёв (*наклонился к Давиду*). Здравствуй, братец. Здравствуй, Давид... Это я — Чернышёв... Ты слышишь меня?

Людмила (*после паузы*). Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..

Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора: «От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октя-

бря, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населённых пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбиннен и Гольдап... Наступление продолжается!..»

Загремел торжественный марш.

Чернышёв (*взмахнул рукой*). Товарищи! Вот... Вот... Вот что мы сделали! (*У него перехватило дыхание.*) Я поздравляю вас!.. Вот... Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!

Гремит марш. Постукивают колёса. Протяжно гудит паровоз.

Занавес

## Четвертая глава

В конце третьего действия что-то случилось с занавесом.

Он закрывался медленно, судорожными рывками, и в ещё тёмном зале мне послышалось, что кто-то всхлипывает. Я помнил остроту Генриха Гейне, что читателя или зрителя легче всего заставить плакать — для этого достаточно обыкновенной луковицы.

Но после того как в течение целых трёх действий на лицах этих зрителей в этом зале не отразилось ровным счётом ничего, мысль о том, что кого-то из них всё-таки прошибла слеза, доставила мне минутное горькое удовлетворение.

Впрочем, когда занавес наконец закрылся и в зале включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно расхватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством запахав платочек в рукав, она обернулась к Солодовникову и сказала с искренним огорчением:

— Как это всё фальшиво!.. Ну ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня, как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчётливо и громко:

— Дура!

Жена вцепилась мне рукою в плечо.

Бутылочная и кирпичная внимательно, словно хорошенько запоминая на будущее, посмотрели на меня, кирпичная сокрушённо покачала головой, а бутылочная совершенно неожиданно улыбнулась.

Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоём в её служебном кабинете на Старой площади, в здании ЦК КПСС.

Уступив настояниям Олега Ефремова, который бессмысленно продолжал надеяться, что ещё можно что-то спасти, я позвонил бутылочной и попросил разрешения прийти к ней побеседовать.

Как ни странно, она чрезвычайно охотно согласилась на свидание. И даже без обычного чиновного «позвоните на будущей недельке». Нет, она сказала:

— Приходите, пожалуйста. Завтра вам удобно?

— Да.

— Ну, давайте завтра.

И вот мы сидим с нею вдвоём в её служебном кабинете. Очень, как выражаются в пивных, культурно сидим. Соколова — за столом, в кресле, я — напротив на стуле. За окном — серенький зимний день. Бесшумно падает мелкий снежок. И вообще вокруг как-то удивительно, почти неправдоподобно тихо. Так уж положено в этом здании — говорить негромко, по коридорам ходить чуть ли не на цыпочках. Здесь не смеются и не балагурят, здесь даже телефонные звонки звенят настороженно-приглушённо.

Здесь сердце и мозг страны, здесь её святая святых!

И в этой святой святых я услышал такие слова — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шёл спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это еврей-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, вы не перебивайте меня! Вы ведь ко мне пришли, чтобы моё мнение выслушать, верно? Вот я вам его и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу.

— Еврейский вопрос, Александр Арка-ди-е-вич... — Она необыкновенно тщательно, по словам, выговаривала моё отчество. — Это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось, — когда русские люди зализывали, что называется, раны, боролись с разрухой, с голодом, представители еврейской национальности в буквальном смысле слова заполнили университеты, вузы, рабфаки...

Вот и получился перекосяк! Возьмите, товарищ Галич, к примеру, кино... — Она сделала паузу и, понизив голос, почти шёпотом проговорила: — Ведь одни же евреи! — Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня: — Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождавшись моего ответа, твёрдо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала, — будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Чепуха, если ещё не хуже! Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но... — Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту. — Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим! Хотите, обижайтесь на нас, хотите, жалуйтесь, — но предоставим!..

Так впервые зимою 1958 года во вполне дикарском изложении бутылочной Соколовой — инструктора Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии в целом ряде выступлений, статей и даже в докторской диссертации преподавателя Горьковского университета, некоего Мишина — напечатанной, кстати, отдельной книгой в семидесятом году под названием «Общественный прогресс», — теория эта получит своё вполне наукообразное оформление. Впрочем, от наукообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет всё то же вечное «Бей жидов, спасай Россию!», всё то же стремление к созданию гетто — правда, нового типа, такого интеллектуального гетто, которое оградит наши больницы и институты, наши издательства и редакции, наши киностудии и театры от проникновения в них представителей сионистской пятой колонны.

После шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем обо всём этом заговорят, уже не стесняясь, в полный голос, открытым текстом...

...А Соколова, покончив с вводной частью, перешла наконец непосредственно к моей пьесе:

— Вот у вас, товарищ Галич, есть там сцена в санитарном поезде... Я сказала, что в ней всё фальшиво, а вы меня за это «дурой» обругали!

Я снова попытался сделать не слишком искренний протестующий жест, и Соколова снова не дала мне возразить:

— Нет, нет, вы не подумайте, что я в обиде на вас! Бывает — вырвется слово, потом сам не рад, да уж поздно! Не в этом, Александр Ар-ка-ди-е-вич, дело! Давайте мы лучше разберём с вами эту сцену! Кто в ней главный герой? Скрипач этот ваш, Додик! И что же получается? Когда в конце диктор читает правительственное сообщение и комиссар говорит — вот, дескать, что мы с вами сделали, — то получается, что это Додик всё сделал?! — Она горестно усмехнулась. — А с папашей у вас и вовсе полная путаница! То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу! Да не было этого ничего, товарищ Галич, не было! Я признаю — еврейский народ очень пострадал в войну, это так!.. Но ведь, между прочим, и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю — не в регулярных частях, так в партизанских, — били фашистов, гнали их, уничтожали... И стар, понимаете, и мал! Возьмите хотя бы краснодонских героев! Дети, а каких делов понаделали! А евреи? Шли, как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу, — шли покорно на убой — молодые люди, здоровые... Шли и не сопротивлялись! Трагедия? Да! Но для русского человека, Александр Ар-ка-ди-е-вич, есть в этой трагедии что-то глубоко унижительное, стыдное...

И тут со мною что-то случилось!

Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал её слов, не видел её лица.

Я увидел другое, прекрасное в своём трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актёра Соломона Михайловича Михоэлса. В своём театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы — документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто.

...Всхлипывая, он всё перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своём огромном столе, всё перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаюсь найти какую-то, ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михоэлс, — никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!

...Уходит наш поезд в Освенцим,  
Наш поезд уходит в Освенцим —  
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка насмешливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэlsa я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукe (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью) и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошёл через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Ещё накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слёзы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила своё существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

...Откуда-то из липкого тумана, из болотной хляби, мерзкий, словно его соскребли со стены привокзального сортира, прозвучал голос Соколовой:

— А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоялся — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же полу-

чится? Получится, что мы сами, своими руками, как говорится, даём повод и для сионистских, и для антисемитских выходов...

Но я уже опять перестал слушать её и слышать.

...Сначала заиграл духовой оркестр — песни Дунаевского и старинные вальсы. Потом зажглись круглые матовые фонари, заблестел лёд, зазвенели коньки — и закружились, понеслись всё быстрее и быстрее нарядные фигурки конькобежцев.

В начале тридцатых годов мы переехали из венежитовского дома на Малую Бронную, и моим миром стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая и Малая Бронная и, конечно же, Патриаршие пруды: летом — зелёный сквер с прудом и лодочной станцией, а зимой — каток.

Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!

Вьюга листья на крыльцо намела,  
Глупый ворон прилетел под окно  
И выкаркивает мне номера  
Телефонов, что умолкли давно!  
Словно встретились во мгле полюса,  
Прозвенели над огнём топоры —  
Оживают в тишине голоса  
Телефонов довоенной поры!  
И внезапно, обретая черты,  
Шепелявит в телефон шепоток:  
— Пять — тринадцать — сорок три? Это ты?  
Ровно в восемь приходи на каток!..

И, подхватив чемоданчик (а ходить на каток без чемоданчика считалось дурным тоном), как бы я ни устал или ни был занят, я мчался на Патриаршие пруды.

Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсуждались планы на будущее.

И всё это под шум, смех, звон коньков и похрипывающее духового оркестра, повторявшего раза три в вечер свой коронный номер — вальс «На сопках Маньчжурии»:

Спит гаолян,  
Сопки покрыты мглой...

В последнюю предвоенную зиму на нашем катке появилась новая девушка, которую никто не знал. Причём появилась она и как-то внезапно, и как-то очень определённо.

Мой приятель Яшка Лифшиц — в сорок девятом году он будет расстрелян в Лефортовской тюрьме как враг на-



рода и не то японский, не то английский шпион — сказал про неё:

— Вот её не было — и вот она есть!

Да, она была, она существовала — тоненькая, золото-волосая, с удивительными прозрачно-синими глазами. И одета она была тоже для тех лет необыкновенно: золотистые волосы перехвачены широкой белой лентой, белый свитер и короткая, торчком, похожая на балетную пачку белая юбка.

Через несколько дней после первого появления этой девушки на Патриарших прудах всё тот же всеведущий Яшка сообщил нам в раздевалке катка всё, что ему удалось узнать о ней:

— Зовут её Лия... Фамилия — Канторович... Отец — еврей, наверное... А мать была немка, но мать умерла... Она много лет прожила в Австрии, отец её там в торгпредстве работал... Они вон в том доме живут — напротив катка...

Это были и вправду чрезвычайно ценные сведения. И самым ценным было то, что Лия жила в доме, выходившем окнами на Патриаршие пруды, и, стало быть, появление её на нашем катке не было случайным — зачем ей ездить в Парк культуры или на Петровку, на каток «Динамо»?!

К этому катку на Петровке мы испытывали откровенное, давнее и стойкое недоброжелательство. Мы считали, что на этот каток ходят одни пижоны — с Кузнецкого моста и Столешникова переулка, и ходят не столько кататься на коньках, сколько глазеть на знаменитых завсегдаев — актёров и спортсменов.

На нашем катке знаменитости не бывали — здесь мы сами были знаменитостями.

В тот же день после Яшкиного сообщения мы познакомились с Лией. Мы просто подъехали всей компанией к скамейке, на которой она отдыхала, остановились и хором сказали:

— Здравствуйте, Лия, мы хотим с вами познакомиться!

— Очень приятно, — серьёзно ответила Лия, — а кто вы такие?

Мы по очереди начали представляться, но Лия улыбнулась.

— Не надо, не надо! Я буду знакомиться постепенно!..

Так, естественно и спокойно — а она всё делала естественно и спокойно, — Лия стала полноправным членом нашей компании.

Мы звонили ей по телефону — сообщали время, когда придём на каток, иногда провожали её все вместе до дома, но никто из нас в неё почему-то не влюблялся.

Лия была Лией — самой красивой, самой, пожалуй, умной из всех нас и немножко загадочной, и влюблялись мы в девушек попроще и попонятнее.

Однажды — это было в январе сорок первого года — ещё задолго до закрытия катка Лия сказала мне:

— Знаешь, я что-то сегодня устала! Проводишь меня?

— Хорошо, — сказал я с некоторым недоумением, так как обычно мы уходили с катка самыми последними, когда оркестранты начинали закидывать в чехлы свои тромбоны и трубы и один за другим гасли матовые шары-фонари. — Сейчас я скажу ребятам!

— Не надо, — сказала Лия, — проводи меня один.

...Мы медленно шли с нею по дорожкам сквера. Мы шли, молчали, и весёлые голоса, доносившиеся с катка, звуки музыки словно подчёркивали тишину нашего молчания и поскрипывание снега под ногами.

Неожиданно Лия спросила:

— Это правда, что ты пишешь стихи?

— Да.

— Прочти что-нибудь.

Я подумал и прочёл стихи, которые когда-то хвалил Багрицкий, — стихи о тютчевской усадьбе в Муранове.

Стихи эти, как и большинство стихов той поры, у меня не сохранились, теперь я их уже и не помню, помню только одну строфу:

...А здесь с головы и до самых пят  
Чужой нежилой уют,  
Здесь даже вещи не просто скрипят,  
А словно псалмы поют!..

— Ещё! — потребовала Лия.

Я прочёл что-то ещё.

— А зачем ты работаешь в театре? — спросила Лия.

Я пожал плечами.

— Интересно.

— Какая чушь! — вздохнула Лия.

Мы подошли к подъезду её дома, остановились. Лия посмотрела на меня снизу вверх — я уже вымахал тогда все свои сто восемьдесят три сантиметра, и золотая Лиина голова едва доходила мне до плеча — и сказала:

— Мне понравились твои стихи... И вообще ты мне немножко нравишься! Но только ты как-то совершенно

не умеешь думать!.. — Она усмехнулась. — Вот мне и придётся хорошенько подумать — за тебя и за меня.

— О чём? — тупо спросил я.

Лия не ответила.

— Я позвоню тебе завтра, — сказал я.

— Нет, — сказала Лия, — ты не звони... Я сама тебе позвоню. Но, наверное, не скоро — когда всё обдумаю.

Она оглянулась и неожиданно приказала:

— Поцелуй меня!

Являя собой вполне идиотское зрелище: в одной руке у меня был Лиин чемоданчик, а в другой руке — мой, я наклонился и поцеловал Лию в холодную щёку и краешек губ. Она снова снизу вверх посмотрела на меня, засмеялась, выхватила свой чемоданчик, показала мне язык и убежала.

И всё-таки я позвонил ей первым — позвонил и пригласил её на премьеру «Города на заре».

— Хорошо! — сказала Лия. — Мне не хочется, но я приду!

...Когда закончился спектакль, я быстро разгримировался, переоделся и вышел в фойе, где кипела возникшая стихийно дискуссия: что-то кричал, размахивая руками, поэт Павел Антокольский, что-то гудел драматург Александр Гладков, ребята из ИФЛИ пели хором песню из нашего спектакля:

У берёзки мы прощались,  
Уезжал я далеко,  
Говорила, что любила,  
Что расстаться нелегко!..

А Лия стояла в стороне, совсем одна, опершись локтями на подоконник, какая-то неправдоподобно красивая и грустная, в тёмном платье, в туфельках на высоких каблуках.

— Лия, — задыхаясь, сказал я, — поедem с нами, хорошо?! Мы сейчас все к Севке Багрицкому собираемcя... Поедем?

— Будете праздновать? — насмешливо спросила Лия.

— Да, — сказал я, — а что?

— А я не хочу с вами праздновать, — с необычной резкостью сказала Лия. — Мне не понравился ваш спектакль! Мне не понравилось, как ты играешь!

Я обиделся и, как всегда, не сумел этого скрыть. В спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого

железобетонный старый большевик Багров и другие «хорошие» комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован.

— Вернее, мне не понравилось — что ты играешь! — сама себя поправила Лия, увидев моё обиженное лицо. — Как ты можешь — такое играть?! Я же говорила, что ты совершенно, совершенно не умеешь думать!.. И вот что ещё — я поняла, что у нас ничего не получится! Ты мальчишка, а я женщина...

— Что значит — женщина?! — нетерпеливо спросил я. Я спешил: Севка с ребятами — и среди них девушка, которая мне очень нравилась, — уже ждали меня внизу, у меня не было ни времени, ни желания выяснять с Лией отношения.

— А ты не знаешь, что это значит? — усмехнулась Лия и с вызовом вскинула голову. — Я спала с женщиной, понятно тебе! Со взрослым женщиной!.. — Она легонько толкнула меня ладошкой в грудь. — Иди! Иди празднуй!..

И я ушёл. И мы уже никогда больше не встречались.

Несколько раз я звонил Лии, но она была очень занята, готовилась к весенней сессии, да я и сам был очень занят — через день по вечерам мы играли спектакль, в первой половине дня с Исаем Кузнецовым и Севкой дописывали пьесу «Дуэль», начинали репетиции «Рюи Блаза» Гюго.

...Недели через две после начала войны мама сказала, что ко мне заходила прощаться необыкновенно красивая девушка, просила передать мне привет и сказать, что ей очень жалко.

А почему и чего было жалко Лие, не понял ни я, ни тем более мама.

Лия ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу она вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмой был тяжело контужен командир роты, Лия оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку.

Я уверен, что она не кричала «За Родину, за Сталина!» или «Смерть немецким оккупантам!». Конечно же, нет! Она сказала что-нибудь очень простое, что-нибудь вроде того, что говорила обычно в те давние-давние времена, когда мы выходили из раздевалки на наши Патриаршие пруды и Лия, постукав коньком о лёд, весело бросала нам:

— Ребята, за мной!..

Уже в сентябре сорок первого года Лия была убита. Посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза.

...Снова возник голос Соколовой:

— Вот почему, товарищ Галич, я и сказала после третьего действия, что всё это насквозь фальшиво!.. Всякая пьеса, Александр Ар-ка-ди-е-вич, какая бы она ни была — мне лично ваша пьеса кажется плохой пьесой, — но всё равно всякая пьеса даёт обобщённые типы... У вас они тоже обобщённые — но неправильно! Ну, насчёт героизма и всего такого прочего!.. Неправильные обобщения!..

Она встала, давая понять, что на этом наша беседа с нею закончена.

— Мы, — сказала она, подчёркивая это «мы» и голосом, и интонацией, и даже телодвижением, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем! Мы её не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запрещать! — но мы её не рекомендуем! Рекомендовать её — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью!..

...По длинному и чистому, стерильно чистому коридору я попал на лестничную площадку, спустился вниз, отдал мордастому и очень вежливому охраннику свой разовый пропуск и вышел на улицу.

Дни стояли короткие — февраль, уже смеркалось, попрежнему падал с неба мелкий снежок, проезжали машины с включёнными фарами, дворники посыпали тротуары крупной серой солью.

Горе тебе, Карфаген!

...Я медленно шёл до Китайскому проезду к площади Держинского. Я был слегка оглушён всем, что сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно — скорее противно!

К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаниях, где говорились высокие слова и обдeldывались мелкие делишки.

Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, мне до сих пор не приходилось ещё ни видеть, ни слышать.

Со мной — о моей пьесе, о проблемах типического и национальном вопросе — говорила, в сущности, та самая

знаменитая кухарка, которая, по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.

...В раннем детстве, в первых классах школы, мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:

Чтобы каждая кухарка  
Не коптела б, как дикарка,  
А училась непременно  
Управлять страной отменно!..

Вот она и научилась! Вот она и управляет!

Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!

А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?!

Она и разоткровенничалась. И были в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой власти не имущим.

И всё-таки, всё-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной, — Соколова мне в тот день не сказала.

Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела ещё выразить его в слове, но она уже чувствовала его — тем особым, обострённым чутьём животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.

И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе, — к вопросу о чрезвычайно широкой и хитроумной системе создания всякого рода неравенств, каковая система, по искреннему убеждению соколовых обоого пола, и есть способ «отменного» управления государством.

...Вечерами по загородным шоссе с не предусмотренной автоинспекцией скоростью мчатся машины — чёрные «Волги», чёрные «Чайки», чёрные «ЗИЛы». С основного шоссе они лихо и круто сворачивают на неразличимые

для неопытного глаза асфальтовые тропинки — и тогда, позванивая, поднимаются шлагбаумы, отворяются ворота, начинается суетиться охрана, преисполненная сознанием ответственности исполняемого ею государственного долга. Потом, через некоторое время, всё затихает.

Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек: «Посторонним вход воспрещён!»

Но как бывают разными запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского кирпича и вооружённой охраны, так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал, или, как его называют, «обслуга», — человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебьются и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» — человека два, и кино приходится смотреть в общем — разумеется, тоже закрытом для простых смертных — кинозале.

Хитроумнейшая система!

Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним — скажем, розовым и продолговатым — вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим — допустим, зелёным и квадратным — извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не слыхали, где лучший сорт сигарет — дубовые «Столичные» и обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.

...Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.

Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».

И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососиной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:

— Ну, я-то понимаю, почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге — не из наших... Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться — выпила чаю, покушала городской колбасы — и, пожалуйста, вспышка гастрита!..

Вот ведь оно как — уже не принимают, не переваривают их желудки «городскую» колбасу!

Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.

Иметь розовый пропуск — это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы с политической и сексуальной «малинкой», где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счёт — то бишь на счёт обладателей зелёных пропусков и прочих — ездят в заграничные командировки.

Вот и попробуйте теперь сравнить — куда там! — страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтой современного Башмачкина, обладателя зелёного пропуска, о пропуске розовом!

Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать — почешет, в дерьмо нырнуть — нырнёт, прикажи дать по рылу «кому совсем невиноватому» — даст, за милую душу даст! Лишь бы держать на потной ладони этот розовый продолговатый выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир — и чтобы на этом пропуске таким красивым, с завитушками, почерком было написано твоё собственное имя!..

А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит — попробуйте-ка его отнять! Тут уж он не только по рылу даст — тут он на что угодно пойдёт: на любую подлость и преступление, на любой донос и предательство.

И всё-таки — случается — отнимают!

Всё на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуска!

И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги «городскими» вилками, ложками и тарелками!

Страшно!

И ноют, мучительно ноют сердца соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов — а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!



Оказалось, что такое неравенство — есть!

Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национальности, а вот поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!

Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости — неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.

Разумеется, известно оно было давно, и не соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности они об этом неравенстве не то чтобы позабыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились...

А ведь я-то в своей пьесе «Матросская тишина» пытался по наивности и глупости доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности путь ассимиляции — не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.

Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женится некий капитан Скоробогатенко — об этом в четвёртом действии расскажет старуха Гуревич.

Кстати, по настоянию Ефремова в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская тишина», а «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии, словам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.

Его земля, изволите ли видеть!

Сам того не понимая, я посягнул на святыню, покусил на основу основ — вот чего не сказала мне Соколова.

Повторяю, в тот год она ещё, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это ещё только носилось в воздухе, формулировки ещё не были найдены, хотя необходимость их найти была очевидна.

Странно — казалось бы, уже избивались космополиты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось после завершения «дела врачей» распределение всех евреев Советского Союза на четыре группы: немногочисленные первые две — «евреи нужные» и «евреи полезные» и многочисленные —

«евреи, подлежащие выселению в отдалённые районы страны» и «евреи, подлежащие аресту и уничтожению».

Всё это уже было, но внезапная смерть Сталина, а потом доклад Хрущёва на Двадцатом съезде КПСС снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновников сбить с толку не так-то просто. Скоро, очень скоро всё возвратится на круги своя, а «шестидневная война» подведёт окончательные итоги — фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт», и никаких гвоздей!

Перефразируя известные слова Оруэлла из «Скотского хутора», можно сказать — все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!

И не может быть естественной и нормальной ассимиляции в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит.

Орден — пожалуйста, звание — милости просим, не возражаем (и орденам и званиям уже давно три копейки цена, а на худой конец, их можно и отобрать!), но восхитительного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта, — этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой, — тем хуже для них!

Это как с возрастом — сам себя считаешь ещё хоть куда, князь, да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит:

— Садитесь, дедушка!

Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь! Ассимиляции им захотелось!

Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.

Вот он пишет в биографии — русский,  
Истый-чистый, хоть станешь напоказ.  
А родился, между прочим, в Бобруйске,  
И у бабушки фамилиё — Кац.

Значит, должен ты учесть эту бабку  
(Иванову, натурально, молчок!),  
Но положи его в отдельную папку  
И поставь на ней особый значок!..

...Я пишу обо всём этом без гнева и даже без горечи!

Я уже говорил и охотно повторю, что я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни и понять — почему запрещение (пardon, не рекомендация!) пьесы «Матросская тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.

Наверное — так я думаю теперь, — потому, что это была последняя иллюзия (а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что всё ещё как-то образуется.

Всё наладится, образуется,  
Так что незачем зря тревожиться,  
Все безумные образуются,  
Все итоги непременно подытожатся!..

Вот они и подытожились.

Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня, — но моя Россия остаётся со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, — руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:

Редает облаков летучая гряда!  
Звезда вечерняя, печальная звезда —  
Твой луч осеребрил уснувшие долины,  
И дремлющий залив,  
И спящих гор вершины...

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый и накрытый шинелью — у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертельный — уже оттуда — вздох.

Кто, где, когда может лишить меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей веками терзали её душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала — но всегда в минуты крайней крайности, когда казалось, что всё уже кончено, всё погибло, всё катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта — «пятым пунктом» отлучить от этой России нельзя!

Генрих Бёлль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах — к безбожию.

Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать, что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.

Повторяется шёпот,  
Повторяем следы.  
Никого ещё опыт —  
Не спасал от беды!

Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать на собственной шкуре — давайте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троцкого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.

Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают плотничьи топорики, как деловито шелкают пули, вгоняемые в обойму, — это для вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторапливайтесь — цель близка!

Волчица-мать может торжествовать: современные Маугли научились бойко вопить — мы одной крови, ты и я!

Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить — мы одной Веры, ты и я!

...Но пришла пора вернуться в зрительный зал. Пьеса ещё не кончена, ещё предстоит четвёртое действие.

Ох уж это четвёртое действие!

Сколько я с ним бился, сколько раз правил и переписывал, но так и не сумел до конца высказать в нем всё то, что я хотел в ту пору сказать...

Если бы я писал это действие сегодня, я бы уж знал — как нужно его написать. Как и о чём.

Но я умышленно (в противном случае весь этот рассказ потерял бы смысл) не переставил в нём ни одной запятой.

Вот — последняя надежда, последняя иллюзия, последняя попытка поверить и оправдать то, чему оправдания нет, — четвёртое действие.

И снова погас свет, снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов — на сей раз уже не в военном, а в парадном чёрном костюме, — проговорил вступительные слова:

— Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мёртвых, день, когда вместе с гордостью за всё то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был тёплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва; уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И всё чаще и чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но всё ещё не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задыхнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!

Москва живёт вокзалами. И проводы в тот год были лёгкими и недолгими, а встречи начинались слезами...

Пошёл занавес.

Ефремов продолжал:

— Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом ещё небе мирно гудит самолёт.

Окна в комнате открыты настежь, и отчётливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздаётся весёлое, нахальное треньканье велосипедных звончков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в чёрном футляре лежит скрипка, висит портрет Да-

вида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряжённо сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня.

На низком круглом столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки...

Ефремов — Чернышёв вдруг резко повернулся спиной к зрительному залу и шагнул прямо на сцену.

Он сел на стул рядом с Таней, налил себе рюмку, выпил.

### Началось четвертое действие

Чернышёв (*покачивается на стуле, поёт*).

Гаснет в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза,  
И поёт мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза...

Таня. Не «гаснет», а «бьётся».

Чернышёв. Что?

Таня. Не «Гаснет в тесной печурке огонь», а «Бьётся в тесной печурке огонь».

Чернышёв. Художественного значения не имеет! (*Потянулся к бутылке.*) Давай ещё?

Таня. С ума сошёл? Я уже и так совсем пьяная.

Чернышёв. Праздник же.

Таня. Хватит! (*Вскочила, убрала бутылку и рюмки.*) Людмила придет, увидит — убьёт меня.

Чернышёв. А если не придет?

Таня. Ну, не знаю. Она была на вызове, но я просила передать, что звонили из дома... В котором часу салют?

Чернышёв. В десять... Татьяна, ну давай ещё по маленькой.

Таня. Нет. Ты, милый мой, становишься к старости пьяницей!

Чернышёв. Так ведь праздник... День Победы!

Таня (*нараспев*). Праздник, праздник, праздник! Из-за этого праздника я сегодня с утра реву... Чай будешь пить?

Чернышёв. Не хочется! (*Презрительно сморщился.*) Чай!

Таня подходит к двери в соседнюю комнату, чуть приоткрывает её.

Таня. Давид, хочешь чаю? (*После паузы, не расслышав ответа.*) Я спрашиваю — ты хочешь чаю?

Из соседней комнаты слышен голос: «Нет».

Таня (*закрывает дверь*). Как угодно!

Чернышёв. Очередной разрыв дипломатических отношений?

Таня. Холодная война.

Чернышёв (*понижив голос*). Слушай-ка, у него всё ещё продолжается эта переписка?

Таня. Кажется! (*Прошла по комнате, остановилась у открытого окна, вздохнула*.) Ох, Ваня, если бы ты только знал, до чего мне всё это надоело! День за днём — консультация, суд, арбитраж. И все дела какие-то унылые, клязменные... А тут ещё теперь выяснения отношений!

Чернышёв. Он тебя просто ревнует.

Таня (*хмыкнула*). Было бы к кому! Ну, ничего! Скоро я, слава Богу, уеду. Мне с конца месяца дают отпуск.

Чернышёв. Куда поедешь?

Таня. Куда-нибудь к морю. Буду весь день ходить — до изнеможения, чтобы ничего не снилось, чтобы ни о чём не вспоминать и не думать... Скажи, Ваня, у тебя бывает так — привяжется один какой-нибудь сон и снится чуть не каждую ночь?

Чернышёв. Я вообще сны вижу редко.

Таня. А мне вот уже который раз снится всё одно и то же... Как будто мы с Давидом едем куда-то в поезде... И так всё, знаешь, ясно — мы в купе вдвоём, большой чемодан брошен с вещами наверх, в багажник, маленький чемодан и сумка с продуктами — в сетке... Гудит поезд, стучат колёса, звенят и подрагивают ложечки в стаканах... А потом — и всё это как-то сразу, вдруг — уже не поезд, а Большой зал консерватории... И не Давид, а я почему-то стою на эстраде и рассказываю про то, как всё было...

Чернышёв (*хмуро*). Что — было?

Таня (*грустно улыбнулась*). Ну, про то, как у нас, на Рыбаковой балке, во дворе росла старая акация... И под этой акацией по вечерам сидели две девчонки — беленькая и чёрненькая — и слушали, как сердитый мальчик с вечно расцарапанными вонючими коленками играл мазурку Венявского...

Чернышёв (*внимательно поглядел на Таню*). Почему ты нервничаешь?

Таня. Не знаю. Ты нервничаешь, и я стала нервничать... Ты только, пожалуйста, не делай такого невинного лица! Ты же не стал бы меня просто так, за здорово живёшь, просить, чтобы я звонила Людмиле, у которой дежурство... Что-то случилось?

Чернышёв (*пожал плечами*). Праздник!

Таня. Тьфу, заладил!

В коридоре раздаются быстрые шаги. Стремительно, без стука распахивается дверь, и в комнату почти вбегают Людмила — в белом халате, с докторским чемоданчиком в руке.

Людмила (*ещё с порога*). В чём дело? (*Взглянула на Таню и Чернышёва, задыхнулась.*) Ну неужели вы не понимаете... Неужели вы не понимаете, что мне нельзя так звонить?! Что всякий раз, когда мне говорят — звонили из дома, у меня останавливается сердце?

Таня. Но я же просила передать, что всё в порядке, что он жив-здоров, сидит у нас...

Людмила. Мало ли что ты просила передать! (*Плюхнулась на диван, с трудом перевела дыхание.*) А я, пока ехала, представила себе, что он опять, как тогда... шёл по улице и упал... И опять — уколы, кислород, бессонные ночи, страх... (*Помолчала, тряхнула головой.*) У меня дежурство, мне надо ехать, — в чём дело?

Чернышёв (*медленно*). Дело, дорогие мои, в том, что...

Недоговорив, Чернышев вытаскивает из бокового кармана партийный билет и, отряхнув предварительно крошки со скатерти, бережно кладёт его перед собою на стол.

Людмила (*тихо*). Ваня!

Чернышёв. Вот, как говорится, таким путём.

Молчание.

Таня. Когда?

Чернышёв. Вчера. А вас обеих, как на грех, целые сутки не было.

Таня. И молчал! Слушай, но ведь не один же день...

Чернышёв (*вдруг почти весело засмеялся*). Нет, не один день. Совсем не один день. Исключили меня двадцатого декабря пятьдесят второго... Больше двух лет! Вот и посчитай — сколько это получается дней? И сколько дней я еще при этом думал — надо ли мне подавать на пересмотр или не надо!<sup>1</sup> (*Людмила всхлинула.*) Ну, Люда,

<sup>1</sup> ...Не надо было подавать на пересмотр, Иван Кузьмич, теперь-то я могу вам сказать со всею определенностью — не надо было подавать! Если вы честный человек — а мне, автору, хочется думать, что вы, хоть и наивны и даже, может быть, глуповаты, но честны, — так вот, если вы честный человек, то уже через несколько лет вам снова придется расстаться с вашим партийным билетом, вас заставят умереть, как заставили умереть старого большевика, писателя Ивана Костерина, вас загонят в «психушку», как генерала Петра Григоренко... Впрочем, и об этом в ту пору мы еще не знали, а догадываться и думать — боялись...



Люда, Люда... Ну что вы, в самом деле, — такой сегодня день, а вы обе ревете!

Людмила (*вытерла кулаком глаза, протянула партийный билет Чернышёву.*) Спрячь! И учти — я ещё ничего не знаю. Ты ничего не говорил... Кончу дежурство, приеду — и тогда ты нам все расскажешь, со всеми подробностями! (*Взглянула на часы.*) О боги! (*Подошла к телефону, сняла трубку, набрала номер.*) Это Чернышёва. Ай, беда, а я-то надеялась! Ну, говорите... Так... фамилия?.. А-а, я её знаю... Что с ней?.. У неё всегда болит! Ладно! (*Повесила трубку.*) Надо ехать!

Таня. Подбросишь меня до Белорусского? Я к машинистке — забрать работу. Забегу заодно в гастроном — куплю чего-нибудь к вечеру.

Людмила. Давай, только быстро.

Таня, кивнув, начинает собираться. Людмила подсаживается к Чернышёву, обнимает его за плечи.

Чернышёв (*тихо и ласково*). Что?

Людмила. Знаешь, Ваня, у меня ещё нет слов... Ничего нет — ни слов, ни радости... Это всё, наверное, придёт потом! А ты? Как ты себя чувствуешь?

Чернышёв. Нормально.

Людмила. Ты оставайся здесь. Татьяна скоро вернётся. Ты ведь скоро вернёшься, Татьяна?

Таня. Скоро.

Людмила. Ну вот... Нитроглицерин у тебя при себе?

Чернышёв. При себе, при себе.

Людмила и Чернышёв, обнявшись, смотрят, как Таня собирается, надевает туфли, прихорашивается перед зеркалом.

Людмила (*вздыхнула*). До чего же ты всё-таки красивая, Танька!

Таня (*не оборачиваясь*). Была.

Людмила. Нет, ты и сейчас красивая. Иногда ты бываешь такая красивая, что просто сердце заходится!

Таня (*резко обернулась*). Откуда... Это ты не сама придумала!.. Кто тебе это сказал?

Людмила. Один человек, ты не знаешь! (*С беспокойным смехом.*) Ох, как я когда-то завидовала и восхищалась тобой. Я запомнила один вечер — в студгородке на Трифоновке... Меня кто-то обидел, я сидела на подоконнике и хныкала, а ты шла по двору — красивая, нарядная, лёгкая, как будто с другой планеты. (*Снова засмеялась, но теперь уже легко.*) Я и представить себе не могла в тот ве-

чер, что когда-нибудь выйду вот за него замуж, буду жить с тобой в одном доме, брошу стихи, стану врачом...

Таня. А я, между прочим, до сих пор помню твои стихи.

Людмила. Какие?

Таня *(медленно)*.

Мы пьем молоко и пьем вино,  
И мы с тобою не ждем беды,  
И мы не знаем, что нам суждено  
Просить, как счастья, глоток воды!

Людмила *(странно дрогнувшим голосом)*. Почему именно эти?

Таня. Потому что я не знала других! *(Вытащила из шкафа, из-под белья, деньги, отсчитала, сунула в сумочку.)* Ну, я готова!

Людмила *(встала)*. Ваня, мы поехали! Дежурство у меня, будь оно неладно, до двенадцати, но, может, я отпущусь!

Таня *(поглядела на дверь в соседнюю комнату, негромко)*. Вот что... Если у тебя с ним тут без меня возникнет какой-нибудь разговор... Ну, в общем, ты сам понимаешь!

Чернышёв. Сообращу.

Таня. Едем! *(Бросила на себя взгляд в зеркало, поправила волосы.)* И никакая я не красивая, всё сказки!

Таня и Людмила уходят. Чернышёв один. Во дворе отчаянно кричит девчонка: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!..»

Далёкий гудок паровоза. Чернышёв включает висящий на стене радиорепродуктор. Марш. Это тот самый марш, который гремел в санитарном поезде, в кригеровском вагоне для тяжелораненых, на рассвете, когда диктор сообщил, что наши войска перешли границу Германии.

В дверь стучат.

Чернышёв. Кто там?

Входит высокий широкоплечий человек с очень обветренным загорелым лицом и крупной седой головой. Если бы не резкие морщины, не хромота и не стальные зубы, он был бы даже красив — внушительной и спокойной стариковской красотой. Это Мейер Вольф. Остановившись в дверях, он с интересом и волнением оглядывает комнату.

Вольф. Здравствуйте, я звонил, но...

Чернышёв. Звонок не работает.

Вольф. Возможно. Мне нужен Давид Шварц... Он дома?

Чернышёв *(помедлив, громко зовёт)*. Давид!

Отворяется дверь, ведущая в соседнюю комнату, и на пороге появляется Давид. Ему четырнадцать лет, у него светлые рыжеватые вихры, вздёрнутый нос и слегка оттопыренные уши.

Давид (*хмуро*). Ну что?

Чернышёв. Во-первых, здравствуй.

Давид. А мы днём виделись.

Чернышёв. А во-вторых... (*Вольфу*.) Вот пожалуй-ста — Давид Шварц!

Вольф. Так! (*Вгляделся, улыбнулся, кивнул головой*.) Да, это Давид Шварц! Ошибиться трудно! Глупые люди сказали бы, что всё повторяется — род уходит и род приходит... Но мы теперь знаем, что всё имеет свое начало и свой конец!

Давид (*с внезапно просветленным лицом*). Мейер Миронович?!

Вольф. Догадался!

Давид. Здравствуйте, Мейер Миронович! Когда вы приехали?

Вольф. Вчера. Собственно говоря, сегодня я уже должен был ехать дальше — но очень уж мне хотелось посмотреть на тебя! (*Огляделся, придвинул кресло, сел*.) Если не возражаешь, я немножко присяду.

Давид (*смутился*). Извините, конечно! (*После паузы*.) Мейер Миронович, а вы моё последнее письмо получили?

Вольф. Получил. Но ответить не успел, я уже собирался в дорогу... Впрочем... (*Из кожаной папки, которая у него в руках, достал какой-то конверт, из конверта старую фотографию, протянул фотографию Давиду*.) Смешно, что из всех моих старых вещей у меня уцелела именно эта фотография... Вот, взгляни! Это некоторым образом ответ на твоё последнее письмо! Ты просил, чтобы я рассказал тебе про твоего дедушку Абрама, — вот мы с ним вдвоём.

Давид (*сдвинув брови*). Он — слева?

Вольф. Да! (*Обернулся к Чернышёву*.) Извините, но я как-то сразу не сообразил... Вы, наверное, товарищ Чернышёв?

Чернышёв (*протянул руку*). Иван Кузьмич! Про вас, Мейер Миронович, я тоже слышал. С приездом.

Вольф. Спасибо. Большое спасибо.

Давид (*в недоумении разглядывая фотографию*). Странно!

Вольф. Что тебе странно, милый?

Давид. Ну, вы не знаете... Я вам писал... Дедушку Абрама расстреляли фашисты. Он набил морду одному гестаповцу, и они его расстреляли!

Вольф. Ну и что же?

Давид. А здесь, на фотографии, он какой-то маленький и...

Вольф (*слегка насмешливо*). А ты думал, что он был похож на Спартака или на Чапаева? Нет, нет, милый, — он был маленького роста, и, когда работал, надевал очки, и очень боялся темноты... И вообще всю свою жизнь — чего-нибудь боялся!

Давид (*возмущённо*). Но он набил морду гестаповцу!

Вольф (*с той же интонацией*). Ну и что же? Не повторяй ошибки глупцов — не ищи всегда прямых связей! У портных есть поговорка — если клиент заказывает к костюму две пары брюк, это ещё не значит, что у него четыре ноги! (*Помедлив.*) Маленький трусоватый человек бросается с кулаками на гестаповца... Он выходит один против целой армии. Впрочем, нет, — это тоже ошибка! Он был не один! Родина его, сыновья и внуки стояли за ним! Вот в чём секрет! И этот секрет, наверное, в самую последнюю минуту свой жизни понял твой дедушка Абрам... Понял и перестал наконец бояться!

Давид (*растерянно*). А я не думал... Я ведь совсем... Ну, просто совсем про него ничего не знал! С папой — другое дело, у меня и фотографии его есть, и письма с фронта, и пластинки, на которых записано, как он играл...

Вольф. Где он погиб?

Давид. Он умер в госпитале, в Челябинске. Он был контужен и ранен, и все надеялись, что он останется жив, но он умер. На руках у тети Людья и дяди Вани! (*С сердитым смешком.*) Мама почему-то считает, что я не могу его помнить! А я его прекрасно помню, прекрасно!

Чернышёв (*покачал головой*). Ну что ты, братец, сочиняешь?

Давид (*неожиданно и мгновенно взрываясь*). Я сочиняю, да?! Это мама всех вас уговорила, что я сочиняю, что я маленький, что я ничего не знаю, не помню, не понимаю! А я, между прочим, если хотите знать, всё помню, всё! Вы думаете, я не помню, как мама с вами советовалась... Не изменить ли мне... Ну, одним словом, не взять ли мне её фамилию! Вы думаете, я не помню, как тётя Люда прибежала к нам сюда ночью и плакала — когда вас исключили из партии?!

Вольф (*взглянув на Чернышёва*). Ах, вот как! Было и это?

Чернышёв. Всё было.

Вольф. Когда?

Чернышёв. В пятьдесят втором. «За потерю бдительности и политическую близорукость» — так записано было в решении.

Вольф (*задумчиво усмехнулся*). Близорукость?! Один профессор-глазник... Мы с ним вместе работали в шахте... Так вот, он рассказывал мне, что бывают случаи, когда ранняя близорукость переходит в позднюю дальнорукость!..

Снизу, со двора, раздаётся чей-то истошный крик: «Дави-и-ид!»

Давид подбегает к окну, перевешивается через подоконник:

«Чего-о-о?»

Несколько секунд продолжается таинственный, главным образом при помощи жестов, разговор между Давидом и невидимым собеседником во дворе. Наконец Давид слезает с подоконника.

Давид. Дядя Мейер, вы извините — вы не очень торопитесь?

Вольф. Не очень... А тебе нужно куда-то идти?

Давид. Да нет... Там Вовка Седельников... И он просит... Ну, я только сбегаю вниз и тут же вернусь... Хорошо?

Вольф. Хорошо, конечно.

Давид. Я мигом!

Давид убегает. Молчание. Снова загремел по радио торжественный марш.

Вольф. День Победы сегодня.

Чернышёв. Да. День Победы.

Вольф. Большой праздник!

Чернышёв достаёт спрятанную Таней бутылку коньяку, две чистые рюмки.

Чернышёв. Хотите?

Вольф (*помолчав*). А вы знаете — с удовольствием.

Чернышёв (*наливает коньяк в рюмки*). Ну, ладно. Выпьем. Помянем. Помолчим.

Вольф и Чернышёв, не чокаясь, пьют. Молчание.

Вольф (*внезапно*). Хороший мальчик.

Чернышёв. Трудный.

Вольф. А разве бывают лёгкие? Главное, чтоб и ему не свела скулы оскомины!

Чернышёв. В каком смысле?

Вольф. В Священном Писании сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомины...» Закон возмездия! (*Снова помолчал, размял в пальцах папиросу, зажжёг спичку, закурил.*) Под старость мне всё чаще и чаще вспоминается детство, местечко, где я родился, и лохматые местечковые мудрецы — те самые, что с утра и до но-

чи вбивали этот закон в наши ребячьи головы! *(Грозным движением поднял тяжёлую руку.)* «Помните всегда, ты, чернявенький, и ты, рыжий, ты, конопатый, и ты, быстрогоглазый, помните и не забывайте, что на вас лежат грехи отцов ваших, дедов ваших и прадедов... И сколько бы ни молились вы и ни каялись, всё равно будут дни ваши безрадостными и долгими, а ночи душными и короткими — и всё потому, что отцы ели кислый виноград, а у вас, детей, на зубах оскомина...» Знаете, Иван Кузьмич, я пролетел сейчас через всю страну — из Магадана в Москву... Может быть, некоторым я казался немножко сумасшедшим — но и в пути, и здесь я хожу и заглядываю в лица молодым... Мне, понимаете, хочется убедиться, что они уже есть, что они существуют — эти молодые, с добрыми глазами и добрым сердцем, которые только добрые дела, только подвиги их отцов и старших братьев принимают в наследство!

Чернышёв. Видите ли, Мейер Миронович... Кстати, я ведь не очень-то в курсе — как это у вас получилось с Давидом? Как у вас началась переписка?

Вольф. Сначала — когда мне уже было можно — я написал в Тульчин, Абраму Ильичу. Но открытка вернулась обратно с пометкой «За ненахождением адресата»... Тогда я запросил через московский адресный стол — так мне посоветовали умные люди — адрес Давида Шварца. *(Улыбается.)* Конечно, я имел в виду другого Давида — но ответил мне этот...

Чернышёв *(встал, прошёлся по комнате, остановился)*. Вы сказали — добрые дела! *(В упор взглянул на Вольфа.)* А заблуждения? Преступления? Ошибки?! Нет, нет, погодите, дайте мне договорить! Вчера мне вернули партийный билет! И вот я шёл из райкома и так же, как и вы, заглядывал в лица встречным... Когда-то я воевал на гражданской, потом учился, был секретарём партийного бюро консерватории, начальником санитарного поезда, комиссаром в госпитале... Работал в Минздраве... После пятидесят второго мне пришлось, как говорится, перекаленифицироваться в управдомы... И вот я шёл из райкома и думал... *(Снова зашагал по комнате.)* Нет, Мейер Миронович, не так-то всё просто!.. И они, эти молодые, они обязаны знать не только о наших подвигах... Мы сейчас много говорим о нравственности. Нравственность начинается с правды! *(Посмотрел на портрет старшего Давида.)* Вот ему когда-то на один его вопрос я ответил трусливо и

подло — разберутся! Понимаете? Не я разберусь, не мы разберёмся, а они там разберутся! И я знаю — Тане нелегко с этим мальчишкой, но мне нравится... Мне, чёрт побери, нравится, что он хочет и пытается до всего дойти сам... Пришло, видно, такое время — время задавать вопросы и время отвечать на них!..

Возвращается Давид. Он прижимает к груди проекционный фонарь и круглую жестяную коробку с диапозитивами.

Давид (*отдуваясь*). Извините!..

Вольф. Что это у тебя?

Давид. Это?.. Вы понимаете, у нас есть кружок, астрономический... Он объединяет сразу несколько школ... Там даже из десятого класса ребята... И вот моему другу, Вовке Седельникову, и мне — нам поручили доклад: «Есть ли жизнь на Марсе?» И вот — Вовка достал проекционный фонарь и диапозитивы к нашему докладу...

Вольф. Очень интересно, очень!

Давид (*с надеждой*). Может, хотите поглядеть?

Вольф (*помолчав, с грустной улыбкой*). А почтовые открытки ты, случайно, не собираешь?

Давид (*удивлённо*). Нет. А что?

Вольф. Ничего, ничего... Просто ты так спросил — таким голосом и с такой интонацией, что я невольно вспомнил... Ну, не важно! (*Оглянулся на Чернышёва*). Думаю, мы с Иваном Кузьмичом с удовольствием послушаем твой доклад! Правда, Иван Кузьмич?

Чернышёв. Разумеется.

Давид (*засуетился*). Тогда так... Тогда вы, Мейер Мионович, садитесь к дяде Ване на диван, а я... Минутку!

Вольф пересаживается к Чернышёву на диван. Давид ставит фонарь на круглый столик, принимается ввинчивать лампочку.

Чернышёв (*подождав*). Ну как? Будет кино или не будет кина?

Давид. Сейчас, сейчас! (*Ввернув лампочку, щёлкнул крышкой фонаря*). Так! Ну, я могу начинать!

Чернышёв. Внимание! Внимание!

Давид включает проекционный фонарь. На противоположной дивану стене, возле двери в соседнюю комнату, появился жёлтый прямоугольник света, и в нём надпись: «ЗЕМЛЯ — КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ».

Вольф (*одобрительно*). Совсем, между прочим, нелгупо сказано.

Давид (*тоном лектора*). Эти слова принадлежат великому русскому учёному, отцу звездоплавания Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Чернышёв. Я был в Калуге.

Надпись на стене исчезает, и вместо неё появляется изображение планеты Марс.

Давид. Перед вами — планета Марс. Эти длинные тонкие полосы, которые вы видите на рисунке, итальянский астроном Скиапарелли условно назвал каналами... Уже много лет учёные всего мира спорят по поводу того, являются ли эти «каналы» естественными или это искусственные сооружения. Мы с товарищем Седельниковым предполагаем собственную гипотезу... Гипотезу «Седельникова—Шварца»... По-нашему...

Чернышёв. Не знаю, как по-вашему, а по-моему, они нахалы!

Давид. Кто?

Чернышёв. Авторы новой теории, товарищи Седельников и Шварц!

Давид. Ну, дядя Ваня!..

Чернышёв (*засмеялся*). Молчу, молчу.

Снова меняется изображение на стене. Теперь это чертеж. За спиной Давида неслышно отворяется дверь, ведущая в прихожую. На пороге — Таня с пакетами в руках, старуха Гуревич и какой-то худенький мальчик лет десяти, с тоненькой девичьей шейкой и большими бархатными глазами. Чернышёв и Вольф делают движение встать, но Таня предостерегающе прикладывает палец к губам.

Давид (*увлечённо*). Сейчас вы видите чертёж-схему распределения теплового баланса. Это очень важный для нашей гипотезы вопрос... В северном полушарии, например, весна и лето длинные, но холодные...

Старуха Гуревич. Боже мой, это где же такое? В Москве? Или на Дальнем Востоке?

Таня. На Марсе.

Старуха Гуревич. Ах, на Марсе?! (*Со смешком*.) Ну, на Марсе пожалуйста! На Марсе у меня пока ещё нет родственников!

Давид (*упавшим голосом*). Ну — всё! (*Выключает проекционный аппарат, обернулся к Тане*.) Мама, познакомься, пожалуйста, это товарищ Вольф Мейер Миронович...

Старуха Гуревич (*шагнула вперёд*). Мейер Вольф?! (*Всплеснула руками*.) Я это предчувствовала!

Вольф (*тихо*). Здравствуйте, Роза! (*Поклонился Та-*



не.) Здравствуйте... Извините... Я, как говорится, без приглашения...

Таня. Я очень рада, Мейер Миронович...

Старуха Гуревич. Подождите радоваться. И подождите здороваться. Слушайте сначала, что скажу я! (*Вышла вперёд, на середину комнаты, уничтожающе посмотрела на Вольфа.*) Когда вы прилетели в Москву, Мейер Вольф?

Вольф. Вчера.

Старуха Гуревич. Во Внуково?

Вольф. Во Внуково.

Старуха Гуревич. Вы меня видели?

Вольф (*засмеялся*). Ну... видел...

Старуха Гуревич. Вы мне не «нукайте»! Почему вы ко мне не подошли?

Вольф. Мне показалось...

Старуха Гуревич (*перебила*). Ему показалось! (*Вздыхнула.*) Да-а, вы умный человек, Мейер Вольф, но вы очень большой дурак!

Вольф (*с непонятной радостью*). Ну что вы, Роза?

Старуха Гуревич. Можете мне поверить. В чём, в чём, а в дураках я разбираюсь неплохо! (*Обращаясь ко всем.*) Понимаете, дети мои, вчера я ездила на аэродром во Внуково встречать одного гражданинчика из Владивостока... Я стою, мой самолёт опаздывает, я волнуюсь — всё хорошо! В это время прилетает другой самолёт, не из Владивостока... Я стою, мимо проходят люди, проходит вот он и смотрит на меня так, как будто очень хочет со мной познакомиться! (*Усмехнулась.*) А как-то так случилось, надо вам сказать, что с прошлой недели я перестала интересоваться мужчинами... Он на меня смотрит, а я отворачиваюсь — он мне не нужен, ко мне летит совсем другой кавалер... Так как поступает умный человек? Умный человек подходит и говорит: «Здравствуйте, Роза, я ваш старый друг Мейер Вольф, можно, я вас поцелую?»

Вольф (*улыбаясь*). Можно, я вас поцелую, Роза?

Старуха Гуревич. Нет, теперь вы меня ещё об этом хорошенько попросите! (*Неожиданно всхлинула, сама обняла Вольфа, расцеловала.*) Как же вам не совестно, Мейер?! (*Снова ко всем.*) Он, видите ли, прошёл мимо. Он гордый. Он граф Люксембургский... Ему показалось, что я не хочу его узнавать из-за того, что... Ну, всем понятно. (*Перевела дыхание.*) А я действительно не узнала вас, Мейер! Просто не узнала. И потом, я волновалась — я

встречала внучка́, который — один — летел из Владивостока! Где ты там, Мишенька? Иди сюда! Смотрите, Мейер, это мой внучек, сын Ханы... Поздоровайся, золотко, с дядей Мейером!

Мальчик. Здравствуйте!

Старуха Гуревич (*Чернышёву*). Ванечка, я, в-первых, поздравляю вас с праздником, а во-вторых, смотрите — это сын Ханы! (*Давиду*.) Познакомься, Додик... Это твой дружок. Будешь с ним дружиться... Ну!

Давид (*не показывая особенной радости*). Привет. Меня зовут Давид.

Мальчик (*робко*). Миша.

Старуха Гуревич. Внучек, а? Мишенька! К бабушке прилетел! Михаил Константинович Скоробогатенко! Как вам нравится? Я даже не знала, что есть такие фамилии!

Таня. Он очень похож на Хану, очень.

Старуха Гуревич. Глаза мамыны, фамилия папины, а жить будет у бабушки с дедушкой... Будет учиться на скрипке. Или на рояле. Чтобы весь день играл, а бабушка с дедушкой слушали и радовались! (*Махнула рукой*.) Ладно! Расскажите-ка нам, Мейер... Или нет! Лучше сделаем так — взрослые пойдут в соседнюю комнату, а мальчики полчаса поиграются здесь... И если они будут умными мальчиками, так через полчаса их позовут пить чай и дадут им по хорошему куску мороженого торта! (*Наклонилась, о чем-то тихо спросила у мальчика*.) Не надо?

Мальчик (*энергично замотал головой*). Нет, нет, нет!

Старуха Гуревич. Ну, гляди! Бабушку не конфузь!..

Смеркается. В доме напротив зажгли свет. Крикнула женщина весело и протяжно: «Катюша-а-а!..»

Вольф (*негромко*). И это не наваждение, вздор! Дворы есть дворы, дети есть дети! Всё продолжается — и это прекрасно! (*Притянул к себе Давида за плечи*.) Мне очень понравился твой доклад... Мне очень понравилось, что у тебя такой большой мир, маленький Давид!

Старуха Гуревич. Пошли, пошли! Танечка, детка, ты не беспокойся, я помогу тебе по хозяйству... Давид... не обижай тут Мишеньку! Пошли!

Старуха Гуревич, Таня, Мейер Вольф и Чернышёв уходят в соседнюю комнату. Мальчики остаются одни. Давид принимается укладывать диапозитивы в жестяную коробку, громко и фальшиво поёт:

По разным странам я бродил,  
И мой сурок со мною,  
И весел я, и счастлив был,  
И мой сурок со мною...

Таня (*из соседней комнаты*). Врёшь, врешь! Немыслимо врешь, перестань!

Давид (*обиженно*). А я развиваю слух. Это что — тоже нельзя?

Таня. Можно. Развивай. Но только в те часы, когда никого нет дома!..

Молчание.

Давид. Слушай-ка... Скоробогатенко твоя фамилия? Мальчик. Скоробогатенко.

Давид. Это верно, что ты вчера прилетел из Владивостока?

Мальчик. Верно.

Давид. Один?

Мальчик. Один.

Давид (*со смешком*). Представляю! Всю дорогу небось дрожал!..

Мальчик (*спокойно*). Нет, я не очень боялся. Я уже летал с мамой. Но одному, конечно, страшнее.

Давид. Ещё бы!! А здесь ты у бабушки с дедушкой будешь жить?

Мальчик. Да. На улице Матросская тишина! (*Неожиданно оживился*.) Ты знаешь, мы с папой никак не могли понять, что это такое — Матросская тишина! А мама смеялась над нами и говорила, что это такая гавань, кладбище кораблей...

Давид. Ну, правильно!

Мальчик. Как же правильно, когда Матросская тишина — улица! Самая обыкновенная улица. Бабушка говорит, что её так называли потому, что в старые времена там была больница для моряков...

Давид (*презрительно*). Бабушка говорит, дедушка говорит... Много они понимают! Есть Матросская тишина — улица. А есть другая — гавань, где стоят каравеллы, шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки со всего света...

Мальчик. Где она?

Давид. Так тебе и скажи! Сам поищи!

Мальчик. А ты нашёл?

Д а в и д (*явно уклоняясь от ответа*). Слушай-ка, Скоробогатенко, а чего ты вообще приехал сюда? Чего ты во Владивостоке не остался?

М а л ь ч и к. Мне нельзя.

Д а в и д. Почему?

М а л ь ч и к (*гордо*). Из-за климата. У меня слабые лёгкие. Меня из-за них папа в этом году даже в кругосветку не взял. Обещал и не взял. Врачи не разрешили.

Д а в и д. В какую кругосветку?

М а л ь ч и к. В кругосветное плаванье. Через Индийский океан, через Суэцкий канал... В общем, вокруг всего шарика!

Д а в и д (*сурово*). Знаешь, Скоробогатенко, лёгкие у тебя, может, и слабые, но уж зато врать — ты здоров! (*После паузы.*) У тебя кто отец?

М а л ь ч и к. Капитан дальнего плавания. Он на лайнере ходит. Он уже четыре раза в кругосветку ходил!..

Давид молчит. Отворяется дверь, ведущая в прихожую, и быстро входит Людмила.

Л ю д м и л а. Привет, лопушок. Вы чего тут без света? А где все? Там?

Давид молча кивает. Людмила проходит в соседнюю комнату, где её появление встречается громкими возгласами и смехом.

Д а в и д (*пожевал губами*). Вот что, Скоробогатенко... А ты, между прочим, слышал, как мой папа играет?

М а л ь ч и к. Слышал. У нас пластинка есть. На одной стороне — «Грустная песенка» Калининкова, а на другой Сарасате — «Цыганский танец»...

Д а в и д. А мазурку Венявского слышал? Нет? Ничего ты, выходит, не слышал. Хочешь, поставлю?

М а л ь ч и к. А можно?

Д а в и д. Если я говорю — значит, можно! (*Размахивая руками.*) Ты мой гость, я тебя развлекать обязан! Сейчас, погоди...

Давид соскакивает с подоконника, в темноте на ощупь находит пластинку, придерживает пальцем диск, ставит пластинку и возвращается на подоконник. Мальчик садится с ним рядом. Сумерки. И как только раздаются первые такты печальной и церемонной мазурки Венявского — и здесь, и в соседней комнате наступает удивительная тишина.

Звучит мазурка Венявского. В освещённом проёме двери появляется Таня. Она останавливается на пороге, как бы на границе между светом и тенью, и, прислонившись головой к дверному косяку, слушает, а затем коротко всхлипывает, как всхлипывают дети после плача. И тогда Давид подбегает к Тане, обеими руками крепко, точно оберегая, обхватывает её руку.

Таня (*шёпотом*). Что, милый?

В тёмное вечернее небо взлетают разноцветные гирлянды  
торжественного салюта.

Давид. Салют.

Таня. Да. День Победы.

Давид. Знаешь, мама... Ты не сердись...

Таня. Что, милый?

Давид (*после долгой паузы*). Знаешь, мама... Ты только  
не будешь смеяться?

Таня. Нет, милый. Что?

Давид (*серьёзно*). Знаешь, мама... Мне почему-то ка-  
жется, что я никогда не умру! Ни-ког-да!..

Звучит музыка Венявского. Взлетают в небо и гаснут залпы  
торжественного салюта. Далеко гудит поезд. Женщина зовёт  
дочку со двора: «Катюша-а-а!..»

Занавес

## Пятая глава

Кончилось, кончилось, кончилось!

Кончилось четвёртое действие, кончился спектакль, кончилась эта проклятая генеральная репетиция, эта мука мученическая, когда ни единая реплика на сцене не встречала ответа в зрительном зале.

Закрылся в последний раз занавес, зажёгся свет.

Солодовников встал, подошёл к бутылочной и кирпичной. Кирпичная что-то сказала, и Солодовников, словно бы извиняясь, развёл руками. И в это самое мгновение проходивший мимо меня Товстоногов сделал точно такой же жест — развёл руками и покачал головой.

В суровом молчании, с каменными лицами покидали зрительный зал немногочисленные зрители. Только белолицый администратор снова сокрушённо поцокал языком.

Ушли, не взглянув на меня, бутылочная и кирпичная.

Солодовников сказал:

— Давайте, Александр Аркадьевич, зайдём за кулисы.

— Хорошо, — сказал я и встал.

— Это надолго? — спросила меня жена.

— Подожди меня в фойе, — сказал я, — думаю, что я скоро вернусь.

Я оказался прав.

Всё дальнейшее заняло не больше двадцати минут. Мы прошли за кулисы, где Солодовников и сказал свою речь, уже описанную мною раньше: речь-скороговорку, речь-бормотание, речь, единственной целью которой было не сказать ничего.

...Василий Андреевич Жуковский — этого поэта в детстве я почитал превыше всех других — заметил однажды, что судьба, как и поэты, любит инверсии.

Да, судьба и вправду чрезвычайно любит инверсии. Надо же было такому случиться: в одной из комнат почти пустого деревянного дома, что стоит в Серебряном Бору над Москвой-рекой, в доме, где я дописываю эту книгу, живёт с женою и Александр Васильевич Солодовников. Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином; вечерами — если идёт дождь и нельзя гулять — сидим и смотрим телевизор.

Его жена иногда беседует со мной, а сам Александр Васильевич при встречах отводит в сторону глаза и как-то неопределённо дёргает головой. Они живут на втором этаже, а я под ними, на первом.

И ежедневно по несколько раз в день я пишу его фамилию и имя-отчество, вспоминаю его слова, голос, повадку — того Солодовникова, каким он был пятнадцать лет тому назад; а он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает.

Он очень постарел и словно бы высох, но по-прежнему чиновно надменен и занимает, несмотря на свой преклонный возраст, почётную и бессмысленную должность — состоит при министре культуры советником по вопросам театра. А что такое советский театр и каким ему быть надлежит — это Александр Васильевич усвоил прекрасно!

Сколько раз принимал он в правительственной ложе почётных гостей и выслушивал их замечания, сколько раз председательствовал на совещаниях, посвящённых проведению очередного фестиваля или декады национального искусства!

Ах, малинка-калинка,  
Калинка моя,  
В саду ягода-малинка,  
Малинка моя!..

...Новый, победный сорок пятый год генерал — командующий бронетанковыми частями — встречал под Венной, в доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику.

Хозяина дома с женою и детьми попросили на время переселиться в подвал. Впрочем, на новогодний приём они были любезно приглашены. И вот после часа ночи, когда уже были сказаны все положенные тосты, когда гости уже выпили, разомлели, размякли, старый фокусник решил позабавить присутствующих своим искусством.

В никуда взлетали голуби,  
Превращались карты в кубики,  
Гасли свечи стеариновые,  
Зажигались фонари!..

Гости ахали, восхищались, недоумевали, аплодировали.  
И только командующий после каждого нового фокуса становился почему-то всё мрачнее и мрачнее.

Наконец не выдержал, кивком головы подозвал к себе адъютанта и шёпотом спросил:

— Слушай, а кто-нибудь из наших так может?

Адъютант виновато пожал плечами.

— Вряд ли, товарищ генерал! Он же всемирно известный... Я афиши его видел — там прямо так и написано: король европейских фокусников!

Генерал вздохнул и решительно сказал:

— Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски — возьмём количеством!..

Гремит, гудит, грохочет, посвистывает и повизгивает вселенская «каalinka-малинка»! Стучат каблуками молодцы в охотнорядских костюмах, проплывают уточками девицы в расшитых бисером сарафанах — на весь мир размахнулась купеческая «Стрельня», выдаваемая за русское национальное искусство.

Графу Шереметеву с его крепостным театром или братьям Виельгорским с их домашним оркестром в самом горячем сне не могло бы такое присниться — десятки, сотни тысяч крепостных актёров, музыкантов, певцов, танцоров, атлетов. Даже прославленные балетные труппы Большого и Мариинского театров, даже такие великие музыканты-исполнители, как Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Ростропович, Коган, — все они, по существу, отбывают самую доподлинную крепостную повинность.

Мало того, что больше двух третей получаемых ими за границей гонораров забирает государство — они не вольны принимать решения, строить планы, давать или не давать согласие на выступления.

Всё обдумают, решат, обо всём договорятся за них. А потом их вызовут и скажут — надо или не надо ехать туда-то и туда-то, можно или нельзя играть то-то и то-то.

У графа Шереметева, случалось, нерадивого или не в меру строптивого лицедея могли и на конюшне посечь, и в простые дворовые разжаловать.

В наши времена на конюшне уже не секут, неудобно. Но нерадивость или, что куда хуже, строптивость не



должны оставаться безнаказанными — посекут не на конюшне, а на собрании, ошельмуют в печати, отменят — уже объявленные заранее — выступления и концерты, лишат права участия в заграничных гастролях. А уж это, последнее, наказание пострашнее порки на конюшне!

Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины, где товары продаются только на сертификаты, то есть по сути на иностранную валюту, и прославленный танцевальный ансамбль, который большую часть года проводит в гастрольях за рубежом, носят одинаковое название — «Берёзка»!

А вслед за ансамблями и спортивными коллективами ездят особо проверенные и стойкие стукачи — во главе с «писателями» Анатолием Софроновым и Цезарем Солодарём — и вопят неистовыми голосами:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

Сражаются наши хоккеисты:

— Шай-бу!..

Танцует Плисецкая:

— Шай-бу!

Играет Леонид Коган:

— Шай-бу!

И тут я не могу удержаться, чтобы не сказать об удивительном явлении последних лет нашей жизни.

— Ратуйте, люди добрые! Могучее и стройное здание неравенства дало трещину!

И трещина эта образовалась в самом, казалось бы, надёжном месте, в самом защищённом, бронированном. Незыблемейшее неравенство, восхитительный «пятый пункт» удрал-таки штуку, выкинул коленце!

Оставаясь каиновой печатью, знаком качества второго сорта, он, проклятый, оказался при том ещё и лазейкой: обладатели «пятого пункта» имеют право подавать заявления и добиваться разрешения на выезд за границу.

А при одних этих словах — заграница, капстрана, инвалюта — сладостно замирают и тревожно бьются сердца всех больших и малых чиновников.

И какой же русский не любит быстрой езды — всего три с половиной часа, и ты в Париже! А в Париж, это ещё в старину говорили, приедешь — угоришь!

Ах, Елисейские поля, Пляс Пигаль, универсальные магазины «Призюник» и «Монопри»!

Мы прилетели в Париж, на аэродром Ля Бурже, пасмурным апрельским вечером.

«Мы» — это бывший, а в ту пору действительный директор киностудии «Ленфильм» Илья Николаевич Киселёв и я.

Нас на две недели пригласила в Париж кинофирма «Алькам» в преддверии начала съёмок совместного советско-французского фильма «Третья молодость» — о знаменитом танцовщике и балетмейстере Мариусе Петипа.

Я таинственную волею судеб принимаю участие в этой работе в качестве кинодраматурга с советской стороны и в Париже уже бывал: здесь с моим французским соавтором Полем Андрэстта мы писали литературный сценарий.

А вот Киселёв летел — не только в Париж, а вообще за границу — в самый первый раз. Грузный, мешковатый, темнолицый — он наполовину цыган, — Илья Николаевич обливался в самолёте потом, непрерывно вытирал лицо и шею большим, как полотенце, носовым платком и жалобно повторял:

— Слушай, ты уж меня там не бросай одного, ладно? Ты же знаешь — по-французски я ни бум-бум и вообще... ориентируюсь слабовато!

О том, как Киселёв «ориентируется», на «Ленфильме» рассказывали бесчисленные анекдоты. Злые языки утверждали, что если машина Ильи Николаевича высаживала его не у самого подъезда студии, а где-нибудь на другой стороне улицы, то Киселёв мог вполне свободно заблудиться и даже не прийти на работу. А по самой студии — в павильоны и цеха — Илья Николаевич неизменно ходил с провожатым.

...Хмурый и чем-то явно раздосадованный молодой человек — представитель фирмы «Алькам» — встретил нас на аэродроме, взял наши чемоданы, посадил в такси.

Каким-то странным, кружным путём, минуя центр, по окраинным парижским улочкам, мимо серых обшарпанных домов и пустырей, такси привезло нас к дверям тоже весьма неказистой гостиницы.

Молодой человек выгрузил наш багаж, внёс его в холл, что-то негромко сказал портье и, поспешно распрощавшись с нами, ушёл.

И только теперь, оглядевшись, я понял причину и его досады, и этой виноватой поспешности. Гостиница, в которую нас привезли, была третьеразрядным заведением того сомнительного пошиба, где вечно сонный портье, не глядя — глядеть на гостей здесь не положено, — даёт посетителям ключи.

— Пожалуйста, медам-месье! На час? На ночь? На сутки?

По узкой винтовой лестнице мы поднялись с Киселёвым в наши почти одинаковые номера — с кокетливыми ситцевыми занавесками в цветочках, с неизменной ширмой возле кровати и старинным педальным умывальником с ведёрком воды и тазом под ним.

Телефонов в наших номерах, разумеется, не было.

— Ну, нет, — сказал я Киселёву, — мы здесь, Илья Николаевич, жить не будем. Это какое-то недоразумение. Сейчас я спущусь к портье и позвоню в фирму!

— Я тебя умоляю, — снова залепетал Киселёв, хватая меня за руки, — ты не уходи... Я же боюсь... Я же потеряюсь...

— Не потеряетесь. Сидите в номере и ждите меня. Через пять минут я вернусь.

Но вернулся я не через пять минут, а значительно позже. Телефон у портье был испорчен, и я довольно долго плутал по горбатым переулкам и улочкам, пока не набрёл на какое-то кафе, откуда я и позвонил наконец в фирму.

Глава фирмы Александр Каменка сказал мне в телефон скорбно-замогильным голосом, что это всё ужасно, что он очень извиняется перед господином Киселёвым и передо мною, что все они просто в отчаянии, что сегодня в Париже кончается какое-то идиотское международное авторалли, на которое съехались любители из всех стран, и что завтра рано утром он сам, лично заедет за нами и перевезёт нас в хороший отель, где нам уже заказаны номера.

— Ещё раз, умоляю, — сказал в заключение Каменка, — передайте господину Киселёву тысячи извинений и сердечный привет! Что он делает?

— Господин Киселёв, — сурово сказал я, — сидит у себя в номере и очень сердится!..

И всё это оказалось неправдой!

Господин Киселёв не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселёв стоял у подъезда гостиницы, крепко — чтобы не потеряться и не заблудиться — держась одной рукой за ручку двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.

По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора, стаями нахально бродили сытые коты и кошки и рылись в отбросах две старухи.

Но небо над пустырём было сиреневым, в розовых разводах, и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.

И господин Киселёв даже не обернулся, когда я подошёл к нему и сказал:

— Илья Николаевич, ничего не попишешь, придётся нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другой отель!

Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал, и в груди у него что-то булькало и хрипело.

— Илья Николаевич! — уже слегка обеспокоенный (не случилось ли чего?), окликнул я. — Что с вами, Илья Николаевич?!

И, всё так же молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселёв тихо проговорил:

— Париж!.. Какой город, а?!

...Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тянут жилы с разрешением на выезд в Израиль.

А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?!

Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристскую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь—девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.

Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз это многомесечная трёпка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или не пустят?! И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено) — какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога снова на долгие месяцы и на бессонные ночи охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!

За что? Почему? Значит — не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется «Особый отдел» и куда посторонним вход запрещён строжайше, числится за мною какие-то неведомые мне грехи?!

Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристскую, принято у нас рассматривать прежде всего как неоспоримое выражение доверия и поощрения.

И вдруг — нá тебе! Эти самые, что с «пятым пунктом», эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго

сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!

И не просто хотят — требуют! И не только требуют — уезжают! Сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!

Неладно что-то в Датском королевстве!  
И уже не по тексту Шекспира  
(Я и помнить его не хочу!),  
Гражданин полоумного мира,  
Я одними губами кричу:  
— Распалась связь времён!..

...Я шёл на это свидание и совершенно искренне волновался.

С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно сорок лет.

Ещё одна из причудливых инверсий судьбы: все эти годы мы жили в одном городе, состояли — до моего исключения — в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов, и вот поди ж ты — ни разу, ни единого раза не встретились.

А ровно сорок лет тому назад мы — мальчишки — непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда».

...В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с весёлой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стёртую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи — кто же их не пишет в тринадцатъ-четырнадцать лет! Но иногда читал и свои рассказы — короткие, странные, вызывающие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исаея Рахтанова, автора прекрасной детской книжки «Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней».

Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведём у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привёл!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелёными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, шурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.

Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решённое:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали! — Он хитро нам подмигнул. — Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого.

Это было и очень почётно, и совсем не так-то легко.

Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принёс чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой, и утверждал, что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своём продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чуть собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич, — попытался я оправдаться, — это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьёзно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя, — становится его поэтом. И всё, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл!

На одном из занятий Володя прочёл свой новый рассказ.

Багрицкий одобрительно кивнул:

— По-моему, хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но, по-моему, хорошо!

В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь, и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошёл невысокий человек в очках, с широким и весёлым лицом.

Багрицкий сказал:

— Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель!

Мы восторженно замерли.

Бабель очень уютно примостился на диване рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:

— Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!

Пока Володя глухо и монотонно читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь.

Потом, когда занятия кончились, Бабель увёл Володю к себе — они с Багрицким жили в одном доме.

С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.

Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась и мы разбрелись кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых, и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

...И вот ровно сорок лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас, — пьём, едим, беседуем.

Володя, всё такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжистее и квадратнее, тягу-

чим и веским голосом, от которого у меня сразу же заболела голова, внушает мне:

— Ты же русский поэт, понимаешь? Русский! Зачем же ты, особенно в последнее время — я слышал твои новые вещи, — занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!

Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чём, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей — и среди них наши друзья и знакомые, милые нашему сердцу люди, — и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.

— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем. — А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается.

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это всё тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое ни сомкнуть, ни разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне всё-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей! А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль! Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди вырвись из этого круга!

А Володя, уже слегка захмелев, всё продолжает тягуче гудеть, как большой и злобный шмель:

— Что же, милые мои, получается? Сами во всём принимали участие: и в двадцатые годы, и в тридцать седьмом, и после — а теперь бежать?! Нет уж, вместе кашу варили, вместе давайте её и расхлёбывать! А то, понимаете, одни уезжают на свою — извольте ли видеть — историческую родину, а другие... А скажите мне: рязанскому парню, костромскому, ярославскому — им-то куда прикажете податься?!



Умри, Денис, лучше не скажешь!

Я встал и, сославшись на головную боль, ушёл.

Прощай, друг моего детства! Больше нам с тобой видеться незачем! Ну разве что ещё разок, снова сорок лет спустя! Впрочем, вряд ли мы с тобою проживём так долго, конечно, не проживём, так что — прощай!..

...По мокрому снегу, посыпанному крупной серой солью, мы возвращались с женой домой. Мы шли из театра. Мы шли с генеральной репетиции моей пьесы «Матросская тишина».

За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет.

Но на сей раз банкета не будет!

...Была — но съедена конфета,  
Была — но съедена котлета,  
На всём столе одна галета —  
Привет участникам банкета!..

Банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спектакль — ничего этого не будет, потому что прежде всего не будет самого спектакля.

...Это, в конце концов, неплохо, что студийцы в учебном порядке поработали над таким чуждым для них материалом, а теперь, товарищи, надо искать свою, молодую, близкую по духу драматургию! Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперёд и выше, товарищи!..

...Вы что же хотите, Александр Ар-ка-ди-е-вич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шёл спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

Нет, нет, упаси меня Бог, я этого, разумеется, не хочу!

...Мы пришли домой, где нас уже у двери ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел — мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обыкновенно, если нас долго не было дома, Чапа при встрече закатывала нам скандал. Она вспрыгивала на диван и произносила монолог:

— Как же вам не стыдно?! Где вы пропадали?! Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы всё не идёте и не идёте!..

Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими огромными печальными глазами и в знак утешения повилила хвостом.

Я поднял её на руки, и она лизнула меня в нос.

...Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила её за своим домом, в овраге, под деревьями. Хоронить пришлось ночью, тайком — иначе могла нагрянуть санитарная инспекция и оштрафовать.

В Москве вообще похоронить трудно.

А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтоб его сжигали в крематории.

Похоронить в Москве трудно.

Убить — легко.

*Серебряный Бор—Москва*  
*29 мая 1973 года*

## БЛОШИНЫЙ РЫНОК

*Почти фантастический, но не научный роман*

Автор считает своим долгом предупредить читателей, что в этом романе нет ни единого слова правды.

Все персонажи — и действующие, и даже только упомянутые: Семён Таратута, Леонид Брежнев, Валя-часовщик, Михаил Моисеевич Лapidус и другие — выдуманы автором и в действительности не существуют.

Равно как и города — Одесса, Москва, Тель-Авив, Париж.

Всякое сходство с подлинными лицами и населёнными пунктами является чисто случайным.

## ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

1

...В тумане расплываются огни,  
А мы себе уходим в море прямо!  
Поговорим за берега твои,  
Любимая моя Одесса-мама!

*Песня*

Одесса, как известно, самый необыкновенный город на всём белом свете.

Я знаю это твёрдо и не советую никому спорить со мною по этому поводу. Хотя бы уже потому, что история, которую я собираюсь здесь рассказать, случилась именно в Одессе.

Вернее — в Одессе она началась, а кончилась чёрт знает где, если вообще кончилась, в чём я, полага руку на сердце, далеко не уверен.

Но началась она в Одессе, это точно. И началась она так: во вторник, второго октября одна тысяча девятьсот семьдесят... года, ровно в три часа дня, на улице Малой Арнаутской, у входа в пивной бар «Броненосец “Потёмкин”», остановился Семён Таратута, огляделся по сторо-

нам и двумя руками развернул и поднял над головой плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с оборотной стороны красной тушью было написано: «Свободу Лapidусу!»

Пожилой официант с подбитым глазом выглянул из дверей бара, увидел Таратуту, улыбнулся и ласково предложил:

— Заходите, Семён Янович, «Жигулёвское» есть.

— После, — сказал Таратута.

— Ну, после так после!

Официант покивал головой и скрылся.

...Через несколько минут Таратуту окружила толпа. И это не удивительно, потому что это Одесса. В Одессе, например, если вы встречаете на Дерибасовской приятеля и останавливаетесь с ним поболтать, то рядом с вами немедленно остановятся ещё человек десять и будут слушать, о чём вы говорите, — а вдруг вы рассказываете какие-нибудь новости, которых они ещё не знают. И вообще — интересно...

...В толпе, окружившей Таратуту, среди обычных уличных зевак и вышедших на шум посетителей бара с кружками пива в руках выделялась пёстрая компания длинноволосых молодых людей и девиц, «джинсовые мальчишки и девочки», как их мысленно окрестил Таратута. Впрочем, в джинсах, в настоящих джинсах, подсученных по всем правилам моды снизу, с кожаной нашлёпкой на задку, в таких джинсах, за которые спекулянты дерут от семидесяти пяти до ста рублей, был только один плюгавый паренёк, остальные же просто делали вид, будто они тоже в джинсах.

Сначала толпа стояла молча, читала плакат, разглядывала Таратуту. Худощавый, чуть выше среднего роста, в больших фасонистых роговых очках, с рыжеватыми курчавыми волосами, Таратута никак не походил на этакого голливудского киногероя. Но и уродом его тоже назвать было бы грех. Наблюдалась в нём даже скорее некая лукавость, некое, как говорили в старину провинциальные актёры, «неглиже с отвагой», что в немалой степени способствовало его успеху у женщин. Девицы из «джинсовой» компании подтвердили это немедленно — начали поводить плечиками, зазывно улыбаться и шурить глаза.

На Таратуте был клетчатый пиджак производства Германской Демократической Республики, серые чешские брюки, польские мокасины и шёлковая, в крупный цве-

ток, японская рубашка, которую жёны моряков, распро-  
дающие всевозможное шмотьё, привозимое их мужьями  
из дальних странствий, ласково называют «гавайка».

И всё это заграничное великолепие было куплено, ко-  
нечно же, не в каком-нибудь государственном универма-  
ге, а исключительно и только на барахолке.

...О, знаменитая одесская барахолка, великий блоши-  
ный рынок, один из немногих чудом уцелевших и при  
этом даже официально узаконенных сказочных островков  
частной инициативы и предпринимательства! Под откры-  
тым небом на огромном пространстве, огороженном со  
всех четырёх сторон высоким забором, кипит, пылит,  
кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчисли-  
мое человеческое множество, оно выплёскивается на прилега-  
ющие улочки и переулки, перемахивает через ограду на-  
ходящегося в непосредственном соседстве с блошинным  
рынком еврейского кладбища, и над невозмутимыми мо-  
гильными плитами раздаются приглушённо-страстные го-  
лоса:

— Семь пять, и точка!

— Сто, как одатать! А если нет, то до свидания, мама,  
не горюй, ты меня не видел, я тебя не видел!

О барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ре-  
тивный начальник из горкома партии или горисполкома  
пытался поставить вопрос о её закрытии. И тогда проис-  
ходило чудо — сначала где-то в отдалении начинали по-  
громыхивать гром и посверкивать молния, ощущались та-  
инственные подземные толчки, колебания почвы, земля  
расступалась, и именно на том самом месте, где стоит  
Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину  
бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый  
начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и  
переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чём не  
бывало продолжала жить своей неопикуемой, безобразной  
и ликующей жизнью.

...Помнишь, я купил тебе когда-то на этом блошином  
рынке пальто и замшевые туфли маме? Кажется, она их  
всё ещё носит, хотя прошло с той поры не меньше чет-  
верти века.

Я поехал тогда в Одессу впервые. В Москве и до по-  
ловины пути стояла зима с метелями, снежными заноса-  
ми, а Одесса встретила меня слякотью и пронзительным  
ветром с моря, заледеневшего только у самого берега. У

меня была дурачки благонамеренная идея написать сценарий или пьесу о моряках торгового флота, целыми днями я пропадал в порту, но в воскресенье я всё-таки выбрался на блошиный рынок, благо находился он тогда ещё в черте города.

Первое, что я услышал, когда сквозь толчею протиснулся в узкие деревянные ворота, был истошный женский крик:

— Караул, грабят!

Толстая усатая баба, закутанная поверх пальто в какое-то неимоверное количество платков и шалей, тыкала пальцем в тощего мужчину, державшего на деревянной распялке мужскую рубашку, и кричала:

— Караул, грабят!

— В чём дело, мадам? — поинтересовался кто-то. — Кто вас грабит?!

— Вот он, — прокричала баба, — за эту жалкую тряпочку хочет пятнадцать рублей!.. Караул!

О барахолка, блошиный рынок, толкучка, толчея, удивительный сколок человеческого мира, где обман не позор, а напротив — дело чести, славы, доблести и геройства, где каждый стремится обжулить каждого — продавец покупателя, покупатель продавца — и где в конце концов каким-то непостижимым образом обманутыми оказываются все, даже самые хитрые и удачливые.

И, может быть, если взглядеться попристальней...

Но нет, погоди, погоди!

Еще не пришла пора для авторских отступлений. История, которую я хочу рассказать, только начинается, только отправляется в путь, вот когда она полетит, помчится, поскачет стремглав, тогда время от времени будет просто необходимо остановиться, чтобы перевести дыхание, оглянуться назад, вспомнить.

А пока разумнее всего вернуться, и как можно скорее, к прерванному рассказу.

Итак, толпа, окружившая Таратуту, сперва молчала, ожидая, видимо, что будет дальше.

Но вот наконец хорошенькая и знающая, что она хорошенькая, загорелая девица из «джинсовой» компании, с чёрненькой чёлкой и зеленовато-карими глазами, отважилась задать первый вопрос:

— А он еврей?

— Кто? — сквозь зубы надменно процедил Таратута.

— Лapidус.

— Норвежец! — усмехнулся Таратута. — Конечно, еврей.

— Он сидит? — снова спросила девица с чёрненькой чёлкой.

— Конечно, сидит!

— А где?

Таратута сделал вид, что он рассердился:

— «Где, где!» Не волнуйтесь, не в Чили! Он сидит в Одессе, где же ещё?!

— Давно? — деловито и хрипло поинтересовался замызганный работяга с мотком проволоки через плечо. В свободной левой руке работяга держал банку с мутным огуречным рассолом, отпивая по временам из банки глоток и содрогаясь всем телом.

— Пять дней, — сказал Таратута.

Откуда-то из задних рядов два голоса, женский и мужской, одновременно задали один и тот же вопрос:

— А за что его посадили?

До сих пор Таратута, как уже было отмечено, отвечал на вопросы лениво и небрежно, словно нехотя. Но, услышав последний вопрос, он оживился. Он ждал, когда ему наконец зададут именно этот вопрос. Он потряс над головой плакатом, набрал воздух в лёгкие и неожиданно зычным голосом закричал:

— За что он сидит?! Они меня спрашивают — за что сидит Лapidус?! Он сидит за то, что он гений, вот за что!..

Где-то в толпе, разбуженный криком Таратуы, отчаянным синюшным плачем зашёлся младенец. Таратута недовольно поморщился и замолчал.

Толпа терпеливо ждала, но младенец не унимался.

— Послушайте, мамаша, — сказал работяга, — уймите своего семимесячного! Дайте ему цицу! Человек же рассказывает, это же просто невежливо!..

— Он будет меня учить! — огрызнулась женщина, но на неё зашикали со всех сторон, и она, расстегнув платье, вытащила большую и плоскую грудь, похожую на кусок теста, и поднесла к ней ребёнка.

Толпа, подождав ещё мгновение и убедившись, что младенец занялся делом, снова обернулась к Таратуте.

— Ну?

— Вон там стояла его палатка, — уже обыкновенным голосом сказал Таратута и мотнул головой в неопределённом направлении. — Там она стояла, и там её нет. Даже палатку они снесли!..

— А чем он торговал? — спросила неугомонная девица с чёрненькой чёлкой.

Этот вопрос тоже принадлежал к числу вопросов, заранее предусмотренных Таратутой. Поэтому он сперва одобрительно подмигнул девице с чёлкой, а потом скорбно усмехнулся!

— Чем он торговал?! Лapidус торговал киселём. Вы меня спросите — каким? Обыкновенным. Клюквенным. Развесным. В порошке. Рубль шестьдесят копеек за килограмм... Этот порошок разводят в кипятке, и выходит кисель, знаете?

— Знаем, знаем! — закивали в толпе.

— Но, — снова слегка повысил голос Таратута, — но, между прочим, таким кисельным порошком торговали по всей Одессе. И на Садовой, и на Фонтане, и на Дерибасовской, всюду! Только у Лapidуса покупали, а у других не покупали! Вы спросите — почему? Вы думаете, тут была какая-нибудь махинация?! Так вот, представьте себе, никакой махинации не было! Лapidус имел удостоверение на право торговли, с печатью на бланке, которое ему выдала наша родная советская власть... — Таратута оглянулся и на всякий случай добавил: — Пусть она ещё живёт сто лет по крайней мере!..

— Много! — громко и чётко сказал работяга, отхлебнув из банки глоток рассола, и всем телом описал в воздухе круг.

Таратута, не выпуская из рук плаката, со всего маху пнул работягу ногой и прошипел:

— Я этих слов не слышал, понял?! С меня хватит нарушения общественного порядка! Семидесятой я не интересуюсь!..

— Какой — семидесятой? — скривился работяга.

— Уголовный кодекс надо читать! — наставительно сказал Таратута. — Семидесятая статья — антисоветская агитация.

В толпе недовольно загудели. Кто-то крикнул:

— Перестаньте с частными разговорами!

Певучий южный тенорок спросил:

— А почему всё-таки у Лapidуса покупали, а у других нет? С разных, что ли, баз получали?

— Получали с одной базы! — сказал Таратута и хитро прищурился. — Но только у других — когда вы разводили этот порошок водой и получали кисель, — так он был кислый и надо было ещё добавлять три-четыре большие ложки сахара, а у Лapidуса он сразу был сладкий...



Тут уже вся толпа разом спросила:

— А почему?

— А потому, что Лapidус — я вам уже сказал — был гений! Гений и человек великой души! Он сам, за свой собственный счёт покупал сахар и добавлял его в этот паршивый клюквенный порошок...

В толпе раздались удивлённые возгласы.

Плюгавый паренёк в настоящих джинсах высокомерно прошепелявил:

— Сказки! Что же он, этот Лapidус, Робин Гуд, что ли?!

— Не Робин Гуд, а гений! — упрямо повторил Таратута и опять быстро оглянулся. — В другом мире, где, извиняюсь за выражение, человек человеку волк, его бы назначили министром киселя... А здесь его посадили и ещё обозвали в печати жуликом.

В толпе снова заинтересованно загудели:

— В печати?

— Когда? В какой печати?

— Что значит — в какой печати?! — нарочито спокойно и даже как бы задумчиво переспросил Таратута. — В Советском Союзе существует только свободная печать. Вся остальная запрещена. Заметка о Лapidусе была напечатана в газете «Черноморец» от четвёртого октября... Сейчас я вам всё объясню...

Но объяснить Таратута ничего не успел.

В толпе внезапно началось какое-то бурное завихрение, кружение, образовалось нечто похожее на водяную воронку, центробежная сила отбросила часть толпы в одну сторону, часть в другую, и в пустом пространстве возникла длинноногая тощая фигура старшины Сачкова, печально и хорошо известного всей Малой Арнаутской улице и Ильичёвскому району вообще.

— Ну вот! — сказал Сачков, словно продолжая некий прерванный разговор.

Он остановился перед Таратутой и укоризненно покачал головой.

— Что я говорил, гражданин Таратута?! Это самое я и говорил — нет вам доверия, нет и быть не может!..

— Вы, товарищ начальник, не так меня поняли! — туманно ответил Таратута и, опустив плакат, собрался уже было его порвать, но Сачков неожиданно быстрым и ловким движением схватил его за руку.

— Нет уж, вы, гражданин Таратута, плакат не рвите! Плакат у нас с вами будет как бы вещественное доказа-

тельство! — Он потянул Таратугу за рукав пиджака. — Прошу следовать!..

— Привет, товарищ Сачков! — вывернулся боком из своего окружения плюгавый паренёк в настоящих джинсах. — Узнаёте?

Сачков хмуро посмотрел на него, пожевал губами и хрипло выдал:

— Нет.

— Как — нет? Я же племянник начальника вашего отделения — Ершова Николая Петровича! Я бывал у вас и...

Не дав плюгавому паренёку договорить, Сачков в упор спросил:

— Ну и что? Вы меня, гражданин, отрываете, понимаете, от исполнения служебных обязанностей! В чём дело?

Паренёк в настоящих джинсах смутился, пробормотал что-то невнятное, втиснулся обратно в свою компанию, но, пока всё это происходило, Таратуга уже успел, повернувшись к девице с чёрненькой чёлкой, сказать ей негромко, быстро и повелительно:

— Номер?

Проявив незаурядную догадливость, девица ответила так же негромко и быстро:

— Пять—пятьдесят два—семьдесят три.

— Я не запомню! — сказал Таратуга и, увидев, как у девицы растерянно округлились глаза, усмехнулся. — Знаю, знаю, карандаша нет, записать не на чем...

Он подставил девице злополучный плакат.

— Губной помадой. Здесь.

Девица потрясла головой — чёрненькая чёлочка растрепалась по лбу, — достала из сумочки помаду, крупно и коряво записала на плакате номер своего телефона, после чего плакат приобрёл уже и вовсе загадочный вид: «Свободу Лapidусу! 5—52—73».

— Жди звонка! — пообещал Таратуга и торжественно обратился к Сачкову: — Я готов, товарищ начальник!

Он сам взял старшину под руку. И они вдвоём, пройдя сквозь строй вновь расступившейся перед ними толпы, перешли на другую сторону улицы. Мальчики и девочки из «джинсовой» компании, глядя им вслед, прокричали по слогам громко и недружно:

— Сво-бо-ду Ла-пи-ду-су!

Долговязая старуха в очках, гид «Интуриста», объяснила гостям из мира, где человек человеку волк, сидевшим в голубом туристском автобусе, что это наша совет-

ская молодёжь требует немедленного освобождения греческих патриотов.

Розовощёкий «волк» в баварской шляпе с пером спросил:  
— Снимать можно?

— Не стоит, — сказала дошлая старуха, — это у нас, знаете ли, повсеместное явление. Поберегите лучше плёнку для памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину!.. — И после паузы великодушно добавила: — Ну, и ещё для герцога Ришелье...

## 2

Начальник двенадцатого отделения милиции Ильичёвского района города Одессы майор Николай Петрович Ершов был чем-то вроде белой вороны на ослепительно чёрном небе Министерства внутренних дел. Люди, подобные ему — люди с прошлым, «ископаемые», — не то чтобы в МВД, а и в обычных-то советских учреждениях встречаются теперь всё реже и реже. Одни умерли, другие — по большей части — одиноко доживают на пенсии свой бессмысленный и кромешный век.

В погожие дни они выползают на Приморский бульвар, сидя на скамейках, греются на солнце и стараются ни о чём не думать и ничего не вспоминать. Иногда они позволяют себе сыграть партию в домино или в шашки, но чаще всего просто молча сидят и, полуприкрыв по-стариковски птичьими веками слезящиеся глаза, смотрят на своё Чёрное море, которое им так часто снилось в Инте и на Магадане, на Соловках и в Потье в стремительно короткие лагерные ночи.

Если кто-нибудь заводит разговор о политике, то старики обычно помалкивают. Они давно уже усвоили — те из них, которые способны были хоть что-то усвоить, — что политика их теперь не касается, политика им не по уму. Та самая политика, которую они когда-то, шальные от вседозволенности и крови, в простреленных шинелях и кожаных куртках делали, как им казалось, сами.

...В 1938 году молодой военный инженер Николай Ершов вернулся из Испании в Советский Союз. Возвращался он путём долгим и затейливым — через Францию, Швейцарию, Бельгию, Польшу. В Москве его встречали цветами, поцелуями, рукопожатиями, наградили орденом Красной Звезды. А в скором поезде Москва—Одесса, ког-

да слегка захмелевший Ершов рассказывал своим случайным спутникам о боях под Теруелем, в купе в сопровождении насмерть перепуганной проводницы вошли двое — без лиц, без глаз, без знаков отличия, — и один из них проговорил, как пролаял:

— Гражданин Ершов?!

Особое совещание приговорило Ершова к расстрелу — высшей мере социальной защиты — за шпионаж в пользу некоего иностранного государства. Расстрел заменили десятью годами лагерей особо строгого режима.

Просидел Ершов, как и положено, не десять, а почти семнадцать без малого лет, так что путь его от Мадрида до родной Одессы оказался куда как более замысловатым, чем это представлялось вначале. Если отбросить в сторону мелкие подробности и незначительные малонаселённые пункты, то путь этот выглядел так: Мадрид, Париж, Женева, Антверпен, Варшава, Москва, Белгород (под Белгородом Ершова сняли с поезда), снова Москва — Лефортовская тюрьма, потом Ярославская пересылка, Магадан, Тайшет, Караганда, опять Москва, где в прокуратуре ему выдали справку о реабилитации «ввиду отсутствия состава преступления», и, наконец, Одесса.

Многочисленная родня, главным образом не Ершова, а покойной его жены Рашели, которую он любил без памяти — но она умерла в конце сороковых годов, так и не дождавшись его, — встретила бывшего героя гражданской войны в Испании без особого ликования. Реабилитированные в ту пору возвращались тысячами — а многих из них давно уже позабыли, давно уже вычеркнули из списка живых, давно уже от них отреклись, — что уж тут ликовать?! Тем более что, как выразилась, стоя в очереди за колбасой, старая одесситка, «с нашим правительством не соскучишься!». Глядишь, опять начнут сажать, опять мести под метёлку, вот и припомнят тогда тех, кто устраивал для вернувшихся «оттуда» праздничное застолье.

Несколько месяцев Ершов проболтался по чужим и негостеприимным углам, потом горисполком дал ему маленькую однокомнатную квартиру в новом районе одесских Черёмушек.

...Подобные районы есть почти в каждом большом городе Советского Союза — унылые одинаковые дома, с одинаковыми крышами, окнами и подъездами, одинаковыми лозунгами, которые вывешивают в праздничные дни, и одинаковыми матерными словами, нацарапанными

карандашами и гвоздями на стенах. И стоят эти одинаковые дома на одинаковых улицах с одинаковыми названиями — Коммунистическая, Профсоюзная, улица Мира, проспект Космонавтов, проспект или площадь Ленина.

...Легко вообразить себе этакую водевильную, но при этом вполне правдоподобную историю — беспробудно пьяный командировочный вылетает из Москвы домой, но по ошибке его сажают не в тот самолёт. Самолёт, естественно, прилетает в какой-то совсем другой город, но бывший командировочный, всё ещё не успев протрезветь, садится в такси, произносит заплетающимся языком свой адрес. И шофёр привозит его на Профсоюзную улицу к дому номер 116, и командировочный, цепляясь за перила, поднимается на свой четвёртый этаж, отпирает дверь своей, как он предполагает, квартиры, вешает пальто на вешалку, швыряет в угол чемодан и заваливается спать. А на рассвете с ночной смены приходит женщина, у которой муж по случайному совпадению (чего не бывает в водевилях и в советской действительности!) тоже находится в командировке. Увидев, что муж вернулся, женщина ложится спать, а командировочный, проснувшись утром, тихонько, чтобы не будить жену, отправляется на работу, решив, что позавтракает он по дороге на улице Космонавтов, в кафе «Молодёжное». И, конечно же, на обязательной улице Космонавтов имеется обязательное кафе «Молодёжное», а подают в этом кафе обязательный завтрак — еле тёплую чёрную бурду, которая называется «кофе», и очень горячие сосиски в целлофановой обёртке, — для того чтобы эту сосиску съесть, надо, обжигая пальцы и произнося шёпотом и вслух всякие нехорошие слова, попытаться содрать с неё целлофан.

О Господи!..

Впрочем, я обещал, что не буду до поры отвлекаться. Прощу прощения!

...После того как Ершову дали квартиру, его вызвали в городской комитет КПСС, дружески, как говорится, поприветствовали, назначили агитатором (не объяснив, правда, за что он должен агитировать) и ввели в совет пенсионеров.

Осатанелые и злобные старики и старухи — из тех, что как раз не могли и не хотели ничему научиться, — занимались главным образом тем, что устраивали допросы гражданкам и гражданам, которые по недомыслию решили ехать в туристическую поездку. И не в какую-нибудь,

скажем, родную социалистическую Болгарию, а в так называемую капстрану.

Допрашиваемые гражданки, как правило, судорожно мяти в руке платочек, допрашиваемые граждане просили разрешения закурить. Но курить старики не разрешали. Они заранее рассматривали допрашиваемых как возможных изменников Родины и вопросы задавали самые ехидные и каверзные. Например, разрешена ли в той стране, в которую собрался ехать допрашиваемый, коммунистическая партия, и если разрешена, то какова её численность и кто является ее генеральным секретарём. Или — в каком году состоялся Одиннадцатый съезд партии и кто на этом съезде делал отчётный доклад.

Ершов обычно сидел в сторонке, помалкивал, вопросов не задавал, а только про себя дивился — почему советский человек, если ему захотелось увидеть Эйфелеву башню, должен для этого непременно знать, в каком году состоялся Одиннадцатый партийный съезд.

От тоски, от раздражения, от одиночества начал Ершов попивать.

Пил он нехорошо, зло. Вечером, уже постелив постель и раздевшись, он ставил на ночной столик бутылку водки, наливал себе полный стакан, включал зачем-то радиоприёмник и под громоухание джаза сам с собой разговаривал вслух. Называлось это у него «час беседы с умным человеком».

Так бы он, скорее всего, и спился, если бы однажды не пригласил его к себе первый секретарь горкома партии Кандыба и не сказал бы хмуро, не глядя на Ершова и постукивая по столу огромными пальцами огромной, как лопата, ладони.

— Неприятности у нас, Николай Петрович! Этот... ну, Дронов, начальник двенадцатого отделения милиции, на взятках попался. Брал, сукин сын, с кого ни попадя! У него в районе артель есть «Инвалиды умственного труда» — клеют, очкарики несчастные, папки для скоросшивателей, — так он и с них драл!

— Судить будут? — спросил Ершов.

— Судить не будем, — медленно проговорил Кандыба, — шуму много поднимется. Пошлём в район, куда-нибудь подальше, чтоб с глаз долой!.. — Он посмотрел на Ершова и вдруг почти искательно улыбнулся. — А у нас к вам просьба, Николай Петрович! Мы тут с товарищами посоветовались — и из МВД, и ещё кое с кем... Порабо-

тайте в двенадцатом отделении — временно, так сказать, исполняющим обязанности, а?

Какой-то остроумец заметил, что самые вечные здания — это временные бараки. Чуть переиначив его слова, можно сказать, что нет должности более постоянной, чем должность «временно исполняющего обязанности».

Вот уже три года без малого тянул Ершов ляжку начальника отделения милиции. Изредка он звонил Кандыбе, напоминал о себе и всегда выслушивал один и тот же торопливый ответ:

— Подожди, Ершов, подожди!

Обо всём этом, и особенно о прошлом Николая Петровича Ершова, знали немногие. И уже вовсе ничего, разумеется, не знал Таратута. Он видел перед собой пожилого человека — полноватого, лысоватого, с курносым носом картошкой, в нескладно сидящей форме. Колобком перекатываясь из угла в угол по своему кабинету, Ершов всплёскивал ручками, сердито фыркал:

— Это надо же!.. Демонстрацию устраивают!.. Свободу Лapidусу! Нашли себе героя — жулика!..

— Лapidус не жулик, — вяло возразил Таратута, — он благородный человек! Он сам за свой счёт покупал сахар и...

Ершов быстро и весело, как китайский болванчик, закивал круглой головой.

— Вот, вот, вот! Покупал за свой счёт сахар и добавлял его в этот кисельный порошок. Причём добавлял в соотношении пятьдесят на пятьдесят... А теперь подсчитайте! — Он остановился и стал считать, загибая толстые пальцы. — Полкило порошка стоит восемьдесят копеек! Так?! Полкило сахара — а сахар Лapidус покупал не по розничной цене, а всё на той же оптовой базе — двадцать пять копеек! Так?! Разница — пятьдесят пять копеек. Вычтем двадцать пять, истраченные Лapidусом, и получим прибыль на каждый килограмм... Сколько? Ну-ка, прикиньте, если не забыли арифметику...

Таратута поглядел на Ершова и даже присвистнул от удивления.

— Тридцать копеек!

Ершов засмеялся.

— Точно. Тридцать копеек. С каждого килограмма.

Он снова засмеялся, потёр ладонью голову, словно приглаживая волосы, которых не было и в помине.

— Благородный человек! Конечно, надо отдать ему справедливость — до такой комбинации додумается не

каждый, но... — Он вдруг остановился перед Таратутой, протянул руку. — Паспорт.

Таратуга, пожав плечами, вытащил из бокового кармана клетчатого пиджака паспорт в картонной обложке, подал его Ершову.

— «Фамилия — Таратуга, — вслух прочёл Ершов. — Имя — Семён, отчество — Янович, год рождения — одна тысяча девятьсот тридцать шестой... Место рождения — Варшава...» — Он сдвинул брови. — Варшава? А почему — Варшава?

— А почему — нет?! — нахально возразил Таратуга. — Или человек уже не имеет права родиться в Варшаве?!

— Имеет, имеет право! — пробормотал Ершов, слегка зажмурив глаза и услышав внезапно негромкую музыку и нежный хриловатый женский голос, поющий «Вшистка мни едно», и в лицо ему ударил запах кофе, настоящего кофе, который подавали в той знаменитой «кавярне» на Маршалковской... Чёрт, он уже и не вспомнит теперь, как она называлась!.. Он встряхнул головой и снова уткнулся в паспорт. — Национальность — прочерк. — Он поглядел на Таратугу. — А это что значит?

— А это значит, что я не знаю своей национальности! — сказал Таратуга. — Были Таратуги — евреи, были Таратуги — поляки...

— Понятно! — сказал Ершов, уже начиная обо всём догадываться. — В каком году вы приехали в Советский Союз?

— В тридцать восьмом.

— Где жили?

— Сначала в Москве. С родителями. А потом в Свердловске. Там я уже был один. В детском доме.

— Кто-нибудь из родителей жив?

— Нет.

— Понятно! — повторил Ершов.

Теперь ему и вправду всё было понятно. И опять, прищурился, он даже попытался выкопать в памяти, а не встречался ли ему среди тех тысяч и тысяч, чьи горемычные жизни на какое-то время пересекались с его собственной жизнью — на пересылках, на этапах, в лагерях, — не встречался ли ему польский коммунист по фамилии Таратуга?! Впрочем, поди вспомни! Сколько их было — особенно жалких из-за плохого знания языка, особенно растерянных из-за полного непонимания, что это происходит, с лихорадочно блестящими глазами доходят!



Ершов внимательно поглядел на Таратуту.

Кого-то он ему напоминал, этот тип — в своих больших роговых очках, с рыжеватой курчавой головой, — кого-то он мучительно напоминал.

— А в Одессе вы давно?

— Девять лет.

— Где работаете?

— В Морском техникуме. Преподаю французский язык. Факультативно, два раза в неделю. И ещё работаю тренером шахматной команды школьников во Дворце пионеров.

— Ишь ты! — усмехнулся Ершов. — А в милицию вас когда в последний раз приводили?

— Двадцать пятого августа, товарищ начальник, в двенадцать часов дня! — браво отрапортовал старшина Сачков.

Он стоял, как каланча, одна рука по швам, а другой он придерживал ручку двери на тот случай, если задержанный задумает совершить побег.

— За что? — спросил Ершов.

— А он, товарищ начальник, на пляже в Аркадии подписи собирал... под письмом в горсовет, чтоб разрешили купаться голыми.

— А-а-а... — насмешливо протянул Ершов. — Слышал! Это теперь, старшина, такая мода. Сперва голые люди жили на деревьях, потом — голые — спустились на землю, потом начали шкуры на себя натягивать... А теперь всё назад — походят голые по земле, а там, глядишь, и на деревья залезут...

Он резко, всем телом повернулся к Таратуте.

— Ну, а вам-то всё это зачем?

Таратута вздохнул.

— Скучно.

«А мне, думаете, не скучно?!» — хотел было сказать Ершов, но удержался и только коротко посоветовал:

— Купите телевизор! Где вы живёте?

— В гостинице «Дружба».

Лохматые брови Ершова удивлённо полезли вверх.

— Как так?

— А очень просто, — сказал Таратута, покачивая ногой. — Я жил на Александровской, в доме-башне. Когда полгода назад дом этот рухнул, то уцелевших жильцов горсовет до предоставления им постоянной жилплощади расселил по разным гостиницам... Мне досталась гостиница «Дружба».

— Та-а-ак! — протянул Ершов.

Он сел наконец за свой стол, откинулся в неудобном скрипучем канцелярском кресле, помолчал, поглядел на Таратуту, вздохнул.

— И всё-таки, хоть убейте, не понимаю я вас... Французский язык, шахматы, и вдруг — Лapidус! На кой он вам сдался? Кто он вам? Дядя?! Тётя?! Что за дурацкий повод для самоутверждения?! Ну, например, эти — как их называют — «инакомыслящие»... Я их, конечно, не одобряю, но у них есть хоть какие-то идеи, а у вас?

— А у меня тоже есть идеи! — с вызовом сказал Таратута.

— Нет у вас никаких идей!

— Нет, есть! В конце концов, могу я иметь свою точку зрения?

— Можете! — сказал Ершов и вдруг рассердился. — Вы можете иметь свою точку зрения, пожалуйста. А я могу вас за эту точку зрения посадить на пятнадцать суток! — Он слегка повысил голос. — И сдаётся мне, гражданин Таратута, что на сей раз я этой возможностью воспользуюсь!

Наступило молчание.

У старшины Сачкова от довольной усмешки растянуло рот до ушей.

Таратута, глядя в пол, негромко сказал:

— А я болен.

— Чем?

— Печень. Холецистит.

— Ладно! — подумав, сказал Ершов. — Завтра к часу дня придёте в двадцать вторую поликлинику. На Пушкинской улице. Скажите в регистратуре, что это я вас прислал. Вас там обследуют, сделают все анализы, и если вы окажетесь здоровы... — Ершов недоговорил, но по его тону нетрудно было догадаться, что если Таратута окажется здоровым, то никакой радости ему это не принесёт.

— Хорошо. — Таратута встал, спросил: — Я свободен?

— Пока — да, — зловеще сказал Ершов.

Таратута неловко, боком поклонился и уже в дверях, которые перед ним с неохотой открыл старшина Сачков, обернулся, поглядел на Ершова.

— А как вы думаете, сколько дадут Лapidусу?

— Не знаю, — сухо сказал Ершов.

Таратута снова поклонился.

— До свидания.

— До свидания, — сказал Ершов.

Когда Таратута ушёл, Ершов хмыкнул, потрогал за чем-то толстым коротким пальцем нос, покачал головой.

— Ну и тип! На кого-то он похож, а вот...

— Зря вы его отпустили, товарищ начальник! — с нескрываемой обидой в голосе проговорил старшина Сачков. — Никакой у него печени нет, врёт он всё! По нему пятнадцать суток давным-давно плачут! Почистил бы, милый друг, сортиры — живо бы позабыл...

Из-за полуоткрытой двери тоненький голосок секретарши прошебетал:

— Николай Петрович, снимите трубочку, из горисполкома!..

Ершов, поморщившись, придвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку.

— Да?!

Густой бас на другом конце провода внушительно проговорил:

— Николай Петрович, привет! Сведения оказались верными... ну, насчёт французов! Нам сейчас из Москвы звонили. Они у нас будут десятого числа. В твоём распоряжении, стало быть, остаётся неделя. Ты как думаешь — сумеешь управиться?

— Постараюсь! — хмуро сказал Ершов и, помолчав, на всякий случай спросил: — Всё?

— Всё, — сказал бас. — Привет!

Ершов шмякнул на рычаг трубку, как-то брезгливо, локтем отпихнул в сторону телефон, поглядел на старшину Сачкова, вздохнул.

— Не было печали!

— Случилось что, товарищ начальник? — вежливо поинтересовался Сачков.

— Мэры французских городов к нам едут, будь они трижды неладны! — сказал Ершов и стукнул кулаком по столу. — Приезжают в Одессу десятого. Горисполком предлагает срочно, за одну неделю, почистить район от всяких не внушающих доверия граждан... — Он усмехнулся. — В старину, при царе-батюшке, это называлось проще и определённое — от студентов, жидов и прочих интеллигентов...

Старшина Сачков, голубиная душа, задумчиво и серьёзно проговорил:

— А вот как раз евреев, товарищ начальник, у нас в районе ещё о-го-го!

Ершов коротко фыркнул, махнул рукой.

— Ладно, старшина, идите! Скажите там Вале, пусть напечатает объявление — завтра в девять утра совещание всех сотрудников!

— Слушаю-с, товарищ начальник!

Оставшись один, Ершов снова тяжело вздохнул, оттопырил губы, зажмурил глаза, потом резко раскрыл их, словно он надеялся увидеть не этот опостылевший ему и тоже как бы временный кабинет — с неизменным несгораемым шкафом, в котором не лежало ничего, кроме нескольких экземпляров самиздатовской статьи академика Сахарова «О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», изъятой у не внушающих доверия граждан; с неизменным же, в углу, пыльным переходящим знаменем, полученным ещё предшественником Ершова, взяточником Дроновым, за какие-то неведомые заслуги, и с двумя вовсе неизменными Ильичами — гипсовым бюстом вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина на специальной подставке и поясным портретом вождя мирового пролетариата Леонида Ильича Брежнева в золочёной раме на стене.

Ершов тяжело поднялся, походил, разминая затёкшие плечи и руки, по кабинету, остановился, подмигнул вождю мирового пролетариата Леониду Ильичу Брежневу, насмешливо скривил губы.

— Привет! Ну, как дела? Как доктрина? Искал небось потихоньку это слово в энциклопедии — думал, верно, что болезнь какая-то?

И едва только Ершов произнёс всё это мысленно, как началась чертовщина. Вернее, не чертовщина, а известный медицине феномен под названием «раздвоение личности». Как правило, раздвоение это у Ершова происходило по ночам, после двух-трёх глотков водки, и начиналось обычно с того, что Ершов — приставала и язва — принимался донимать Ершова железобетонного всевозможными и притом весьма неприятными вопросами и вопросиками. Но сегодня чертовщина эта произошла на трезвую голову, среди бела дня, в служебном кабинете.

Первым, как всегда, заговорил приставала и язва:

— Что-то больно ты развоевался, товарищ Ершов! Ты на себя погляди! Швырнул ты им в харю свой партийный билет? Нет, золотко, не швырнул! Когда тебе в милиции предложили работать — послал ты их к едрене-фене?! Нет, душа моя, не послал!..

— Так это же работа временная! — неуклюже возразил Ершов железобетонный, и Ершов — приставала и язва даже засмеялся от удовольствия.

— В лагере ты тоже сидел временно!..

Ершов железобетонный, подумав, сказал:

— Знаешь, уж лучше я буду находиться на этом месте, чем какое-нибудь жульё вроде Дронова!..

И опять засмеялся приставала и язва, закашлялся от смеха, замахал руками.

— Знаю, знаю, слышал! Тысячу раз слышал! Именно эти самые слова произносили все начальники от мала до велика, от прокурора, который требовал для тебя «вышки», до лагерного ката, который бил тебя железной палкой по ногам... И все они потом, после, выдавали себя чуть ли не за спасителей человечества: уж лучше я, чем другой! А почему — лучше? Чем ты лучше? Вот позвонили тебе из горисполкома, и ты, будьте любезны, назначаешь на завтра совещание всех сотрудников!..

— Так надо, — веско сказал железобетонный Ершов.

Приставала, мгновение помолчав, совсем тихонько спросил:

— А то, что ты сейчас обдумываешь, это как? Это, потвоему, не подлость?

— Нет, — неожиданно твёрдо сказал железобетонный Ершов. — Это не подлость! Это для него, для дурака несчастного, может быть, единственный выход... Я таких, как он, навидался: походит-походит, поскучает-поскучает, а потом раз — и на колючую проволоку! — И когда приставала хотел спросить что-то ещё, Ершов железобетонный прикрикнул на него: — И замолчи! И хватит! И точка!..

И на этом феномен раздвоения личности кончился так же внезапно, как и начался. Николай Петрович Ершов, временно исполняющий обязанности начальника двенадцатого отделения милиции Ильичёвского района города-героя Одессы, приоткрыл дверь своего служебного кабинета и решительно сказал секретарше:

— Валюша, будь добра, соедини меня с полковником Захарченко из ОВИРа! Позвони по прямому!

Секретарша, очень серьёзная девица с золотистыми кудряшками, набрала номер, подождала ответа, пропела:

— Николай Петрович, Захарченко!

Ершов резко и плотно закрыл дверь, подошёл к столу, снял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Захарченко! Это Ершов, из двенадцатого отделения... Товарищ Захарченко, мне, понимаете, надо бы с вами обсудить одно очень деликатное и очень-очень срочное дело! Если разрешите, я к вам приеду сейчас!..

### 3

Таратуте было скучно.

Он сидел уныло и одиноко на скамейке на Приморском бульваре. В одной руке он держал зажжённую сигарету, в другой — яблоко и попеременно то отравлял организм никотином, то насыщал его витаминами.

Несмотря на сносную погоду, народу на бульваре было немного, да и то почти все одесситы.

Отгремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу — к солнцу, к весёлому морю, к дешёвым овощам и фруктам — съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно, только простояв часа три в распалённой очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь самые удачливые, а прочие люди средних способностей селятся где попало — снимают углы, чуланы, балконы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громоподобный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив — уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели — уезжают на машинах, улетают на самолётах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывает доходы — до следующего лета, до нового золотого дождя.

Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался бархатным сезоном.

Именно в октябре месяце с раннего утра и до позднего вечера в ротонде на Приморском бульваре духовой ор-

кестр городской пожарной дружины под управлением маэстро Каца наяривал марши, вальсы и польки и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара в сопровождении усатых кавалеров в котелках и в штиблетах; именно в октябре отчаянно рыжий авиатор Уточкин при несметном скоплении зрителей совершал над одесским ипподромом свои показательные полёты, по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город — в игорные дома, в гостиницы, в рестораны.

Знаменитая Иза Кремер со сцены летнего театра «Тиволи» пела негромко и лукаво:

...Я служила в магазине продащицей,  
Продащицей тубероз и орхидей.  
Вот однажды к нам заходит бледнолицый,  
В золотом пенсне хорошенький еврей...

А в ресторане Фанкони любимец Одессы, куплетист Яша Зингерталь — в соломенном канотье, с тросточкой — потешал уважаемую публику скабрёзными куплетами:

Поймал — держи  
И не тужи!..

А ещё был цирк Чинизелли. И чемпионаты французской борьбы. И гонки под парусами. И скачки. И загородные пикники.

Но Великая Октябрьская социалистическая революция поставила всё, как говорится, на свои места — лето есть лето, осень — осень.

— На то она и великая! — вслух сказал Таратута, встал и бросил в мусорную урну недоеденное яблоко и недокурённую сигарету.

...Он не помнил своих родителей. Когда арестовали сначала отца, а потом, два дня спустя, мать, маленького Семёна взяли друзья семьи, немецкие коммунисты, которых Таратута, разумеется, тоже не помнил и даже не знал, как их звали.

В первые же дни войны немецких коммунистов за «шпионаж в пользу гитлеровской Германии» отправили в лагерь, а Таратуту — в Свердловск, в детский дом.

Там он и прожил всю войну среди других — таких же, как он, молчаливых, напуганных, немилосердно коверкавших русский язык малышей. Но их кое-как кормили, купали, водили на прогулки, их учили — и они постепенно, делаясь спокойней и мягче, забывали свою родную

речь, и Иштван становился Ваней, Кнут — Колей, Марыся — Машей.

Вообще-то им здорово повезло! Будь они постарше, они попали бы не в этот детский дом под Свердловском, а в лагерь под Карагандой, который назывался просто и хорошо: исправительно-трудовой лагерь для детей врагов народа. Потому-то заведующая детским домом, ленинградка Валентина Яковлевна, представляя своих воспитанников какой-нибудь внезапно нагрянувшей комиссии, неизменно сокращала им по году, а то и по два и время от времени по ночам собственноручно переправляла даты рождения в ученических удостоверениях.

Иногда, в праздники — в день Первого мая, под Новый год, — в детский дом приходили так называемые гости — чаще всего одинокие женщины или странно напряжённые пожилые супружеские пары. «Бригада обслуживания», которую возглавлял Таратута, встречала «гостей» внизу, в гардеробе, помогала им раздеться, провожала наверх, в физкультурный зал, где «гости» садились на длинные и низкие деревянные скамейки, а «бригада обслуживания» угощала их жидким, чуть тёплым чаем с сахаринном.

Потом начиналась «художественная часть».

Выходил горбатенький воспитатель Никольский и, поклонившись «гостям», исполнял на аккордеоне марш из кинофильма «Цирк». Следом за Никольским выступал хор — пел «Катюшу» и «Полюшко-поле».

Затем девочки танцевали «танец стрекоз», мальчики — гопака, и под конец все вместе — удалую и осточертевшую «Калинку-малинку».

Но по тому, как важно и негромко аплодировали «гости», по тому, как всё так же напряженно сидели они и неловко держали в руках, в задубевших от работы и холода пальцах, гранёные стаканы с жидким чаем, было ясно, что не ради марша из кинофильма «Цирк» пришли они сюда, не ради «Катюш» или «танца стрекоз», что они ждут, чтобы началось что-то главное, — и тогда на середину зала выходила с красными пятнами на щеках Валентина Яковлевна и говорила громко, взволнованно, как-то странно ставя ударения на каждом слове:

— Дорогие товарищи! Мы очень благодарны, что вы к нам пришли. Если у кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы, то не будем мешать детям, пойдёмте в учительскую и там поговорим!



И случалось так, что на следующее утро кое-кто из вчерашних «гостей» приходил снова. Но только теперь они не поднимались вверх, в физкультурный зал, а оставались внизу, в гардеробе, и к ним туда, вниз, Валентина Яковлевна торопливо приводила насупленного Колю или заплаканную Машу в кургузом пальтишке, с жалким узелком в руках — и происходил нарочито короткий обмен словами благодарности и прощания, и «гости» вместе с Колей или Машей уходили, уходили навсегда — ещё не было случая, чтобы кто-нибудь из детей вернулся назад.

Однажды вечером Валентина Яковлевна вызвала к себе Таратуту. Накануне в детском доме были «гости», а на следующий день — второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года — с самого утра гремели по радио победные марши и торжественные залпы салютов.

И, переждав, пока отгромыхает очередной салют, Валентина Яковлевна сказала:

— Вот что, Семён, тебя приглашают жить с ними Викторовы. Ты, может быть, обратил на них вчера внимание? Мать и дочь. Они такие... — Валентина Яковлевна замялась, подыскивая слово... — Ну, тонкие, что ли... Они москвички и собираются на днях возвращаться домой. Они тут были в эвакуации... У них в Москве очень хорошая квартира на Чистых прудах... Правда, они не знают, что с нею, с этой квартирой, уцелела ли она, но они надеются... Мать зовут Аглая Николаевна, она преподаёт французский язык. А дочку зовут Адель. Ей пять лет. Это ей ты очень понравился, и она сказала, что хочет, чтобы ты был её старшим братом! Что ты, Семён, по этому поводу думаешь?

— Можно, — сказал Таратута, неподвижно глядя куда-то в одну точку перед собой. И, подумав, добавил: — Только я Викторовым не буду. Я — Таратута.

В жаркий июньский день Аглая Николаевна, Адель и Семён приехали в Москву. В Москве, на Чистых прудах, их ждала радость, похожая на чудо. Квартира Викторовых — на втором этаже стоявшего во дворе флигеля — не только уцелела, но, как закрыла её Аглая Николаевна, уезжая с Аделью в эвакуацию, так она и простояла всю войну — нетронутая, невзломанная, живая и невредимая.

— Чудо, чудо, чудо! — пела Аглая Николаевна, бесшумно и стремительно перебегая из комнаты в комнату — а комнат было целых три, — открывая окна, сдирая со стёкол наклеенные крест-накрест — на случай воздушно-го нападения — полоски бумаги, поднимая со звоном тя-

жёлые крышки обитых медью старинных сундуков, распахивая дверцы шкафов.

— Чудо, чудо, чудо! — тоненько вторила матери Адель, заводя ключом большие, стоявшие на полу часы и весело поглядывая на Таратуту.

— Чудо, чудо, чудо! — поддавшись настроению этого общего торжества, пел и Семён и, как зачарованный, смотрел на шахматный столик, украшенный перламутровой инкрустацией, с расставленными на нём фигурками из пожелтевшей кости.

Шахматы Таратута видел и раньше. Горбатенький воспитатель Никольский за неимением партнёров играл иногда по вечерам сам с собой, разбирая этюды и задачи, и, обратив внимание на интерес Таратуты, показал ему, как ходят фигуры. Но доска, на которой играл Никольский, была обыкновенной замызганной картонкой, расчерченной от руки на шестьдесят четыре клетки, и фигуры — деревяшки с облупленной краской, и пуговица от кальсон заменяла белую пешку, а пустой спичечный коробок — чёрную ладью.

А тут король и королева были действительно королём и королевой; и кони, вставшие на дыбы, рвались в атаку, в бой; и тяжёлые ладьи с распущенными парусами готовы были нанести противнику беспощадный и сокрушительный удар; и пешки-пехотинцы скромно до поры стояли, выстроившись в ряд, в ожидании, пока их пошлют в разведку или бросят в самую гущу сражения.

— Ты играешь в шахматы? — спросила Аглая Николаевна.

— Нет, — честно признался Таратута. — Как ходить — знаю.

— Учись! — негромко сказала, почти попросила Аглая Николаевна. — Андрей Александрович — мой покойный муж — очень увлекался шахматами. А я любила смотреть, как он играет. Я ложилась на диван — с книжкой — и тихонько смотрела, как он думает, переставляет фигуры, радуется и огорчается... Постарайся научиться играть. И постарайся научиться играть хорошо!

Уже через год Таратута на всероссийском турнире школьников получил второй разряд. Учился он в школе № 41 Бауманского отдела народного образования, у Покровских ворот, в Колпачном переулке. Потом в эту школу поступила и Адель. Дома мать и дочь говорили друг с другом, легко переходя с русского на французский, или, как смеялась Аглая Николаевна: «Говорим туда и обратно».

Со временем с помощью Адели научился и Таратута говорить «туда и обратно».

И в зимние вечера, если Аглая Николаевна не была слишком усталой, они устраивали коллективные чтения по-французски.

Чаще всего по очереди читали «Дневники» Ренана и хохотали до слёз, когда Таратута патетически восклицал: «Граждане! Если мои сведения точны, то отечество в опасности!..»

Адель, подрастая, хорошела до невозможности, вытягивалась, становилась беспокойнее, нервнее. К увлечениям её, всегда бурным и коротким, относились в доме почему-то без всякого интереса, а над романами Таратуты, тоже бурными и короткими, посмеивались. Впрочем, один из этих романов, с паспортисткой из районного отделения милиции, оставил в жизни и в паспорте Таратуты загадочный след — прочерк в графе «национальность». И за все годы, что прожили они вместе, ни мать, ни дочь ни единым словом, намёком, взглядом не дали Таратуте почувствовать, что он в этом доме всё-таки посторонний.

Впрочем, сам он об этом не забывал никогда. По окончании школы он устроился работать в типографии, а в свободное время пропадал на Гоголевском бульваре, в шахматном клубе, где, сыграв в нескольких турнирах, довольно легко получил звание кандидата в мастера.

Потом был Двадцатый съезд КПСС, речь Хрущёва, вынос «корифея всех наук» из Мавзолея, и Таратута уже не назывался больше «сыном врагов народа», а стал «сыном незаконно репрессированных по ложному доносу польских товарищей Сильвии и Яна Таратуты».

Не бросая работы в типографии, Таратута поступил в Институт иностранных языков на вечернее отделение.

В душный июльский вечер, через день после того, как Таратута сдал последний государственный экзамен, а Адель перешла на третий курс полиграфического института, Аглая Николаевна умерла. Умерла она так же бесшумно и стремительно, как жила: прикорнула с книжкой в уголке дивана, уснула и не проснулась.

Похоронили её на Ваганьковском кладбище, в могиле мужа.

Адель и Таратута не устраивали поминок, они даже и не знали, как это делается. После похорон они просто вдвоём вернулись домой и долго, до самых сумерек, сидели друг против друга у открытого окна, молчали и кури-

ли. Может быть, им это казалось, но какая-то удивительная тишина стояла в тот вечер — и в доме, и во дворе, и даже на улице. Когда старинные часы, которые так тщательно каждый понедельник заводила Адель, пробили одиннадцать, Адель вздохнула и сказала:

— А я выхожу замуж.

— За кого? — тупо спросил Таратута, чувствуя, как у него что-то обрывается внутри и появляется противная тошнота в коленках.

— За одного человека! — сказала Адель, и глаза её в темноте сверкнули неожиданно по-кошачьи. — Он иностранец. Нам обещали дать разрешение, мы поженимся, и я с ним уеду. А ты оставайся. Ты же здесь прописан.

— Я тоже уеду! — сухо сказал Таратута. — У нас ещё не было комиссии по распределению, но мне же сказали, что на меня есть заявка из Одессы.

— Ну, тогда квартиру придётся сдать, — сказала Адель и, наклонившись, положила руку на руку Таратуте. — Тебе, наверное, хотелось бы что-нибудь иметь на память о маме? Возьми «Декабриста Лунина», хочешь?..

В давние двадцатые—тридцатые годы профессор истории Андрей Александрович Викторов начал собирать коллекцию миниатюр. Коллекция была небольшая, но собиралась с большим пониманием и любовью, подделок или дешёвки Андрей Александрович не брал, и, когда Аглая Николаевна уезжала с Аделью в эвакуацию, единственное, что взяли они из дому, это коллекцию миниатюр. И её же первым делом вновь развесили они на стене в первый день, в первый час по возвращении в Москву. Когда покупка нового зимнего пальто, или болезнь, или поездка в Крым наносили непоправимый урон семейному бюджету, в доме Викторовых неизменно появлялся худой длинноносый старик, с одышкой, с шаркающей походкой, с очень внимательными беспощадными глазами.

Адель и Семён ненавидели его до глубины души.

— Ну-с! — говорил длинноносый, вытаскивая из бокового кармана большую лупу в черепаховой оправе, и принимался тщательно изучать миниатюры, хотя и до этого видел их уже не один раз.

Аглая Николаевна — наверное, специально для Адели и Семёна — делала вид, что расстаётся с экземплярами коллекции без жалости, легко, и только в том случае, если длинноносый тыкал жёлтым пальцем с обкусанным ногтем в миниатюру, на которой был изображён молодой

человек с высоким крутым лбом под спутанными волосами, с открытым лицом, в белой рубашке с отложным воротником а-ля Байрон, Аглая Николаевна говорила коротко и решительно:

— Нет! «Декабрист Лунин» не продаётся!

Никаких доказательств, что молодой человек на миниатюре был действительно декабристом Луниным, Аглая Николаевна не приводила, очень сердилась, когда кто-нибудь пытался с нею по этому поводу спорить, и требовала в таких случаях доказательства от обратного:

— А докажите, что это не декабрист Лунин!..

Несколько раз, уже из Одессы, Таратута писал Адели по адресу, который она оставила ему на прощание. Но письма возвращались обратно, с пометкой «Адресат выбыл»...

Обогнув памятник герцогу Ришелье, вокруг которого, как всегда, толпились иностранные туристы — и худенький, изящный герцог стоял, как Зевс-громовержец, озаряемый вспышками блицев, — Таратута пошёл по Пушкинской улице вниз, к вокзалу.

Ему смертельно не хотелось возвращаться в опостылевшую гостиницу, в безликий, пахнувший хлоркой, опостылевший гостиничный номер, и он, перебрав в уме всех своих немногочисленных одесских знакомых, решил навестить Алёшу Тучкова.

Во-первых, Алёша был хром, передвигался при помощи двух костылей и почти наверняка сидел дома, а во-вторых, с Алёшей можно было ни о чём не говорить, а просто сгонять несколько партий в шахматы.

Проходя мимо подъезда двадцать второй поликлиники, в которую ему завтра к часу дня предстояло явиться, Таратута усмехнулся. Ему неожиданно вспомнились слова этого толстенького, неуклюжего майора: «А зачем вам всё это нужно?..»

Таратута и сам не знал, зачем ему всё это было нужно.

Жизнь его в Одессе складывалась поначалу обыкновенно и благополучно, такая нормальная жизнь советского учителя — с уроками, профсоюзными собраниями, вечерами отдыха, с кружками по изучению марксизма-ленинизма и техники подводного плавания, с мелкими, несерьёзными склоками по мелким и несерьёзным поводам.

И даже романы — с преподавательницей физкультуры и с актрисой из театра оперетты — были тоже мелкими и несерьёзными и не принесли Таратуте ни огорчений, ни радости. Неприятности у Таратуты начались после шести-

дневной израильской войны тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Война эта как бы разделила друзей и знакомых Таратуты на два лагеря: на тех, кто скрепя сердце придерживался лжи официальной пропаганды — и для Таратуты эти друзья и знакомые перестали существовать навсегда, — и на тех, в ком эта война вызвала прилив «израильского патриотизма», ликования, обильных пиршеств, за которыми последовали личные и коллективные заявления в ОВИР (Отдел виз и регистраций) с требованием разрешения выехать на свою «историческую родину».

Поддавшись общему настроению — и особенно уговорам Беллы и Лёни Капланов, художников Одесской киностудии, — подал заявление на выезд и Таратута.

Месяца через три ему в разрешении выехать было отказано, и, несмотря на страстные уговоры Капланов «продолжать борьбу», Таратута махнул рукой и постарался обо всём этом позабыть.

Но не забыли, конечно, об этом где-то там, где-то в тех таинственных кабинетах, на дверях которых висят таблички с надписью «Посторонним вход воспрещён», где в суровых шкафах и сейфах хранятся личные дела всех, от мала до велика, граждан страны победившего социализма. И в папках этих помимо сведений общего, анкетного порядка имеются ещё особые галочки, закорючки, значки, означающие нечто такое, что вспомнится, что должно непременно вспомниться тогда, когда наступит надлежащая минута.

Таратута как-то не очень обратил внимание на то, что из руководителя курса он стал разовым преподавателем, что вместо двенадцати часов занятий в неделю ему оставили всего четыре с соответствующим понижением жалования, а во Дворце пионеров вёл он теперь не группу рядников, а возился с малышами-начинающими.

Несколько его знакомых, в том числе и Капланы, после всевозможных мытарств всё-таки добились разрешения уехать в Израиль — и потянулись, как деревенские свадьбы, вечера-проводы, на которых пили, плакали, произносили невнятные тосты, клялись не забывать друг друга, и под конец кто-нибудь из числа провожающих непременно произносил на плохом иврите фразу, которая звучала загадочно, обещающе и прекрасно:

— В будущем году в Иерусалиме!

Из Иерусалима Капланы прислали Таратуте открытку с изображением Стены плача.

В открытке Лёня сообщал, что у них, слава Богу, всё хорошо, но он надеется, что будет лучше.

Таратута пересёк привокзальную площадь и пошёл прямо по мостовой, мимо палаток колхозного рынка, который упрямые одесситы называли по старинке Привозом.

Уже начинались сумерки, палатки были закрыты, торговые ряды пусты, и только у запертых деревянных ворот стоял корявый дед-мухомор и держал на вытянутом чёрном пальце соломенную корзинку, в которой на самом дне лежало несколько копчёных рыбёшек.

— Эй, дед, почём акулы? — привычно спросил Таратута и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше.

Жил Алёша Тучков за линией железной дороги, в старом слободском районе, где кривые и запутанные переулочки сходились и пересекали друг друга под самыми невыносимыми углами, где одноэтажные дома были обнесены прочными глухими заборами, а за ними, за этими заборами, гремели цепями и отчаянным лаем заходились по ночам сторожевые псы.

Таратута отчётливо помнил, что, пройдя палатку «Пиво—воды», следовало обогнуть огромную лужу, не просыхавшую даже в самую жаркую пору, а уже после лужи повернуть направо не то в первый, не то во второй переулок. На всякий случай Таратута свернул в первый и внезапно услышал за собой шаги.

Он оглянулся — два молодых человека, возникшие как бы из ниоткуда, из пыли, из сумерек, следовали на некотором отдалении за ним.

Они были чем-то странно друг на друга похожи, эти молодые люди, похожи, как два эстрадных танцора, как два безымянных гангстера из многосерийного гангстерского фильма, в чёрных и словно нарочито узких костюмах, в чёрных галстуках-бабочках и чёрных, надвинутых на самые брови шляпах. Они шли молча, не торопясь, и, когда Таратута слегка ускорил шаги, они тоже пошли чуть быстрее, но по-прежнему молча, бесстрастно, неумолимо.

Таратута, уже не разбирая дороги, снова свернул в какой-то проулок. Где-то на железнодорожных путях протяжно и тоскливо проревел маневровый паровоз, а когда он умолк, Таратута снова услышал за собою шаги и, чувствуя постыдный, липкий страх, рванулся бежать, но тут впереди от стоявшей у обочины чёрной «Волги» отделился какой-то человек и сказал напевно и негромко:

— А я вам говорю, что никому теперь нельзя верить! Можете себе представить: купил у Ваню Шенгеля швейцарские часы «Мозер»! Это фирма, я вас спрашиваю?!

Таратута, опешив, остановился. Человек, стоявший перед ним, был великаном с детским лицом, с детскими бровями кустиком над прозрачно-синими глазами, с великаньей детской ямочкой на великанье-детской щеке. Но больше всего поразило Таратуту, что одет был этот великан точно так же, как и те двое, что преследовали его, — в чёрный костюм, с чёрным галстуком-бабочкой на белой накрахмаленной рубашке.

— Так вот, эти самые знаменитые часы «Мозер» останавливаются по три раза в день! — Великан дружелюбно улыбнулся Таратуте. — Или вы мне скажете — который сейчас точно час?

Таратута вытащил руку из кармана, и в это мгновение сзади его чем-то быстро и сильно ударили по голове, и сначала ему показалось, что он слышит собственный крик, но это ему, разумеется, только показалось, потому что он упал, словно провалился в небытие, и ничего уже больше не чувствовал, не видел, не слышал.

<4>

Он очнулся, или, вернее, его разбудили громкие голоса, смех, гроыхание посуды, брэнчание гитары — где-то рядом, за стеной, по соседству, происходило пиршество, а сам Таратута лежал на узкой и неудобной кушетке в очень маленькой полутёмной комнате, вся обстановка которой, собственно, и состояла из этой кушетки, нескольких стульев и письменного стола, заваленного бумагами.

Настольная лампа под зелёным абажуром была накрыта сверху вафельным полотенцем, и такое же вафельное полотенце — но только влажное — лежало на голове Таратуты, на том самом месте, что повыше виска, где пришёлся удар.

Рубашка-«гавайка» была расстёгнута на груди, польские мокасины стояли внизу под кушеткой, а демократически-клетчатый пиджак аккуратно висел на спинке стула.

Таратута чуть приподнялся на локте, удивляясь тому, что не чувствует боли — только какую-то странную успокоительную усталость.

За стеной повелительный женский голос, перебивая общий шум, крикнул:



— Умер-шмумер, кому это интересно?! Ша об абортах — Ваню будет петь!

Гитара зазвенела громче, а потом необыкновенно чистый и глубокий баритон, выговаривая старые русские слова с неожиданными грузинскими придыханиями и цоканьем, запел:

В том саду, где мы с вами встретились,  
Ваш любимый куст хризантем расцвёл.  
И в душе моей расцвела тогда  
Жажда нежная чистой любви...

На редкость слаженный, с тончайшими подголосками хор подхватил:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду...

Потом, после короткой паузы, баритон одиноко закончил:

Но любовь всё живёт  
В моём сердце больном!

Повелительный женский голос всхлипнул:

— Ах, Ваню!..

Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы.

Тихонько скрипнула дверь, и Таратута, дёрнувшись и на этот раз почувствовав боль, увидел, что в освещённом проёме двери стоит тот самый великан.

— Очнулись, Семён Янович? Вот и хорошо! Как чувствуете?

— Где я? — задал Таратута вполне естественный в его положении и вместе с тем звучащий почему-то пошло вопрос.

— Вы в ресторане Фанкони, Семён Янович, — ответил великан-младенец и опустился на стул, стоявший возле кушетки. — Теперь он называется ресторан «Волна». Вы лично лежите в кабинете администратора, он его нам любезно уступил, когда мы с вами сюда приехали... Я надеюсь, Семён Янович, я хочу надеяться от всей глубины сердца, что вы забудете это кошмарное недоразумение! Вы понимаете, есть в Одессе один человек... Нет, вообще-то их много, но в данном случае речь идёт об одном, который имеет скверную привычку, чтобы не отдавать долги... Ну, и наш друг из Ташкента обратился к нам, чтобы сделать этому человеку небольшое внушение... Вы, я думаю, понимаете, Семён Янович, что я сам подобными делами не занимаюсь, на это у нас есть мальчишки — Валерик, Толик, другие... Но сегодня особенный день, мы все

торопились сюда, к Фанкони, на юбилей месье Раевского, так мальчики попросили, чтобы я их подвёз...

— А кто вы такой? — строго спросил Таратута. — И почему вы знаете моё имя?

— Видите ли, Семён Янович, ошибки в жизни случаются с каждым! — сказал великан-младенец и деликатно кашлянул в кулак. — Нам было совершенно точно указано время и место, но когда вы подошли, так я сразу почувствовал, что здесь что-то не так... Но было поздно! Потом, уже в машине, мы, извините, посмотрели ваши документы, и я так расстроился, что едва не поехал на красный свет... Человек играет в шахматы — вы ведь не представляете, Семён Янович, какое я имею уважение к этой игре... У меня в мастерской висит портрет Фимы Геллера с его собственноручной подписью... Так вот — человек играет в шахматы, а его бьют по голове! Это же кому-нибудь рассказать, так не поверят!

— Чем, кстати, меня ударили? — всё так же строго спросил Таратута и потрогал пальцем ушибленное место.

Великан весело улыбнулся — на щеке появилась детская ямочка — и пожал плечами.

— Об чём будем говорить?! Мешочек с песком, Семён Янович, всего ничего. Мальчикам же было поручено просто сделать, чтобы человек знал, что о нём помнят.

Великан встал, поправил галстук-бабочку, проговорил сдержанно и скромно:

— А теперь, Семён Янович, разрешите представиться — по паспорту я Валерий Исаевич Шиндель, очень приятно. Но вы же, хоть вы и не коренной одессит, вы же знаете Одессу. В Одессе не могут без кличек. Так вот, друзья и знакомые — и даже незнакомые, — они меня называют Валя-часовщик.

— Валя-часовщик?!

Таратута от удивления даже сел.

Валя-часовщик!

Валя-часовщик в Одессе был личностью почти легендарной, кем-то вроде современного Мишки Япончика. Многие вообще сомневались, существует ли он на самом деле, этот некоронованный король блошиного рынка, подпольный миллионер, глава всех комбинаторов и махеров, человек, за которым уже добрый десяток лет безуспешно гонялись работники Отдела борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХСС), человек, о котором рассказывали десятки самых невероятных исто-

рий, рассказывали со злобою и со смехом, с огорчением и тайной радостью.

Увидев, какое впечатление произвело на Таратуту его имя, Валя-часовщик улыбнулся.

— Слышали обо мне?

— Да, я о вас слышал! — медленно проговорил Таратута.

— Одесса! — вздохнул Валя-часовщик. — Человек сидит в своей мастерской, в подворотне на улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, чинит часы, выполняет и даже перевыполняет план — так к нему каждый день ходят всякие типы, в форме и не в форме, и морочат голову, что вчера я будто бы был в Тбилиси, а позавчера во Львове, а третьего дня в Риге, и где мои бриллианты, и где трикотаж, нейлон и так далее, и тому подобное... Ну, они как приходят, так и уходят, но вы же понимаете, Семён Янович, что мне обидно...

Грузинский баритон из-за неплотно прикрытой двери громко позвал:

— Валя, где вы пропали? Мы вас ждём!

— Сейчас мы идём! — ответил Валя-часовщик, бережно снял со спинки стула клетчатый пиджак, церемонно протянул его Таратуте. — Я вас прошу, Семён Янович... Сегодня, я это уже говорил, очень знаменательный день. Восемьдесят лет месье Раевскому, можете себе представить?! Сейчас вы его увидите, так вы ахнете! Это не человек, а живой музей! Он всех нас учил, когда мы ещё были слепыми!

В небольшом банкетном зале за парадно накрытым столом сидели человек двадцать гостей — пришедших, прилетевших в Одессу специально, чтобы отпраздновать юбилей своего старейшины, своего, как выражаются дипломаты, дуайена, Антона Ильича Раевского, старого комбинатора, всего лишь несколько лет тому назад удалившегося на покой. Здесь, за этим парадным столом, подтверждая, так сказать, воочию мудрость национальной политики, сидели жулики из многих республик — из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Латвии и, разумеется, одесситы — русские и евреи.

И все мужчины, все как один, были в строгих чёрных костюмах, с чёрными бантиками, и перед каждым стояла на столе персональная бутылка армянского марочного коньяка, а перед женщинами — они были в явном меньшинстве — бутылка кахетинского или муската и букет

цветов. Валя-часовщик усадил Таратуту на почётное место — по правую руку от юбиляра, месье Раевского, сухонького старичка в пенсне, с каким-то нежным, цыплячьим пухом на голове и с маленькими, очень выхолонными и очень подвижными руками. Месье Раевский, единственный из всех присутствующих, пил не коньяк, а минеральную воду.

Два молодых человека на другом конце стола, увидев Таратуту, поспешно потупили глаза и сделали вид, что они поглощены едой.

— Узнали, Семён Янович? — улыбнулся Валя-часовщик. — Валерик и Толик. Вы не держите на них зла, Семён Янович! Произошло кошмарное недоразумение! А вообще-то они очень хорошие мальчики из очень хорошей семьи, у них папа — заведующий еврейским кладбищем.

— Ясно! — сказал Таратута. — Папа заведует кладбищем, а сыновья поставляют ему клиентов.

Валя-часовщик хохотнул, потрепал Таратуту по плечу и с неожиданной для своих великаньих размеров лёгкостью поднялся, подошёл к пожилому грузину, который сидел, чуть отодвинувшись от стола, и держал на коленях гитару. Валя-часовщик, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо, и пожилой грузин улыбнулся, медленно повернул голову, весело и внимательно поглядел на Таратуту.

— Хорошо! — громко сказал он и бережно отложил в сторону гитару.

Валя-часовщик вернулся на своё место, сел, спросил:

— Семён Янович, вы какой коньяк уважаете больше — армянский или французский?

— У меня что-то с печёнкой...

— Друзья мои! — Пожилой грузин встал, плеснул себе в бокал, на самое доньшко, несколько капель коньяку, поднял бокал и проговорил уверенно и небрежно: — Друзья мои! Будем считать, что небольшой художественный перерыв закончен, и я позволю себе вернуться к исполнению своих прямых обязанностей... Мы уже пили за здоровье нашего юбиляра, нашего дорогого Антона Ильича Раевского, и мы ещё будем за него пить, но сейчас я хочу поднять тост за прекрасного человека, которого знают пока не все, но те, которые знают, уже горячо любят! — Он снова весело посмотрел на Таратуту, которому Валя-часовщик поспешно пододвинул бокал с коньяком. — И для того чтобы, друзья мои, этот тост был вам более понятен, я расскажу одну короткую притчу... Вот летит пти-

ца... Она летит, смотрит по сторонам и видит — стоит Казбек... Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями... Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах — снег, тишина, вечный покой... А птица летит и летит... Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора, и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лёд, тишина... А птица летит и летит... И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо «Белого духана» и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе за одним столиком два человека, назовём их Коля Дондуа и Бенья Шапиро, а они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское... И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горой не сходятся, а человек с человеком сходятся! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым, — за Семёна Яновича Таратуту!

И все, кроме месье Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчики — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и лёгкостью.

А Валя-часовщик налил ему ещё, и Таратута неожиданно для самого себя спросил:

— Скажите мне, Валя... Это ничего, что я вас так называю?

— А как же вам ещё меня называть?! — удивился Валя-часовщик.

— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне — а почему, собственно, вы так со мною возитесь? Вы же могли просто уехать...

— Семён Янович, что вы говорите?! — с искренней обидой в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии. Тем более что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы

и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре... и что, во-вторых, вы живёте в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда. Ну, а уже здесь Ваню — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас... Он видел, как вас сегодня забирали в милицию за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса...

— И вы решили, что я из ваших?

Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.

— Нет, Семён Янович, — негромко сказал Валя-часовщик, — вы не из наших! И не дай вам Бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьёзно.

— А почему?

— А потому, Семён Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги... Они, конечно, не Онассисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить. И не имеют этой возможности. Поганая «Волга», на которой я езжу, так она тоже официально мне не принадлежит. Один уважаемый доктор наук дал мне будто бы доверенность, что я имею право пользоваться его машиной. Но ОБХСС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне. А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая «Волга». Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы... И всё, Семён Янович, в этом роде! Круговорот азота в природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лапидусом?

— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нём, и я... — Недоговорив, он задержался взглядом на курносой девочке в форме стюардессы, спросил: — А вон та стюардесса, она из ваших?

Валя-часовщик улыбнулся.

— Катюша? Из наших. У нас, Семён Янович, налажен воздушный мост Одесса—Тбилиси. Вы же понимаете, далеко не всё можно посылать по почте... Катюша — это наш лучший связной.

Он наклонился к Таратуте, тихо спросил:

— Интересуетесь, Семён Янович? Вы скажите, это можно устроить.

Таратута смущённо поёжился, снял очки, подышал на стёкла, протёр их платком, надел.

— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.

— Восемнадцать, для точности! — заметил Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семён Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше чем тридцать пять килограммов — то всё в порядке. Меньше чем тридцать пять — можно получить неприятности... — И, окончательно развеселившись, Валя-часовщик громко окликнул: — Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?

— Сорок четыре, дядя Валя! А что?

Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом.

— Вот видите, Семён Янович! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение. Я даже удивляюсь на самого себя, как я об этом сразу не подумал. У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня. Вы смотрели, Семён Янович, кино «Королева Шантеклера»? Так вот, эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом... У вас в гостинице, Семён Янович, я надеюсь, отдельный номер?

— Отдельный.

— Ну вот! — удовлетворённо кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите... Я отвезу месье Раевского, потом я заеду за Лидочкой и Тонечкой. А потом мы приедем к вам.

— Друзья мои! — Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувствованно, торжественно и негромко: — Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика...

Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил тамаде пальцем.

— Но, — чуть громче сказал тамада, — только глупые люди думают, что часы и время — это одно и то же. Нет,

друзья мои, мы-то с вами знаем — часы могут остановиться, а время не останавливается, оно идёт и идёт... Но некоторые часы иногда показывают точное время. И я вижу, как мои скромные часы «Полёт» нашего, отечественного, производства — и поэтому я им, разумеется, верю — показывают, что сейчас восемь часов тридцать минут. А наш дорогой юбиляр, наш горячо любимый и уважаемый Антон Ильич Раевский — мы все об этом помним — имеет привычку, чтобы не позже чем в десять часов ложиться спать! Я уверен, что ещё не раз мы будем сидеть за этим или за каким-нибудь другим столом, и поднимать тосты за здоровье Антона Ильича, и желать ему долгих и счастливых лет, и всё-таки... Я представляю себе, как я возвращаюсь к себе в Тбилиси и меня встречает моя доченька, моя красавица Натэллочка, и первое, что она меня спрашивает... «Папа, — спрашивает она, — а какую историю рассказывал тебе месье Раевский?». И неужели я её огорчу? Неужели я ей отвечу, что наш дорогой Антон Ильич Раевский не рассказал нам на этот раз никакой истории?! Быть этого не может! — Он повернулся к Раевскому: — Дорогой Антон Ильич! Я не сомневаюсь, что выражу общую просьбу — расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю, какой-нибудь поучительный случай из вашей благородной и замечательной жизни! Просим!

И все в один голос поддержали тамаду:

— Просим!

Пышнотелая блондинка, сидевшая рядом с тамадой, повелительно крикнула:

— Ша! Антон Ильич, миленький, расскажите что-нибудь из царского времени!

— Просим!

Антон Ильич Раевский жеманно, по-актёрски поулыбался — ну чего, дескать, пристали, — но тут же, не дожидаясь повторных просьб, встал, повёл из стороны в сторону остреньким носиком, словно к чему-то принюхался, напевно произнёс:

— Медам и месье!

Кстати, некоторых читателей может, вероятно, удивить эта форма обращения: «Медам и месье».

Дело в том, что в начале прошлого века одним из генерал-губернаторов Новороссийского края, в состав которого в ту пору входила Одесса, был француз — герцог Ришелье. Герцог этот — «дюк» Ришелье — приложил немало стараний для благоустройства Одессы, именно с тех



лет начинается современная история этого города, и поэтому всякий уважающий себя одессит — от торговки семечками с Пересыпи до зубного техника на Садовой — совершенно твёрдо убеждён, что в его жилах течёт капелька благородной французской крови.

— Медам и месье! — сказал Антон Ильич Раевский. — Я вам расскажу...

### **Рассказ Антона Ильича Раевского о том, как в 1910 году приезжал на гастроли в Одессу великий итальянский трагик Томмазо Сальвини**

— Видите ли, медам и месье, этот замечательный день, который я запомнил на всю мою жизнь, начался довольно-таки паршиво! Был я тогда человек молодой, горячий, хватался за всё... Ну, и среди прочих дел занимался немножко антрепризой. Конечно, на то, чтобы привозить в Одессу крупные имена — Яшу Зингерталя или Шаляпина, — на это я ещё не имел подходящего капитала, но как раз осенью тысяча девятьсот десятого года мне удалось выписать из Петербурга Сашу Потёмкина. Такой, знаете, русский богатырь, красавец. Играл сам на гармошке и пел куплеты. Женщины по нему сходили с ума! Так вот, у этого Саша Потёмкина по дороге из Петербурга в Одессу разболелись зубы, а когда он приехал, так у него начался флюс. Вот такая раздутая щека, говорить не может, только стонет, матерится и хлещет водку! А у меня снят зал в Аркадии, у меня висят афиши, у меня продаются билеты... Что делать, я вас спрашиваю?! Я беру этого Сашу Потёмкина, сажаю его на извозчика и везу на Екатерининскую. Там живёт моя знакомая женщина, зубной врач, Ревекка Захаровна Гордон. Красавица, между прочим, брюнетка! Она приглашает нас в кабинет вне очереди, предлагает Саше Потёмкину сесть в кресло и открыть по возможности рот, наклоняется к нему и... Ну, вы, я думаю, догадываетесь, что делает такой Саша Потёмкин, когда к нему наклоняется интересная женщина с пышным бюстом. Сначала Ревекка дала ему по морде, потом она дала по морде мне, потом мы у неё просили прощения, и она нас простила. В общем, я оставил их вдвоём, а сам поехал домой. Я приезжаю домой, меня встречает жена и говорит: у тебя, говорит, был какой-то очень важный господин и оставил тебе свою визитную карточку. Она

подаёт мне карточку, так уже по одной этой карточке я понимаю, что тут что-то особенное — бристольский картон с золотым обрезом. И крупными буквами напечатано: «Теофилос Кастаки, негоциант». А сбоку от руки приписано: «Жду Вас в гостинице «Лондонская», в номере три, прошу явиться не мешкая. Т.К.». Так прямо и написано, чёрным по белому: «прошу явиться». Ну, я меняю сорочку, ещё раз бреюсь, опрыскиваюсь одеколоном и еду. В гостинице «Лондонская», внизу, меня спрашивают, как моя фамилия, я называю, меня провожают к дверям третьего номера, я стучу и слышу приятный голос: «Войдите!» Я вхожу и вижу — на диване полулежит пожилой, но ещё довольно интересный господин с чёрными усами, в шёлковом красном халате с золотыми драконами — я потом купил себе точно такой же, — рядом с ним сидит роскошная дамочка, которая ему годится если не во внучки, то в дочери, во всяком случае. И на дамочке кисейный пеньюар — откровенно говоря, его могло и не быть, такой он был прозрачный... Но я на дамочку не смотрю, а смотрю на господина Кастаки — я сразу понял, что это и есть Кастаки, — и представляюсь скромно, но с достоинством:

— Раевский!

— Садитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки и показывает мне рукой на кресло.

Я сажусь, подтягиваю брюки, жду.

— Видите ли, господин Раевский, — говорит Кастаки, — вы, надо полагать, читали в газетах сообщение о том, что в Одессу на гастроли приезжает мой друг, великий итальянский трагик Томмазо Сальвини.

— Разумеется, — говорю я, и говорю неправду, потому что я так замучился с этим Сашкой Потёмкиным, что уже, наверное, целый месяц не читал никаких газет.

— Мой гениальный друг синьор Томмазо Сальвини приедет в Одессу ровно через неделю, — продолжает Кастаки. — Он будет играть в цирке знаменитую пьесу английского драматурга Шекспира «Юлий Цезарь». Из римской жизни.

Я киваю головой на всякий случай, но ничего не говорю, жду.

— Так вот, господин Раевский, нам нужны римляне! Нам нужна толпа, нам нужны сенаторы — ну, одним словом, римляне! И побольше!

Я глотаю слюну и спрашиваю:

— Сколько?

— Тысяча человек по крайней мере.

— Молодые или постарше?

— Молодые, — говорит Кастаки, смотрит на дамочку в пеньюаре и грустно улыбается. — Из молодых в крайнем случае можно сделать старых. Наоборот, к сожалению, получается много хуже.

— Когда вам нужны, господин Кастаки, эти тысяча человек? — спрашиваю я.

— Завтра.

— Хорошо! — говорю я и встаю.

Кастаки и дамочка в пеньюаре начинают смеяться. Они смеются, а я стою, жду.

— Неужели, — говорит Кастаки, — вы действительно уверены, господин Раевский, что за один день вы сумеете набрать тысячу человек статистов?

Я наклоняю голову.

— Да, — говорю, — я уверен.

— Садитесь, — говорит Кастаки и снова показывает мне рукою на кресло.

Я сажусь.

— Вы нам нравитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки, спускает ноги с дивана и наливает из большого фарфорового кофейника две чашки кофе — себе и своей дамочке. Мне он, между прочим, кофе не наливает, заметьте. Но дело, конечно, не в кофе, а дело в том, что он говорит. А говорит он следующее: — Когда мы с Таточкой приехали в Одессу — а приехали мы два дня назад, — мы просили знакомых, чтоб нам порекомендовали молодого энергичного человека. Нам порекомендовали вас, господин Раевский. И теперь я вижу, что порекомендовали не зря. Но меня удивляет, господин Раевский, что вы не спрашиваете — какие условия. Или вас условия не интересуют?

Я говорю:

— Интересуют.

Кастаки со своей Таточкой снова начинают смеяться. Они смеются долго, а я сижу и молчу, как таракан. Наконец, отсмеявшись, Кастаки вытаскивает из кармана халата платок с монограммой, вытирает глаза, оглушительно сморкается и говорит:

— Условия, господин Раевский, такие — каждый римлянин за участие в спектакле получает рубль. Вы получаете за репетицию десять рублей, а за спектакль — двадцать. С вами расплачиваюсь я, а со статистами расплачи-

ваетесь вы. Если завтра, как вы обещаете, будут тысяча человек — они должны явиться к цирку в десять часов утра, — тогда, господин Раевский, я выписываю вам чек, вы получаете в банке деньги и сами, лично, во время всех гастролей моего гениального друга Томмазо Сальвини рассчитываетесь со статистами. Вас устраивают такие условия, господин Раевский?

Я вышел из «Лондонской», друзья мои, я не вышел — я вылетел как на крыльях. У меня дрожали ноги и лицо было мокрое, как будто я купался. Причём лицо у меня горело, а ноги были холодные. Я сел в пролётку и приказал извозчику:

— В университет!

Но по дороге я ещё заехал в цирк, выяснил кое-какие подробности, а уже оттуда — в университет. Я остановил извозчика — если пошли такие дела, то кто считает копейки, — а сам подошёл к швейцару, приподнял шляпу и спрашиваю:

— Господин швейцар, вы не могли бы мне сказать, в какой аудитории читает сегодня лекцию господин профессор Квачевский?

Между прочим, об этом профессоре Квачевском я не имел ни малейшего понятия — кто он, и что он, и какие лекции он читает. Просто я слышал — об этом говорила вся Одесса, — что, когда его хотели уволить из университета, студенты устроили целый трам-тарарам, чтобы его оставили. Ну, и я рассудил: если студенты не хотят, чтобы профессора увольняли, то на лекции его должно быть больше всего народу. И я оказался прав. Профессор Квачевский читал лекцию не где-нибудь, а в актовом зале. И читал он — это же надо, друзья мои, чтоб было такое совпадение, — теорию римского права! И народу было видимо-невидимо, яблоку упасть было негде! Ну-с, господин профессор Квачевский заканчивает свою лекцию, ему бурно аплодируют, тут выскакиваю я, поднимаюсь на кафедру, кажется, слегка даже отталкиваю в сторону господина профессора и кричу, у меня ни до, ни после — никогда не было такого голоса, как в этот день.

— Господа студенты! — крикнул я. — Через неделю в Одессе начинаются гастроли величайшего трагика синьора Томмазо Сальвини! Кто хочет увидеть спектакли с его участием — поднимите руки!

Ну, разумеется, все хотят, все поднимают руки.

— Замечательно! — говорю я. — Но, между прочим, билетов в кассе уже нет! А те, которые были, так самые

паршивенькие стоили не меньше чем пять рублей! Вы бы сидели за эти сумасшедшие деньги на самой верхотуре, и великий трагик казался бы вам величиной с муху. Положение, господа студенты, прямо-таки безвыходное!

Я делаю паузу, а в зале начинается шум.

— Тихо! — снова кричу я, и зал замолкает. — Есть люди, у которых при безвыходном положении опускаются руки. А есть люди, которые стучатся во все двери, и одна из этих дверей обязательно оказывается открытой. Вы имеете, господа студенты, такую возможность — видеть синьора Томмазо Сальвини не с какой-нибудь там галёрки за пять рублей, а совсем рядом, ближе, чем видите сейчас меня. И не просто видеть. Вы будете играть вместе с ним в одном спектакле из римской жизни. И это вам обойдётся сущие пустяки. Полтинник за участие в репетициях и один рубль — за спектакль! Так что, господа студенты, кто имеет на это желание — прошу опять поднять руки!

И все хотят, все поднимают руки, все кричат:

— Прекрасно!

— Спасибо!

— А кому платить деньги?

— Деньги будете платить мне! — говорю я. — Но прежде всего завтра в десять часов утра вы должны явиться к зданию цирка. Вам ясно, господа студенты?

И тут я чувствую, что кто-то дёргает меня за рукав пиджака. Я оборачиваюсь и вижу, что это господин профессор Квачевский.

— Скажите, — негромко говорит господин профессор, — а я тоже могу принять участие?

— Можете! — говорю я. — И даже, господин профессор, поскольку вы такой знаменитый, то вы можете принимать участие и в репетициях, и в спектаклях совершенно бесплатно!

Ну-с, на следующее утро, ровно в десять часов утра, у цирка была толпа приблизительно в три тысячи человек. Тысяча пришли — это были те, которых я пригласил, а ещё две тысячи явились, чтобы выяснить, что происходит и для чего пришли эта первая тысяча.

В пятнадцать минут одиннадцатого подъехал на извозчике господин Кастаки со своей Таточкой, увидел эту толпу, сделал удивлённое лицо, приподнял котелок и помахал мне рукой. Я подошёл.

— Да, месье Раевский, — говорит Кастаки, — теперь я вижу, что с вами действительно можно иметь дело!

Он достаёт из кармана бумажник, вытаскивает уже подписанный чек, протягивает его мне.

— Возьмите, месье Раевский! Но только — вы, я надеюсь, понимаете — деньги есть деньги. Деньги любят счёт. Вы должны составить ведомость с именами всех участников, и вы будете брать с них расписки!

Конечно, я составил ведомость, и, конечно, я брал расписки. В этих расписках значилось: такой-то за участие в репетиции — пятьдесят копеек. Или: такой-то за участие в спектакле — один рубль. Заплатил или получил — это уже никого не касалось, это уже было мое сугубо личное дело!

Если говорить откровенно, то, как играл великий трагик синьор Томмазо Сальвини, я не видел. Уверяют, что он играл замечательно. Очень может быть. Даже наверно. Во всяком случае, когда он закончил гастроли и уехал, так я купил дом. Двухэтажный дом на улице Бабеля — там теперь помещается ОБИР... Между прочим, в тысяча девятьсот семнадцатом году этот дом выиграл у меня в карты Миша Лапидус. Он был тогда ещё совсем мальчик, но имел руки — так это что-то особенное. Вы понимали, что он и передёргивает, и делает накладки, но заметить вы этого не могли. Он хотел перестраивать дом, но не успел — началось то, что мы с вами каждый год отмечаем седьмого ноября. И Мишу Лапидуса едва не расстреляли как буржуя и домовладельца. А синьору Томмазо Сальвини в городе, где он родился, говорят, поставили памятник. К сожалению, мне не довелось побывать в Италии, а то бы я непременно положил к подножию этого памятника букет цветов!..

— Ай, золотая голова! — вздохнул Валя-часовщик, с обожанием поглядел на месье Раевского, выпил залпом бокал коньяка, пожевал лимон и повторил: — Золотая голова! — Он обернулся к Таратуте. — Что я вам говорил, Семён Янович? Это же не человек — это живой исторический музей!

<5>

Таратута медленно, заложив руки за спину, подошёл к дверям гостиницы «Дружба», остановился. Бюро погоды, как ни странно, предсказало верно — накрапывал дождь, мелкий, нудный, осенний.

Таратута взглянул на часы — без четверти десять. «Ну и денёк!» — подумал Таратута.

Он не знал, да и откуда было ему знать, что этот день был только первым, ещё робким звонком колокольчика, собирающего действующих лиц на подмостки, только предвестником событий и что сами события — неправдоподобные и стремительные — ещё впереди.

Напротив гостиницы «Дружба», через дорогу, у закрытой кассы кинотеатра «Космос», безнадежно и терпеливо мокла недлинная очередь. Шёл приключенческий фильм «Неуловимые мстители», действие которого происходило в Одессе, и билеты нужно было заказывать за две недели вперед.

Но всё равно каждый вечер к последнему, десятичасовому, сеансу собирались у входа в кинотеатр и становились в очередь странные люди — то ли надеялись на слепую удачу, то ли на внезапную повальную эпидемию гриппа, то ли вообще ни на что не надеялись, кроме как на возможность убить время.

И, глядя на эти унылые, сгорбленные спины, на поднятые воротники, на нахлобученные чуть не до бровей кепки и шляпы, Таратута почувствовал тревожное раздражение: раздражение, которое было как бы и соблазном вмешаться, что-то сделать, созорничать.

«Ну, тихо, тихо-тихо», — попытался Таратута сам себя урезонить.

Но соблазн был сильнее всяких увещеваний.

И Таратута, вздохнув, засунул руки в карманы, решительно пересёк улицу, прошёл вдоль очереди к закрытой кассе, остановился и очень громко сказал:

— Граждане одесситы!

И все глаза мгновенно уставились на него.

— Граждане одесситы! Вы, как я понимаю, ждёте чуда! Но чудес не бывает. Это совершенно точно доказано наукой и товарищем Верченко Леонтием Кузьмичом!

Он сделал паузу в ожидании, что кто-нибудь спросит его, кто такой товарищ Верченко, но очередь, состоявшая главным образом из пенсионеров и мальчишек, испуганно молчала.

— Граждане одесситы! — ещё громче сказал Таратута. — Я предлагаю вам не ждать милостей от природы! Я предлагаю взять этот вонючий кинотеатр штурмом. Это же не какой-нибудь Зимний дворец, а всего-навсего бывшая китайская прачечная!

Он выпятил вперёд подбородок и с командирскими раскатами в голосе отчеканил:

— Участники штурма — два шага вперёд!

Очередь быстро начала таять.

Пожилой одессит с профессорской бородкой, просеменя мимо, похлопал Таратуту по плечу зонтиком и сказал негромко, не разжимая губ:

— Играете с огнём, молодой человек!

Протопала компания лохматых юнцов, стараясь всем своим видом показать, что ничего-то они не боятся, но что просто им надоело ждать.

— Эх вы, — сказал им вслед Таратута. — А ещё туда же — будем как Ленин, будем как Ленин! Вы на доктора Семашко и то не потянете!

Таратута усмехнулся, махнул рукой, повернулся по-военному, на каблуках, пересёк улицу в обратном направлении и, уже останавливаясь, толкнул дверь и вошёл в полутёмный холл гостиницы «Дружба».

Здесь было всё как всегда — какие-то люди дремали в креслах, зажав в ногах, как всадники шенкеля, портфели и чемоданы, телефон на стойке дежурного администратора звонил надсадно и непрерывно, сам администратор отсутствовал, а на дверях лифта висела табличка с надписью, отпечатанной типографским способом: «Лифт не работает».

Таратута с досадой чертыхнулся. Он-то знал, что лифт работает. Заместитель директора гостиницы «Дружба», тот самый, упомянутый Таратутой Леонтий Кузьмич Верченко, выдвигенец из биндюжников, как-то в припадке пьяной откровенности объяснил Таратуте, в чём тут секрет.

Несколько месяцев тому назад администрация гостиницы «Дружба» и администрация гостиницы «Красная» подписали договор о социалистическом соревновании и вступили в борьбу за переходящее знамя Одесского горисполкома и управления коммунального хозяйства.

Среди всевозможных обязательств, взятых на себя по этому договору соревнователями, имелось и обязательство экономить электроэнергию. И вот именно на этом пункте, не надеясь переплюнуть гостиницу «Красная» по другим показателям, и решила сосредоточить всё своё внимание и силы администрация гостиницы «Дружба». Прежде всего было принято решение — с семи часов вечера до восьми часов утра останавливать лифт.

Товарищ Верченко на собрании сотрудников обосновал это решение так:



— Этот чёртов лифт, он, знаете, сколько киловатт энергии жрёт? Он жрёт, сукин сын, всё равно как бригада биндюжников после трехменной погрузки-выгрузки!

Кто-то из зала робко напомнил Леонтию Кузьмичу, что в договоре имеется также обязательство улучшить обслуживание проживающих в гостинице постояльцев и обеспечить их всеми мыслимыми удобствами.

— Верно, правильно! — согласился Верченко и хитро прищурился. — А наш постоялец — он кто?! Мы на всяких там курортников-шмурортников ставки делать не будем. Наш постоялец — это человек рабочий, командировочный! Он приезжает в Одессу накоротке. Ему, соколу, за один день надо, может быть, в сто учреждений слетать. А учреждения до которого часа работают? До шести. Кладём ещё полчаса на то, чтобы выпить и закусить. Получается, что не позже чем без четверти семь наш постоялец спокойненько может вернуться в гостиницу на заслуженный отдых. А лифт работает до семи. Всё в порядке, всё учтено! А которые желают не отдыхать, а прожигать жизнь — по ресторанам, по дамочкам, по театрам, — те могут и на своих двоих, они у них не отсохнут!..

...Ноги у Таратуты, когда он добрался по полутёмной лестнице до своего четвёртого этажа, действительно не отсохли. Но чертыхаться он уже не мог, а только похрипывал.

На столике дежурной по этажу Лидии Феликсовны горела свеча.

Это была новейшая идея товарища Верченко. После того как на какой-то оптовой базе ему удалось за гроши купить партию ёлочных свечей, он издал приказ, запрещающий дежурным по этажам пользоваться настольными лампами. В пылу борьбы за переходящее знамя с гостиницей «Красная» Верченко замахнулся было и на свет в номерах постояльцев, но в последнюю минуту испугался жалоб и ограничился тем, что запретил освещать коридоры больше чем одной люстрой.

— У нас тут не музей, — сказал Леонтий Кузьмич на очередном собрании. — Разглядывать нечего, стенки и стенки. А которым темно, могут, как на железной дороге, с фонариками ходить!

Дежурная по этажу Лидия Феликсовна сидела за своим столиком и что-то писала в толстой канцелярской книге, страницы которой были разделены на две половины: «Прибыл» и «Выбыл».

В зыбком свете свечи, с пером в руке, с седыми букольками, Лидия Феликсовна была похожа на Нестора-летописца, как его изображают в школьных учебниках, но только забывшего приклеить бороду.

В тощей груди Лидии Феликсовны — женщины немолодой и самостоятельной — жила одна-единственная страсть. И называлась эта страсть — ненависть.

Лидия Феликсовна ненавидела всех — директора гостиницы, его заместителя, старшего администратора, дежурных администраторов, швейцара, сменщиц по этажу. Но пуще всего ненавидела Лидия Феликсовна постояльцев гостиницы. Некоторое исключение она делала только для иностранных туристов. Но исключение это было чисто теоретическим. А практически — ну какие же в гостинице «Дружба» иностранные туристы?! Разве что в горячую летнюю пору поселят горемык туристов из Болгарии, Румынии, Польши — так ведь чем у них поживишься, они сами норовят спереть, что плохо лежит.

Впрочем, были в жизни Лидии Феликсовны три дня и три ночи, о которых она вспоминала с благоговением и сладкой тоской.

Несколько лет тому назад в Одессу по приглашению Черноморского пароходства приехал из Финляндии представитель фирмы, изготавливающей какие-то особые пластики, господин Паулу Виремайнен. Выглядел этот представитель и вправду необыкновенно представителью — высокий, седовласый, улыбчивый, вежливый.

Поселили его в гостинице «Черноморская» (бывшая «Лондонская»), принимали по-царски — возили на экскурсии в катакомбы, водили в Оперный театр, кормили, поили.

И не рассчитали — кормили чересчур уж обильно, поили слишком щедро, позабыв, что господин Паулу Виремайнен прибыл из страны, где объявлен сухой закон и крепкие спиртные напитки продаются по карточкам и притом в весьма ограниченном количестве.

Уже на третий вечер гость пропал. Приставленный к нему ответственный сотрудник Черноморского пароходства обыскал и облазил всю гостиницу, прочесал Приморский бульвар и Дерibasовскую, позвонил в полном отчаянии куда следует — и на подмогу ему были присланы двое молодых людей с бесстрастными лицами и пронзительными глазами.

Господина Паулу Виремайнена удалось обнаружить в полночь в каком-то замызганном привокзальном шалмане.

Он сидел за столиком в полном одиночестве, приканчивал, как сообщил официант, вторые поллитра и, подперев по-бабьи щёку ладонью, нежным и жалобным голосом пел бесконечную песню.

— Ты что же это, сукин сын? — сказал один из бесстрастных официанту. — Нарушаешь постановление?! На человеко-единицу разрешается двести граммов от силы, а ты ему целый литр скормил?!

— Так они же будут нерусские! — сказал официант. — На них постановление недействительно, они валютой платят...

Бесстрастные отобрали у официанта финские кроны, составили протокол и погрузили господина Виремяйнена в оперативную машину. По дороге в гостиницу знатный гость допел наконец свою печальную песню и полез целоваться к шофёру. Шофёр шёпотом матерился и отплёвывался, но терпел.

И с той полночи господина Паулу Виремяйнена в трезвом виде уже не видел больше никто.

На следующий день состояние печальной задумчивости перешло в буйство. Знатный гость для начала переломал в номере мебель, потом, завернувшись в сорванную с окна занавеску, принялся шататься по коридорам гостиницы и пытался в этом одеянии пройти в ресторан.

В ресторан его не пустили, отвели под уздцы в номер и заперли. Тогда он забаррикадировал двери номера шкафом, распахнул окно и в совершенно голом виде — а дело, надо сказать, было зимой — уселся на подоконник и, ежесекундно рискуя свалиться, стал размахивать руками и что-то кричать.

Под окном, разумеется, собралась толпа.

Администратор гостиницы после безуспешной попытки ворваться в номер вызвал пожарную команду.

В итоге всех этих сокрушительных событий господин Виремяйнен, снятый с окна пожарниками, улёгся спать на полу, а некое учреждение в Одессе позвонило в некое учреждение в Москве и со слезами в голосе спросило: что делать?

Некое учреждение в Москве пообещало связаться с Министерством иностранных дел, но посоветовало, пока суд да дело, перевести господина Виремяйнена из гостиницы «Черноморская», находящейся в ведении «Интуриста», в какую-нибудь гостиницу попроще, поплотнее, местного значения, с глаз подальше.

Вот так и попал знатный гость из Финляндии в гостиницу «Дружба», на четвёртый этаж, в номер четыреста восемнадцать. Вот так и начались те самые три дня и три ночи, о которых с такой сладкой тоскою вспоминала Лидия Феликсовна.

Водворённый в гостиницу «Дружба», господин Виремяйнен в ускоренном темпе повторил две первые степени опьянения — печальную задумчивость, буйство, а затем, не мешкая, погрузился в третью степень — молчаливую плаксивость. В редкие часы, когда Виремяйнен не спал, он сидел на кровати в одних боксёрских трусах и, закрыв руками лицо, всхлипывал и что-то негромко бормотал. Он переставал плакать только в то мгновение, когда с умильной улыбкой на устах входила в номер Лидия Феликсовна. На чёрном, «под Палех» лакированном подносе, на котором были изображены Спасская башня Кремля и колокольня Ивана Великого, Лидия Феликсовна приносила дорогому гостю очередной графинчик водки и закуску — бутерброды с кильками и маринованные огурчики.

Некое учреждение, узнав от товарища Верченко о наступлении у господина Виремяйнена третьей степени опьянения, распорядилось — поить буржуйскую морду по требованию и даже без требования, но ни под каким видом из номера не выпускать.

Товарищ Верченко, в свою очередь, бросил на выполнение этого ответственного задания Лидию Феликсовну.

Три дня и три ночи не уходила Лидия Феликсовна из гостиницы и не покидала своего поста на четвёртом этаже. Она собственноручно чистила кильки и аккуратно укладывала их на ломтик хлеба, дотошно отбирала огурчики, настаивала водку на заветной анисовой травке и добавляла в графин для запаха несколько капель духов «Сирень».

Но и господин Виремяйнен, хотя и пьяный до изумления, тоже, надо отдать ему справедливость, не оставался в долгу. Ни единого раза не покидала Лидия Феликсовна номера четыреста восемнадцать с пустыми руками. Господин Виремяйнен дарил ей всё, что попадалось ему на глаза, — пижаму, махровое полотенце, крем для бритья, шариковую ручку, почти полный флакон одеколона «Кельнише Вассер», фотографии — свою, своей семьи, водопада Иматры и президента Республики Финляндии господина Кекконена.

Три дня и три ночи жила Лидия Феликсовна, как в волшебном сне.

Сплетник швейцар утверждает, что слышал сам, как, шествуя по коридору с подносом в руках, она даже напевала — игриво и немзыкально — старую песню, переделанную ею на собственный лад:

Осенний сон, осенний сон,  
Как много дум наводит он!..

Но на четвёртые сутки этот волшебный сон был нарушен — откровенно, грубо и навсегда.

Все те же бесстрастные молодые люди с пронзительными глазами приехали в гостиницу, прошли в сопровождении товарища Верченко в четыреста восемнадцатый номер, кое-как, небрежно, наспех собрали господина Виремьяйна и, преодолев его слабое сопротивление, увезли на аэродром.

Лидия Феликсовна выбежала за ними на улицу и долго стояла, прижав руки к груди, глядя вслед скрывшейся за поворотом, за снегом оперативной машине.

Сплетник швейцар окликнул её:

— Лидия Феликсовна, простудитесь!

Она обернулась и тихо сказала:

— А мне теперь безразлично!..

Всё ещё отдуваясь и тяжело переводя дыхание, Таратута молча протянул руку, но Лидия Феликсовна в ответ не отдала ему ключ от номера, а проговорила язвительно и высокомерно:

— Между прочим, гражданин Таратута, вы здесь живёте не первый день и должны были бы знать, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается.

— Это кто же здесь посторонний? — обретя от удивления дар речи, спросил Таратута. — Это я — посторонний?!

— Я не имею в виду вас. Но приехали какие-то четверо, и один из них — такой довольно интересный мужчина — сказал, что вы разрешили им взять ваш ключ.

— И вы им его отдали?

— Да.

— Но вы же знаете, Лидия Феликсовна, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается! — усмехнулся Таратута, возвращая разговор на исходную позицию.

— Так ведь это вы распорядились! — покрываясь красными пятнами, воскликнула Лидия Феликсовна.

— А кто я такой? — немедленно возразил Таратута. — Я рядовой постоялец. Какое право я имею распорядиться?

— Вот именно! — ощутив наконец твёрдую почву под ногами, сказала Лидия Феликсовна. — Именно это я и говорю! Вы не имеете права распоряжаться, чтобы отдали ваш ключ от номера, когда вы прекрасно знаете, что выдавать посторонним лицам ключи от номера не разрешается!

— Но ведь выдал-то ключ не я, а вы.

— Но вы распорядились.

— А кто я такой?!

Разговор опять явно забуксовал, как застрявшая в грязи машина: ни вперёд — ни назад.

Таратута посмотрел на Лидию Феликсовну. Лидия Феликсовна посмотрела на Таратуту и вдруг, что-то вспомнив, сказала совсем другим тоном и почему-то понизив голос:

— Да, и ещё... После того как уже приехали эти четверо, к вам заходил ещё один гражданин и просил — срочно, он сказал — передать письмо... Он даже потребовал, чтоб я расписалась в получении!

Таратута в недоумении оттопырил губы.

— Что за письмо? Что за срочность?

Лидия Феликсовна достала из ящика стола довольно большой конверт с сургучной печатью, протянула его Таратуте.

На конверте затейливым, с завитушками, канцелярским почерком был написан адрес: «Гр-ну Таратуте С.Я. Гостиница “Дружба”, номер четыреста восемнадцать. Очень срочно!»

Слова «Очень срочно» были дважды подчёркнуты.

Таратута кивком головы поблагодарил Лидию Феликсовну, поправил сползшие набок очки и, не распечатывая конверта, направился в свой номер.

Ещё издали, несмотря на то что коридор был погружён в полумрак, Таратута увидел Валю-часовщика.

Валя стоял у дверей номера — без пиджака, без бантика, в рубашке с расстёгнутым воротником и закатанными рукавами. Он стоял, по-наполеоновски скрестив могучие руки, и улыбался.

Когда Таратута подошёл ближе, Валя-часовщик перестал улыбаться и проговорил громоподобным шёпотом:

— Семён Янович, дорогой мой, сегодня такой день, что одни сплошные недоразумения!

— А в чём дело? — спросил Таратута.

— Я вам, помните, говорил про Лидочку и Тонечку?

— Вы их не нашли?

— Нет, я их нашёл. С Лидочкой у меня любовь. Вы можете смеяться, Семён Янович, но Лидочка — это женщина моей мечты. С другой стороны, если подходить к данному вопросу объективно, то она не такая красивая, как Тонечка. И я надеялся, Семён Янович, что вы от Тонечки получите полный максимум удовольствия...

— Так что же случилось?

Валя-часовщик печально покачал головой.

— Что случилось? В этой жизни всегда что-нибудь случается! Я посадил девушек в машину, мы едем к вам, у нас хорошее настроение. И вдруг мы видим — у витрины магазина «Мясо» стоит пожилой человек и плачет. Лидочка его узнала первая. Она мне сказала: «Смотрите, Валя... — Мы с ней на «вы», между прочим. — Смотрите, Валя, — сказала Лидочка, — это же Эдуард Аршакович Казарян!» Я останавливаю машину, выхожу и вижу — действительно, это Казарян, которого мы напрасно ждали на юбилее месье Раевского. Он стоит и плачет. А я должен вам сказать, Семён Янович, что это очень страшно, когда плачут пожилые люди!.. Оказывается, у него был сегодня обыск. Явились эти бандиты из ОБХСС, перевернули всю квартиру вверх дном, кое-что забрали, кое-что опечатали и взяли с Казаряна подписку о невыезде. А он одинокий, как собака, ему даже пожаловаться некому... Так я вас спрашиваю, Семён Янович: если человеку, который стоит у витрины магазина «Мясо» и плачет, доставить немножко радости, — это хорошо, это гуманно? Ну, и мы пригласили его с собой... И мы...

Внезапно оборвав свой монолог на полуслове, Валя-часовщик уставился на конверт с сургучной печатью, которым рассеянно, как веером, обмахивался Таратута.

— Ой, я знаю этот конверт! — шёпотом пропел Валя-часовщик. — Ой, я очень хорошо знаком с этим конвертом. Когда вы его получили, Семён Янович?

— Только что. Я ещё даже не успел его распечатать.

— Распечатайте! — сказал Валя-часовщик. — Немедленно распечатайте. Вы же видите, там написано: «Очень срочно!»

Таратута, пожав плечами, содрал сургуч, открыл конверт и достал почтовую открытку.

— Так я и думал! — выдохнул Валя-часовщик. — Что в открытке?

Таратута медленно прочёл:

— «Министерство внутренних дел УССР. Одесский отдел виз и регистраций, улица Бабеля, пять. Таратуте

С.Я. Просьба явиться в среду, третьего октября, в десять часов утра к товарищу Захарченко, имея при себе паспорт и военный билет. Ваша явка обязательна».

— Среда — это завтра! А товарищ Захарченко Василий Иванович — это начальник ОВИРа! — сказал Валя-часовщик и торжественно поднял руку. — Семён Янович, дорогой, вас сам Бог послал — и я это почувствовал сразу! — Он обнял Таратуту за плечи. — Идёмте!

— Куда? — отстранился Таратута. — В номер?

Валя-часовщик усмехнулся.

— Нет, зачем же в номер? В номере сейчас лично вам делать нечего. Но вы не беспокойтесь, Семён Янович, я о вас подумал — я налил вам ванну... Вы можете полежать и отдохнуть от всех этих кошмарных переживаний! Тем более что завтра вам, очевидно, кое-что предстоит!

— Чёрт возьми! — пробормотал Таратута и перечитал во второй раз загадочную открытку. — Не понимаю... Для чего я им так срочно понадобился?

— Завтра в десять утра вы всё узнаете! — снова шёпотом пропел Валя-часовщик. — А до завтра осталось уже всего ничего... И не надо мучиться над вопросами, на которые всё равно отвечаем не мы! Идёмте, Семён Янович!

В маленькой ванной комнате, дверь из которой выходила прямо в прихожую, Валя-часовщик, подсучив ещё выше рукав рубашки, наклонился над ванной, попробовал локтем воду, сказал деловито и озабоченно:

— Если вам покажется, Семён Янович, что прохладно, так можно подбавить горяченькой!..

Но Таратута не ответил.

Слегка приоткрыв рот и сдвинув брови, он смотрел на едва заметный синий шестизначный номер, вытатуированный на могучей руке Вали-часовщика и выползавший из-под засученной рубашки.

— Что это, Валя?

— Где?

— Вот, — сказал Таратута и ткнул пальцем в номер.

— Э-э! — небрежно сказал Валя-часовщик. — Ерунда! Мои родители, они были великие умники. В июне сорок первого года они отправили меня погостить к бабушке в Вильнюс. Ну, так четыре года я прожил в гетто, бабушка умерла, а я... Одним словом, ничего интересного, Семён Янович! Можете мне поверить! — Он снова наклонился и попробовал локтем воду. — Я думаю, что всё-таки нужно немножко подбавить горяченькой!..



Больше всего на свете Таратута в это мерзкое, дождливое утро хотелось спать.

Всю дорогу от гостиницы «Дружба» до улицы Бабеля он мучительно боролся с зевотой и с желанием плюнуть на всё, вернуться в номер, упрямить коридорную сменить бельё и упасть, как в обморок, в сон.

В сущности, он почти всю ночь пролежал в ванне в холодной воде — вопреки совету Вали-часовщика, он не стал подливать горячей, чтобы не уснуть и не захлебнуться, — стараясь не слышать и слыша, как звенят за стеной стаканы, гудят мужские голоса и заливаются русалочьим смехом девицы.

По временам Валя-часовщик просовывал в полуоткрытую дверь ванной комнаты кудлатую голову и спрашивал бесстыдно и бодро, как сержант-сверхсрочник:

— Ну как, Семён Янович, отдыхаем?!

Таратута в ответ бормотал что-то невнятное, и Валя-часовщик, хохотнув, скрывался.

Уже под утро Таратута всё-таки ненадолго задремал.

Ему даже приснился сон — необъятная лужа у палатки «Пиво—воды» и длинная, бесконечно длинная улица, круто уходящая в гору. Он бежал по этой улице быстро, молча, а за ним, преследуя его, бежали не Валерик и Толик, а двигалась целая армия с броневиками, танками, дальнобойными орудиями, и во главе этой армии, впереди, ехал на трехколёсном велосипеде Валя-часовщик в чёрном пиджаке, с чёрным бантиком-бабочкой и весело улыбался.

— Семён Янович!

Таратута через силу продрал глаза и увидел, что в дверях ванной стоит Валя-часовщик в чёрном пиджаке и с чёрным бантиком-бабочкой.

Он словно бы перешёл из сна в явь, и сделал это настолько естественно, что Таратута даже не очень удивился.

— Дорогой Семён Янович! — сказал Валя-часовщик и церемонно поклонился. — Позвольте мне от имени Лидочки и Тонечки, от имени Эдуарда Аршаковича Казаряна и от себя лично выразить вам наши извинения и глубокую, сердечную благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Таратута и лязгнул зубами от холода. — Готов выполнить любое задание партии и правительства!

Но Валя-часовщик, утомлённый любовными утехами, юмора не оценил. Он просто снова поклонился и притворился за собой дверь.

Еле волоча ноги, Таратута доплёлся до улицы Бабея. Дом номер пять найти было нетрудно.

У ворот этого дома группами, оживлённо переговариваясь и жестикулируя, стояли евреи — молодые и старые, интеллигенты и оборванцы, женского, мужского и среднего пола.

Некоторые, особенно молодые, носили бороды, пейсы и традиционные бархатные шапочки — кипы.

Увидев Таратуту, они все на мгновение замолчали, проводили его глазами, когда он вошёл во двор, и кто-то в спину ему сказал:

— Отказник из профессоров, чтоб я так жил!

Молоденький, очень важный милиционер-казах у входа в ОВИР внимательно прочитал открытку, которую показал ему Таратута, подумал, потом зачем-то козырнул и сказал:

— Вам, гражданин, на второй этаж.

Едва только Таратута поднялся на второй этаж и вошёл в зал, битком набитый людьми, как громкий металлический голос, усиленный двумя висевшими на стене динамиками, сказал:

— Таратуту Семёна Яновича, если он здесь, просят пройти в комнату номер двадцать!

В зале немедленно начался галдёж:

— Таратута?! А кто такой Таратута?!

— Послушайте, вы не видели Таратуту?!

— Где Таратута?!

Из общего шума выделился звонкий женский голос:

— В конце концов, это хамство! Таратута Семён Янович, где вы?

Не отвечая, Таратута, ожесточённо орудуя локтями, начал продираться сквозь толпу к дверям, обитым чёрной клеёнкой, на которых сияла золотая цифра «двенадцать».

Он был уже почти у цели, когда дорожку ему преградил маленький встрёпанный человечек в лыжной куртке, украшенной каким-то совершенно невероятным количеством молний. Уперев Таратуте в грудь длинный указательный палец, человек-«молния» строго спросил:

— Одну минуточку, это вы — Таратута?

— Я, — признался Таратута.

— Вы что же, не слышите, что вас вызывают?

— Слышу.

— Так почему же вы не идёте?

— Я иду.

— Ну так идите!

— А вы перестаньте тыкать мне в грудь пальцем! — обозлившись, гаркнул Таратута.

Человек-«молния» обиделся.

— Ах, так это, оказывается, я виноват? Люди — и, между прочим, постарше вас — занимают очередь чуть не со вчерашнего вечера. Они приходят, они сидят, они ждут — но их не вызывают! Вызывают вас, а вы не идёте! Так кто же виноват, хотелось бы мне знать?!

Таратута двумя руками взял человечка-«молнию» за плечи, молча, как шахматную фигуру, переставил его с одной паркетной клетки на другую, усмехнулся.

— Слон бьёт на же семь!

Потом он шагнул вперёд, толкнул заветную дверь и громко сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Семён Янович!

Если бы в системе Министерства внутренних дел проводились конкурсы красоты на звание «мистер ОВИР», то подполковник Василий Иванович Захарченко, начальник Одесского ОВИРа, не имел бы соперников.

«Красавчик!» — звали его за глаза подчинённые.

«Вася-Василёк! — говорила ему любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Тебе бы в кино, Василёк, сыматься! Против тебя никакой Радж Капур не потянет!»

Имя этого индийского киноактёра упоминалось не случайно. Был Василий Иванович черняв, белозуб, с глазами бессмысленными и прекрасными. Но в отличие от тщедушного Раджа Капура Василий Иванович унаследовал от своих сибирских дедов и прадедов, прасолов казачьего корня, могучую статью, грудь колесом, широкие плечи борцовского разворота. Картинная эта внешность в сочетании с характером, исполнительным и покладистым, и была одной из причин, если не главной, быстрого продвижения Василия Ивановича по служебной лестнице вверх.

«Глуп, но надёжен», — написал на его личном деле начальник Четвёртого управления МВД УССР генерал-лейтенант Ильин.

И написал он это, между прочим, явно несправедливо.

Василий Иванович Захарченко был отнюдь не глуп. Просто ему по занимаемой должности никакого ума не требовалось. А не требовалось, так и не надо.

Ну в самом деле, какая ещё такая необходима сообразительность, чтобы, ознакомившись с решением, при-  
сланным из Киева (или из Москвы), сообщить очередно-  
му безумцу, собравшемуся ехать куда-то к чёртовой ба-  
бушке, на край света, о том, что ему, безумцу, в его  
просьбе отказано?

В тех, куда как более редких случаях, когда из Киева  
(или из Москвы) приходил положительный ответ, сообщать о нём Василий Иванович предоставлял своим млад-  
шим сотрудникам — инструкторам.

— Сказать «да» — это всякий дурак может! — объяс-  
нял Василий Иванович любящей жене Марине. — А вот  
сказать «нет» — это, милая моя, дело тонкое!

Говоря «нет», Василий Иванович, как правило, улы-  
бался. И вовсе не от высокомерия или злорадства, совсем  
наоборот. Ему совершенно искренне было жаль этих чу-  
даков, рвущихся из прекрасного мира, где всё так хоро-  
шо, разумно и справедливо, в неведомый страшный мир  
хаоса и насилия, — и сообщение об отказе воспринимал  
он как спасение очередной заблудшей души. И улыбался.

Одному почтенному еврейчику, заслуженному артис-  
ту, маэстро, который на своей родной скрипочке пиликал  
даже по радио, Василий Иванович, видя, как тот пережи-  
вает отказ, сказал дружелюбно и участливо:

— Ну что вы убиваетесь? На кой вам этот Израиль?!  
Чем вам у нас плохо?

Но маэстро Скрипочкина от этого вполне дружеского  
вопроса почему-то всего перекосило, он зыркнул на Ва-  
силия Ивановича бешеными глазами и сказал, заикаясь:

— Вот именно поэтому!

Василий Иванович не понял, что он имел в виду, но с  
тех пор решил в откровенные разговоры с психами не  
вступать и придерживаться раз и навсегда установленно-  
го порядка:

— Мы внимательно рассмотрели ваше ходатайство, и  
я уполномочен вам сообщить, что вам отказано. Следую-  
щее заявление можно подавать через год со дня отказа. До  
свидания!

Иногда какой-нибудь не в меру ретивый еврейчик  
спрашивал:

— А могу я обжаловать это решение?

Василий Иванович улыбался ещё шире и дружелюбнее.

— Можете. Вы можете послать вашу жалобу в Прези-  
диум Верховного Совета, но там — должен вас предупре-

дять откровенно — читать её не будут, перешлют нам. Так что сами понимаете!..

Но сегодня Василий Иванович Захарченко нервничал.

И надо же было этому Ершову из 12-го отделения явиться к нему вчера со своими дурацкими идеями, и надо же было, чтобы азартная кровь прадедов ударила Захарченко в голову в самую неподходящую минуту.

Выслушав Ершова, Василий Иванович позвонил в Киев, из Киева его, как водится, переадресовали в Москву, а Москва, к полному изумлению Захарченко и Ершова, сообщила причудливо суконным языком, возвышенно-канцелярским слогом о том, что в данное время как раз изучается проект общего решения вышеупомянутой и нижепоименованной проблемы, что конкретный вопрос, поднятый товарищами из Одессы, идеально вписывается в этот проект и что их звонок как нельзя более кстати — так сказать, инициатива снизу, поддерживающая инициативу сверху.

Василий Иванович с пылающими ушами поинтересовался: а как ему следует поступить, если возникнут трудности?

Москва, похмыкав, ответила, что дело это новое, экспериментальное, что на первых порах товарищам на местах предоставляются самые широкие полномочия — разумеется, в разумных пределах.

— Ты чего это, Василёк, ворочаешься? — проворчала глубокой ночью любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Это надо же — из-за евреев не спать! Все несчастья от них, честное слово!

— Ну, не скажи, Марина, не скажи! — возразил Василий Иванович. — Всяка бывает! Есть такие, знаешь, русские, что даже хуже евреев!

И вот теперь подполковник Василий Иванович Захарченко сидел за письменным столом в своём служебном кабинете, бесцельно перекладывая то справа налево, то слева направо какие-то бумаги, хмурил соболиные брови и всё не решался открыто поглядеть на этого Таратуту Семёна Яновича, из-за которого он провёл сегодня бессонную ночь.

Наконец он поджал губы, расправил богатырские плечи и без надобности громко сказал:

— Так вот, Семён Янович... Мы пересылали ваше дело в Москву, там с ним ознакомились и приняли положительное решение — вы можете ехать!

— Ехать? — спросил Таратута сдавленным голосом, поскольку новость эта застигла его в самом начале сладчайшего зевка. — Куда ехать?

— Как это, Семён Янович, куда? В Израиль! — твёрдо сказал Захарченко, впервые поглядел на Таратуту и удивился. «Где-то я встречал этого подлеца! — мельком подумал он. — Не вспомню сейчас, где и при каких обстоятельствах, но личность, определённо, знакомая! Ох, Ершов, Ершов! Ох, подведёшь ты меня, Ершов, под кузькину мать!..»

А Таратута, как всегда, когда ему бывало необходимо выиграть время, снял очки и принялся их тщательно протирать. Он делал это так долго и нудно, что Захарченко на всякий случай повторил:

— В Израиль, Семён Янович!

— А зачем? — ухмыльнулся Таратута, всё ещё продолжая протирать очки. — Для чего мне туда ехать?

— На вашу историческую родину, Семён Янович! — сказал Захарченко. — Для воссоединения семьи.

— Здравστε! — нагло сказал Таратута, надел очки, уселся поудобнее и вытянул ноги. — Во-первых, я далеко не уверен в том, что Израиль — моя историческая родина. Может быть, моя историческая родина — это Огненная Земля или мыс Доброй Надежды. Ву компрене? А во-вторых, никаких родственников у меня в Израиле нет.

— Нет? — улыбнулся по привычке Захарченко и сразу же почувствовал себя увереннее и спокойнее. — Так-таки и нет?

— Нет.

— Любопытно!

Захарченко открыл лежавшую перед ним на столе папку-скоросшиватель, перелистал какие-то бумажонки, снова улыбнулся.

— А вот, между прочим, у меня тут имеется заявление от гражданина Таратуты Семёна Яновича. Датированное двадцатым ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. И в этом заявлении гражданин Таратута Семён Янович просит, чтоб ему разрешили выехать на его историческую родину в Израиль для воссоединения семьи.

— Но...

— Минуточку! — строго сказал Захарченко. — И тут же, приложенный к заявлению, имеется вызов — он, правда, устарел, но это мелочь, — вызов Семёну Яновичу Таратуте от его двоюродного брата Симона Сокольского,

проживающего в Израиле, в городе Тель-Авиве, улица Алленби, двенадцать... — Улыбаясь всё шире и слаще, он уже без боязни, в упор поглядел на Таратуту. — Как же прикажете всё это понимать, Семён Янович? Мне бы не хотелось понимать так, что вы имели намерение нас обмануть!

Таратута подтянул ноги и сказал:

— Ну зачем же — обмануть?! Всё это значительно сложнее...

— Правильно! — сказал Захарченко. — Вернее, было сложно, стало просто. Придётся мне повторить то, с чего я начал, — ваш вопрос в Москве решён положительно, и вы можете ехать.

— Я не могу ехать, — тихо и растерянно сказал Таратута.

— Можете не можете, а должны! — усмехнулся Захарченко. — Виза, которую вы получите в Москве, действительна пять дней, по восьмое октября. Если вы не уедете седьмого или, в крайнем случае, восьмого утром — вы будете задержаны как лицо без подданства, нелегально находящееся на территории Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Он победоносно тряхнул головой и не без ехидства сказал:

— Вы спросили меня, Семён Янович, «Ву компрене?». Мы-то, как видите, компрене! А вы?

Наступило молчание.

Таратута, опустив голову, с преувеличенным вниманием разглядывал носки своих заляпанных грязью польских туфель, а Захарченко, скосив на Таратуту глаза, по-прежнему безуспешно пытался припомнить, кого ему напоминает этот очкарик.

Оба они — и Захарченко и Таратута — были сейчас похожи на боксёров в ту короткую минуту отдыха после схватки, когда спасительный гонг развёл их по разным углам, и они сидят, расслабившись, жадно глотая воздух, и благодатные руки массажистов разминают им плечи и спины, и влажная губка смачивает им опалённые лица, и что-то нашёптывают им секунданты, что-то очень важное, но что уже не имеет теперь ни малейшего значения.

Если продолжить это сравнение, то первый раунд сегодняшней схватки, совершенно очевидно, остался за Василием Ивановичем Захарченко. Но он понимал, что это только начало, что его противник ещё не показал всего,

на что он способен, ещё не выложил на стол всех своих козырей, не пустил в ход главного оружия.

И, словно почувствовав эти опасения Василия Ивановича, Таратута оторвался от созерцания своих ботинок, вздохнул и сказал:

— Я не поеду. Не хочу... В конце концов, вы не имеете никакого права насильно заставить меня уехать.

— Смотри куда! — сказал Захарченко и значительно поглядел на Таратуту.

— Это что же — угроза?

Захарченко усмехнулся.

— Нет, Семён Янович, это не угроза. Это просто, так сказать, железный факт! Вы же не маленький, вы же, слава Богу, прекрасно всё понимаете сами! — И тут, чтобы не дать противнику прийти в себя, Василий Иванович заговорил быстро, решительно и деловито: — Значит, сегодня вечером вам нужно будет выехать в Москву. С самолётом связываться не советую — можно застрять, а у вас каждая минута на счету. Сегодня у нас третьёе, среда, в Москве вы четвёртого — и это уже четверг, и у вас, в сущности, остаётся неполных два дня на всё оформление: получение документов в ОВИРе, получение виз в голландском и в австрийском посольствах, билет на самолёт до Вены, сдача багажа... Хотя вы человек одинокий, вещей у вас небось не так-то уж много, чемодана два-три...

— Чемодан у меня один! — резко перебил Таратута. — Не в этом дело. Я не хочу ехать. И, кстати, если бы я даже и хотел, я не могу ехать.

— Почему?

Таратута развёл руками и с обезоруживающей улыбкой сказал негромко и чётко:

— У меня нет денег.

— Что?!

— Нет денег!

Василий Иванович растерялся. Именно этого наипростейшего обстоятельства он не предвидел и не учитывал, готовясь к сегодняшней операции, которой они с Ершовым, развеселившись после звонка в Москву, дали кодовое название «Баба с воза».

— Нет денег? — тупо переспросил он. — Совсем нет?

— Ну, совсем не совсем, — кротко сказал Таратута, — но того, что есть, хватит только на билет до Вены. Вот, пожалуйста... — Он вытащил из кармана бумажник, пересчитал имевшуюся в нём наличность, печально усмехнулся. —



Двадцать четыре рубля... Ну и ещё рубль на два мелочи. Это наличные. И на сберегательной книжке — сто сорок. И всё! А за одну визу, насколько мне известно, надо заплатить четыреста. За выход из гражданства — пятьсот. Это уже девятьсот. Теперь — налог на образование... Или он отменён?

— Не отменён, но имеется указание, чтоб временно не взыскивать, — с убитым видом пробормотал Василий Иванович.

— Ладно, — охотно согласился Таратута, — налог на образование не считаем. Но мне всё равно, даже и без налога, недостаёт — и это по крайней мере тысяча рублей. Как же я могу уехать?

Таратута спрятал бумажник в карман и, ещё удержавшись, чтобы не подмигнуть Василию Ивановичу, встал, как бы давая понять, что разговаривать им больше решительно не о чем.

— Подождите, Семён Янович, подождите, не торопитесь! — почти испуганно сказал Захарченко.

— Пожалуйста, — сказал Таратута и сел.

Снова наступило молчание. Только теперь уже Таратута искоса разглядывал Василия Ивановича, а Захарченко, понимая, что второй раунд был проигран им начисто, в пух и прах, лихорадочно соображал, как ему выпутаться из этого глупейшего положения.

Ничего не придумав, он на всякий случай спросил:

— Неужели вам не у кого одолжить?

— У кого, например? — со смешком поинтересовался Таратута.

— Ну, я не знаю... Все у кого-нибудь одалживают. Люди имеют родственников, знакомых.

Таратута печально покачал головой.

— Вот, вот! А у меня, представьте себе, как раз никого — ни знакомых, ни тем более родственников. И, кстати, не кажется ли вам, что всё это очень странно: у людей есть родственники и знакомые, есть желание уехать и есть даже деньги, чтобы за это желание заплатить, но им разрешения не дают. А я без денег и никуда уезжать не хочу, и меня прямо-таки выталкивают! Да ещё так внезапно! Почему? Зачем? В чём тут секрет?

— Никакого тут секрета нет! — сердито сказал Захарченко. — Заявления на выезд рассматриваются в порядке очереди. Ваше заявление давнее; подошла очередь, рассмотрели, решили — пожалуйста, можете ехать.

— Так ведь мне уже один раз отказали!

— Тогда отказали, теперь разрешили! — ещё сердитее сказал Захарченко. — Между прочим, а на что вы тогда рассчитывали, если вы такой бедный? Деньги-то всё равно надо было платить.

— Тогда у меня были друзья, которые могли мне помочь. А теперь — одни знакомые. Да и то, знаете, такие, у которых больше чем на пять рублей до полочки не разживёшься. Они сами только и глядят, у кого бы стрельнуть.

— Ну а по пятёрке-то они дадут? — деловито поинтересовался Захарченко.

— По пятёрке, может быть, дадут.

— Тогда так. — Захарченко задумчиво двумя пальцами оттянул нижнюю губу, посмотрел на Таратуту. — Есть такая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей! У каждого друга займёшь по три рубля, будет триста рублей! — Он деланно засмеялся. — Так вот, Семён Янович, что я хотел бы вам посоветовать...

— Есть и другая поговорка, — резко перебил Таратута, — советы нужны Ротшильду! Ему, Ротшильду, нужен хороший совет, и ничего больше. А нам нужны деньги и ещё многое другое! Вы что же думаете, что я буду, высунув язык, бегать, как заяц, по всему городу и одалживать копейки, чтобы ехать в какой-то Израиль, за тридевять земель, куда-то... — И вдруг Таратута запнулся.

И вдруг он вспомнил: летние сумерки, могучая старая липа, залезавшая ветвями в открытое окно, и вальс «Дунайские волны», который играл самодеятельный студенческий оркестр в беседке на Чистых прудах. Они — Аглая Николаевна, Адель и Семён — уже несколько вечеров подряд читали вслух, по кругу, колониальный роман Клода Фарера, действие которого происходило в Алжире. И, дочитав последние строчки, Аглая Николаевна отложила в сторону книжку, закурила, помолчала и сказала каким-то внезапно тоненьким, девчоночьим голосом:

— Дальние страны! Дальняя дорога! А я вот никогда, кроме Свердловска, нигде не была... Даже в Болгарии... Теперь все почему-то ездят в Болгарию! Вы непременно, дети мои, непременно должны отправиться когда-нибудь в дальнюю дорогу, в дальние страны! Пообещайте мне, пожалуйста!

И Адель с Семёном дружно ответили:

— Обещаем!

И ещё — уже в Одессе — был другой вечер, когда они сидели вдвоём, Таратута и Лёня Каплан, в пассажирском

порту на пирсе, а далеко в море — по линии горизонта, как по линейке, плыл белый пароход.

— Синее море, белый пароход! — пропел Лёня первую строку из старой, времён гражданской войны, частушки и невесело засмеялся. — Ты знаешь, Семён, мы, одесские Капланы, не семья, а династия. Нас было когда-то так много, что все скрывали день своего рождения. Кого-нибудь не позвать — обидеть, а позвать всех — для этого нужно было снимать по крайней мере Оперный театр. И только однажды на моей памяти вся династия собралась вместе. Это было как раз здесь, на пристани. Мне было тогда лет пять, но я этот день очень хорошо помню. Два моих дядьки — Роман и Лазарь, братья отца, — уезжали в Палестину, в Израиль. А мы их пришли провожать. Прабабушку принесли в кресле, представляешь?! Мой отец и ещё один его брат, Натан, так, прямо в кресле, и несли её по всему городу сюда, на пристань. И вот мы стояли здесь, а Роман и Лазарь — на борту парохода. Мы стояли молча — больше ста человек, наверное. И никто не плакал. А когда стали убирать сходни, Роман — он был старший — крикнул: «Приезжайте! Мы будем ждать!» И с той самой поры Израиль для меня — это страна, куда уплывает из моего детства белый пароход по синему морю и где меня ждёт мой дядька Роман! — Лёня снова невесело засмеялся, взъерошил пятернёй седые волосы. — Между прочим, его убили в сорок шестом году...

И Таратута, чувствуя где-то под ложечкой знакомый озорной холодок, сказал, глядя в упор на Василия Ивановича Захарченко:

— Вот что мне сейчас пришло в голову: а может быть, вы мне одолжите эти деньги?

— Я?! — шёпотом от удивления спросил Захарченко.

— Ну, не вы непосредственно, а организация, ведомство, министерство, которое вы представляете. Если вам зачем-то нужно, чтоб я уехал, — вы и платите!

Эти нахальные слова Таратуты произвели на Василия Ивановича Захарченко неожиданно странное действие. Как и вчера, когда они звонили с Ершовым в Москву, удаляя кровь казацких предков ударила ему в голову, он весь как-то набычился, тяжело задышал, упёрся кулаками в крышку стола и, с ненавистью глядя на Таратуту, глухо спросил:

— Так сколько, вы говорите, у вас есть?

— Чего? Денег? Денег у меня ровно, как в аптеке, сто шестьдесят четыре рубля сорок копеек.

Василий Иванович сузил глаза, что-то быстро прикинул в уме, грохнул кулаком по столу и решительно — понимая, что катится в пропасть, но не давая самому себе времени, чтоб одуматься, — проговорил:

— Ладно! Давайте так — выкладывайте триста рублей, остальное доложим мы! По рукам?

— А откуда ж я возьму триста рублей? — ухмыльнулся Таратута.

— Сто шестьдесят у вас есть?

— Сто шестьдесят есть. И ещё даже — четыре рубля сорок копеек.

— Ну, копейничать мы не будем, — великодушно махнул рукой Захарченко. — Советская власть, как... кое-кто, извините за выражение, из-за копейки не удавится! Сто шестьдесят у вас есть, сто сорок достаньте и — полный вперед!

Таратута вздохнул и пожал плечами.

— А откуда же я достану сто сорок?

— Одолжите. Соберите. Это уж надо быть... я просто не знаю кем, чтоб не суметь в Одессе достать сто сорок рублей. Ну, ладно, ну, пожалуйста, долбжите девяносто, чтоб у вас было ровно двести пятьдесят. Это как раз на самолёт до Вены и на обмен валюты... Договорились?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — ещё нахальнее, чем прежде, сказал Таратута и даже позволил себе язвительную улыбку. — Я уже сказал вам — никаких денег я доставать не намерен. Хотите — доплачивайте за меня, не хотите — не доплачивайте.

— Хорошо, — после паузы тихо, всё ещё тяжело дыша, сказал Василий Иванович. — Хорошо! — не своим голосом закричал он в припадке сумасшедшего, отчаянного восторга, с которым бросаются голой грудью на колючую проволоку, с которым прадеды его, прасолы, обжулив хмельного бедолагу, рвали чёрными пальцами рубаху на потной груди, бросали шапку оземь и топтали её сапогами. Это второе «хорошо» Захарченко прокричал так громко, что за дверью, в приёмном зале, откуда всё время доносился глухой и ровный, как из предбанника, гул, наступила мгновенная тишина. — Хорошо! — в третий раз, азартно блестя бессмысленно прекрасными глазами, сказал Василий Иванович. — Идите собирайтесь. Поезд в Москву отходит в двадцать два пятнадцать. Билеты вам доставят прямо в гостиницу. Завтра, по приезде в Москву, вам следует... Впрочем, я скажу инструктору — он

вместе с билетом передаст вам памятную записочку — что, где, когда... Вот и всё, до свидания, идите! — Он сгорбился, обмяк, опустил сразу погасшие глаза и почти попросил: — Идите! Идите, чтоб я вас больше не видел.

Таратута встал, потоптался на месте, оглядел кабинет Василия Ивановича и, вспомнив рассказ месье Раевского, спросил:

— Между прочим, вы не знаете — а что здесь, в вашем помещении, было до революции?

Не поднимая глаз, Василий Иванович Захарченко ответил скорбно и глухо:

— Здесь — был всегда сумасшедший дом!

<7>

Итак, он уезжает.

И это не придремалось, не причудилось, не пригрезилось. Дальняя дорога, как Валя-часовщик, перешла из сна в явь, и вот она лежала на столе в конверте — дальняя дорога, шестёрочка пиковая, билет на скорый поезд Одесса—Москва, отправление третьего октября, в двадцать два пятнадцать, пятый купейный вагон, место одиннадцатое, нижнее.

И вещи, уже готовые тронуться в путь, стояли рядком на незастеленной постели — чемодан, перехваченный ремнём, вещевой мешок и авоська, нейлоновые ручки которой Таратута благовидно обмотал и стянул носовым платком.

«Без авоськи — ни шагу! — подумал он. — Ещё ни один советский человек, сколько бы чемоданов он с собою ни вёз, не сумел обойтись без авоськи!»

Билет на поезд вместе с памятной запиской, составленной инструктором ОВИРа, принесли ему в гостиницу уже в полдень.

На то, чтобы уложить вещи, понадобился час — он, кстати, большую часть этого времени потратил на то, чтобы хоть как-то замести следы вчерашней вальпургиевой ночи и разыскать под креслами и диваном раскатившиеся с опрокинутой доски шахматные фигурки. Одну белую пешку он так и не нашёл. Жаль пешку! Прощай, пешка!

«“Пешки — не орешки”, как любил говорить доктор Тарраш!» — вспомнил он дурацкое присловие, которое услышал впервые в Московском шахматном клубе от длин-

ноносого и длинноногого мастера, обучавшего их, мальчишек-перворазрядников, теории пешечных окончаний.

Тогда ему, Таратуте, довелось получить от мастера поощрительный щелчок по лбу за то, что он сумел решить знаменитый этюд Рети, где белый король в одиночку героически борется на два фланга с чёрным слоном и проходной пешкой. Прощай, пешка!

В памятной записке среди прочих ценных указаний и советов был и такой: «Не заходите без особой надобности на работу, в железнодорожный техникум. Кто надо, поставлен в известность, — говорилось в записке, — а лишние разговоры ни к чему!»

Вот и хорошо! Вот и превосходно! И нечего ему туда заходить, и нечего ему там делать, в этом железнодорожном техникуме! Прощай, железнодорожный техникум!

Да, ну а всё-таки, а что ему делать в эти последние оставшиеся до поезда девять часов? Куда их девать? Как ими распорядиться?

Всё, что с Таратутой случилось вчера и сегодня, случилось так внезапно, так оглушительно неправдоподобно, что он ещё не успел понять, не успел разобраться, радоваться ему или печалиться, негодовать или покорно плыть по течению.

Там, в кабинете Захарченко, в ОВИРе, он словно бы смотрел на все стороны, словно бы играл в старую детскую игру — «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, “да” и “нет” не говорите, чёрного и белого не покупайте!».

Выиграл он или проиграл? Или, что больше всего похоже на истину, ничья повторением ходов? Должно быть, ничья. Ничья хотя бы уже потому, что пусть они — всегда безликие и безымянные (даже если и были у них имена и лица), — пусть они добились своего и вроде бы выиграли, но, во-первых, он заставил их самих заплатить за выигрыш, а во-вторых, если уж говорить совсем откровенно, то он-то ничего, в сущности, не терял.

Его случай был особым случаем. Он уже прожил три жизни — в Свердловске, в Москве, в Одессе.

И это не было этапами, ступеньками, главами одного и того же существования, нет, это были именно три отдельные жизни, не имевшие почти никакого касательства одна к другой. И только вторая — московская — жизнь оставила по себе пронзительную и светлую память, а Свердловск и Одесса просто-напросто были и прошли.

Он усмехнулся. Ещё не начиная прощаться, он уже простился с Одессой.

В дверь постучали.

— Да? — сказал Таратута.

Вошла Лидия Феликсовна.

Она молча кивнула Таратуте и, надменно поджав тонкие сухие губы, принялась проверять инвентарные номера — круглые металлические бляхи, прибитые к спинке дивана, к ручкам кресел, к ножке стола и к абажуру настольной лампы.

Эти инвентарные номера были почему-то предметом особой заботы Лидии Феликсовны, словно она подозревала постояльцев, что они только о том и думают, как бы им подменить гарнитур «Дружба народов» Рижского мебельного комбината на гарнитур «За мир и дружбу» Харьковского комбината или вовсе на какую-нибудь безвестную рухлядь.

Обычно Лидия Феликсовна приносила с собой толстую канцелярскую книгу и дотошно сверяла номера на инвентарных бляхах с номерами, записанными в книге. Но сегодня она ограничилась беглым осмотром. Так же наспех, небрежно и халтурно проверила она одеяло, простыню, пододеяльник и наволочку, которые были проштемпелёваны с четырёх сторон огромными чёрными, навеки несмываемыми печатями.

«Кодекс кодексом, — говорил Леонтий Кузьмич Верченко, намекая на «Моральный кодекс строителей коммунизма», — но с клеймом — оно, знаешь, надёжнее! Не сопрут и на барахолку не стащут!»

Закончив осмотр номера, Лидия Феликсовна направилась в ванную.

— Не крал, не крал, честное слово! — закричал ей вслед Таратута. — Полотенца не крал, зеркало над умывальником не свинтил, туалетной бумаги целый рулон оставил!

— Вы напрасно острите, — снова появляясь в комнате, сказала Лидия Феликсовна. — Вы сдаёте номер, а я обязана его принять. И, между прочим, недостаёт одного стакана.

— Подумаешь, стакан! — сказал Таратута. — Я выйду сейчас и куплю.

Лидия Феликсовна иронически подняла брови.

— Как это у вас всё просто — выйду, куплю... Вы вот выйдете, а тут как раз ревизия! Обнаружат недостачу, кто

виноват? Лидия Феликсовна виновата! Нет уж, гражданин Таратута, я должна составить акт.

— Составляйте, — вздохнув, сказал Таратута.

Лидия Феликсовна подумала, зябко поёжилась и неожиданно махнула рукой.

— А-а, ладно, Бог с ним — со стаканом!

Она присела на валик дивана, снизу вверх, слегка наклонив голову, поглядела на Таратуту.

— Значит — уезжаете?

— Уезжаю, — сказал Таратута.

— А где вы будете жить?

— Пока не думал, — улыбнулся Таратута. — Всё это, знаете, так внезапно... Ну, буду, наверное, где-нибудь жить... Но ведь хочется и мир поглядеть.

— Это верно! — кивнула Лидия Феликсовна и, помолчав, добавила: — Может быть, даже и в Финляндии будете?

— Вполне возможно, — сказал Таратута. — А у вас там знакомые есть? Родственники? Хотите что-нибудь передать?

— Нет, нет, нет, — испуганно затрясла головой Лидия Феликсовна. — Что вы?! Откуда?! Я никого не знаю... Я только знаю, что там есть водопады. И господин Кекконен.

Она поспешно встала, протянула дощечкой руку.

— Ну, до свидания! Счастливый вам путь!

— Мы ещё увидимся — мой поезд вечером, — сказал Таратута и, наклонившись, поцеловал Лидии Феликсовне руку.

Она хотела её отдёрнуть, но не отдёрнула, прикрыла на мгновение глаза, тихо сказала:

— Спасибо!

Потом она вдруг спохватилась:

— Ой, совсем из головы вон... Вас непременно просил зайти к нему Леонтий Кузьмич!

Кабинет Леонтия Кузьмича Верченко, заместителя директора гостиницы «Дружба», помещался на втором этаже, рядом с буфетом.

Когда Таратута вошёл, Леонтий Кузьмич стоял в мрачном и глубоком раздумье, держась одной рукой за дверцу несгораемого шкафа. Одет он был, как всегда, причудливо и небрежно — без пиджака, в клетчатой рубашке, расстёгнутой на могучей груди, в допотопных диагональных галифе, заправленных в толстые, деревенской вязки шерстяные носки.

Увидев Таратуту, Леонтий Кузьмич просиял.



— А я, понимаешь, стою и думаю — рано ещё или пора... Ну, а уж коли ты пришёл, то, как говорится, сам Бог велел!

Он открыл тяжёлую дверцу, достал из нескораемого шкафа бутылку «Столичной», тарелку с солёными огурцами и кислой капустой, перенёс всё это добро на стол и сказал:

— И не вздумай отказываться. Без посошка на дорожку я тебя всё едино не отпущу!

Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.

— Ну, будь!

И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно поддаться с утра, не то ещё не протрезвел с вечера.

— Давай, Семён!

Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами, обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашёл ничего подходящего и вытер их об усы.

— Хитёр! — сказал он и одобрительно подморгнул Таратуте. — Хорошо, мне из ОВИРа позвонили, а то я бы и не знал.

— Я и сам не знал, — сказал Таратута.

— Хитёр, хитёр! — продолжал тягуче Леонтий Кузьмич и вдруг, наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шёпотом: — А я ведь тоже, между прочим, кое-где был, веришь — нет?! В Кон-стан-ти-но-по-ле! — произнёс он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плавание брали. На «Михаиле Лермонтове». Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег на шесть часов... Веришь — нет?! А в Константинополе этом знаешь чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели... Хотим добавить, а денег не хватает... Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло. Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил. А что, Семён, в Израиле пьют?

— Понятия не имею, — сказал Таратута. — Я далеко не уверен, что там вообще пьют.

— Ну как это может быть? — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился. — Ну зачем ты, Семён, такие глупости говоришь?!

— Жарко там очень. Я вот читал, что...

— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел. — Ну, раньше они, возможно что, и не пили. А уж теперь, когда наши туда понаехали... И это, знаешь, не важно — евреи, не евреи... Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семён. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши: извини, мол, Леонтий, ошибался. И я пойму! Напишешь?

— Напишу, — пообещал Таратуга.

— Леонтий Кузьмич! — В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрёпанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трёх ведьм из пьесы «Макбет» английского драматурга Шекспира, как сказал бы месье Раевский) и прокричала с рыданиями в голосе: — Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требуют!

— А что случилось?

— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала...

Леонтий Кузьмич нахмурился.

— Муха? Ну и что? Ну а я при чём?

— А он велит, чтоб жалобную книгу принести. А я ему говорю, что книга у вас.

Буфетчица всхлипнула.

— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провёл по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель. — Извини, Семён! Попрошаться — и то не дадут. Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует, ему за двенадцать копеек бабочек подавай!

А дождик, ливший всю ночь и всё утро, к полудню, как ни странно, прошёл. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна, и Одесса в одно мгновение посветлела, похорошела.

Таратуга медленно шёл, заложив по привычке руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее, запретил.

За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.

Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршанием каштанов; его восхищала забавная одесская речь — певуче-ленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что всё у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и, уж конечно, лучшие женщины, воры и музыканты.

И он готов был даже с ними согласиться, но всё-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.

Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду, где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.

Он внезапно остановился и постарался вспомнить, хорошо ли он уложил единственное своё сокровище — «Декабриста Лунина». Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завёрнута в папиросную бумагу в несколько слоёв, можно не волноваться.

На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамеечках чинные молчаливые старики.

Это были не бездельники пенсионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже, — это были деловые люди, знаменитые продавцы «слова».

Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней, то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.

«Слова» делились на множество групп, видов и подвигов: «слова» женские, мужские и детские, «слова» продовольственные, «слова» особые.

В этом последнем подвиде больше всего ценились такие «слова», как «телевизоры», «холодильники», «бритвенные лезвия», «ковры» и «пылесос».

Сам процесс покупки-продажи «слова» происходил так: — У кого есть мужское «слово»? — спрашивал покупатель.

— У меня есть мужское «слово»! — отвечал продавец.

- На когда?
- На сегодня.
- Почём?

Продавец пожимал плечами.

- Смотри какое «слово» вам нужно.

Покупатель, оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы негромко:

- Обувь. Есть?

— Есть. Только «слово» «обувь» стоит сегодня полтора рубля.

- Почему так дорого?

— Потому что очень хорошее «слово». Зимнее. Импортное. Уверяю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня, такое я вам продам «слово»!

- Ну, ладно.

Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было написано: «В три часа дня в специализированном магазине «Обувь», у вокзала будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвёртого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна».

Откуда продавцы «слова» получали эти сведения, не знал никто, но в достоверности их можно было не сомневаться. Человек недобросовестный, уличённый во вранье, изгонялся беспощадно и навсегда из великого ордена продавцов «слова». Даже малейшая неточность и та каралась лишением права торговать на шесть месяцев.

Поравнявшись со стариками, Таратута поднял руку в торжественном салюте.

— Братский привет народам Африки, Азии и Латинской Америки, борющимся за свою независимость и свободу!

Старики добродушно закудахтали, и один, с седой эспаньолкой, сказал:

— Молодой человек, есть особое «слово» — пальчики оближешь!

Таратута остановился.

- Телевизор?

- Нет.

- Холодильник?

— Послушайте, молодой человек, вы же не знаменитая парижская гадалка мадам Ленорман и не бюро прогнозов! Заплатите два рубля, и вам не нужно будет ломать себе голову!

Таратута подумал и сказал:

— Прошу учесть, что лично я вообще уезжаю и мне ничего не нужно. Но я готов внести два рубля на поддержку справедливой борьбы за свободу и независимость!

Он вытащил из кармана кошелек, отсчитал мелочью два рубля и получил от старика с эспаньолкой сложенную «фантиком» бумажку.

Таратута развернул её, прочёл, засмеялся.

— Нравится?

— Очень! — Он поклонился. — Спасибо и до свидания.

— До свидания! — хором ответили старики. — Желаем счастья!

Прощайте, продавцы «слова»! Прощай, и Приморский бульвар, и прославленная лестница, ведущая от бульвара в порт, и Воронцовский дворец! Прощайте и не вспоминайте лихом!

У будки телефона-автомата он слегка замедлил шаги, раздумывая, кому позвонить, попрощаться. Он даже приготовил двухкопеечную монету, но, перебрав в уме всех своих одесских знакомых, с удивлением понял, что звонить-то ему некому. Каретниковы были на работе, Майзель в командировке, а у Алёши Тучкова телефона нет.

«Лучше просто к нему заехать», — подумал он и тут же решительно прогнал эту мысль.

Этого делать нельзя, это опасно. Вот уже пять лет пытался Алёша получить инвалидную коляску, вёл по этому поводу бесконечную переписку с Министерством здравоохранения, собирая сотнями справки, характеристики, ходатайства; ему наконец обещали, что к весне он будет внесён в список тех, кто действительно в таковой коляске нуждается, а там, глядишь, через год-полтора он её и впрямь получит; и как бы не повредил ему, как бы всё это не порушил прощальный визит Таратуты.

Нет, не надо заезжать к Алёше Тучкову! Прощай, Алёша Тучков!

Опыт всех трёх его прошлых жизней — в Свердловске, в Москве, в Одессе — научил Таратуту нехитрому правилу: если случается с тобою что-то неожиданное и непонятное, если вмешиваются в твою судьбу силы неведомые, грозные и есть подозрения, что называются эти силы именем коротким и чёрным, которое, как имя чёрта, не принято произносить к ночи, — замкнись и не впутывай в твои дела других (друзей особенно), не звони, если

не звонят они сами, не навешай, не тревожь, чтоб не говорили потом, чтоб не жаловались, что ты их подвёл.

Прощай, Алёша Тучков!

Но в будку телефона-автомата Таратута всё-таки зашёл, опустил монетку в отверстие, снял трубку, набрал номер и, услышав щебечущее «алло», сказал:

— Маргоша, привет! Это Семён.

— Ой, Любочка, милая, здравствуй! — пропела Маргоша, Маргарита Николаевна, товарищ Озёрская, артистка Одесского театра оперетты. — Здравствуй, Любаныя! Ты где же это пропадаешь?!

— Всё ясно! — сказал Таратута. — Господин супруг и повелитель дома. Жаль. А я уезжаю и думал, что мы с тобою где-нибудь встретимся и пообедаем вместе!

— Не могу, Любочка, не могу никак. Серёжа прихвывает, а у меня ещё спектакль сегодня, и я...

— Ладно, ладно! — сказал Таратута. — Ну что ж, могу оказать тебе на прощание небольшую дружескую услугу. В пять часов вечера в универмаг на Пушкинской, в отдел кожгалантереи, поступят в продажу польские чемоданы и сумки. Прощай, Маргоша!

Маргоша охнула, а Таратута повесил трубку, выбрался из будки телефона-автомата, повздыхал, покрутил головой и пошёл по улице Карла Маркса по направлению к Дерибасовской.

«Я сижу в своей подворотне на улице Карла Маркса...» — припомнились ему слова Вали-часовщика, и тут же, словно по заказу, он увидел и эту самую подворотню, и вывеску «Часовая мастерская, ремонт и починка». Но на дверях мастерской висел огромных размеров, похожий на гирию замок, к которому шнурком от ботинок была привязана записка: «Ушёл на базу».

Снизу зелёной тенью для ресниц кто-то успел приписать: «Ну и х... с тобой!»

«Так я, стало быть, и не узнаю, какая разница между починкой и ремонтом», — подумал, усмехаясь, Таратута и поглядел на часы.

Было четырнадцать часов пятнадцать минут. До отъезда ещё оставалось восемь часов.

Ровно через восемь часов он будет стоять у окна вагона, и услышит негромкий свисток, и увидит, как внезапно откатнется назад перрон...

Он стоял в вагоне у окна.

Раздался негромкий свисток, и Таратута увидел, как откачнулся и поплыл назад перрон, и столб с электрическими часами, и уныло скорбившийся носильщик с тележкой, а Валя-часовщик и Толик с Валериком пошли рядом с вагоном, всё убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь.

Когда Таратута приехал на вокзал, они уже ждали его на платформе у пятого вагона. Впереди в излюбленной наполеоновской позе, скрестив на груди руки, стоял Валя-часовщик, а сзади, нагруженные какими-то свёртками, переминались с ноги на ногу Валерик и Толик.

— А мы уже начали волноваться! — сказал Валя-часовщик. — Я хотел подвезти вас к поезду! Звоню в гостиницу, мне говорят — он уехал! Мы мчимся сюда — вас нет... Где вы пропадали, Семён Янович?

— Искал такси, — сказал Таратута и с удивлением поглядел на Валю-часовщика. — А как вы вообще узнали, что я уезжаю?

— Семён Янович, дорогой...

Валя-часовщик криво улыбнулся, и лицо его на какую-то долю секунды — как вчера на банкете в ресторане «Волна» — стало серьёзным и даже немножко печальным.

— Если бы я не знал обо всём, что случается в этом городе, за час до того, как это случается, я бы уже давно не гулял на воле и не имел бы счастья с вами познакомиться! — Он тряхнул головой и, переменив тон, деловито спросил: — Это все ваши вещи?

— Да.

— Хорошо. Тогда так...

Он обернулся и поманил пальцем Валерика с Толиком.

— Мальчики отнесут вещи в вагон, всё положат, всё устроят, а мы с вами немножко прогуляемся. О'кей, мальчики?

— О'кей! — в один голос ответили Валерик и Толик.

Они поклонились Таратуте, взяли у него из рук чемодан, вещевой мешок и авоську, но почему-то не полезли в вагон, а направились лёгкой трусцой куда-то в конец состава.

— Эй, куда они? — дёрнулся Таратута. — Вот же пятый вагон.

— Семён Янович, не волнуйтесь! — сказал Валя-часовщик. — Вы едете в мягком. Я прямо удивляюсь на этих

деятелей из ОВИРа! Такого человека они сажают в жёсткий вагон, крохоборы! Но всё в порядке — мы уже договорились с проводником!

— Да?

Таратута озабоченно сдвинул брови.

— А сколько нужно доплатить?

— Ничего не нужно доплачивать! — весело сказал Валя-часовщик, и на щеке его заиграла детская ямочка. — Проводник — свой человек. Вы будете с ним ехать, как с родной тётей! Идёмте!

Он взял Таратуту под руку, они пошли следом за Валериком и Толиком в конец состава, к мягкому вагону, мимо почти странно пустого поезда, мимо немногочисленных провожающих и уезжающих, стоящих на ступеньках и на площадках вагонов.

Стрелка на круглых электрических часах перепрыгнула с десятой минуты на одиннадцатую.

— Семён Янович, хочу вас просить сделать мне небольшое одолжение! — сказал, понизив голос, Валя-часовщик. Он вытащил из кармана пиджака почтовый конверт без марки, протянул его Таратуте. — Возьмите. Это письмецо нужно передать... Там, на конверте, всё написано — и телефон, и адрес. Но лучше не звонить, а просто зайти. Вернее, обязательно нужно зайти. Есть в Москве такой художник — Лев Андреевич Ушаков. Говорят, что он очень известный художник, но это не имеет значения. Он приезжал в прошлом году в Одессу. Нас с ним познакомили; прямо скажу, что любви у нас не получилось, но он меня просил, чтоб я ему кое-что достал, я, конечно, достал, но это тоже не имеет значения. Вы просто передайте ему письмецо, он живёт в центре, у площади Маяковского, много времени у вас не отнимет. Теперь скажите мне, Семён Янович, откровенно: куда вы полетите из Вены? В Рим или в Тель-Авив?

Таратута поглядел на Валю-часовщика, хмыкнул, покачал головой, проговорил медленно и задумчиво:

— Куда я полечу из Вены? В Рим или в Тель-Авив? Ещё вчера я думал, хорошо бы съездить в Ленинград, и понимал, что это далеко и сложно. Мне всегда казалось, что мир кончается где-то у пограничной станции Брест, а остальные части света пририсованы просто так, для красоты... Одним словом, Валя, если я действительно окажусь в Вене, то из Вены я полечу в Тель-Авив.

Валя-часовщик кивнул.



— Я почему-то был совершенно уверен, что вы ответите именно так. Но очень важно, Семён Янович, очень-очень важно, чтоб вы не забыли сказать об этом Ушакову! А-а, вот и мальчики!

Валерик и Толик стояли у мягкого вагона вместе с каким-то бородатым молодым человеком в железнодорожной форме. Оказалось, что это и есть тот самый проводник, с которым Таратуте предстояло ехать до Москвы, как с родной тётей.

— Всё в порядке? — спросил Валя-часовщик.

— Всё в порядке! — ответили Валерик и Толик. — Третье купе, любое место.

Стрелка часов прыгнула с двенадцатой минуты на тринадцатую.

— Прощу, — сказал проводник.

— Ну, Семён Янович! — сказал Валя-часовщик, коротко обнял Таратуту и подтолкнул его к ступенькам вагона. — Счастливый путь! Помните, как сказал вчера Ваню: гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится. Может быть, мы ещё встретимся! Счастливый путь!

— Счастливый путь, Семён Янович! — крикнули громко Валерик и Толик.

Он стоял у окна, а они шли рядом с вагоном, всё убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь. А потом они отстали, перрон кончился, и в последнем пучке света возникла и уплыла назад надпись: «Одесса».

Прощай, Одесса!

Таратута вздохнул, вошёл в купе, снял пальто, огляделся.

Вещи его — чемодан и мешок — мальчики подняли наверх, авоську оставили внизу, а на столике в живописном беспорядке, как игрушки под ёлкой, лежали два блока американских сигарет «Мальборо», бутылка английского джина, коробка чешских конфет и польский дорожный несессер из свиной кожи.

— Сумасшедшие психи! — вслух сказал Таратута и сел.

Он внезапно почувствовал, что смертельно устал, голоден, оглушён, что он всё ещё не в состоянии понять, что же это с ним произошло и чем всё это кончится.

Ему захотелось курить, но открывать «Мальборо» он не стал, а вытащил смятую пачку болгарской «Шипки», встрахнул её, вытянул зубами сигарету.

И тотчас же, словно из-под земли, появился в открытых дверях купе проводник и протянул Таратуте зажжённую спичку.

— Спасибо, — сказал Таратута, прикурил и решил, что он больше ничему удивляться не будет.

— Чаёк согреть? — спросил проводник.

— Позже, — сказал Таратута. — Я, знаете, съел бы чего-нибудь...

— А ресторан рядом, — сказал проводник, — вы ступайте, пока народу немного, поужинайте. А я вам тем временем постельку постелю и чаёк поставлю. Ступайте.

В вагоне-ресторане было и вправду почти пусто. Только за крайним, у входа, столиком сидела компания пожилых и каких-то на редкость, как на подбор, некрасивых мужчин. Мужчины пили пиво и молча наблюдали за тем, как одна из официанток, взобравшись на стойку, снимала с верхней полки буфета картонные коробки и передавала их буфетнице, румяной толстухе в вышитой украинской кофте. Вторая официантка — кривая на один глаз, но с модной причёской, называемой в просторечии «вши-вый домик», — стояла рядом и зевала.

Таратута сел у окна, включил настольную лампу, постучал ножом по краю бокала.

Кривая официантка обернулась, подошла, укоризненно проговорила:

— Только сели, а уже стучите! Вам пива?

— Нет, — сказал Таратута. — Я хочу есть.

Он раскрыл меню.

— Что вычеркнуто, того нет, — предупредила официантка.

— Так у вас тут почти всё вычеркнуто.

— Что вычеркнуто, того нет, — тупо и привычно повторила официантка.

— А что же есть?

— Холодное, горячее?

— Горячее.

— Гуляш, — сказала официантка и вздохнула.

— А ещё?

Официантка, сдерживая зевету, ничего не ответила.

— Ну ладно, давайте гуляш.

— Один гуляш, — сказала в пространство официантка. — Что будем пить? Коньячок? Водочку?

— Какой у вас коньячок?

— Молдавский. Пять звёздочек.

— Ого! — сказал Таратута. — Ну хорошо, принесите сто пятьдесят.

— Коньячку сто пятьдесят, — бросила на ходу официантка буфетчице и поплелась на кухню.

Таратута покачал головой, раздвинул от нечего делать шёлковую, в сборку занавеску на окне, поглядел в запотевшее стекло.

За окном была темень, редкие огоньки.

Дальняя дорога — шестёрочка пиковая, — вечер, поезд, огоньки. Всё как в песне. И, как в песне, у Таратуты вдруг непонятной тревогой заняло сердце.

Она была сочинена в России, эта песня, и только в России с немыслимыми её расстояниями могут люди оценить и понять слова:

Вечер, поезд, огоньки,  
Дальняя дорога.  
Сердце ноет от тоски,  
А в груди тревога...

Ну в самом деле, ну что такое для европейцев дальняя дорога, когда, к примеру, от Парижа до Осло («на край света», как говорят парижане) всего-то пути ночь до Копенгагена, там пересадка, ещё несколько часов — и Осло.

А суток пять или шесть не угодно ли? И это ещё хорошо — бывает, что и подольше; бывает, что и по месяцу, если не по два!

И отправляются в такую дорогу не с одним, как европейцы, немудрящим чемоданчиком или сумкой, а с мешками и корзинками, с баулами и сундуками, с неизменным и обязательным чайником, чтоб выбегать на остановках за кипятком, с ножами, и ложками, и солью в тряпиче; и даже ночью, извините за выражение, посудой, если берутся с собою в дорогу малые дети или такие старики, что вот-вот, не ровен час, отдадут Богу душу.

И каких только разговоров, каких только былей и небылиц не наслушаешься в этой дороге! Неторопливо течёт беседа, и кажется, что нет ей ни конца, ни начала, ни смысла.

Свесится с верхней полки чужой человек, послушает — и не поймёт ничего.

— А Лёнька-то тыр-пыр, а всё равно своя рубашка ближе к телу, верно я говорю?

Но ответят не сразу. Ответят после паузы. А в паузе этой и чайку попьют, и по нужде сходят, и подумают, и пробежит поезд ещё с десяток километров; и когда чужой

человек уже и про вопрос-то забудет, тогда только наконец последует ответ:

— Оно, конечно, верно, но ведь и ей — Вологда Вологдой, а интерес иметь надо!..

Вот и пойми!

И куда бы ты ни ехал, как бы ни ехал — в теплушке или международном спальном вагоне, где красное дерево, бархат и зеркала, — в какую-то минуту, самую внезапную, непременно настигнет тебя тоска.

«Тоска вагонная, железная» — это тоже недаром сочинено в России.

В ранние сумерки или на рассвете ты выглянешь в окно — твой поезд притормозил на каком-то разъезде, — и ты увидишь домик, маленький, неказистый, с покатою крышей и цветастыми занавесками.

А на крыльце стоит молодая женщина, простоволосая, в ситцевом платье и в мужских сапогах на босу ногу. Одной рукой она держится за перила крыльца, а в другой руке у неё свёрнутый флажок — не разберёшь, какого цвета.

И ты подумаешь о том, что никогда в жизни не узнаешь, как зовут её, кто она, о чём думает. Никогда, никогда не повторится это мгновение — и всё это вроде бы вздор и не стоит памяти, — но у тебя почему-то зайдётся сердце от мысли о необратимости времени и о том, какое великое множество людей, живущих в одни с тобой годы, на одной и той же земле, никогда не слышали и не услышат о тебе, не узнают твоего имени, они пройдут, и уйдут, и не обратят внимания на то, что ты тоже существовал.

— Вот так встреча на Эльбе! — пропел над головой Таратуты тоненький голос.

Он поднял глаза и, хоть и дал себе слово ничему больше не удивляться, всё-таки удивился.

Перед ним в кружевном, не первой свежести фартуке стояла та самая вчерашняя чернявенькая девица с чёрной чёлкой и зелёными глазами, та, из «джинсовой» компании, из прошлой жизни.

— Батюшки! — сказал Таратута. — Действительно — встреча!

— А я вчера весь вечер ждала, думала, что вы позвоните.

— Не мог, — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Таратута. — Между прочим, я ведь забыл спросить, как вас зовут...

— Алла.

— Прекрасно! Рад видеть вас, Аллочка!

— Я тоже. Вы ужинать будете?

— Да. Но я уже заказал.

— Кому? Лизке? Гуляш?

— Да.

— Вот падла! — искренне возмутилась Алла. — Этот гуляш ни один человек в здравом уме и твёрдой памяти есть не может. Мы его специально для алкашей держим, которым всё равно, было бы во что вилкой тыкать.

Она наморщила лоб, подумала и, неожиданно переходя на «ты», спросила:

— Ты как к омлету с ветчиной относишься?

— Вполне положительно, — сказал Таратута.

Она улыбнулась, кивнула — чёрная чёлка взметнулась вверх и снова упала на глаза, — сказала:

— Не скучай! Через пять минут я вернусь!

Вернулась она хоть и не через пять минут, но всё-таки довольно быстро, принесла омлет, коньяк, хлеб и от себя добавила порцию маринованной селёдки и бутылку боржоми.

— Я быстро, да? — спросила она с наивным хвостовством. — Знаешь, когда сезон, никто быстрее меня не обслуживает. Лизка только с первой сменой рассчитывается, а у меня уже вторая ест. Я тебе селёдки ещё принесла, ничего? Конечно, селёдка под коньяк не очень-то, лучше бы водочка...

— Хорошо, хорошо, — сказал Таратута. — Всё в порядке. У нас без предрассудков, у нас не только коньяк, шампанское селёдкой закусывают...

— Ну и ладушки! — засмеялась Алла и приказала: — Ешь, не буду тебе мешать.

— Ой нет, погоди! — попросил Таратута. — Посиди со мной, а? Или не полагается?

— Вообще-то, конечно, не полагается...

Засунув руки в кармашки фартука, она покачалась на каблуках, прищурилась, негромко сказала:

— Ладно. А если кто спросит, скажи, что ты мой двоюродный брат.

Она присела на краешек стула, помолчала, стряхнула со скатерти какие-то невидимые, скорее всего, воображаемые крошки, быстро взглянула на Таратуту и тут же снова опустила глаза.

— Ты слышал? Между прочим, твой Лapidус пришёл сегодня домой!

— Это точно?

— Совершенно точно.

— Интересно! — сказал Таратута, хотя вовсе это было ему не интересно, потому что и сам Лапидус, и вся его история стали уже тоже вчерашним, прошлым, не имеющим смысла, но он всё-таки повторил: — Очень интересно, — и поднял бокал с коньяком. — Ну, если так, то со свиданьем, Аллочка, и за благополучное возвращение Лапидуса!

— Чин-чин! — пропела Алла.

Таратута отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух. У него закружилась голова, и он подумал: «Это, наверное, с голода. Я ведь, оказывается, ничего не ел со вчерашнего вечера».

Он отхлебнул ещё глоток, посмотрел на Аллу, и ему показалось, что зелёные её глаза побежали ему навстречу. Он слегка наклонился вперёд и накрыл ладонью её руку.

— Ужасно я рад, Аллочка, что мы всё-таки встретились. Ты мне сразу понравилась! Ты красивая, умная...

«Господи, что я несу?!» — подумал он, но уже был не в силах остановиться.

— У тебя глаза умные... Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Где — здесь? — не поняла Алла.

— Ну, в ресторане. Я думал, ты учишься или... Неужели не могла найти себе места получше?

— Получше? — Алла насмешливо покачала головой. — Ах, миленький, много ты понимаешь! Да ты знаешь, за то, чтобы получить это место, люди по тысяче рублей платят. И ещё спасибо говорят, в ножки кланяются.

— Почему?

Алла пожала плечами.

— Зарботки хорошие.

Таратута снял очки, повертел в пальцах и, забыв протереть их, снова надел.

— Чаевые?

Алла скорчила презрительную гримаску.

— Чаевые! Скажешь тоже... Чаевые, миленький, — это пшено, печки-лавочки, детишкам на молочишко. Вот ты, например, пьёшь коньяк.

— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?

Алла засмеялась.

— Мы подобными глупостями не занимаемся.

Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула чёлкой, негромко и серьёзно сказала:

— Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей. А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счёту получаем, по накладной — такое-то количество бутылок. Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили, обратно сдаём. Ты сечёшь?

— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чём вы тут зарабатываете?

Алла усмехнулась.

— А тут даже чокнутый — и тот заработает! — Она ещё больше понизила голос. — На каждую бутылку, которую мы получаем с базы, ставится печать, штамп: Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то. Всё в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи Григорьевны, есть точно такой же штамп. Сечёшь? Перед рейсом мы в складчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать—сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу. Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне. Ну, конечно, несколько штук мы — для отчётности — продаём... Но в основном торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем: ничегошеньки не остаётся — ни коньяка, ни вина, ни водки...

— Хитро, — пробормотал Таратута.

— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их... Такие есть номера — закачаешься. Объяснять только долго!

Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие, бутылочного цвета глаза и нарочито чёткие движения.

За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с варёной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.

Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:

— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!

— Ясно, — ответила Алла и пообещала: — Учтём! Майоры ушли.

— Пьянь несчастная! — сказала Алла.

Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.

Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то весёлые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, чёлка.

«Я на ней женюсь, — решил Таратута. — Женюсь и возьму с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрём в один день. Сейчас я ей всё это скажу, но сначала нужно ещё выпить!»

— Нужно ещё выпить! — сказал он вслух.

— А тебе не хватит? — спросила Алла.

— Ха-ха! — сказал Таратута.

Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.

Таратуте захотелось петь. Но, сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.

— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.

Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руку и крикнула визгливо и непонятно:

— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошёл!

Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться.

Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:

— Ты как?

— Превосходно! — сказал Таратута. — А что за калым?

— Выкуп, — объяснила Алла.

— Почему? — спросил Таратута.

— Ну, это если ты хочешь, — не сразу ответила Алла.

Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила:



— Если ты хочешь... Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски. Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки... Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе. Но это, конечно, необязательно! — добавила она, вдруг как-то заторопившись и глотая слова. — Это они так предлагают, а ты уж сам... Это, как говорится, тебе решать. И ты не думай, что я...

Таратута тупо поморгал глазами и спросил:

— А шампанское дорогое?

Алла усмехнулась.

— Ну, вот об этом уж ты как раз не волнуйся. Твой счёт оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы всё было тип-топ.

— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?

— Что значит — какой? — развела руками Алла. — Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!

Они повесили на дверях снаружи с двух сторон таблички с надписью «Ресторан закрыт». И постелили свежую накрахмаленную скатерть. И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределённого возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.

А кривая Лизка, приплясывая, принесла ведёрко, из которого торчали серебряные головки бутылок шампанского, игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.

Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведёрка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обёртку, вежливо спросил у Таратуты:

— В Москву едете?

— В Москву, — сказал Таратута и икнул.

— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица, и было не очень понятно, к чему относятся её слова — к тому ли, что Таратута едет в Москву, или к тому, что он икает.

— Ты смотри только не усни! — шепнула Алла.

Она прижималась к Таратуте плечом, и от неё пахло луком и польскими духами «Быть может».

Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому, как хозяину стола, налил бокал Таратуте.

Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и винегретом в суповой кастрюле, — захлопала в ладоши, закричала:

— За молодых, за молодых!

А поезд сошёл с рельсов и шпарил теперь прямо по полю, по мокрой ночной траве, через речку — по узкому деревянному мостику, прорезал наискосок берёзовую рощу и закружился на одном месте.

— Не засыпай! — сказала Алла.

— Я не за-сы-паю! — сказал, засыпая, Таратута.

Он проснулся минут через пять, как ему показалось, но когда он с трудом разлепил глаза, то обнаружил, что лежит в своём купе и за окном совершенно светло, солнечно.

Из радиодинамика доносились какое-то шипение и потрескивание, как будто на гигантской кухне на гигантской сковороде жарили гигантскую яичницу.

Потом шипение и потрескивание прекратились и от-вратительно бодрый голос сказал:

— Граждане пассажиры! Наш скорый поезд номер тридцать второй прибывает в столицу нашей Родины, орденоносный город-герой Москву.

В радиодинамике что-то щёлкнуло — и сводный хор молодцов и девиц, счастливо избежавших тягот военной службы и ужасов честного труда, грянул во всю дурацкую мочь:

Москва моя, страна моя,  
Ты самая любимая!

*Бад-Хайльбрун, Мюнхен, Париж*  
1976—1977

## ЕЩЁ РАЗ О ЧЕРТЕ

*(Начало романа)*

Это не художественное произведение. Описывать природу, бороться со словом «который» и деепричастными оборотами — на все эти забавы у меня нет ни времени, ни желания. В моём распоряжении семь дней, и за эти семь дней я должен, я обязан рассказать, изложить, записать всю эту историю — так, как я её помню.

Полчаса тому назад мне позвонила Лидия Алексеевна из парткома и сладким голосом, с придыханиями сообщила:

— Николай Андреевич, могу вас обрадовать, вы в списке — собирайтесь!..

«В списке» — это значит, что я благополучно прошёл сто тысяч проверок и через десять дней еду с писательской группой в туристскую поездку в Швецию.

Сегодня одиннадцатое августа (это надо же, такое совпадение!), вылетаем мы в Стокгольм двадцатого, девятнадцатого числа — день пропащий — с утра мы должны явиться в «Интурист», нам выдадут наши иностранные паспорта, объяснят, как полагается вести себя за границей, в капиталистической стране — не плевать, не сорить, вставать, когда разговариваешь с дамой (особенно — пожилой), и — самое главное — ничем не восхищаться, помнить о достоинстве советского человека и не набрасываться на всякое шмотьё.

Потом нам обменяют наши родные рубли на шведские кроны — десять рублей на личность, по официальному курсу это получится что-то около шестидесяти крон. Потом некоторым из нас (не всем!) нужно будет ещё явиться в партком Союза писателей, где с каждым в отдельности будет особый разговор, потом придётся поехать в ГУМ, купить для отвода глаз сувениры — матрёшки, значки, почтовые марки и прочую муру. А двадцатого, в десять часов утра, серебристый лайнер Ил-18 сделает «ту-ту», взмахнёт своими серебристыми крыльями и возьмёт курс на столицу королевства Швеции город Стокгольм. Учитывая разницу во времени — в десять часов утра двадцатого августа 197...

года я, Николай Андреевич Зимин, буду в Москве, и я же, Николай Андреевич Зимин, двадцатого августа 197... года в десять часов утра буду в Стокгольме. Так сказать, сосуществование во времени и в пространстве — любимейший сюжетец для всех научных фантастов, от мистера Айзека Азимова до Алёшки Крахта. Для Алёшки особенно, поскольку он постоянно прячется от алиментов и долгов.

Ну вот, а в двенадцать часов утра двадцатого августа 197... года (это уже по шведскому времени) я, всё тот же Николай Зимин, буду сидеть на ихнем шведском стуле, в ихнем шведском полицейском управлении и объяснять дуракам чиновникам (чиновники везде дураки), что я прошу в ихнем шведском царстве-государстве политического убежища. Именно — в первый же день, сразу же по прилёте, чтобы испортить этим сукиным детям, этим благополучным мерзавцам, дорогим моим спутникам по туристской поездке, предвкушаемые ими радости. Кстати, хотя я буду просить права политического убежища, но отнюдь не по политическим мотивам. С советской властью отношения у меня вполне нормальные, даже можно сказать — хорошие, и остаться на Западе собираюсь я по причинам сугубо личным. Те, у кого хватит терпения дочитать эту историю до конца, — поймут.

Итак, приступаю, как говорили в старину, со страхом и слезами. Люди рассудительные могут, разумеется, задать очевидный вопрос — а почему я, собираясь остаться на Западе, не отложу своего писания до той поры, когда времени у меня будет хоть залейся. Вопрос резонный, но, во-первых — кто может поручиться заранее, что всё произойдёт успешно, а во-вторых (если всё произойдёт успешно), то сохранится ли во мне сегодняшнее отчаяние, достанет ли у меня решимости и духа рассказать эту историю так, как она произошла на самом деле, не щадя себя и не поливая дерьмо розовым сиропом?

Рукопись эту я отпечатаю в двух экземплярах — один куда-нибудь запрячу под Москвой (я знаю одно такое место), а второй экземпляр попытаюсь взять с собой — туристов, как правило, шмонают по-настоящему, когда они возвращаются.

Итак — телефон я отключил, Яшеньку запер в ванной, на входных дверях повесил записку «Просьба не беспокоить» и предупредил лифтёршу — сегодня (ещё одно совпадение!) дежурит Катя, — чтоб никого ко мне не пускала.

Поехали!..

В тот день я возвращался домой в замечательно-прекрасном настроении, потому что я достал бычков в томате». Зашёл в рыбный отдел нашего знаменитого магазина «Комсомолец», чтобы купить Яшеньке какой-нибудь дрызг, и увидел бычки в томате. Сперва я их даже не узнал в лицо — такая это теперь редкость. Я взял целых пять банок. Ну, а уж после этого ноги, как говорится, сами понесли меня в соседнюю дверь — в винный отдел, где мне опять-таки повезло — очередь была сравнительно небольшой — три часа дня, — те, которым необходимо было опохмелиться, уже опохмелились, а добавлять или начинать по новой ещё рано. Я приобрёл поллитра «Московской» и ещё взял бутылку вина — на тот случай, если Наталье захочется выпить.

Этот день — одиннадцатое августа 197... года — вообще проходил с самого начала под знаком мелких удач. Встал я довольно поздно, позвонил Наталье — её маман с французским прононсом сообщила, что Наташи нет дома, но что она просила мне сказать, что непременно (удивительно прекрасно выговаривала она это слово — «нэ-премне-нно!») заедет ко мне часа в три-четыре. Я спросил, закончила ли Наталья работу, и маман ответила чинно и горделиво: «Предполагаю, что да. Она стучала на машинке всю ночь».

После этого я принял душ, побрился и поехал в Дом литераторов пообедать и узнать новости. Обед был, как всегда, вполне смрадный, а новости незаслуживающие. От стола к столу ходила с красными пятнами на щеках Тамара Лисицкая, присаживалась на минутку и свистящим шёпотом сообщала, что на очередном секретариате будут песочить величайшего поэта всех времён и народов Ваську Полонского (бывшего Тамаркиного мужа) за какие-то якобы крамольные стихи, которые Васька читал на творческом вечере. Но это была, так сказать, дежурная новость, обязательная и почти ежедневная, как сводка погоды. Всякий раз, когда Васька печатал в «Правде» или каком-нибудь подобном печатном органе прочувствованно-трубные вирши, все его бывшие и настоящие жёны немедленно принимались распускать слухи о грозящих Ваське неприятностях и неизбежной скорой опале. Сам же Васька на это время отбывал в творческую командировку — иногда в Сибирь, а иногда и подальше, в Австралию или Южную Америку.

После обеда я зашёл в бильярдную, сыграл три партии с Сенечкой Кауфманом и выиграл у него в последнем шаре. Маркер Иван Николаевич был на седьмом небе от счастья. За последние годы Сенечка не проигрывал почти никому. Он приходил в бильярдную к самому открытию и торчал там весь день, даже обедать не ходил, а питался бутербродами с варёной колбасой, которые приносил из дома. Играл он партию по десяточке, и ежедневный выигрыш его доходил до пятидесяти рублей, из которых он давал Ивану Николаевичу пятёрку. Но маркер Иван Николаевич был человеком справедливым и азартным, жучков, вроде Сенечки, ненавидел до глубины души и готов был охотно пожертвовать пятёркой, лишь бы увидеть Сенечкино поражение.

Я играю средне, слабее Сенечки очков на пятнадцать, но в тот день — один к одному — прорезалась у меня какая-то совершенно невероятная кладка.

В последней партии, когда на столе оставалось два шара — свой и туз-единых, — Сенечка развёл шары по коротким бортам и, тряхнув лысой головой (он всё ещё никак не может позабыть того далёкого времени, когда у него были волосы), ласково предложил:

— Разошлись?

Отыгрыш, разумный отыгрыш был и впрямь только один — бить своего клопштоссом и менять шары местами. Иван Николаевич подмигнул мне и одобрительно кивнул. Ничья с Сенечкой тоже была кое-что.

Но я, ощутив прилив какого-то сладкого бешенства (бывают у меня такие приливы), возненавидев не только самого Сенечку, но даже бутерброд с варёной колбасой, который он держал в оттопыренной левой руке, небрежно сказал:

— Ну, зачем же, Сенечка?! Туза — дуплетом — к себе, в левый угол!..

Иван Николаевич неодобрительно хмыкнул. Я чуть приподнял кий, ударил своего под низ коротким щелчком, и туз, через весь стол, прокатился и послушно упал в левую лузу.

...Сенечка расставался с десяткой, как с родным, горячо любимым братом. Он ещё долго канючил, уговаривал меня сыграть «разгонную», но я только высокомерно усмехнулся и сообщил, что у меня есть железное правило — никогда, ни при каких обстоятельствах не играть в один день больше трёх партий.

— А завтра придёшь? — хищно спросил Сенечка и скривил и без того кривоватый нос.

— Возможно, — туманно ответил я и улыбнулся в ответ на благодарный взгляд Ивана Николаевича.

На Сенечкину десятку я позволил себе роскошь, взял такси на площади Восстания и доехал до метро «Аэропорт». У входа в метро уже слонялись (с утра пораньше!) два закадычных друга, два заклятых врага, два половых психопата из нашего писательского кооперативного дома — Седых и Карельский, клеили проходящих баб, искали подругу на вечерок.

— Привет! — сказал я. — Как дела на половом фронте? Наступление продолжается?

— Иди, иди, служивый, не проедайся! — раскатывая «р-р», как горячую горошину, добродушно сказал Карельский. — Твоя Софи Лорен уже ждёт тебя в садике. И, между прочим, из авоськи у неё торчит ананас!

— Везёт же людям! — вздохнул Седых.

Я ускорил было шаги, но вспомнил, что Яшенька у меня уже сутки как не кормлен, и можно себе представить, какой погром учинил он в квартире. Мне, конечно, давно следовало бы выгнать этого негодяя, к чёртовой матери. Даже среди моих ближайших друзей и знакомых не было второй такой сволочи, как этот кот. Но мне принёс и подарил его Павлик, подобрал где-то на улице и принёс. И тут уж, стало быть, ничего я поделывать не мог. Приходилось терпеть.

Я помню, когда мы ещё жили вместе и Павлику было лет пять, он постоянно тащил в дом со двора всех, как говорила Лена, униженных и оскорблённых. Но у товарища Хаймовича, у мистера-месс-синьора Хаймовича, у Наумчика Хаймовича оказалась, видите ли, такая тонкая душевная организация, он пребывал постоянно в таком невероятном творческом напряжении, рифмуя «кровь—любовь» и «вечер—встречи», что Лена с Павликом ходили по дому на цыпочках, оберегая его душевный покой — и поэтому, когда Павлик в какой-то подворотне нашёл тщедушного, замурзанного котёнка, он принёс его мне. За несколько месяцев этот заморыш, как царевич Гвидон, превратился в огромного, наглого и злобного кота, который по любому поводу и без повода орал благим матом и крушил всё, что попадалось ему на пути.

В первый год после того, как Лена ушла от меня к меся Хаймовичу (переселилась со второго этажа на третий),

я некоторое время носился с идеей поменять квартиру. В нашем районе полно кооперативных домов — писателей, киношников, циркачей. Но наш дом считается лучшим, наверное, потому, что во дворе у нас садик, и потому ещё, что строился наш дом первым — и строился основательно, без халтуры, на совесть. Охотников на мою двухкомнатную квартиру можно было найти сколько угодно, только свистни. Но потом я подумал — какого чёрта?! Почему это, собственно, я должен куда-то переезжать? Пускай болит голова у Хаймовичей. В конце концов, не я бросил Лену, а она ушла от меня. К тому же Павлик, возвращаясь из школы, нет-нет да и забежит ко мне поболтать, проведать Яшеньку, обменяться последними спортивными новостями. А бывает, что он заходит и вечером, особенно, если по телевидению — футбол. Тогда мы садимся рядом на диван, пьём чай, дружно болеем за тбилисское «Динамо» и ругаем «Спартак». Я обнимаю Павлика за худые, мальчишески острые плечи и стараюсь не думать о том, что через какой-нибудь час он встанет, потянется, улыбнётся и скажет: «Ничего игрушка была! Ну, я пошёл, папа, привет!»

У него Ленины глаза — огромные, чёрные, умеющие как-то мгновенно озаряться радостью или выражать такое откровенное, такое неподдельное огорчение, что за все те годы, которые мы прожили вместе (а прожили мы ни много ни мало почти девять лет), я, по-моему, не сказал ей ни одного грубого слова. Ну, если даже и говорил, то, во всяком случае, тут же раскаивался.

И, может быть, именно поэтому я с такой страстью, с таким остервенением матерился и выкрикивал самые дикие непристойности в то утро, когда Лена сказала, что она от меня уходит.

Мы завтракали на кухне, Павлика Лена проводила в школу, а я поднялся почти мёртвый — накануне в Доме литераторов мы обмывали очередную (если не ошибаюсь — пятую) государственную премию классика узбекской литературы Файзуллы Яшенова. Файзулла — седой узкоглазый сморчок — велик во всех жанрах, и посему за банкетным столом сидели поэты, прозаики, драматурги — ненасытная шатия литературных подёнщиков, буйные головушки, сочинявшие за Файзуллу всё что угодно, лишь бы платили деньги. Я представлял на этом сборище кино — на студии «Узбекфильм» ставилась двухсерийная эпопея по сценарию Яшенова «Дорога к счастью» — о



том, как под мудрым водительством и так далее расцвела Голодная степь. Сценарий писал, разумеется, я, но благо- разумно отказался ставить своё имя рядом с именем Файзуллы. Так для меня выгоднее во всех отношениях — и утверждается сценарий значительно быстрее и легче, и денег больше. Если подписываем вдвоём, то деньги пополам, если подписывает один классик — почти весь гонорар идёт мне.

Надо отдать Файзулле должное — банкет он закатил на славу, не поскупился, и, когда утром я попытался сползти с постели, меня шатануло так, что я едва не присел на копчик.

В голове у меня прыгали какие-то синие черти, а язык, сухой и шершавый, во рту не помещался.

Я сидел за кухонным столом с полузакрытыми глазами и пил чашку за чашкой чёрный кофе.

Лена, в ситцевом халатике, сидела напротив и рассеянно брякала чайной ложечкой по блюдцу.

— Умоляю тебя, — сказал я, — перестань стучать ложкой.

— Коля, — сказала Лена странным, каким-то как бы не своим голосом, — мне нужно с тобой поговорить.

Я попытался усмехнуться.

— Другого времени ты найти не могла?

— Другого времени не будет! — резко сказала Лена и снова брякнула ложечкой по краю блюда. — Я не собираюсь читать тебе мораль или упрекать за что-то. Каждый человек живёт так, как он умеет. И хочет. Ты сделал всё, решительно всё, чтобы я перестала тебя любить. И не только любить — уважать. И вместе нам быть больше ни к чему.

— Я просил тебя, кажется, — сказал я, — не стучать ложкой.

— Извини... Тем более — а мне кажется, что ты давно уже об этом догадался, — я полюбила другого человека...

— Хаймовича? — спросил я.

— Да, Хаймовича, — сказала Лена с вызовом, — а что?!

— Ничего, ничего, — сказал я, глядя на всю эту сцену словно со стороны, и, помолчав, совершенно искренне рассмеялся. — Я просто не понимаю, как можно любить человека по фамилии Хаймович! Хаймович — это же из анекдота! Идут по улице два китайца, и один говорит другому: «Послушайте, Хаймович...»

— Ну знаешь, — перебила Лена, — лучше любить человека из анекдота, чем человека из...

Она внезапно замолчала и закусила губу. У неё есть такая детская привычка (и у Павлика тоже) — закусывать нижнюю губу.

Я подождал продолжения, поднял глаза на Лену и увидел, что она плачет. Но это меня не тронуло ничуть, скорее, даже наоборот.

— Что же ты не договариваешь, сука?! — тихо, очень тихо спросил я, и знакомое сладкое бешенство окатило меня всего, как холодная вода, даже голова перестала болеть. — Что же ты замолчала, б... подзаборная, дерьмо собачье?! Лучше жить с человеком из анекдота, чем с человеком из... откуда, сука? Из бардака? Из КГБ?! Откуда?

Лена, грохнув табуреткой, вскочила и выбежала из кухни.

— Учти, дерьмо, что Павлика я тебе не отдам! — уже не сдерживаясь больше (в смысле громкости), крикнул я ей вдогонку.

Я кричал после этого ещё, наверное, около часа. Кричал, даже не интересуясь тем, слышит Лена меня или не слышит, кричал от бессилия, злости и чувства вины, кричал, чтобы выкричаться. Потом, сорвав голос, исчерпав все бранные и оскорбительные слова и все их хитроумные сочетания, я встал, открыл холодильник, достал бутылку «Выборовой» и налил себе полный чайный стакан. Мне всё равно необходимо было опохмелиться.

Самое нелепое, что это я, я, и никто другой, привёл Хаймовича к нам в дом. Пожалел падлу! В автомобильной катастрофе у него погибли жена и дочь, ровесница Павлика, сам чудом остался жив и ходил, прихрамывая, опираясь на палку и изображая на своей мерзкой интеллигентной харе всю вековую скорбь всех неистребимых колен Израилевых. Вот я и зазвал его как-то — посидеть, поболтать, попить чайку или чего-нибудь посущественнее. Я просто подумал, что и Лене, и Павлику будет не так одиноко в те месяцы, когда я объезжаю свои среднеазиатские вотчины, тем более что Хаймович оказался довольно занятым рассказчиком, а стихи читал и вовсе хорошо. Чужие, разумеется, не свои. Свои стихи читать Хаймович стеснялся, и, по-моему, правильно делал. Впрочем, тут я не судья, я стихов не люблю и не понимаю, и меня всегда смешит, когда какой-нибудь старый пердила, пузатый и лысый, на вопрос, чем он занимается, отвечает — я поэт. Всё равно как если бы он публично признался в том, что занимается онанизмом.

В то же утро, после объяснения с Леной, я допил «Выборову», побросал вещички в чемодан и улетел в Алма-Ату.

Никаких определённых дел у меня там не было, но, во-первых, я знал, что стоит мне только появиться на киностудии, как непременно набежит какой-нибудь казахский классик, задумавший осчастливить человечество народной драмой на сюжет — у богатого бая было три сына, а у бедного кузнеца красавица дочь... А во-вторых, я просто люблю этот город, Алма-Ату. Особенно хорош он по вечерам, когда прохладный ветер с гор выдувает из города горячий и пыльный дневной степной ветер, когда стихает уличный шум и вдруг становится слышно, как негромко вечно бормочут арыки, как на окраинах, там, где ещё сохранились дувалы, начинают на всю ночь, до утра, перебрёхиваться собаки, а небо опускается низко-низко, и с Алма-Аты слезает вся её европейски советская подмалёвка, и хочется назвать её снова городом Верным, маленьким русским фортом Верным на далёкой азиатской окраине, где скрещиваются караванные пути в сказочные края — Китай, Персию, Индию.

Вернулся я в Москву месяца через два, загоревший, пополневший, обожравшийся шашлыком и пивом, опившийся крепчайшим казахским самогоном.

Лифтёрша Катя, скорбно поджав губы, поздоровалась со мной кивком головы и протянула мне почтовый конверт, в котором лежали ключи.

Дома был образцовый порядок — всё прибрано, всё чисто, хотя — из-за закрытых окон, должно быть — и в комнатах, и на кухне стоял тот тухловатый, нежилой дух, каким обычно встречают постояльцев гостиничные номера. Даже не капала вода в ванной — очевидно, в моё отсутствие приходил слесарь и починил неисправный кран. И молчал телефон.

Я первым делом открыл окна, пустил воду из всех кранов, зажёл повсюду свет, включил телевизор на полную мощность и, не переодевшись, не умывшись с дороги, принялся названивать киношным знакомым, чтоб немедленно приходили, приносили что выпить, приводили баб.

Так началась моя холостая жизнь.

Это уже потом, много позже, Павлик приволок мне Яшеньку и как-то сама собой из всех баб, согревавших на недолгое время мою одинокую постель, выделилась, высветилась, осталась Наташа. Но о ней потом, о ней мне придётся говорить ещё подробно и долго.

...Итак, я купил рыбный дрызг для Яшеньки, пять банок бычков в томате, бутылку водки и бутылку вина и направился, испытывая некоторую томность от мелких удач этого дня, домой.

Опять пошёл дождь. Кстати, обстоятельство это следует запомнить, так как в дальнейших событиях непрерывные дожди этого лета будут иметь некоторое значение.

Как-то, выходя из дома, я спросил лифтёршу — не Катю, другую, — что за погода, и она, вздохнув, ответила:

— Ну какая может быть, Николай Андреевич, погода?! Какая может быть погода, когда вон даже и по радио говорили, что цельный день, с утра и до вечера, одни сплошные кратковременные дожди!..

...Наташи в садике не было. Я решил, что она, верно, спряталась от дождя, и зашёл в парадное.

Лифтёрша Катя сидела за своим столиком у телефона и что-то, как всегда, шила. Лена называла её Мисс Диор. Катя и вправду обшивала всех модниц из нашего и соседних домов. Объяснялось это чрезвычайно просто — как правило, новые туалеты покупались по случаю — в комиссионных магазинах, или у знакомых, или у знакомых знакомых, покупались по суровому завету садовода Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы» — и поэтому Катя постоянно что-нибудь сужала, или расширяла, или удлиняла, или укорачивала.

— Добрый день, Николай Андреевич, — сказала Катя. Она воткнула иголку во что-то воздушно-пёстрое, вытащила из кармана стёганой кацавейки (она почему-то всё время мёрзла) мои ключи, а из-под стула — толстую, туго набитую парусиновую авоську, из которой и впрямь — не соврал Карельский — торчал зелёный хвост ананаса.

— Наталья Николаевна забегала и просила вам передать.

— А где она сама?

— А я не знаю. Она очень торопилась куда-то, сказала, что будет вам попозже звонить.

Я поднялся на лифте на свой второй этаж (в конце концов, я же плачу, чёрт возьми, за лифт) и, еще открывая дверь, услышал пронзительный телефонный звонок.

Я рванул дверь, отшвырнул ногой бросившегося на меня из какого-то угла Яшеньку и, роняя авоськи, схватил телефонную трубку.

— Коля, — раздался задыхающийся Наташин голос. — Это я.

— Где ты?  
— Я звоню тебе из автомата...  
— Ну, так приходи.  
— Нет, я уже далеко. Я тебя ждала...  
— Я в магазин забегал.  
— Слушай, — помедлив, спросила Наташа, — тебе Катя отдала?

— Да.

— Всё?

— Что ты имеешь в виду? Ананас?

Наташа фыркнула.

— Господи, ну при чём тут ананас?! Я имею в виду...  
В общем, проверь, я подожду.

Я достал из парусиновой авоськи ананас и два завёрнутых в газетную бумагу пакета — потолще и потоньше.

— Всё в порядке, — сказал я в телефон, — спасибо и...  
А почему всё-таки ты меня не дождалась?

— Я не могла, — сказала Наташа и почему-то повторила: — Я говорю из автомата... Ты понимаешь, я сидела в садике, ждала тебя, и тут вдруг какой-то тип...

— Какой ещё тип? — спросил я, сразу же сатанея. — Он что — приставал к тебе, что ли?

— Нет, нет, нет! — быстро сказала Наташа и понизила голос. — Наоборот. Он как-то подчёркнуто делал вид, что он меня не замечает. Очень подчёркнуто. И вообще он мне сильно не понравился.

— А какой он из себя?

— В том-то и дело, что никакой. Без примет.

— Ну, и что же?

— Я не знаю.

— А почему он тебе не понравился?

— Не знаю!

— А в чём он был?

— По-моему, в чём-то сером. Некто в сером. В сером костюме. В серой шляпе. Очень весь какой-то из себя чистенький... Чёрт, мне уже стучат... Я позвоню тебе ещё раз, попозже...

И вдруг Наташа вскрикнула:

— Ой, Коля!.. Слушай, я вспомнила — у него, у этого типа, был в руке букетик цветов... Ну, сейчас, сейчас... Я позвоню!..

Я медленно, прищурившись и оттопырив губы, положил на рычаг телефонную трубку. Потом я услышал за

своей спиной какое-то урчание и, обернувшись, увидел, что эта сволочь — Яшенька — уже выскреб из продуктовой авоськи свой рыбный дрызг и жрёт его, разбросав по всей комнате.

Матерясь, я загнал этого сукина сына в ванную комнату, откуда он немедленно принялся истошно вопить и царапать когтями дверь. Чтобы не слышать всего этого безобразия, я включил радио. Теперь — вопи, скотина, пока не сдохнешь. Потом я отнёс на кухню и поставил в холодильник пять банок бычков в томате. Кстати, попутно мне открылась тайна появления сей роскоши в нашем задрипанном «Комсомольце» — на наклейках внизу стоял штамп: «Срок хранения 1 августа 197... года». Стало быть, за полтора месяца до того, как эти банки начнут коробиться, вспучиваться и смердеть, их срочно перебросили из валютных «Берёзок» и партийно-правительственных распределителей в открытую продажу. Ну, что ж, и на том спасибо — могли и до последнего дня дотянуть.

Я зажёл газ, поставил на огонь чайник и вернулся в комнату — в большую комнату, служившую мне одновременно и кабинетом, и гостиной, и столовой, и носившую название большой в отличие от второй, малой, где была спальня.

...Тем, кто (надеюсь!) будет читать эту рукопись, может показаться, что я всё время отвлекаюсь и рассказываю о мелочах, не имеющих существенного значения, — но, поверьте мне, поверьте, что именно мелочи, вернее, то, что представляется нам — по недомыслию, по небрежности — мелочами, — из них-то в итоге и образуется наша судьба, они-то, мелочи, и складываются, как цветные камушки, в картинку — и картинка эта, вынь ты из неё потом хоть один камушек, станет вдруг не только неполной, а, может статься, и вовсе лишённой смысла.

...Толстый пакет из Наташиной авоськи я не стал разворачивать. Там, я знал, было четыре экземпляра сценария «Огни над морем» о нефтяниках Каспия, авторы М.Ахмедов и Н.Зимин. В последний год к республикам Средней Азии, которые мне уже слегка осточертели, я присоединил и начал осваивать республики Закавказья.

Сценарий «Огни над морем» был, что называется, обречён на успех. Товарищ Мамед Ахмедов являлся не только одним из секретарей азербайджанского Союза писателей, членом ЦК и депутатом Верховного Совета, но и ещё (самое главное!) заместителем министра культуры. Так

что сценарий был обречён на успех, а фильм — если будет фильм — на провал. Впрочем, сценарии подобного рода, как правило, принимаются, оплачиваются, а затем под каким-нибудь благовидным предлогом сплавляются в архив. Директора киностудий (хотя и назначаются на эту должность чаще всего, за очень редким исключением, всякие номенклатурные идиоты) деньги считать умеют. А тут расчёт самый простой — лучше заплатить десять тысяч за сценарий и не портить отношений с товарищем Ахмедовым, чем выбрасывать сотни тысяч на постановку никому не нужного фильма.

...Толстый пакет я положил на письменный стол — завтра или послезавтра я отвезу его в Управление по производству художественных фильмов и постараюсь забыть, как страшный сон.

Покончив с делами государственной важности, я развернул наконец второй пакет. Там была отпечатанная в одном экземпляре (второй экземпляр должен был оставаться у Наташи) повесть не повесть, а так, нечто, некое сочинение, которое называлось «Именем Российской Федерации». Автор Н.Хомич. От фамилии этой, разумеется, разило псевдонимом за сто шагов. Перелистал человек подшивку старых газет, наткнулся на имя прославленного футбольного вратаря и, посмеиваясь, подписал этим именем своё сочинение. А сама история, рассказанная товарищем Н.Хомичем, была довольно-таки гнусная и довольно-таки обыкновенная. В большом промышленном городе (что-нибудь вроде Куйбышева) идёт судебный процесс — слушается дело о хищениях на мебельной фабрике. Местные власти при поддержке и даже науськивании столичной прессы придают процессу для всеобщей острастки показательный характер: большинству обвиняемых вклеили от семи до двенадцати лет, а директора фабрики и главного бухгалтера приговорили к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

Вот и вся история. Вернее, та её часть, что происходила у всех на глазах, наяву, на свету, на сцене, а Н.Хомич рассказывает — и весьма картинно, как кажется мне, рассказывает — обо всём, что творилось в тени, за кулисами. И выясняются такие подробности, такие действующие лица вытаскиваются на подмостки, что тут уж, как говорится, без поллитра или без Агаты Кристи не разберёшься. В замаске оказываются все — от обкома партии и горисполкома до прокуратуры и управления милиции. Все

начальнички, большие и малые, все беззаветные слуги народа имели в этом деле свой профит, свою долю — всем по сниженным ценам, а то и вовсе бесплатно изготовлялась мебель для квартир и загородных дач, выписывалась — под видом образцов — заграничное кухонное оборудование и ставились финские бани. Рассказывает этот Н.Хомич и о том, как один из следователей — из молодых, видно, да ранних — после неприятного разговора в прокуратуре попал случайно под машину и умер, бедняга, не приходя в сознание, в обкомовской больнице.

Описывается и такая подробность (вот они, мелочи-то, вот они!), как директора фабрики и главного бухгалтера заверяют — не прямо, а при помощи намёков и пауз, — что если будут они себя вести на суде достойно и сдержанно, вину признают, никаких имён не назовут, то отделаются они незначительным, может быть, даже условным сроком.

Потому-то так страшно, по-звериному закричал директор фабрики в зале суда, услышав слово «расстрел», и его тут же, чуть не волоком, утащила охрана, а главный бухгалтер упал в обморок.

Вот такое сочиненьице, не читая, перелистывал я — за Наташей можно не проверять, ошибок она не делает, — когда в прихожей раздался звонок.

«Наталья!» — подумал я, но всё-таки на всякий случай открыл верхний ящик письменного стола и сунул туда рукопись Хомича. Потом я приглушил радио — немедленно стало слышно, как вопит и бесчинствует Яшенька — и пошёл открывать дверь.

Уже снимая цепочку, я спросил:

— Наташка?

После короткой паузы незнакомый, слегка пришепётывающий тенорок сказал:

— Извините, Николай Андреевич, к вам можно?

Я открыл дверь.

Передо мной стоял человек чуть выше среднего роста, с каким-то на удивление невыразительным, стёртым, как у провинциального актёра лицом, в сером костюме, в белой рубашке с галстуком, в серой шляпе; в левой руке он держал букетик цветов, а правую протянул мне навстречу и, улыбаясь, представился:

— Чекмарёв!..



— Чекмарёв! — улыбаясь, представился человек в сером костюме.

Я ничего не ответил — просто молча, выжидательно посмотрел на него.

— Надеюсь, Николай Андреевич, я не помешал? — спросил Чекмарёв и снова как-то доверительно, как-то так, словно он не сомневался в том, что мы понимаем, должны понимать друг друга с полуслова, широко улыбнулся. Я ещё, помню, подумал, что он, наверное, очень любит улыбаться — уж больно у него были красивые, белые и ровные зубы.

— А в чём, собственно, дело? — сказал я, пытаюсь хоть как-то, хоть для порядка проявить строптивость. — Я как раз сел работать и...

— Ну, ничего, ничего! — добродушно сказал Чекмарёв. — Я вас долго не задержу.

И, решив, видимо, что с предварительными церемониями покончено, он уверенно прошёл мимо меня — а вернее бы даже сказать — сквозь меня — в переднюю, снял шляпу, аккуратно приладил её на крючок вешалки, причёсал перед зеркалом волосы, поправил галстук, обернулся.

— Вазочка у вас, Николай Андреевич, какая-нибудь не найдётся?

— Вазочка? — тупо спросил я. — Какая ещё вазочка? Для чего?

— Для гвоздик, — сказал Чекмарёв, — а то ж они завянут без воды, жалко.

Я усмехнулся.

— А вы гвоздики эти — вы их мне принесли, что ли?

Чекмарёв, прежде чем ответить, не спеша, внимательно и цепко оглядел большую комнату, покачал почему-то головой, сел на диван — на то самое место, где я сижу обычно с Павликом, когда мы смотрим телевизор, вытащил из кармана пачку «Беломора», закурил — и только тогда ответил:

— Ну, не специально — вам. Просто — купил. Я люблю цветы. Без цветов и дом — не дом... Вы поставьте их в вазочку какую-нибудь, я подожду...

Чувствуя себя полнейшим кретином, я снял с книжной полки медный кувшин — мы его купили когда-то вместе с Леной в Тбилиси, взял цветы — в омерзительно мокрой, расплзающейся газетной бумаге — и отправился на кухню.

Чайник, о котором я, разумеется, позабыл — выкипел и едва не распаялся.

Я погасил газ, отвернул кран над мойкой, подставил кувшин и долго стоял, бессмысленно глядя на текущую воду.

Мне было страшно.

...Сейчас, когда я обо всём этом пишу, мне, вероятно, ещё страшнее — страшнее хотя бы уже потому, что сегодня я знаю, чем это кончилось, каких трагических последствий были предвестниками этот визит, эти цветочки... Вот уж воистину цветочки!

Но тогда, конечно же, ничего этого знать я не мог и не сумел бы даже объяснить, почему мне было страшно. Ну, в самом деле — ну, явился какой-то тип, нахал, принёс гвоздики... Скорее всего, нормальный псих, графоман (мало ли их шляется по нашему дому?!), который пришёл предлагать соавторство или жаждет рассказать историю своей жизни: «Если бы кто-нибудь мою жизнь описал, какой бы роман получился!»

Но мне, повторяю, было страшно. То ли передались мне Наташина тревога, задыхающийся её голос в телефонной трубке, то ли где-то в глубине души я всё-таки смутно догадывался — кто этот человек, откуда он, из какого давнего, забытого, забитого наглухо прошлого явился он, чтобы предъявить права на мою жизнь.

Когда я вернулся в большую комнату, Чекмарёв стоял у окна, курил, задумчиво и рассеянно хмурился.

— Дождь, — бесцветно сказал он, — все дождь и дождь. Так и не начнётся лето никак. — Он помолчал. — Мне, знаете, кого жалко? — снова заговорил он, глядя не на меня, а в окно. — Тех чудаков, которые дачи построили — выбросили люди деньги на ветер!.. Вы, кстати, Николай Андреевич, прогноза погоды на ближайшие дни не слышали?

— Нет, — сказал я.

Я поставил кувшин с гвоздиками на круглый столик у телефона и таким нарочито деловым тоном, от которого мне самому стало противно, спросил:

— Ну, так я слушаю вас, товарищ Чекмарёв, чем, как говорится, обязан?

Чекмарёв наконец обернулся.

Пока я возился на кухне, он зачем-то снял галстук, расстегнул ворот рубашки, и я, помню, подивился тому, что у него такая загорелая шея — белое лицо и до черноты загорелая шея.

— Чем обязаны?! — весело засмеялся Чекмарёв. — Да ничем вы мне, Николай Андреевич, дорогой вы мой, не обязаны. Просто один человек просил меня при случае зайти и передать вам привет, что я и делаю.

— А кто? — небрежно спросил я.

Но Чекмарёв, улыбаясь, ухитрился ответить ещё небрежнее:

— Юрий Леонидович.

У меня перехватило дыхание, но, пытаясь оттянуть время — неизвестно, зачем мне это было нужно, — я сдвинул брови и всем своим видом неуклюже изобразил мучительную работу памяти:

— Юрий Леонидович?!

И тут произошло нечто совершенно несусветное, безобразное, невероятное — невероятное настолько, что я и до сих пор не берусь утверждать, было ли это на самом деле или только примерещилось мне, причудилось.

Чекмарёв усмехнулся, не спеша, вразвалочку подошёл ко мне, прищурился и отчётливо, негромко сказал:

— Ну, хватит! Хватит горбатого-то лепить!

Мне показалось, что он хочет меня ударить, я поднял руку, и тогда он действительно резко, коротко, без замаха ударил меня, ткнул кулаком в солнечное сплетение.

Повторяю, что не берусь утверждать, было ли всё это на самом деле, сказал ли Чекмарёв эти слова, ударил ли меня. Может быть, гнусный страх, липкое ожидание того, что это может случиться, что Чекмарёв может так поступить, повергли меня внезапно в беспамятное наваждение, в провал.

Но боль, между прочим, была, это уж точно. Боль была — и даже такая сильная, что я и впрямь потерял на несколько секунд сознание.

...Когда я очнулся, я лежал на диване, а Чекмарёв сидел рядом, держал меня за руку — считал пульс и говорил озабоченно и сочувственно:

— Экий вы, право, нервный, Николай Андреевич! Такой здоровый мужчина, а нервы — ни к чёрту! Пьёте много, не бережёте себя — нельзя так!..

Он опустил мою руку, встал и принялся совершенно по-хозяйски, как будто не он, а я был у него в гостях, хлопотать — принёс из спальни подушку и подsunул мне её под голову, принёс из кухни стакан чая и поинтересовался:

— Вам послаще?

Я лежал, полузакрыв глаза, глядя и не глядя, как уверенно и ловко распорядается он в моей квартире. Он по-

ложил мне в чай три куска сахара, что-то ещё сказал, но я не слышал.

Юрий Леонидович!

А я-то верил, а я надеялся, что тогда, на вокзале в Куйбышеве, у мягкого вагона скорого поезда Куйбышев—Москва, мы виделись с ним в последний раз, в самый наипоследний раз и что никогда, никогда больше не появится он в моей жизни. Он пришёл меня проводить, принёс мне на дорогу бутылку армянского коньяка «пять звёздочек». Был октябрьский вечер — холодно, ветрено, — а он стоял в чёрном пижонском пальто с чуть приподнятым воротником, с непокрытой головой — и при свете вокзального фонаря седые его волосы казались серебряным шлемом, словно стихиям — дождю, ветру — прикасаться к его особе было не разрешено и не положено. Он и вправду был так барственно хорош, что проходившие мимо женщины невольно оглядывались на него.

Мы познакомились в гостинице «Интурист». Я приехал в Куйбышев по заданию газеты «Советская Россия», где я в ту пору иногда подрабатывал, подхалтуривал, приехал освещать в центральной печати показательный процесс — дело о хищении на мебельной фабрике.

Поезд мой из Москвы пришёл рано утром, номер в гостинице был мне забронирован заранее, я привел себя в порядок и спустился вниз, в ресторан — позавтракать.

Вот тут-то и подошёл Юрий Леонидович.

Он подошёл к моему столику, представился, сел и сказал — просто, без всяких вступлений:

— Видите ли, Николай Андреевич, мы бы хотели, чтобы ваша работа здесь протекала, так сказать, в самом тесном контакте с нами.

— С вами? — спросил я слегка настороженно и недружелюбно, так как принял его за этакого пожилого и преуспевающего члена коллегии адвокатов. — С кем — с вами?

Юрий Леонидович улыбнулся, быстро достал из кармана хорошо сшитого пиджака кожаную книжечку-удостоверение, раскрыл её — и, делая вид, что не заметил, как у меня несколько дёрнулась голова, повторил:

— С нами, Николай Андреевич! Дело это запутанное и сложное, сам чёрт ногу сломит! А вы человек творческий, с эмоциями... Нет, нет, вы, упаси Бог, не подумайте, что мы собирались вам диктовать — как и о чем писать... Просто, как я уже сказал, поработаем в тесном контакте, вы нам поможете, мы вам поможем.

Он спрятал удостоверение и слегка наклонился через столик ко мне.

— Здесь, в гостинице, нам встречаться больше не стоит. Будете ежедневно, в семь часов вечера, приезжать по следующему адресу. Нет, нет, вы не записывайте, адрес простой, запомнить легко...

И вот в течение двух недель, пока длился процесс, я приезжал каждый вечер на мерзкую нежилую квартиру, обставленную уродливо пышной мебелью, этаким ампиром «времени культа личности».

Юрий Леонидович встречал меня неизменно одним и тем же вопросом:

— Ну-с, каковы впечатления?

Я коротко докладывал о своих впечатлениях или, точнее сказать, о том, какую информацию собираюсь отправить в «Советскую Россию». Юрий Леонидович слушал, кивал головой, изредка делал какое-нибудь замечание, и затем, в остальные полтора-два часа, к разговору о процессе мы больше не возвращались, а беседовали на самые разные, чаще всего — художественные, материи — о литературе, о театре, о кино. Юрий Леонидович был большим любителем кино. Особенно восхищался он фильмом «Летят журавли» и жалел только, что на роль героини взяли не Ларионову, а Самойлову.

Как-то раз, прощаясь, я спросил его:

— Скажите, а где у вас в Куйбышеве можно хорошо поужинать? А то меня от этой гостиничной кухни уже мутит...

— У нас в Куйбышеве? — повторил Юрий Леонидович и засмеялся. — Я ведь здесь, Николай Андреевич, такой же гость, как и вы. Откомандирован временно из Москвы — навести порядок!..

...Я никак не ждал, что он придёт меня провожать. Когда я уже стоял в тамбуре, а поезд тряхнуло и медленно поплыла платформа назад, он коротко и вполне серьёзно сказал, ткнув пальцем в перчатке на зажатую у меня в руке бутылку коньяка:

— Напейтесь.

Что я, между прочим, и сделал.

Было это примерно за год до того, как я познакомился с Леной. Сначала я вспоминал о Юрии Леонидовиче довольно часто, раза два мы даже встречались на каких-то просмотрах в Доме кино, здоровались издали, обменивались ничем не стоящими улыбками. Я старался не ду-

мать о нём, не знать — мало ли живёт людей в Москве — и вообще на белом свете, — знакомых мне в лицо и по имени, судьбы которых никогда, ни при каких обстоятельствах не могут, не должны, не обязаны пересечься с моей судьбой.

Да, было, случилось однажды — сел играть в карты с чёртом и вроде бы даже не проиграл, остался при своих, но больше не сяду. Хватит, позабавились.

...Зазвонил телефон.

Я приподнялся, но Чекмарёв строго махнул рукой.

— Лежите, лежите.

Он снял телефонную трубку.

— Вас слушают. — И через секунду опять улыбнулся, показал все свои белые и ровные зубы. — Нет, нет, вы не ошиблись... Что? Вы понимаете, дело в том, что Николай Андреевич не очень хорошо себя чувствует... Что, что? Нет, я не доктор, я... Что? Минутку!

Чекмарёв отвёл в сторону телефонную трубку, накрыл ладонью микрофон и поглядел на меня.

— Это Наталья Николаевна. Она говорит, что сейчас приедет.

— Не надо, — быстро сказал я. — Попросите её, чтобы...

Но из отставленной трубки уже раздались короткие и частые гудки, а из ванной комнаты донёсся истошный вопль Яшеньки.

Чекмарёв прислушался и спросил:

— Кошка?

— Кот. В ванной.

— Я его выпущу, — решительно сказал Чекмарёв. — Зачем животное мучить?!

...Яшенька выпрыгнул, вылетел, выскочил в гостиную, как призовой бык на арену, остановился перед Чекмарёвым, сузил глаза и вдруг — и уж это, поверьте, мне не померещилось, — вдруг у него поднялась дыбом шерсть, он жалко мяукнул, поджал хвост и, пятясь задом, уполз и забился под диван.

— Какой-то он у вас психованный, — со смешком сказал Чекмарёв.

И тут внезапно мне совершенно мучительно захотелось выпить, до такой степени захотелось, что в какую-то долю секунды всё сущее перестало как бы иметь значение — и воспоминание о Юрии Леонидовиче и куйбышевском кошмаре, и рукопись Хомича, спрятанная в ящике письменного стола, и Наташа, и этот Чекмарёв, —

всё это сперва отодвинулось куда-то на второй план, скукожилось, потускнело, а потом и вовсе перестало быть сущим и осталось только желание выпить — только оно одно, это желание, и было действительным, а всё прочее — пыль, мираж, несносная чушь.

Люди пьющие меня поймут, а людям непьющим объяснить это состояние будет довольно трудно (если вообще возможно), пусть поверят на слово, что состояние это совсем особенное, не сравнимое ни с чем, и тем, кто этой муки не знает, — я желаю от всей души так и не узнать её никогда.

Я рывком сел, спустил ноги на пол и сказал:

— Вот что, у меня есть идея...

Я взглянул на Чекмарёва.

— Как вас зовут?

— А мы с вами почти тёзки, — сказал Чекмарёв. — Только наоборот. Вы Николай Андреевич, а я Андрей Николаевич... Выражаясь по-научному — зеркальное отражение.

— Bravo! — воскликнул я в совершеннейшем восторге. Ай да Чекмарёв! Зеркальное отражение, ишь ты!

— В таком случае, — сказал я, — у нас с вами есть вполне законное основание выпить!..

— Выпить?

Чекмарёв посмотрел на часы, подумал — словно что-то прикидывал в уме, и кивнул.

— Можно.

— Bravo! — повторил я и окончательно развеселился. Собственно, развеселился не я. Меня уже не было. «Я» — всё то, что называется человеческим «я» — состояло из единственного желания напиться. «Я» — это и было желание напиться, окосеть, загудеть, уйти в отключку. Только это, и ничего больше.

— Будем пить на кухне.

...Я открыл банку бычков в томате — гулять так гулять! — вытащил из холодильника бутылку водки, поставил вино, хлеб, масло, сыр и два стакана — терпеть не могу пить из рюмок. Чекмарёв повертел свой стакан в пальцах, посмотрел его на свет, встал, подошёл к мойке, ополоснул стакан и, вернувшись за стол, сказал:

— Мне только чуть-чуть.

— Как прикажете, — с готовностью сказал я и налил ему треть стакана. — Ещё?

— Хватит.

— Закрасить?

— Нет, нет.

Себе я закрасил. Слава Богу, хватило ума купить для Наташи не сухое, а венгерский вермут.

— Ну, будем живы-здоровы.

Мы выпили по первой, покряхтели, закусили, и я тут же налил по второй. Должен заметить — это опять-таки для непьющих, пьющие знают, — что сочетание водки, обыкновенной водки-«сучка» с вермутом — эта штука, как сказал бы покойный корифей всех наук, посильнее «Фауста» Гёте. Забирает сразу и основательно.

— Хорошо она под дождик идёт! — рассудительно сказал Чекмарёв, и эти его слова были, пожалуй, последним, что я успел услышать, воспринять и оценить по достоинству. Всё, что происходило потом — было для меня попеременным, хотя и нерегулярным, чередованием вспышек света и тени. словно бы я сидел перед телевизором — и на пустом экране появлялись вдруг, неожиданно и непредсказуемо, то изображение и звук, то одно изображение или один звук, а то опять наплывали пустота, небытие, провал.

Помню, что во время одной из таких вспышек света я увидел Наташу. Мы сидели уже не на кухне, а в большой комнате, и Наташа с Чекмарёвым о чём-то говорили в повышенном тоне, как будто ссорились. А я, как всегда, удивился тому, что Наташа такая красивая (когда я её не вижу, я забываю об этом). Она и вправду немножко похожа на Софи Лорен — высокая, крупная, с медной, вечно растрёпанной головой. Лена перед ней фитюлька, девочка, хотя и старше Наташи лет на десять.

Чекмарёв, как я успел заметить, пока держался свет, тоже, на удивление, успел здорово закосеть.

Он хохотал в ответ на сердитые Наташины слова, пытался её облапать, приглашал танцевать, несколько раз выматерился.

— Попрошу вас вести себя прилично! — очень строго сказал я и опять выключился, провалился в спасительную дымную пустоту.

Следующая вспышка света — Наташи уже нет, я полужу в кресле, в руке у меня пустой стакан, а Чекмарёв стоит у телефона и говорит кому-то, совершенно, между прочим, трезвым голосом:

— Не сердись, пожалуйста... Что значит — обещал, я же не развлекаюсь... Да, да... Ну, ничего, я подогрею, не беспокойся, целую тебя!..



Он положил трубку, обернулся, увидел, что я на него смотрю, и подмигнул мне.

— Женщины!..

— Надо выпить! — сказал я.

Чекмарёв развёл руками.

— Всё!

— То есть как это всё?!

Я встал. Меня слегка качнуло, но я удержался и сердито повторил:

— Что значит — всё?! Сейчас будет ещё.

После этого свет и тьма стали менять друг друга с какой-то воистину лихорадочной быстротой.

Вот — я у себя дома, а вот я уже стою во дворе, на улице, запрокинув голову, и на лицо мне капают крупные капли дождя, и я слизываю их языком. Дождь кислый, и мне очень нравится, что он кислый, вроде огуречного рассола. Я даже начал слегка трезветь. Ну, не то чтобы трезветь, но из состояния отключения я вернулся назад — в состояние беззаботности и восторга.

Магазины были уже давно закрыты, а брать такси и объезжать рестораны — на это у меня не было сил, тем более что в огромном нашем районе ресторанов раз-два, и обчёлся. Водку, стало быть, надо у кого-нибудь одолжить.

Я направился во второй подъезд (я живу в третьем) к Деду.

...Удивительно, как самые опытные люди (а я считаю себя в этом вопросе достаточно опытным) совершают в подобных случаях одну и ту же типическую ошибку. Типическая ошибка в типических обстоятельствах! Ну, в самом деле — какой же сильно пьющий человек, сильно и регулярно пьющий человек, в десятом часу вечера, в сумеречную пору, когда все нормальные возможности добыть пополнение запасов спиртного исключены, какой же, повторяю, нормальный пьющий человек согласится расстаться с поллитрой, если она у него ещё имеется?! Да ни за что на свете!

А я пошёл к Деду. А Дед — человек пьющий, в самом прямом, в самом классическом смысле и значении этого слова. Настоящее имя Деда — Александр Анисимович Фиолетов, но решительно все, включая его собственную жену, называют его Дедом. Личность Деда уникальная. У него мировая слава, он один из создателей советской школы математической лингвистики (между прочим, Ле-

на — его ученица), великий мудрец, остроумец и сквернослов.

...Он открыл мне дверь, и я сразу же, по одному его виду понял, что здесь мне разжиться поллитрой не светит.

Дед был в клетчатой ковбойке, вылезавшей из бархатных штанов, в войлочных тапочках, рыжевато-седая кудлатая борода торчком, нос и лысина — лилового цвета.

— Николая! — радостно закричал Дед, обнял меня, трижды обмусолил и потащил за руку к себе в кабинет. — Антре!..

В кабинете Деда на диване, в креслах, на подоконнике и прямо на полу сидели его ученики — разных возрастов и в разной степени опьянения — и с обожанием смотрели на Деда.

— Мой друг Николай Зимин, — представил меня Дед и сунул мне в руку стопку водки. — Образцовый представитель, мать его за ногу, всеобщей интеллектуальной энтропии!

Чернявая девица, вильнув бёдрами (совершенно непонятно, как она ухитрилась это сделать, сидя на полу), крикнула:

— Ко мне, ко мне!

— Видишь ли, Николая, — сказал Дед, — у нас тут интереснейший спор... Но ты погоди, ты сперва выпей!

Я выпил и, к полному своему удивлению, ничего не почувствовал. Водка была тёплая и после той убойной смеси, которую я пил дома, показалась мне чуть ли не водичей.

— Ну-с, — сказал Дед и ткнул толстым пальцем в пожилого очкарика, который сидел на подоконнике, — так вы утверждаете, Маняша, что я антисемит, из-за того, что я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой?

— Точно, — подтвердил очкарик.

— Я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой, — закричал Дед, — и выдвинул его работу на Государственную премию. А вы в вашем богоугодном заведении жидов не ругаете, потому что у вас их нет, вы их всех повыгоняли! Слушайте сюда! — ещё пуше заорал Дед. — Однажды нарком Луначарский приехал к режиссёру Мейерхольду на репетицию «Ревизора». После сцены в гостинице Луначарский погрозил Мейерхольду пальцем и сказал: «Товарищ режиссёр, а ведь вы мистик! У вас там в этой сцене висит на стуле пальто — ведь это же совершеннейший чёрт!» Мейерхольд ответил: «Товарищ нарком, я повесил на

спинку стула пальто, обыкновеннейшее пальто, а вы увидели чёрта. Так кто же, спрашивается, из нас мистик?!»

Тут все присутствующие разом захохотали и загалдели, а я потянул Деда за рукав и сказал:

— Александр Анисимович, у меня к вам просьба — вы не могли бы одолжить мне до завтра поллитра?

Дед сперва не понял, а когда понял, то даже слегка обиделся:

— Николя, друг мой, извини, но... Пить — пей, пожалуйста, но на вынос — ни капли!..

...После Деда я направился к Косте Карельскому. Не потому, что возлагал на него какие-либо надежды, а просто потому, что жил Карельский на одной лестничной площадке с Дедом.

Мне долго никто не открывал на звонок, потом наконец я услышал шлёпанье босых ног по паркету, приглушённый, исполненный досады голос:

— В чём дело? Кто там?

— Извини, Костя, — сказал я. — Это я, Зимин. Слушай, ты бы не мог меня выручить — мне нужна бутылка водки!

— Зимин, дорогуша, ты меня с кем-то спутал. Я не алкаш, я бабник! Проваливай!..

...И снова я стоял во дворе под дождём, трезвея и злясь. Редкие окна в доме были освещены — несмотря на поганое лето, большинство жильцов всё-таки разъехались на дачи, в Дома творчества, на курорты. Но во всех шести парадных нашего дома свет горел — и верхний, и на столиках у дежурных вахтёрш — в нашем доме лифтёрши дежурят круглосуточно — тут не какие-нибудь работяги живут, тут живут, так их растак, мастера слова, инженеры человеческих душ, чистый народ.

Дом обычно сравнивают с кораблём. Мне кажется, что точнее не корабль, а ковчег. Корабль — это нечто временное, отчуждённое и отстранённое, он плывёт — как в школьных учебниках арифметики — из пункта А в пункт Б. А ковчег — это пристанище, в ковчеге живут, плодятся и размножаются, спасаются от стихий. Всякой твари по паре — семь пар чистых, семь нечистых.

Наш дом — ковчег, населённый дурачьём, которое думает, что спасается от стихий. Наш дом — ковчег, социалистический по форме и национальный по содержанию. Священный принцип священного соцреализма, только наоборот.

...Мимо меня, кивнув, прошли три типчика, неизменная троица — Недоброво (он такой же Недоброво, как я Гогенцоллерн), драматург, и Левин с Горбачёвым, критики. По вечерам они всегда, даже в дождь, выходят пройтись, погулять перед сном, подышать свежим воздухом. Когда месье Хаймович не на даче, а в городе, он гуляет вместе с ними.

Они, компания эта, не просто литераторы, вроде меня и других, они жрецы и художники, гиганты мысли, любители диссидентской «малинки», крамолы, всякой всячины, которая с запашком.

Я матюкнулся им вслед шёпотом — гуляйте, голубчики, гуляйте. Гуляйте — пока! Я про вас знаю много больше, чем вы подозреваете, я такое про вас, падлы, знаю, что, захоти я только сказать об этом кому следует...

Водка, которую я выпил у Деда, начала меня всё-таки понемногу забирать, и мир закружился снова — погромычивая и покачиваясь из стороны в сторону.

Я сжал кулаки, и вдруг меня пронзило:

«Господи, а не спятил ли я с ума?! Ведь рукопись-то Хомича лежит в ящике моего письменного стола! А в квартире у меня — один! — сидит Чекмарёв, мой друг Чекмарёв, моё зеркальное отражение, тень, подобие...»

Я взглянул на часы — было без четверти десять. Но так как я, естественно, не смотрел на часы, когда отправлялся в поход за водкой, то и сообразить, сколько же времени пребывает он там в одиночестве, мой друг Чекмарёв, я не мог. Будем надеяться, что не слишком долго.

Я круто повернулся и чуть не сбил с ног какого-то хрена с авоськой.

— Николай Андреевич, что с вами? Что случилось?

Оказалось, что хрен с авоськой — это Гоц. Матвей Ильич Гоц — старый большевик, старый чекист, участник гражданской войны в Испании, переводчик на Нюрнбергском процессе, чудом уцелевшее ископаемое — ему и сидеть-то пришлось всего-ничего — взяли его только в пятьдесят первом году, а в пятьдесят шестом уже выпустили и даже пристроили на работу — редактором в издательство «Советский писатель».

— Ох, извините, Матвей Ильич, добрый вечер, — поспешно сказал я, но от Гоца так легко не отделаешься. Старый хрен обожает сплетни и новости. Он живёт вдвоём с внуком Женичкой, приятелем Павлика. Дочь Гоца смылась куда-то на Дальний Восток со своим новым не

то мужем, не то просто хахалем, а сына подбросила де-душке, благо работка у него — не бей лежачего! — редактировать переиздания и выступать с пламенными речами на открытых партийных собраниях — на закрытых слово ему давали редко и неохотно. Зато он, правда, отыгрывался на заседаниях бюро секции переводчиков в Союзе писателей — там уж от него спасения не было.

— Что случилось, Николай Андреевич? — повторил Гоц и придержал меня за руку. — У вас очень взволнованное лицо!..

Я усмехнулся.

— Случилось, Матвей Ильич, то, что у меня сидит гость и нечего выпить...

— Великолепно, — сказал Гоц и, как-то по-птичьки наклонив голову к плечу, поинтересовался: — Скажите, а бутылка водки — кажется, она называется «Столичная» — вас могла бы устроить?

Я прямо опешил:

— Откуда у вас водка, Матвей Ильич?

— Пойдёмте, — сказал Гоц.

Мы живём с ним в одном подъезде, и, когда мы вошли, Катя подняла голову — она опять шила, — хотела мне что-то сказать, но передумала, вздохнула и снова уткнулась в своё шитьё.

Мы поднялись на лифте на шестой этаж — и по дороге Гоц объяснил:

— Понимаете, ко мне зашёл старый приятель и принёс бутылку водки. Он сам теперь не пьёт, у него язва, но он думал, что я пью. Мы с ним очень смеялись!..

Я представил себе эту картинку — действительно, жутко было, видеть, смешно.

Гоц повесил авоську — в ней были две бутылки кефира и плавленые сырки — на ручку двери и принялся шарить по карманам — искать ключи.

— Женичка смотрит телевизор, — сказал Гоц, — и мне не хочется его беспокоить.

Ключи, разумеется, очень долго не находились, а когда нашлись, Гоц никак не мог попасть ключом в замочную скважину.

— Скажите, Николай Андреевич, вы читали сегодняшние газеты?! — спросил он после очередной безуспешной попытки, поглядел на меня и трагически поднял брови. — Мир сошёл с ума! Уверяю вас! Карильо — генеральный секретарь испанской компартии — называет диктатуру

пролетариата «отжившей доктриной»... Я же его знал, этого Карильо! Он был настоящим коммунистом. Некоторые упрекали его в жестокости, но ведь он был жесток к врагам... А теперь — и он и другие, — да как они не хотят понять, что предают завоевания Октября!

Он прямо так и сказал «завоевания Октября»! Меня замутило, и захотелось опять и как можно скорее уйти в отключение. Водка забирала, мир кружился всё быстрее и быстрее, всё сильнее громыхал и покачивался. Гоц открыл наконец дверь, сделал ладошкой приглашающий жест.

— Прошу!

Впрочем, дальше передней он меня не пустил. Он с таинственным видом приложил палец к губам, скрылся и тут же, через мгновение, вернулся — с бутылкой «Столичной».

— Пожалуйста, — сказал он, — а то я всё думал, всё искал — куда мне её деть!

— Вы счастливый человек, Матвей Ильич! — сказал я прочувствованно. — Вы нашли то, что искали!

...Я не спустился, я скатился по лестнице вниз (какие-то сукины дети держали лифт на четвёртом этаже, а ждать я не мог), рванул дверь своей квартиры — я её не запираю — и громко позвал:

— Андрей, ты где?

...Да, я забыл сказать, что мы с ним в одну из минут просветления перешли на «ты».

— Эй, Андрей!

Никто не отозвался, только из-под дивана — он как забился под диван, так и сидел там — мякнул Яшенька.

Чекмарёв ушёл. Ушло моё зеркальное отражение, ушла моя тень, и теперь, как в сказке, я стал человеком без тени, голым человеком на голой земле, и мне даже некому было крикнуть: «Тень, знай своё место!»

Чекмарёва не было. И рукописи Хомича, сочинения под названием «Именем Российской Федерации», не было тоже.

### 3

Рукописи Хомича не было.

Я стоял с бутылкой «Столичной» и бессмысленно смотрел на пустой ящик письменного стола. Мир как-то сра-

зу, вдруг перестал вертеться, как будто его кто-то придерживал рукой.

На всякий случай я выдвинул и остальные ящики, набитые всяческой дребеденью — старыми письмами и счётами, никому не нужными вырезками из газет и журналов. Сколько раз я давал себе слово — произвести генеральную уборку, великую чистку, — но всё руки не доходили.

Потом я проверил, не завалилась ли рукопись за ящики письменного стола. Нет, не завалилась.

Потом я, и весьма тщательно, снизу доверху, обшарил книжные полки, заглянул в спальню, на кухню, в ванную комнату, под диван. И все эти действия я проделывал совершенно механически, не думая или, вернее, думая о том, что ищу я напрасно, и сознавая всю бессмысленность поисков.

Вариант номер один — пока я, как дурак, как самый последний сачок, бегал за водкой, — Чекмарёв произвёл — не для чего-нибудь, а просто по привычке — беглый досмотр, обнаружил рукопись с привлекательным названием «Именем Российской Федерации», перелистал её, заинтересовался и забрал. И, стало быть, дело плохо!

Вариант номер два — Наташа, увидев, что я надрался до безобразия и ровно ничего не соображаю, прихватила рукопись от греха подальше с собой. В таком случае всё ещё поправимо.

К сожалению — и это я тоже понимал! — вариант номер один был куда как более вероятным. Мне даже стало казаться, что я с самого начала ждал, что должно случиться что-нибудь этакое. С первого того мгновения ждал, когда открыл дверь и увидел Чекмарёва с цветочками.

Но мне — по слабодушию и проистекавшей из этого слабодушия всегдашней бессмысленной надежде на то, что всё как-нибудь образуется — не хотелось расставаться окончательно с вариантом номер два.

Я снял телефонную трубку и набрал Наташин номер.

Подошла маман и на мой вопрос — дома ли Наташа — удивлённо ответила:

— Николай Андреевич, голубчик, но ведь она поехала к вам. И уже давно...

— Да, да, — быстро сказал я. — Она была у меня, заезжала, а потом... Я думал, что она уже дома. Анна Сергеевна, будьте добры, как только Наташа вернётся, попросите её сразу же, обязательно сразу же мне позвонить! Хорошо?

Маман произнесла своё восхитительное:

— Нэпрем-э-нноо!

Я уже хотел положить трубку, но, неожиданно понизив голос, маман сказала:

— Николай Андреевич, извините... Я даже рада, что Наташи нет дома — я давно хотела с вами поговорить...

— Да? — сказал я.

— Поймите, Николай Андреевич, я никогда, никогда не вмешивалась в Наташины дела... Тем более — в личные... Наташа взрослый человек, она была замужем — она вам, вероятно, обо всём рассказывала, — и дело в том, что... — Маман замялась, подыскивая слова, покашляла. — Мне кажется... ну, у меня создалось такое впечатление, что она относится к вам как-то по-особенному... Конечно, у неё были увлечения и всякое такое... Но я же вижу, я же всё-таки мать, Николай Андреевич, я вижу, что с вами — это совсем другое... Поверьте, она очень страдала, когда её муженёк, этот мерзавец, бросил её, выгнал, в буквальном смысле этого слова, на улицу... И мне страшно подумать...

Господи, сейчас, именно сейчас, в данную минуту мне как раз только этого не доставало — объяснений с Наташиной маман.

— Анна Сергеевна, — сказал я, — я всё понимаю, понимаю вашу тревогу, но это не телефонный разговор. Обещаю — в ближайшие дни я специально выберу время, когда Наташа на работе, — заеду к вам, и мы обо всём поговорим.

— Непременно! — пропела маман. — Вы обещаете?

— Непременно! — пропел я в ответ, но так красиво не получилось. — И, пожалуйста, не забудьте сказать Наташе, что я жду её звонка. Это очень важно!..

...Итак — до поры — вариант номер два отпал не окончательно.

Я встал, пошире открыл окно — эта сволочь Чекмарёв накурил так, что в комнате было не продохнуть.

Дождь, подхваченный ветром, полоснул меня по лицу.

Я убрал со стола пустые бутылки и отнёс их на кухню, вымыл стаканы (дурные примеры заразительны), вытряхнул из пепельницы окурки.

Недолгая борьба между желанием напиться и здравым смыслом кончилась, как это ни странно, победой последнего, и я поставил (хотя и со вздохом сожаления) бутылку «Столичной» в холодильник.



Мне нужно было подумать.

Я улёгся на диван, подтянул к себе телефон и принялся размышлять.

Совершенно очевидно, что визит Чекмарёва, явление Чекмарёва народу, никакой прямой связи с сочинением Хомича иметь не могло хотя бы уже потому, что мы условились с Наташей печатать «Именем Российской Федерации» в двух экземплярах, один — ей, один — мне, а черновик уничтожить. И закончила работу Наташа только прошлой ночью — и никому, решительно никому об этом сочинении не могло быть известно... И, значит, тут, как говорится, имеет место быть чистая случайность, несчастное стечение обстоятельств. Я вполне умышленно оставлял в своих рассуждениях благополучный вариант номер два в стороне. Если Хомича взяла Наташа, то вообще всё в порядке, беспокоиться не о чем и можно было бы даже выпить. А если — не Наташа? Если рукопись взял Чекмарёв, то надо, как пишут в примечаниях к шахматным партиям, считать дальше. Посчитаем. Прежде всего — что такое Чекмарёв? Скорее всего, невеликая птица — что-нибудь вроде нового уполномоченного ГБ по нашему району. И, может быть, даже не по всему району, а только по нашему художественному заповеднику, благо больше половины обитателей этого чёртова заповедника — иудеи и всякая прочая диссидентская мразь, — есть на что положить глаз.

Дальше — зачем Чекмарёв приходил ко мне? Ну, это совсем понятно и просто: приходил познакомиться. Как это делается в точности, я не знаю, но полагаю, что, получив назначение в наш район (или заповедник), Чекмарёв несколько недель (а может быть, и месяцев) просидел где-то там, в какой-то таинственной архивной комнате («Посторонним вход запрещён») — знакомился, листал тысячи папок с личными делами вверенных отныне его попечению граждан, отмечал, на кого следует обратить особенное внимание, с кем завести знакомство, на кого положиться.

И был такой день, такая минута, когда Чекмарёв развязал завязки на папке с личным делом — «Зимин Николай Андреевич», год рождения — 1935, место рождения — Москва, член Союза писателей СССР и Союза советских кинематографистов...» Нет, наверное, на обложке папки не написано ничего, кроме имени, отчества и фамилии, а всё остальное скрывается там, внутри, под картонным или ледериновым переплётом, вся моя жизнь с самого

рождения и до сегодняшнего дня, и кто были мои родители, чем занимались и где похоронены, и где я учился, и какие бабы — до Лены и после — делили со мной моё одиночество, и какие мои сценарии увидели свет, и какие статьи и где напечатаны, и, конечно же, не забыты мои корреспонденции из Куйбышева, уж это-то никак не забыто. И ещё много всякого-прочего добра имеется в этой папочке — все мои привязанности и пристрастия, все пороки и слабости — всё описано, учтено, отмерено, взвешено. И не просто описано — снабжено примечаниями, характеристиками, справками, может, даже и медицинскими справками, и тогда непременно, непременно упомянут тот случай, когда я устроил тарарам из-за того, что не хотел, боялся внутривенной инъекции, боялся боли. Я орал так, что сбежались не только врачи и сёстры, но даже кое-кто из пациентов. Я-то об этом забыл, а они — там, — они не забыли, они помнят.

И всё это, всё это и многое ещё другое прочёл, изучил, усвоил мой друг Чекмарёв, прежде чем отправился ко мне — знакомиться.

О том, какое впечатление осталось у него после первого нашего свидания, думать мне не хотелось. Впрочем, плевать я хотел на впечатление товарища Чекмарёва, меня его впечатления интересуют как прошлогодний снег, меня интересует — кому передаст Чекмарёв сочинение Хомича (если рукопись всё-таки взял Чекмарёв), — кому и когда. Юрию Леонидовичу? Да, скорее всего, Юрию Леонидовичу.

Досчитав до этого места, я встал и пошёл в уборную. Мир не кружился, голова не кружилась, только во всём теле было ощущение свинцовой, утомительной тяжести.

Я рванул молнию на своих американских (комиссионка на Беговой улице) джинсах, пописал и понял, что мне необходимо принять душ.

...Я стоял, полузакрыв глаза, под горячей водой, и мне было холодно. На животе, на груди, на плечах, как в стакане с минеральной водой, вспыхивали и лопались пузырьки озноба. И в этом ознобе была какая-то странная, тревожная приятность. Я пустил холодную воду, и мне стало жарко.

Я растёрся досуха, до боли, махровой простыней, надел итальянский купальный халат (комиссионка на Комсомольском проспекте), вернулся в большую комнату и снова лёг на диван.

Итак — сочинение Хомича попало к Юрию Леонидовичу.

Хорошо, будем считать дальше. Если ладья бьёт на б7, то я играю слон-с3 шах...

Сочинение Хомича «Именем Российской Федерации», изъятое (это ещё великий Ленин придумал вместо грубого «украсть» — архиинтеллигентнейшее «изъять») у гражданина Зимина Николая Андреевича оперативным сотрудником Чекмарёвым Андреем Николаевичем, лежит на столе у Юрия Леонидовича. Возможно — это происходит уже сейчас, возможно — произойдёт завтра. Юрий Леонидович читает сочинение Хомича, и, надо полагать, ему не слишком придётся ломать себе голову над вопросом — кто автор. Здесь всё просто, все ходы очевидны и единственны. А вот дальше — начинается каша, возможностей начинается такое великое количество, что считать их становится всё труднее и труднее. И всё страшнее. Помню, что я пытался применить способ подстановки — я это он. Я прочёл и понял. Что теперь?

Можно, конечно, принять меры пресечения немедленно, а можно и подождать. И подождать, последить, пожалуй, разумнее, чем рубить с плеча. Я (Юрий Леонидович) довольно хорошо знаю его (меня), знаю, что он (я) ни с какими подписантами-диссидентами не связан, до сих пор, во всяком случае, связан не был — и стоит не спеша (а куда мне, Юрию Леонидовичу — спешить!?) поинтересоваться — с чего это вдруг, какая такая неожиданная радость, какое помутнение (перепил, что ли!?) заставили его (меня) сесть и написать подобное сочиненьице?!

И тут я отвлёкся, тут я прекратил игру в подстановку и задумался — а зачем я и впрямь, ради какого рожна сочинил это «Именем Российской Федерации»? Зачем мне всё это было нужно? Для чего?

За год примерно до того, как началась эта бредовня, в душевой Дома творчества писателей в Малеевке я совершенно ненамеренно подслушал один разговор.

Вставал я — это знали и подсмеивались — очень поздно и к завтраку, как правило, являлся самым последним, когда большинство мастеров художественного слова уже бултыхались в пруду, или кончали первую «пульку», или даже (весьма немногие) сидели и работали. А в то утро я почему-то проснулся в несусветную рань — часов в восемь, — отправился в душ (душевые кабинки помещаются внизу, в подвале) и там, в душе, под негромкое жур-

чание воды услышал любопытнейший разговор. Кабинки расположены в ряд, перегородки между ними тонкие, и все звуки, которые доносятся от соседей, доносятся с какой-то особой, как во всякой бане, невразумительной гулкостью. Разговаривали два голоса, женский и мужской. Женский был от меня справа, мужской — слева. Они были, мерзавцы, так увлечены своей гнусной беседой, что даже не обратили внимания на то, что кто-то вклинился между ними. А если бы, впрочем, и обратили, то всё равно не подумали бы, что это могу быть я.

А разговор шёл обо мне.

Женский голос (сперва я не понял — чей) спросил:

— А как же всё-таки это с ним получилось, как он дошёл до жизни такой?

Мужской голос, отдуваясь, ответил:

— Пьянство, бабы, абсолютный цинизм.

Мужской голос — насморчный баритон — я узнал сразу, принадлежал он бывшему моему соученику по Литинституту и нынешнему соседу по дому — Недоброво, драматургу Недоброво.

— Вы не поверите, — продолжал он, — когда мы учились в институте, с самого первого курса и до последнего, он считался у нас чуть ли не звездой! Все им восхищались, все ему завидовали, все пророчили ослепительное будущее. За его дипломные рассказы сам Константин Георгиевич поставил ему пятёрку и устроил их в «Юность».

— Я помню, помню эти рассказы, — прокурлыкал женский голос.

И тут одновременно я понял и то, что разговор идёт обо мне, и то, что женский голос принадлежит критикессе Жанне Хазиной, старой пробляди, известной под кличкой Баба Сися. За свою долгую сволочную жизнь — ей сейчас хорошо за семьдесят! — Баба Сися ухитрилась переспать чуть ли не со всеми первыми секретарями Союза советских писателей и их заместителями. Никто никогда не мог понять, как ей удавалось снять с них штаны — внешне Баба Сися страшнее войны, — может быть, не последнюю роль в её победах на сексуальном фронте играло то обстоятельство, что в благодарность за любовь Баба Сися всякий раз, неизменно дарила советскому читателю очередной толстенный том с обязательным названием «В творческой лаборатории такого-то». А какому же писателю — а уж секретарю Союза писателей особенно — не хочется дать возможность своим читателям и почитателям

приоткрыть, как говорится, завесу над тайной, заглянуть в святая святых, проникнуть, хоть ненадолго, в ту самую лабораторию, где творятся шедевры.

— Я помню эти рассказы, — сказала Баба Сися, — я даже где-то, в какой-то обзорной статье называла их... Но, и это я тоже помню, мне уже тогда показалось, что подлинного биения жизни в них нет!

Она всё помнила, старая вонючка, она всё понимала про биение жизни, ещё бы!

— Ну, знаете ли, Жанна Михайловна, слишком уж мы щедро употребляем это слово — талант. Талант — редкость, дар, обязательство. Был бы у Зимина талант, он бы сам, сам не позволил бы себе его затоптать! Был не талант, а всего лишь способности! — сказал Недоброво каким-то надсадным голосом, он, видно, мыл себе в это мгновение задницу и прочие места общего пользования. — Были, да и те сплыли!..

— Вот именно! — сказала Баба Сися и захихикала, и я представил, как на сером цементном полу трясутся её серые телеса.

В тот же вечер я сел писать «Именем Российской Федерации». Нет, разумеется, не гнусный разговор Недоброво с Бабой Сисей заставил меня приняться за работу, разговор этот был всего лишь неожиданной, случайной точкой в длинной строке собственных моих размышлений. Всё, что произошло со мной в прошлом, всё, что происходило в настоящем — всё это было — так мне казалось тогда и так мне кажется и по сей день — куда сложнее, чем просто, как изволил выразиться Недоброво, «бабы, пьянство, цинизм».

И, когда я сел писать, я сразу же позабыл и эти его слова, и самого Недоброво с Бабой Сисей, я не для них писал, не им я что-то объяснял и доказывал, и другие — не их — голоса разговаривали со мной, другие глаза на меня смотрели — глаза Лены, Наташи, Павлика. Павлика прежде всего. А иногда, как ни странно, даже Хаймовича.

Когда-то, ещё в пору наших общих вечеров, я рассказал по пьяному делу Лене и Хаймовичу эту куйбышевскую историю. Рассказал как бы с чужих слов, посмеиваясь и ёрничая, всё время умышленно и подчеркнуто отделяя себя от рассказчика-очевидца — и очень удивился, когда увидел, что Лена вытирает слёзы.

— Написать бы такое! — вздохнул Хаймович и долго заталкивал в пепельницу погасшую сигарету.

Вот я и написал, тля! Я, а не ты!

...Я взглянул на часы — половина двенадцатого. Почему не позвонила Наташа? Если она поехала домой, то уже давно должна была доехать, и маман не могла не сказать ей, что я просил позвонить.

Если она поехала домой. А если не домой — то куда? Звонить ей самому мне не хотелось, чтоб не нарваться опять на маман.

От нечего делать (а что мне было делать) я решил посчитать вариант номер два — «Именем Российской Федерации» взяла Наташа. Но тут же выяснилось, что весь второй вариант на этом, собственно, и кончается. Экземпляр взяла Наташа. И точка. И считать больше нечего.

Яшенька выбрался наконец из-под дивана и принялся слоняться по квартире, неодобрительно к чему-то принюхиваясь и пофыркивая.

Я хотел включить радио — послушать последние известия — и не включил. Хотел перебраться с дивана на кровать — и не перебрался.

Я уснул, и снилась мне всякая похабная чертовщина, вроде сцен из фильмов Феллини.

...Я проснулся в десять часов утра. Наташа, стало быть, так и не позвонила, а звонить ей было уже поздно, с девяти она на работе.

За окном всё так же нудно шёл дождь.

Яшенька, негодяй, спал на столе, свесив вниз голову и передние лапы.

Что же всё-таки случилось с Наташей? Очень уж обидеться она не могла, в подобном состоянии, в каком я был вчера вечером, она меня уже видела. И даже, увы, не раз. Что-то, значит, случилось. Что?

В голове у меня была полная муть, но единственное, что я понимал, и понимал вполне отчётливо, — если я буду сидеть дома в компании с Яшенькой и продолжать задавать самому себе бессмысленные вопросы, то в конце концов на белый свет неизбежно в качестве ответа появится бутылка «Столичной».

Но, как выражаются лекторы-международники, на данный исторический момент подобный ответ меня не устраивал.

Я решил встать, побриться, отвезти в Гнездниковский, в Кинокомитет, бессмертное творение «Огни над морем» — и оттуда зайти на работу к Наташе, тем более что от Гнездниковского до улицы Качалова — подать рукой.

А на улице Качалова находился тот самый, хорошо известный не только москвичам букинистический магазин иностранной книги, где Наташа работала товароведом.

...У меня (об этом я сказал уже в самом начале) очень мало времени, в обрез, но я тем не менее стараюсь не пропустить ни одной имеющей хоть сколь-нибудь существенное значение подробности. Впрочем — но эта мысль пришла мне в голову сейчас, — может быть, в то утро поллитра «Столичной» было бы не таким уж плохим решением проблемы — что делать. Но не мог же я тогда знать — чем всё это кончится, не мог знать, что ждут меня впереди не просто неприятности (к неприятностям я, как все советские люди, всегда готов), а такое, что и слова-то не подберёшь достойного, такое, перед чем давний куйбышевский кошмар покажется мне чуть ли не сказкой для детей дошкольного возраста. А если бы знал? Это я спрашиваю себя сегодня, сейчас — спрашиваю и ответа не нахожу, нет ответа.

...Итак, я встал (встать было труднее всего) и отправился в ванную — приводить себя в христианский вид.

Я поглядел в маленькое зеркальце над умывальником на своё отражение, и то, что я увидел, показалось мне не таким уж безобразным, как следовало ожидать. Морда, разумеется, была опухшей и мятой, но не до той крайней степени, когда нельзя явиться на люди.

Я ополоснул лицо водой — холодной, потом горячей, потом снова холодной. После этого я намылил физиономию жидким венгерским мылом, сменил лезвие в жиллеттовском станочке и приступил к бритью. И пока я брился, откуда-то, из тёмных глубин легкомыслия явилась ко мне спасительная догадка, что Хомича взяла Наташа. Мысль эта, догадка не только явилась, но даже на время утвердилась. Ход рассуждений был приблизительно следующим — потому-то Наташа и не позвонила, что «Именем Российской Федерации» у неё, и ей хотелось меня наказать, заставить попсиховать, посуетиться. А иначе бы она обязательно позвонила, непременно-о!

Это рассуждение показалось мне настолько очевидным (вот оно — утро вечера мудренее), что я подмигнул своему отражению в зеркале и принялся насвистывать — популярный мотивчик из американского боевика.

И тут внезапно я услышал шаги, неспешные, негромкие, отчётливые шаги. Я замер.

Кто-то чужой — неизвестный, неожиданный — ходил по моей квартире, и у меня мгновенно пересохло во рту.

Я стоял в каком-то странном оцепенении, и жидкое мыло капало с лезвия на пол и в раковину умывальника.

Шаги приближались.

— Кто там? — нашёл я в себе наконец мужество спросить омерзительно хриплым голосом.

Дверь в ванную отворилась.

— Ты здесь, папа?

Павлик! Ну, что же я за кретин — ну, конечно же, это был Павлик — я ведь сам дал ему второй ключ от квартиры, чтобы он мог в любое время приходить, играть с Яшенькой, заниматься, смотреть телевизор.

— Фу! — с шумом выдохнул я воздух и засмеялся. — А ты меня напугал. Я был уверен, что ты на даче... Здравствуй, мой дорогой, здравствуй, мой милый!

— Здравствуй, папа!

Он подошёл ко мне сзади, ткнулся плечом в спину, и в зеркале рядом с моим гнусным рылом появилось его чистое прелестное лицо с большими тёмными (Лениными) глазами и с (моим) прямым, слегка вздёрнутым на самом кончике носом.

— А что с Яшенькой? — спросил Павлик. — Он очень почему-то печальный.

— Не знаю, — сказал я.

— Очень печальный, — повторил Павлик.

Он был поверх майки в синей брезентовой курточке (я не видел раньше у него этой курточки), в дрянных бумажных штанах, которые называются «индийскими джинсами» (надо будет в комиссионке на Беговой заказать ему настоящие!), в стоптанных мокрых сандалиях.

— Вот что, голубчик, — сказал я, снова принимаясь за бритвё, — там, в большой комнате, на диване лежит авоська, а в авоське ананас. Ты пойдика, займись, а я добреюсь и присоединюсь, хорошо?

— Я не могу, папа, — сказал Павлик, — я очень спешу. Рязанцеву зачем-то нужно было на десять минут в город, он меня подвёз, и он же отвезёт меня обратно...

У товарища Рязанцева, цитатчика, стукача, железобетонного философа, и у месье Хаймовича рядом, забор в забор, дачи на Красной Пахре. Дед Фиолетов заметил, что на данном примере можно наглядно убедиться в том, что грани между трудом умственным и физическим действительно стираются.

— Видишь ли, папа, — сказал Павлик и присел на край ванны, — я хотел тебе сказать... Ты понимаешь — мы решили уехать...



— Дождя испугались? — весело спросил я.

— Нет, не дождя, — сказал Павлик и вдруг усмехнулся. Он так необычно усмехнулся, так по-взрослому, что у меня от предчувствия какой-то новой напасти захолонуло сердце, но я промолчал. Я молчал и продолжал бриться. Я очень тщательно брился, очень сосредоточенно. — Видишь ли, папа, — снова заговорил Павлик, сперва медленно, а потом заторопился, зашпешил, путаясь и глотая слова, словно боялся, что если не скажет всего разом, то, быть может, не сумеет сказать вовсе, — мы решили уехать совсем... Дядя Наум получил вызов — из Израиля... Уже давно — месяца два-три тому назад... Вызов на всех — и на меня, и на маму... Мы просто никому не говорили об этом раньше... Потому что... Ну, ты сам понимаешь... Мы уже подали документы в ОВИР...

Я молчал. Я молчал и продолжал бриться. Слегка закинув голову, я выбривал себе подбородок — стремясь достичь некой совершенной гладкости и чистоты. У меня только дрожали ноги, но я не обращал на это внимания и брился.

— А вчера как раз, папа, пришло письмо из ОВИРа... Они требуют, ну, они просят, чтоб ты написал, что ты не возражаешь против того, чтобы я уехал!

Кажется, я что-то крикнул и изо всей силы запустил бритвой в зеркало. Звук был очень отвратительным и громким, бритва отлетела и упала на пол, но и зеркало, как ни странно, не разбилось, и бритва осталась цела.

— Папа! Ты что? — спросил Павлик.

Я закрыл глаза. Это лучший способ сдержать бешенство — на несколько мгновений закрыть глаза. Я постоял с закрытыми глазами, а потом уже почти спокойным голосом сказал:

— Значит, в Израиль. На историческую родину месье Хаймовича... Павлик, милый, послушай, ты же взрослый мальчик, ты же должен понимать, что всё это чушь собачья! Ты-то здесь при чём? Ты же русский!

— Наполовину, — сказал Павлик, — мама — болгарка.

— Ну и что?! — сказал я. — Болгары, как тебе, надеюсь, известно, такие же славяне... При чем здесь Израиль? Что ты там будешь делать?

— Учиться.

— На ихнем языке? Читать справа налево? Носить магендавид и говорить — шолом?

— Там есть русские школы.

— Нету там никаких русских школ, это тебе наврали! Павлик, милый, я понимаю, что тебе просто интересно. Я тоже когда-то мечтал — много ездить, видеть дальние страны... Помнишь, мы вместе читали: «На далёкой Амазонке не бывал я никогда...» А мы побываем, обещаю тебе, мы обязательно побываем, теперь это всё не так уж сложно... Ты только представь себе — поедем по всему белу свету и таких чудес, таких волшебностей наглядимся... А месье Хаймович, если уж так ему приспичило, может катиться в свой Израиль! На здоровье! Надеюсь, что никто его удерживать не будет, пусть катится!

— А мама? — тихо спросил Павлик.

Я неуклюже пожал плечами.

— Что мама?! Мама должна решить...

— Мама решила, — сказал Павлик и опять усмехнулся этой своей новой, взрослой и какой-то печальной усмешкой. — Между прочим, это именно она решила. Дядя Наум как раз сомневался, а мама решила. Кстати, она просила сказать, что тебе вовсе не обязательно давать своё согласие, она понимает, что у тебя могут быть неприятности... И всё такое... Она сказала, что достаточно, если ты напишешь что-нибудь вроде... Ну, что — так как мы вместе не живём — то тебя эта история просто не касается! Что-нибудь вроде этого!..

— Ах, так?!

Мысленно я прокричал:

«Мерзавка, гадина, дрянь!..»

Но вслух я сказал:

— Дело в том, Павлик, что меня это касается. И даже очень. Хотя бы уже потому, что ты мой сын, я тебя люблю, и мне совершенно не безразлично — где ты будешь жить, с кем и кто и какие идеи будет вбивать тебе в голову...

Мне пришлось снова на мгновение закрыть глаза, а когда я их открыл, Павлик уже стоял в дверях.

— Твоя фамилия — Зимин, — сказал я, не оборачиваясь и глядя на него в зеркало. — Ты Павел Николаевич Зимин, русский, запомни! И сколько бы ты ни навешал на себя этих поганых магендавидов, никакие сионские мудрецы никогда не признают тебя своим... О Хаймовиче я не говорю, мне на него плевать, но если мама этого понять не хочет, то я понимать обязан... И я напишу письмо в ОВИР... Да, да, обязательно напишу! Я напишу, что я не только возражаю против твоего отъезда, но что буду бороться из последних сил... И передай маме и Хаймови-

чу — я знаю, что у них — у этих Хаймовичей, — у них есть дружки везде и всюду! Но на этот раз никакие дружки ему не помогут, никакие дружки, никто! Так вот и передай!

Павлик медленно кивнул.

— Хорошо, я передам.

Он помолчал, вздохнул и сказал нараспев:

— А я-то ещё с мамой спорил...

И он ушёл. А я не побежал за ним, не попытался его задержать. Я и по сей день не могу понять — как я мог в то утро позволить ему уйти, почему не бросился за ним следом, не задержал, не попытался объяснить и уговорить. Но снова — это уже теперь, — снова я спрашиваю себя — ну, а если бы побежал, задержал бы, уговорил — случилось бы всё то, что случилось потом, или нет? Могло ли это хоть что-нибудь изменить! И вообще доступно ли человеку предвидеть хитроумные забавы случая, может ли он отвечать — за камень, упавший с крыши, за выигрыш по лотерейному билету, за подсолнечное масло, которое Аннушка пролила на трамвайные рельсы на Патриарших прудах?! Мы ходили с Наташей как-то на эти Патриаршие пруды — посмотреть на место, описанное Булгаковым в «Мастере и Маргарите».

Всё было, разумеется, непохоже. Замурзанный дед-краевед, который сидел на скамеечке и сам с собою резался в шашки, объяснил нам, что трамвайная линия на Патриарших прудах снята ещё в конце двадцатых годов, и поинтересовался — не иностранцы ли мы.

— А то всё ходят сюда — эти — разноцветные! — сказал он. — Всё ходят и тоже почему-то трамваем интересуются. И сымают! А чего тут сымать, скажите на милость? Вон пивной ларёк был — так и его снесли... Чего же тут сымать?..

...Из окна большой комнаты я увидел, как Павлик садится в машину Рязанцева. У товарища Рязанцева не какие-нибудь засратые «Жигули», вроде как у меня, — а шикарная светло-серая «Волга». Цитаты — дело доходное. Шпарь себе на четыре, пять страниц высказывания основоположников, нагоняй листаж! Вот он и нацитировал, паразит, настучал, нажил!..

Когда машина отъехала, я прокричал ей вслед в закрытое окно большой джентльменский набор проклятий. Я проклял Хаймовича, Лену, государство Израиль, Голду Мейер, Моше Даяна и всех тех арабских лидеров — ленивых и трусливых, — имена которых мне удалось вспомнить.

...В Гнездниковский я явился, разумеется, поздно — начальник Управления по производству художественных фильмов, старинный мой приятель Сергей Сергеевич Соловьёв уже отправился со своими холуями в просмотровый зал. Ответственные работники фильмы, как известно, не смотрят, а просматривают.

Я отдал четыре экземпляра «Огней над морем» секретарше Соловьёва Лидочке — вот уже года два, как эта Лидочка — рыженькая, с подлыми голубыми глазками и носиком-уточкой — начинала, стоило мне только появиться, жарко дышать и выпячивать цыплячью грудь.

Придётся всё-таки пригласить её как-нибудь к себе домой на чашечку кофе. Неохота, конечно, но, как говорится, искусство требует жертв.

Когда-то в тбилисской бане банщик-армянин открыл мне великую тайну:

— На каждого мужчину, уважаемый товарищ, отпущено природой два ведра! — шёпотом сказал он, разминая мне плечи. — Так что все эти спермокрины, все эти панты-шманты и женьшени, всё это — сплошное, извините за выражение, шарлатанство! Два ведра, уважаемый, и ни капельки больше!

Лена, помню, очень смеялась, когда я рассказал ей об этом разговоре.

...Из Гнездниковского проходными дворами я вышел на Пушкинский бульвар и пошёл вниз, к Никитским воротам, к памятнику Пушкина.

Моросил по-прежнему дождь, и я похвалил себя за то, что не взял машину — пришлось бы весь день возиться с «дворниками» — щётками для ветрового стекла, — снимать их и надевать. Занятие вполне бессмысленное, но в стране победившего социализма «дворники» на машине нельзя оставлять без присмотра ни на минуту — сопрут тут же.

Народу на бульваре было немного — дождь. Несколько мухоморов-пенсионеров, накрыв газетами головы, забивали на деньги «козла». Детская группа — синие сморчки в белых панамках — разучивала песню про дедушку Ленина.

На меня опять — и опять неожиданно — навалилась усталость, тупая и тяжёлая, как мешки с песком, побежали по телу пузырьки озноба, а глаза начало резать, словно их залило тёплой мыльной водой.

Всё, что случилось со мной, начиная со вчерашнего вечера — и визит Чекмарёва, и непотребное пьянство, и пропавшая рукопись Хомича, и приход Павлика с идиот-

ским сообщением, — всё это было, как любила говорить Лена, — «немножко множко».

Я уже почти подошёл к Никитским воротам, к памятнику Тимирязеву. Оставалось всего несколько метров, а потом я сверну направо — на улицу Качалова, пройду ещё один квартал, миную аптеку и сразу же, за аптекой, будет книжный букинистический магазин, и Наташа — и всё, конец, прояснится, образуется, встанет на свои места.

Я попытался вспомнить — а что я, в сущности, знаю про Наташу? Оказалось, что не так-то уж много. Случай и на сей раз (на сей раз даже особенно!) позабавился, похихикал в кулак — с Наташей меня познакомил Хаймович. Вернее, не познакомил, а просто я у него как-то спросил, не знает ли он хорошую и не слишком дорогую машинистку — и он дал мне Наташин телефон. Было это ещё в ту пору, когда Лена с Павликом не переехали со второго этажа на третий, и встречи с Наташей поначалу складывались сугубо по-деловому — я отдавал ей черновик какого-нибудь очередного эпохального произведения, через несколько дней она приносила мне четыре необыкновенно чисто напечатанных машинописных экземпляра, я с нею расплачивался (брала она и вправду недорого), и мы расставались — до следующей эпохалки. Впрочем, на то, что она не только красивая баба, но ещё и с чертовщинкой, на это я обратил внимание сразу.

Но лишь потом, после моего возвращения из Алматы в холостое и пустое жильё, после вереницы баб (артисточек и секретарш, в основном), пытавшихся прибрать меня к рукам, появилась — уже в новом качестве, — появилась в моем доме и осталась, начала оставаться на ночь, на неделю, на несколько дней — Наташа.

Ну-с, так что же всё-таки я про неё знал?

Очень немного. Я знал, что её отец, Коноплянников, довольно видный в своё время экономист, был причастен к знаменитому ленинградскому «Делу Вознесенского», подмели его одним из самых последних, в пятидесятом, что ли, году, и не то расстреляли, не то он помер в тюрьме. Наташе было тогда полтора года. Спасибо, партия родная, за наше счастливое детство!..

После Двадцатого съезда и разоблачений «культы личности» товарищ Коноплянников был посмертно полностью реабилитирован, и Наташа, окончив среднюю школу, с блеском и треском поступила в Московский университет, на отделение искусствоведения — откуда её с тем

же самым блеском и треском попёрли с третьего курса. За что — этого я никогда понять толком не мог, а Наташа в подробности не вдавалась.

В те же дни вместе с университетом она рассталась и со своим муженьком, о котором Наташа и вовсе ничего не говорила, и только со слов её маман, Анны Сергеевны, я знал, что он был мерзавцем и комсомольским деятелем.

Потом она, Наташа, помыкалась и послонялась, окончила какие-то годовичные торговые курсы и устроилась на работу — товароведом на приёмке — в букинистический магазин иностранной книги...

И тут я буквально (пользуясь старинным выражением) остановился как вкопанный и (опять же на старинный манер) стукнул себя кулаком по лбу.

— Минутку, минутку, минутку! — сказал я себе. — Думайте, Николая, думайте! Думайте хорошенько и внимательно!..

А ведь работка эта — товаровед на приёмке иностранных книг — особая, не простая работка. И особенность её заключается в том, что без «допуска» на такую работу не поступишь. А «допуск» оформляется — где? Думайте, Николая, друг мой, думайте! А, впрочем, чего же тут думать? «Допуск» — и это всем известно — оформляется в особом отделе, а что такое особый отдел — это тоже, слава Богу, хорошо всем известно.

Я вспомнил, как Наташа как-то вскользь сказала, что у неё имеется «индекс» — список запрещённых книг и авторов. Список этот, разумеется, строго секретный. И не принять подобную книгу мало — товаровед обязан ещё по возможности записать имя и адрес того дурака, который пытался всучить ему подобную книжку. И, стало быть, дорогой мой друг, Николай Андреевич, и стало быть — а не купились ли вы, почтеннейший, как самый наипоследний пижон и фраер?! И так ли уж случаен, как думалось мне вначале, был визит Чекмарёва — ни днём раньше, ни днём позже — а именно в тот самый день, в тот самый час, когда эта курва принесла мне сочинение Хомича?!

Картинка вырисовывалась довольно убедительная и последовательная, вроде как на тех загадочных журнальных рисунках из отдела «В часы досуга» — где птичка? А вот она, птичка, вот она, голубушка!

Я по-прежнему неподвижно стоял у дверей магазина, и мне опять было одновременно жарко и холодно, и очень сильно — до боли — резало глаза.

А я-то ночью считал только два варианта. Оказалось, что есть и третий. Хотя, если разобраться, этот внезапно возникший третий вариант был всего лишь дополнением и уточнением варианта номер один.

...Я толкнул ногой дверь и вошёл в магазин.

К Наташе — она сидела за невысокой деревянной перегородкой, отъединявшей отдел приёма от собственно магазина — тянулась, как всегда, довольно длинная очередь — нечёсанные и прыщеватые молодые люди и старички и старушки — из «бывших». Очередь как очередь на первый взгляд. Но всё было не так-то просто — это я опять-таки знал из рассказов Наташи. Молодые люди, студенты, сдавали, как правило, книги, принадлежавшие их соученикам-иностранцам (имелась тайная инструкция, о которой было тем не менее широко известно) — принимать иностранные книги только от граждан с советским паспортом. Смысл инструкции был понятен — с какого-нибудь там француза или американца взятки гладки, ну не приняли книги и не приняли, а своего можно и поприжать — откуда у вас, к примеру, «Скотский хутор» Орвелла? Кто дал, кто читал кроме вас?! И так далее!.. А старички и старушки — «из бывших» занимались и вовсе удивительным промыслом, переводами «по-чёрному». Халтурно, с листа — за неделю, не больше, они переводили какой-нибудь детектив или похабщину, отпечатывали перевод в пяти-шести экземплярах и за каждый экземпляр драли с любителей (а на детективы или на похабщину любители найдутся всегда!) по десять—пятнадцать рублей.

Некоторые переводчики-профессионалы (я знаю кое-кого и в нашем доме!) в минуту жизни трудную тоже не брезговали этим вполне доходным занятием.

...Я пододвинул плечом длинноволосого очкарика и, перегнувшись через деревянный барьер, негромко сказал: — Здравствуйте, Наталья Николаевна!

Наташа — она внимательно перелистывала какую-то толстую книгу — ответила сухо, не глядя:

— Извините, я занята.

— Но...

— Я занята, подождите до перерыва!<sup>1</sup>

1977

---

<sup>1</sup> Здесь, на 57 странице, рукопись обрывается. Никаких набросков или планов, позволяющих судить о дальнейших судьбах героев, до настоящего времени обнаружить, к сожалению, не удалось. (Прим. ред.)

## Рукописи не горят?

«Сегодня в 16 часов 15 декабря в Париже в своей квартире на улице Маниль скончался великий русский поэт и драматург Александр Галич».

Эту печальную весть через свист и глушилки донесла до российских радиослушателей станция «Свобода».

В этот же день ровно в 16 часов мне внезапно стало очень плохо. Я тогда работала в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ) и возвращалась с телевидения в театр. Как отыграла спектакль — не помню, только после его окончания «скорая» увезла меня в больницу с гипертоническим кризом.

Однако в тот день я еще ничего не знала. Узнала случайно, в больнице, спустя какое-то время. Помню, как звонила на Бронную бабушке... Помню, что-то кричала... Но осознать, что это все, конец — до сих пор не могу. И не смогу, наверное, уже никогда.

А за полгода до этого черного декабрьского дня бабушка обнаружила в почтовом ящике анонимное письмо без штемпеля: «Вашего сына Александра хотят убить»...

Бабушка пережила сына на два года и умерла тем же роковым 15 декабря, но уже 1979 года.

Не хочу сейчас рассказывать, сколько сил и времени ушло на официальное восстановление прав отца. Не в этом суть. Главное — это случилось. В 1988 году, через одиннадцать лет после его гибели.

Начали выходить книги. Первой ласточкой стал маленький синий томик, выпущенный издательством «Киноцентра» (составитель Ирина Винокурова). Вступительную статью к книге написал близкий друг отца Станислав Борисович Рассадин.

Стена молчания вокруг имени «Александр Галич» была прована. Пошли книги. И не там, на Западе, а здесь — в России. Сбылась папина мечта. «Избранные стихотворения» (Агентство печати «Новости». М., 1989), «Возвращение» (Музыка, Л., 1990), «Я выбираю свободу» (Глагол. М., 1991), — это было начало, в основном, книги песен-стихов. Именно так определял свою поэзию отец: «Это стихи, которые временно притворились песнями».

Так с 1988 года российский читатель получил возможность познакомиться с песенной поэзией Александра Галича. Подготовка к печати поэтического наследия отца потребовала огром-



ной текстологической работы. Однако благодаря многочисленным магнитофонным записям, сбереженным с риском для собственного благополучия самыми разными людьми, большая часть архива песен Галича сохранилась.

Гораздо сложнее обстояло дело с прозой отца и его литературными работами для театра и кино.

До своей опалы отец был довольно известным кино- и театральным драматургом, автором фильмов, которые шли широким экраном, экземпляры его литературных сценариев, напечатанные отделом распространения ВУОАПа, хранились в театральных библиотеках (впрочем, даже в те годы не все было так гладко, но об этом я расскажу немного позже). Однако впоследствии фильмы были изъяты из проката, сценарии удалены из фондов многих библиотек и хранилищ.

Впервые решаясь в этом издании на публикацию прозы и неизвестной драматургии Галича, мы столкнулись с большими сложностями, в том числе и с отсутствием на руках «парижского» архива, часть которого хранится у вдовы Владимира Максимова Татьяны Максимовой.

Не имея полностью всех документов и текстов, попытаюсь восстановить те свидетельства и факты, которые хранит моя память. Начну с того, что хорошо помню.

Зима 1956 года. Я живу с отцом, бабушкой и Ангелиной на Малой Бронной. Дед держит в руках сценарий «Чайковского» (он сохранен и находится сейчас в РЦГАЛИ) и утешает отца: уже принятый сценарий неожиданно отклонили — и это-то после триумфально прошедших «Верных друзей»!

«Чайковский» возник в творчестве отца не случайно, музыкальная тема всегда волновала его. И первая неудача не отпугнула от этой темы. Он вернулся к миру музыки, и это возвращение было счастливым — и для кино, и для Александра Галича. Советское кино получило хороший фильм «Третья молодость» — о гениальном балетмейстере Мариусе Петипа, а отец — массу новых впечатлений и важных знакомств. Дело в том, что «Третья молодость» — первый совместный советско-французский фильм («Мосфильм» — «Алкам-филм»), и во время работы над сценарием отец почти полгода прожил в Париже — редкая для тогдашнего советского человека удача.

В Париже Александр Галич знакомится со многими представителями первой волны русской эмиграции, и среди них — с Федором Федоровичем Шаляпиным. Там же, в Париже, и зарождается идея фильма о великом русском певце.

С «Шаляпиным» связана забавная история, произошедшая с одним из «заграничных» отцовских поклонников (а их после Парижа появилось немало). Богатый американец предложил безвозмездно продюсировать постановку «Федора Шаляпина», и отцу ничего не оставалось, как порекомендовать меценату обратиться к Е.А. Фурцевой (тогдашнему министру культуры), где он,

естественно, получил отказ. К делу подключился соавтор отца и режиссер фильма дипломатичный Марк Донской — мол, фильм хорошо бы снимать и в Париже, и в Америке... «Все отлично можно снять и в Риге», — отрезала госпожа министерша.

Уже осенью 1971 года оператор Михаил Яковлевич Якович уехал в Нижний Новгород (тогда г. Горький) подбирать натуру, а в Москве активно шли актерские пробы.

А 29 декабря, как раз под Новый год, решением правления Союза писателей СССР отец был исключен из Союза.

Фильм закрыли. О судьбе сценария никто не вспоминал, кроме Федора Федоровича Шаляпина, который из Италии делал несколько попыток возобновить производство фильма.

Следующей жертвой властей стал и вовсе безобидный мюзикл «Разные чудеса», только недавно принятый к производству телевизионным объединением «Экран».

Комедией заинтересовались на «Беларусьфильме», и отец выехал в Минск на переговоры. Однако и там дело закончилось ничем: сценарий был запрещен. Спустя много лет благодаря Анатолию Павловичу Злобину мне удалось познакомиться с материалами, хранившимися в КГБ: «Гитарист» выехал в Минск на переговоры по поводу фильма. Решили — фильм в производство не брать. Подпись «Фотограф». «Гитаристом», естественно, был отец, а вот кто скрывался за псевдонимом «Фотограф», мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

О судьбе многострадальной «Матросской тишины» нет нужды много говорить — об этом отец подробно написал в «Генеральной репетиции». Могу лишь сказать, что экземпляр пьесы хранится у меня с детства. А вот рукопись «Генеральной репетиции», которую отец закончил 29 мая 1973 года, я храню как его подарок к моему дню рождения (21 мая), хотя передана она была мне лишь при нашей встрече в августе 1973 года.

В предыдущих книгах эти две вещи выходили в том виде, в каком они сохранились в моем архиве. Однако сейчас, готовя к изданию двухтомник, мы решили предложить читателю вариант, напечатанный в 1974 г. «Посевом». «Генеральная репетиция» в нем почти не изменена, а вот «Матросская тишина» подвергнута значительной авторской правке — и стилистической, и, главное, идейной, — много пережив и поняв, отец освободил текст пьесы от некоторых иллюзий 50-х годов.

И еще об одной старой пьесе с несчастливой судьбой хочу сказать два слова. «Август» написан в 1956 г., поставлен в театре им. Комиссаржевской в Ленинграде, музыку к спектаклю написал папин приятель Никита Владимирович Богословский. Спектакль прошел всего несколько раз и был снят со сцены с разгромными рецензиями. В это же время «Август» репетировался в Московском драматическом театре режиссером А. Плотниковым. Результат, увы, почти тот же — пьеса была запрещена еще до премьеры.

К крошечной пьеске «Рассвет» у меня особое отношение. Этот стилизованный под американскую драматургию скетч написан для моей мамы, актрисы Валентины Дмитриевны Архангельской, в пору расцвета любви моих родителей. В то время небольшие драматургические формы были очень популярны и использовались в сборных актерских концертах. Тогда же отец впервые подписал пьесу псевдонимом — А.Гай.

Впоследствии из первых букв имени и фамилии и последних — отчества — Гинзбург Александр Аркадьевич — родился «Александр Галич». Впервые этим псевдонимом была подписана пьеса «Вас вызывает Таймыр». Спектакль, поставленный по этой пьесе А.Гончаровым, шел с большим успехом в только что открывшемся театре Сатиры.

С возрастом отец отходил все дальше от драматургии. Вообще в его творческой жизни было несколько главных этапов — актерство, драматургия, песни и, наконец, так сильно начавшийся и оборванный на взлете нелепой смертью четвертый этап — проза. Отец был человеком увлекающимся. Когда ему надоело играть на сцене, он переключился на писание пьес и сценариев, считая, что с актерством покончено навсегда. И все-таки один из последних учеников Станиславского никогда не переставал быть актером и никогда не порывал связи с театром. Все, кто видел Галича на сцене с гитарой, удивлялись его актерскому дару. Многие его песни построены по законам драматургии, и их можно было разыгрывать по ролям, как маленькие пьесы.

К прозе отец впервые обратился тогда, когда перед ним официально закрылись двери киностудий и театров, когда все больше топтунов следовали за ним по пятам, а концерты, которые он мог устраивать только на квартирах в узком кругу друзей, привлекали все более пристальное внимание властей. Оставалось только одно место, где он мог работать относительно свободно, — его письменный стол. Первой пробой пера стала «Генеральная репетиция», которую он закончил в мае 1973 года в Серебряном Бору. Однако всерьез отец увлекся прозой уже в изгнании.

Я помню один из телефонных разговоров. Это было в квартире бабушки на Малой Бронной — он звонил только туда. Отец с удовольствием рассказывал, что занялся прозой, что, по-видимому, это и есть «самое настоящее его призвание». Тогда-то я впервые услышала о новом романе «Еще раз о черте». Позже, тоже в телефонных разговорах, отец сообщил, что закончил роман и передал его Г.Померанцу. В записях, которые оставались у Ангелины Николаевны, тоже отмечено: «Закончил роман “Еще раз о черте”...» У Т.Максимовой в Париже сохранилось несколько первых глав, которые мы и публикуем в этой книге. Где же полный текст романа «Еще раз о черте»? Об этом до сих пор ничего не известно.

Как неизвестна и судьба другого прозаического произведения, написанного в эмиграции. Виктор Перельман, знакомый с папой по Мюнхену, в 1977—1978 гг. опубликовал первую часть романа «Блошиный рынок» в журнале «Время и мы». Перельман был в Москве, мы не раз с ним встречались, однако сообщить что-либо конкретное о второй части «Блошиного рынка» он не мог.

Архивы отца, разрозненные, разбросанные по городам и весям, требуют тщательной исследовательской работы. И я надеюсь (ведь может так случиться?), что эта книга попадет в руки людям, которые что-то знают об исчезнувших главах романа «Еще раз о черте», которые смогут рассказать что-либо о второй части «Блошиного рынка». И тогда наконец читатель получит возможность по-настоящему узнать хорошую русскую прозу Александра Галича.

Ведь рукописи, как известно, не горят...

*А.Архангельская (Галич)*

## Комментарии

Федор Шаляпин (с. 7)

Сценарий написан совместно с режиссером М.Донским — начат в 1968 г., закончен в 1970 г. Целый год шла работа над третьей частью, которую Галичу приходилось неоднократно перделывать — Госкино не устраивало лояльное отношение автора к русской эмиграции. В 1971 г. сценарий был принят в производство на киностудии им. М.Горького.

«Федор Шаляпин» — часть музыкального триптиха, началом которому послужил сценарий о П.И.Чайковском (работа была принята киностудией им. М.Горького, но до съемок дело не дошло). Следующему сценарию А.Галича (1959 г.) повезло больше — фильм «Третья молодость» о великом балетмейстере М.Петипа был снят совместно киностудией «Ленфильм» и французской «Алкам-фильм» в 1966 г. (Фильм довольно часто показывался по советскому телевидению и после отъезда Галича, однако имя автора сценария было вырезано из титров.)

Режиссер М.Донской, оператор М.Якович, на роль Шаляпина был утвержден И.Охлупин.

После исключения А.Галича из Союза писателей и Союза кинематографистов фильм, несмотря на все усилия М.Донского, был снят с производства.

Тогда же к Галичу обратились представители итальянского телевидения и сын певца, Ф.Ф.Шаляпин, с просьбой продать сценарий, однако писатель отказался, и фильм так и не был снят.

Текст печатается по режиссерскому варианту М.Донского, оригинал которого хранится в ЦГАЛИ.

Публикуется впервые.

Разные чудеса (с. 169)

Мюзикл написан по предложению редактора т/о «Экран» А.Б.Рыбаковой в 1971 г. В конце того же года принят в производство, но после исключения А.Галича из Союзов писателей и кинематографистов запрещен. Сценарием заинтересовалась студия «Беларусьфильм», куда Галич выезжал на переговоры (в Минске он останавливался у диссидента В.П.Лебедева, ныне живущего в США). По информации А.П.Злобина в архивах КГБ хранится следующая запись: «Гитарист (А.Галич. — *Авт.*) выезжал в Минск на переговоры. Удалось сломать».

Печатается по авторскому экземпляру, переданному мне кинорежиссером Ю.В.Решетниковым.

Публикуется впервые.

Рассвет (с. 213)

Пьеса написана в 1945 г. для первой жены, В.Архангельской. По жанру — скетч (небольшая пьеса для двоих актеров). Часто исполнялась в концертах Иркутского драматического театра.

Впервые напечатана в журнале «Двадцать девять» № 2, 1996 г.

Генеральная репетиция (с. 222)

Повесть впервые опубликована в 1974 г. в издательстве «Посев» вместе с пьесой «Матросская тишина». Сам автор так объяснял соединение в одном произведении двух своих работ: «Я ведь хотел “Матросскую тишину” напечатать, а пьесы идут плохо. В таком оформленном виде пьеса пошла» (Е.Романов. Возвращение. «Посев», № 2, 1978).

Пьеса «Матросская тишина» задумана в конце войны и положена в стол. «Я вернулся к пьесе “Матросская тишина” после XX съезда партии», — писал А.Галич в «Генеральной репетиции». Пьесой заинтересовался О.Ефремов, руководивший в ту пору студией МХАТ (будущим «Современником»). Спектакль был подготовлен и доведен до генеральной репетиции, после чего запрещен. Примерно в то же время шла работа над пьесой в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, а также в Алма-Атинском театре драмы, однако оба спектакля были запрещены к показу.

Пьеса впервые поставлена выпускным курсом Школы-студии МХАТ под руководством О.Табакова в 1989 г. Впоследствии спектакль был поставлен на сцене Театра-студии О.Табакова. Одновременно пьеса игралась в Украинском театре в Одессе (реж. Б.Зайденберг). После этого «Матросская тишина» широко прошла по сценам советских театров.

В 1989 г. пьеса была поставлена в лондонском «Амадеус-центре» английским Молодежным театром.

«Матросская тишина» неоднократно публиковалась в постсоветских изданиях.

Сюжет «Генеральной репетиции» основывается на рассказе Галича о попытке поставить «Матросскую тишину» в театре-студии МХАТа. Повесть закончена в мае 1973 г. в Доме отдыха Большого театра в Серебряном Бору. Перед отъездом в эмиграцию отец подарил рукопись мне.

В России «Генеральная репетиция» впервые напечатана в журнале «Театральная жизнь» в 1988 г.

Текст публикуется по единственному прижизненному изданию — книге издательства «Посев» 1974 г.

### Блошиный рынок (с. 370)

Роман написан в эмиграции. Первая часть опубликована в журнале «Время и мы» (№№ 24—25. 1977—1978 гг.). Судьба второй части неизвестна.

Текст романа передан мне Виктором Перельманом.

### Ещё раз о чёрте (с. 458)

Роман написан в эмиграции. «Начал писать большую прозаическую вещь, но она перебилась другой работой, — говорил Галич в одном из интервью. — Тоже прозаической, которая будет называться, как одна моя песня, «Ещё раз о чёрте». Пишу её с большим увлечением и к Новому году надеюсь закончить».

Сохранился лишь неоконченный вариант, хотя сам Галич говорил родным, что закончил это произведение. Судьба окончания романа, к сожалению, неизвестна.

Первая часть «Ещё раз о чёрте» передана мне Т.Максимовой. Впервые опубликовано в журнале «Пенаты» (СПб, 1997).

## СОДЕРЖАНИЕ

### Киносценарии. Пьесы. Проза

Федор Шаляпин ( <i>Киносценарий</i> )* . . . . .	7
Разные чудеса ( <i>История с музыкой, пением и танцами. Мюзикл</i> )* . . . . .	169
Рассвет ( <i>Скетч</i> ) . . . . .	213
Генеральная репетиция ( <i>История в четырех действиях и пяти главах</i> )** . . . . .	222
Блошиный рынок ( <i>Почти фантастический, но не научный роман</i> ) . . . . .	370
Ещё раз о чёрте ( <i>Начало романа</i> ) . . . . .	458
<i>А.Архангельская-Галич. Рукописи не горят?</i> . . . . .	503
<b>Комментарии</b> . . . . .	508

---

\* Публикуется впервые.

\*\* С пьесой «Матросская тишина». В таком виде в России публикуется впервые.



**Александр Аркадьевич Галич**

**СОЧИНЕНИЯ**

*В 2-х томах*

**Том 2**

В книге использованы фотографии из семейного архива,  
а также из архива С. Л. Собиновой-Кассиль.

Издательство благодарит Ю. Решетникова за помощь  
в подборе иллюстративных материалов.

Ответственная за выпуск *Л. Захарова*  
Редактор *Н. Трайнина*  
Художник *В. Крючков*  
Верстка *О. Воробьева*  
Корректор *С. Цыганова*

Издательская лицензия ЛР № 063957 от 15.03.95 г.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 19.05.99. Формат 84x108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Печ. л. 16,5 с вкл. Тираж 11 000 экз. Заказ № 2376.

Качество печати соответствует качеству диапозитивов

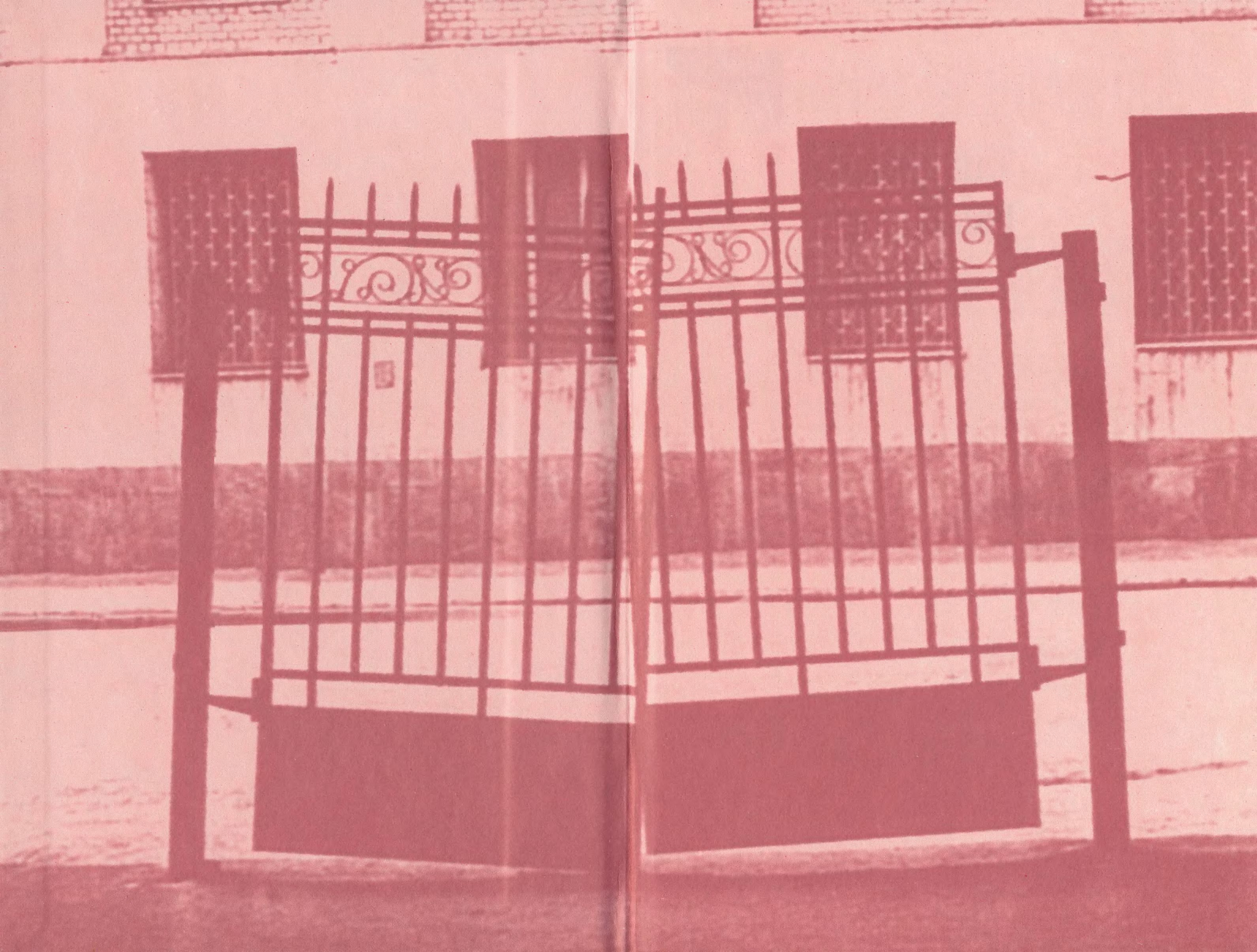
ISBN 5-320-00334-X



ЗАО Издательство «Локид»  
129110, Москва, ул. Трифоновская, д. 56

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.





# Александр Галич

ГОЛОСА  
Век XX

И шел я дорогою праха,  
Мне в платье впивался репей,  
И бог, сотворенный из страха,  
Твердил мне: «Иди и убей!»

Но вновь я печально и строго  
С утра выхожу за порог —  
На поиски доброго Бога.  
И — ах! — да поможет мне Бог!

